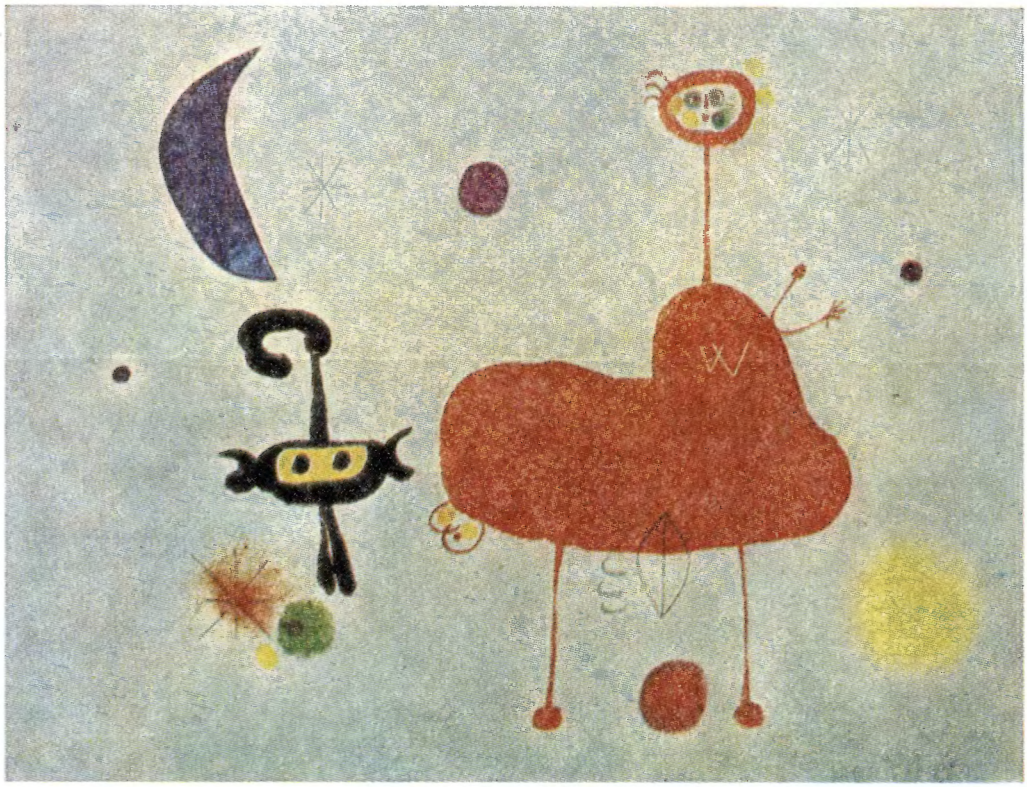
ISSN 0130–6545

9.1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Луна. 1948.

Цветные иллюстрации номера — работы испанского художника Жоана Миро

На 1-й странице обложки — Живопись. 1933.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель
главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного
редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного
редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

9 сентябрь 1990

СОДЕРЖАНИЕ

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС — Любовник леди Чаттерли (*Роман. Перевод с английского И. Багрова и М. Литвиновой*) 5

ВОЛЬФ БИРМАН — Стихи (*Вступление и перевод с немецкого Виктора Топорова*) 73

МИЛАН КУНДЕРА — Шутка (*Роман. Перевод с чешского Н. Шульгиной. Предисловие И. Бернштейн*) 82

КАМИЛО ХОСЕ СЕЛА — Миниатюры (*Перевод с испанского Н. Трауберг* 168

Литературное наследие

АРТЮР РЕМБО — Новонайденные переводы Федора Сологуба (*С французского. Вступление и публикация Всеволода Багно*) 175

Читальный зал

Из «Краткой Нобелевской энциклопедии»

М. ГАСПАРОВ — Кино, муза истории. Т. МОММЗЕН — Катон Младший ◆ М. ГАСПАРОВ — Человек солнечный и лунный. Из стихов У. Б. ЙЕЙТСА ◆ Н. САМВЕЛЯН — Сэр Уинстон Черчилль и его время. ◆ С. АВЕРИНЦЕВ — Писать стихи после Освенцима. Из стихов НЕЛЛИ ЗАКС 184

Критика

Вне жанра

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА — Плагиат: преступление без наказания 196

Публицистика

Русский писатель в эмиграции: Нью-Йорк, Париж...

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ — Переводные картинки (В джунглях американского издательского бизнеса) ◆ ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ — «Что нас толкает в путь?» 203

Вера и мораль

Д-р МОЗЕС РОЗЕН — Уроки Библии (*Авторизованный перевод с румынского Льва Беринского и Александра Бродского. Предисловие Льва Беринского*) 219

Курьер «ИЛ» 247

Советская литература за рубежом 253

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1990

Главный художник С. И. Мухин

Технический редактор Е. П. Поляков

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 12.07.1990 Подписано в печать 24.10.1990. Формат 70×108 1/16. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,46.

Тираж 329 500 экз (1-й завод: 1 — 259 500 экз.). Зак. 2953. Цена 1 р. 80 к.

Отпечатано с матриц типографии ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-6, ул. Анри Барбюса, 51/2, в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС

Любовник леди Чаттерли

РОМАН

Перевод с английского И. БАГРОВА и М. ЛИТВИНОВОЙ

Глава 1

В столь горькое время выпало нам жить, что мы тщимся горечь эту не замечать. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же прямо на руинах наново торим тропки к надежде. Тяжкий это труд. Впереди — рытвины да преграды. Мы их либо обходим, либо, с грехом пополам, берем приступом. Но какие бы невзгоды ни обрушивались, жизнь идет своим чередом.

Так примерно рассуждала Констанция Чаттерли. Война в пух и прах разбила ее благополучие. Что ж, дорого приходится платить за уроки житейской мудрости.

Констанция вышла замуж за Клиффорда Чаттерли в 1917 году — его в ту пору отпустили из армии домой на побывку. Промелькнул медовый месяц, и Клиффорд уехал обратно во Фландрию. А через полгода его, израненного, едва живого, привезли домой. Констанции исполнилось двадцать три года, Клиффорду — двадцать девять.

Он отчаянно боролся со смертью, явив завидную волю, и мало-помалу шел на поправку. Два года колдовали над ним врачи и вернули его к жизни, прописав, правда, разные снадобья. Но ниже пояса тело Клиффорда так и осталось недвижным.

Шел 1920 год. Клиффорд и Констанция обосновались в родовом гнезде Чаттерли — усадьбе Рагби. Старый баронет уже умер, сын унаследовал титул, его стали величать «сэр Клиффорд», а Констанцию — «леди Чаттерли». Семейную жизнь им пришлось начинать в довольно запустелом доме на довольно скромные средства. Из близкой родни у Клиффорда осталась лишь старшая сестра, да и та жила отдельно. Старший брат погиб на войне. Клиффорд знал, что детей у него не будет и что род Чаттерли просуществует до той поры, покуда жив он сам и его усадьба в закопченном и задымленном сердце Англии.

Увечье не столь удручало его. Передвигаться он мог на кресле-каталке и заказал себе кресло на колесах, с моторчиком. Неспешно объезжал он сад и чудесный печальный парк. Втайне Клиффорд гордился им, на людях же упоминал с небрежением.

Клиффорд так настрадался, что почти избыл самое способность страдать. По-прежнему держался чуть сдержанно, по-прежнему в голубых дерзких глазах светился ум, по-прежнему на румяном лице играла бодрая, если не сказать веселая улыбка, по-прежнему широки плечи и крепки руки. Одежду он носил самую дорогую, галстуки — самые красивые и модные. И все же читалась в лице настороженность, а порой во взгляде сквозила и отрешенность, присущая калекам.

Заглянув в лицо смерти, он теперь принимал жизнь (точнее, то, что ему осталось) как бесценный и чудесный дар. Да, он выстоял, вынес все тяготы и гордился собою — это сквозило во взгляде умных беспокойных глаз. Но слишком тяжел был удар — что-то надломилось у него в душе, какие-то чувства безвозвратно исчезли. Опустошенность и безразличие легли на сердце.

У его жены Констанции были мягкие каштановые волосы, румяное простодушное, как у деревенской девушки, лицо, крепкое тело. Движения обманчиво плавны и неспешны — не угадать недюжинной внутренней силы. Большие, будто вечно вопрошающие глаза, тихий, мягкий говорок — ни дать ни взять только что из соседней деревушки заявилась. Но внешность обманчива. Ее отец — некогда довольно известный художник, достопочтенный сэр Малькольм Рид. Мать — женщина образованная, сторонница фабианства в политике, взращенная на традициях Возрождения в искусстве, столь пышно расцветших в середине прошлого века. В кругу художников и просвещенных социалистов Констанция и ее сестра Хильда воспитывались, можно сказать, в современнейшей эстетической атмосфере, без мещанских условностей и предрассудков. Девочек возили в Париж, Флоренцию, Рим — надышаться подлинным искусством; в Гаагу и Берлин — на съезды социалистов; на каких только языках там не произносились речи! Но это отнюдь не смущало присутствующих.

Итак, сызмальства окунувшись в сферы высокого искусства и теории справедливого жизнеустройства, девочки ничуть не тушевались, напротив, чувствовали себя в родной стихии. Столичный лоск в них прекрасно уживался с ограниченностью провинциалок. И как хорошо сочеталось их простодушное суждение о мировом искусстве с высокими идеалами справедливого общества!

Лет пятнадцати их послали в Дрезден. Там, помимо всего прочего, им предстояло приобщиться к миру музыки. Время они провели замечательно. Жили в студенческой среде. Жарко спорили с юношами о философии, общественной жизни, искусстве и ни в чем не уступали сильному полу, пожалуй, даже превосходили: как-никак они женщины! Ходили в походы по лесам, и у ладных их спутников непременно оказывались гитары. Сколько песен они перепели, наслаждаясь свободой. Свобода! Какое великое слово! Перед ними распахнут весь мир, их привечают предрассветные леса, рядом — здоровые молодые парни. Делай что хочешь, говори (это еще важнее!) что хочешь! Ведь разговоры, страстные споры, обмен мнениями — главное! А любовь — нечто второстепенное!

К восемнадцати годам и Хильда, и Констанция уже познали мужчин. Конечно же, их спутники, с которыми они так неистово спорили, так ладно пели, ночевали под раскидистыми деревьями, добивались близости с девушками. И те, поколебавшись, уступили. Ведь о половой жизни столько говорят. Значит, это и впрямь нечто важное. Да и мальчишки ведут себя достойно, сдерживая страсть. Так почему же девушке не проявить воистину царскую щедрость и не одарить поклонника своим телом?

И девушки одарили, выбрав наиболее остроумных и задушевных собеседников. Ведь самое приятное, самое главное — в беседах. А в постели — жалкое подобие приятного, пожалуй даже разочарование. И девушки сначала охладели к приятелям, потом появилась неприязнь: будто парни посягнули на нечто сокровенное, на внутреннюю девичью свободу. Ибо в чем суть и смысл девичества, в чем его достоинство? Достичь полной, безоговорочной, беспорочной и благородной свободы! В чем еще смысл девичьей жизни? Решительно избавиться от стародавних постыдных оков.

И как бы ни приукрашивали все прелести половой жизни, именно они суть древнейшие оковы, орудия постыднейшего рабства. И воспевали их в основном поэты-мужчины. Женщины-то исстари понимали, что есть на свете ценности поважнее, поблагороднее. И наш век не

раз это подтвердил. Свобода, чистая, прекрасная свобода несравнимо выше и чудесней любви плотской. Только вот беда, не доросли еще мужчины до «прекрасного пола», не открыли для себя истины. Настоящие кобели — им бы только плоть свою потешить.

И приходится женщине уступать. Но мужчина, как дитя малое, меры не знает. И приходится женщине его ублажать. Не дай Бог, разобидится милый и упорхнет, порушится приятное знакомство. Но женщина научилась уступать мужчине, не жертвуя и толикой своей внутренней свободы. Этого-то и недоглядели поэты и говоруны-сладострастники. Женщина может овладеть мужчиной и не подпасть в свою очередь под его власть. А овладеть им ей поможет плоть. Главное, поначалу чуть сдерживаться в постели, пусть мужчина утолит жажду. А когда он получит свое, время и женщине подумать об удовольствии — мужчина далее лишь игрушка в ее руках!

Едва сестры вкусили от плотских радостей, как грянула война и их спешно отправили домой. Истинной любви девушки так и не познали, для этого потребовалось бы очень близко сойтись со спутниками в разговоре. Точнее, лишь в беседе мог гнездиться как глубокий интерес, так и большое чувство. Сколько удивительного, упоительного трепета (кто бы мог подумать!) таилось в жарких, бесконечных — днями напролет — спорах с тем или иным по-настоящему умным парнем. И день бежал за днем, месяц проплывал за месяцем... Непередаваемое, неземное блаженство! Добавив к прародительскому завету «И да прилепится жена к мужу» концовку — «дабы беседовать с ним»,— девушки хотя и не произнесли его вслух, даже толком не осмыслили, тем не менее жили строго по нему.

И уж коль скоро пылкие, предельно доверительные и душепросветительные беседы разбудили плоть, что ж, пусть все идет своим чередом. Заполнится, так сказать, еще одна страничка жизни. И в ней есть своя прелесть. Ни с чем не сравнить волнами накатывающий трепет. И вот —девятый вал — извержение! Точно восклицательный знак в конце фразы! Знак исполненности и законченности. Или череда звездочек в конце главы, знаменующая завершение эпизода.

Летом 1913 года, когда девушки (Хильда — двадцати, а Конни — восемнадцати лет) вернулись на каникулы домой, отец сразу смекнул, что дочери уже познали мужчин. Но сам человек, как говорится, бывалый, он решил не вмешиваться в течение их жизни. Мать, доживавшая свой век в сильном нервном расстройстве, пеклась лишь об одном: чтоб ее девочки были «свободны», чтоб их личности «полностью раскрылись». Самой бедняжке жизнь в этом отказала, «раскрыться» ей так и не удалось. Почему — ведомо лишь Господу, ведь она жила в достатке и независимо. Винила она во всем мужа. И напрасно: сызмальства в ее сердце и уме запечатлелся образ мужчины-повелителя, и избавиться от него так и не удалось. И сэр Малькольм ни при чем. Он предоставил своей неуравновешенной, вечно недовольной, враждебно настроенной супруге распоряжаться ее собственной судьбой, выгородив ее из своей жизни.

Дочери и впрямь были «свободны», а потому вернулись вскорости в Дрезден, к музыке, университетским премудростям и приятелям. Каждая по-своему любила «своего» парня, и те тоже любили их со всей пылкостью, коренившейся не в сердце, а в уме. Все самые прекрасные мысли, слова подарили они своим возлюбленным. Приятель Конни занимался музыкой, приятель Хильды — точными науками. Но главное занятие в жизни — любимые девушки. То бишь в жизни внутренней, в сфере мыслей и чувств. В жизни обыденной у них бывали и неудачи, и разочарования, но юноши их не замечали.

И у юношей можно заметить, как любовь поражает не только их дух, но и плоть. Интересно, как неброско, но очевидно меняется обличье и мужчин, и женщин. Женщина расцветает, теряет девичью угловатость; бедра, груди обретают округлость. Взгляд либо взволнован, либо

торжествующе-уверен. Мужчина делается спокойнее, чуть замыкается, не так гордо размахнуты плечи, подобраны ягодицы. Появляется раздумчивость и неуверенность.

Поначалу, столкнувшись с незнакомой мужской силой, которая ввергла их плоть в трепет и смятение, сестры едва не подчинились ей. Но вовремя возобладал разум: да, ласки приятны, но не более. В кабалу за них идти нельзя. У мужчин по-другому: в благодарность женщинам за минуты любви они готовы всю душу отдать. Хотя потом сами же в затылках чешут — эх, потеряли золотой, а нашли медяк. Приятель Конни становился все мрачнее, а приятель Хильды — язвительнее. Такой вот народ эти мужчины. Неблагодарные и ненасытные! Отказываешь им — они сердятся, потакаешь — пуще прежнего злобятся, повод всегда найдется. А то и вовсе без повода, просто капризничают, как дети, которых — старайся не старайся — женщине не ублажить.

Грянула война. Хильда и Конни поспешили домой, где были совсем недавно — хоронили мать. А к Рождеству 1914 года погибли и их друзья-немцы. Сестры всплакнули, любовь полыхнула в душе ярким огоньком и подернулась пеплом забвения. Этих молодых людей не вернешь.

Сестры поселились в отцовском доме в Кенсингтоне (по сути — доме их матери). Теперь их окружали студенты Кембриджа, они тоже отстаивали свою «свободу»: носили тонкие шерстяные костюмы, рубашки с отложными воротничками, кичились чистокровной анархией чувств, говорили вкрадчивым, журчащим шепотком, в поведении выказывали нарочитую впечатлительность и ранимость.

Хильда неожиданно вышла замуж; ее избранник был на десять лет старше, из той же кембриджской группы, немалого достатка, с нехлопотным чиновничьим местом, которое досталось ему по наследству. Он также писал философские трактаты. Она переехала к нему в тесноватый домик в Вестминстере. Круг знакомых теперь составляли чиновники, хоть и не самого высокого ранга, зато несомненно самые толковые на сегодняшний (или на завтрашний) день в стране. Такие люди не пустословят, а если уж заговорят, то умно и веско.

Конни участвовала в благотворительной работе в помощь фронту, однако не особенно усердствовала; проводила много времени в обществе своих кембриджских друзей, щеголявших не только модными брюками, но и непримиримыми взглядами. Эти молодые люди по-прежнему подсмеивались над всем и вся. Особенно она сблизилась с Клиффордом Чаттерли. Было ему двадцать два года, и он только что приехал из Бонна, где изучал технологию угольной добычи. А до этого два года проучился в Кембридже. Теперь, облачившись в лейтенантскую форму, он с большим форсом осмеивал все на свете. Принадлежал он, несомненно, к кругам высшим, нежели Конни. Та — из зажиточной интеллигентской среды, Клиффорд — из аристократии. Не ахти какой знатной, но все же. Отец его носил титул баронета, мать — графская дочь.

Клиффорд, хоть и получил лучшее, чем Конни, воспитание, хоть и вращался в свете, уступал ей в широте кругозора и напористости. В узком кругу помещиков-аристократов, «сливок общества» он чувствовал себя как рыба в воде, но с низшими сословиями — ордами простолюдинов — и иноземцами он терялся, робел. Да, если уж говорить начистоту, «низы» пугали его. Он чувствовал свою беззащитность, оттого бывал скован, хотя лучшей защитой ему служило положение в обществе. Увы, в наши дни, как ни странно, это козырь немалый.

Может, именно поэтому тихая, спокойная, но неизменная твердость духа привлекла его в Констанции Рид. В мире, где царит хаос, она чувствовала себя много увереннее, чем Клиффорд.

Нет, он отнюдь не мирился со всем, он восставал, восставал даже против аристократов. Впрочем, «восставал», пожалуй, сильно сказано. Слишком сильно. Просто в ту пору его подхватила волна всеобщего

среди молодежи протеста против условностей, против любой власти. Как нелепо и смешно старшее поколение! А его собственный отец — вдвойне! Как нелепы и смешны чиновники! А наши трусливые и ленивые бюрократы — вдвойне! Как нелепы армии, смешны тупоголовые генералы. А красномордый Китченер — вдвойне! А до чего ж нелепа война, смешного, правда, в ней мало: гибнут тысячи и тысячи людей.

Если приглядеться — все в жизни нелепо и смешно, прямо обхохочешься; а там, где попахивает властью, — и подавно, будь то армия, правительство или университет. А глядя, как правящий класс изо всех сил пыжится, воображая, что правит, разве удержишься от смеха?

Как смешон сэр Джефри: он рубил деревья на крепеж для окопов, увольнял шахтеров, поставляя солдат для фронта. И так, не рискуя волоском с головы, являл пример патриотизма, правда, очень накладного — он в конце концов едва не обанкротился.

Из центра страны в Лондон приехала его старшая дочь Эмма — она решила поработать сестрой милосердия. К отцовскому ура-патриотизму она отнеслась со спокойной улыбкой. Зато старший сын (и наследник) Герберт смеялся отцу в лицо, хотя именно в его парке вырубались деревья. Клиффорд тоже усмехался. Но чуть смущенно. Верно, все в жизни нелепо. Но когда нелепости врастают в твою жизнь, и сам становишься нелепым... Люди из других сословий, например Конни, жили без притворства. Они по крайней мере во что-то верили.

Они непритворно жалели английских солдат, боялись призыва в армию, сетовали на нехватку сахара и конфет детишкам. Ведь во всем этом — смейся не смейся — виноваты власти предержащие. Клиффорд всерьез об этой связи не задумывался. По его разумению, власть изначально нелепа и смешна, ни солдаты, ни конфеты тут ни при чем.

Меж тем правительственные чиновники, чувствуя свою нелепость и смехотворность, соответственно и поступали, и некоторое время страна жила словно в сумасшедшем доме. Пока не поменялось к лучшему положение на фронтах, пока Ллойд Джордж не пришел к власти и спастаки положение. Приумолкли юные острословы, неуместны стали их насмешки.

В 1916 году погиб Герберт Чаттерли, и наследником стал Клиффорд. Даже такая маленькая ответственность напугала его. С рождения его почитали как сына сэра Джефри, дворянского отпрыска, и участи своей ему не избежать. Знал он и то, что на бескрайнем и таком беспокойном белом свете всякие титулы и привилегии видятся кому желанными, а кому и смешными. И вот теперь он наследник и отвечает за судьбу родового гнезда. Как не испугаться?! Но в то же время он упивался своим барством. Может, это глупое тщеславие?

Для сэра Джефри, разумеется, самая мысль о тщеславии показалась бы кощунственной. Он ходил бледный, деланно-спокойный, погруженный в собственные замыслы: во что бы то ни стало спасти свою родину и свое положение при правительстве Ллойд Джорджа или при каком ином — не важно. Он так плохо представлял себе истинную Англию, так был оторван от сиюминутных ее забот, что держался доброго мнения даже о политиканах-прохвостах. Сэр Джефри верил в Англию и Ллойд Джорджа, как его предки издревле верили в Англию и Святого Георгия. Чаттерли-старший этой маленькой разницы так и не заметил. Он знай себе валил лес на своих угодьях и свято верил в Ллойд Джорджа и в Англию, в Англию и... Ллойд Джорджа.

Он очень хотел, чтобы Клиффорд женился и произвел наследника. Прямо средневековье какое-то, думал Клиффорд. Впрочем, далеко ли он ушел сам, разве что в язвительных насмешках над нелепой жизнью и над собственным смехотворным положением. Хочешь не хочешь, а пришлось ему, сдерживая глумливый смех, смириться: принимать ему и титул баронета, и родовую усадьбу Рагби.

Война в два счета покончила с беспечным весельем мирных дней. Кругом смерть, кровь... Мужчине хотелось уюта, поддержки. Мужчине хотелось в тихую гавань, где можно бросить якорь. Мужчине хотелось жениться.

Странное дело: несмотря на многочисленные знакомства, младшие Чаттерли (Герберт, Клиффорд и Эмма) жили в Рагби весьма обособленно, довольствуясь обществом друг друга. Семейные узы крепли: все трое чувствовали свою обособленность, шаткость своего положения среди людей (титул и земли скорее способствовали тому, нежели защищали). Жили они вроде бы и в самом промышленном сердце Англии, однако пульс их жизни был совсем иной. Жили они вроде бы среди таких же помещиков, как и отец, однако из-за домоседства, замкнутости и упрямства они так и не сблизились с соседями. Дети, хотя и нежно любили отца, частенько подсмеивались над его тяжелым нравом. Они поставили прожить всю жизнь неразлучной троицей. Но вот погиб Герберт, и сэр Джефри все надежды связал с женитьбой младшего сына. Нет, разговор об этом старик не заводил, он вообще был скуп на слова. Но его задумчивый взгляд, тяжелые, неспешные шаги, исполненное смысла молчание ну́дили Клиффорда пуще всяких попреков.

Его браку, впрочем, решительно воспротивилась Эмма. Была она десятью годами старше и считала: женится Клиффорд — значит, предаст и опорочит некогда изъявленную волю троих юных Чаттерли.

Все же Клиффорд женился на Конни и успел провести с ней медовый месяц. Страшный 1917 год сблизил их — так вмиг сближаются пассажиры на палубе тонущего корабля. До женитьбы Клиффорд не спал с женщинами, а плотские утехи значили для него очень и очень мало. А душевная близость с женой не нарушила его девства. Конни даже обрадовалась: вот истинная любовь, выше всяких там сексуальных отношений, выше «удовлетворения страсти». Клиффорд, собственно, и не домогался никакого удовлетворения, не в пример многим и многим мужчинам. Его близость с Конни глубже, интимнее близости половой, которая суть далеко не обязательное, второстепенное. Так, допотопная и смехотворно нелепая биологическая реакция, назойливо заявляющая о себе, а меж тем надобность в ней давно отпала. А Конни мечтала о ребенке. Хотя бы для того, чтобы утвердиться перед золовкой.

Но в начале 1918 года Клиффорда привезли домой, что называется, еле-еле душа в теле. Детей ждать не приходилось. Сэр Джефри не вынес горя и умер.

Глава 2

Осенью 1920 года Конни и Клиффорд вернулись в Рагби. Сестра Клиффорда так и не простила ему «предательства» и поселилась в Лондоне, в маленькой квартирке.

Усадьба Рагби — старый приземистый и долгий дом, сложенный из песчаника — стояла давно, с середины восемнадцатого века. С той поры к дому все лепились и лепились бесчисленные пристройки, и теперь он являл собою скорее муравейник, нежели дворянское гнездо. Стояла усадьба на всхолмлении посреди дубравы, но прямо за ней, увы, дымила и чадила огромная труба — там уже главенствовала шахта «Тивершолл», а у подножия холма, прямо от усадебных ворот, начиналась деревня — тоже Тивершолл,— тонувшая в сыром мареве. Собственно деревушку составляли унылые и безобразные домишки, разбросанные там и сям на добрую милю. Тесные, убогие, прокопченные дома из кирпича, крытые почерневшим шифером. Фасады их напоминали искаженные безысходной злобой лица.

Конни была более привычна к другой Англии: к Кенсингтону, к горам Шотландии, к долинам Сассекса. Но и чудовищно бездушное уродство шахтерского «сердца Англии» приняла с присущими всем молодым твердостью и решимостью. Приняла сразу. Взглянула и решила,

точно отрезала: лучше об этом и не думать, хотя такое и в страшном сне не приснится. Из тоскливых усадебных покоев ей было слышно, как лязгают огромные сита на сортировке, как тяжко вздыхает и отдувается подъемник, как громыхают вагонетки, как хрипло в изнеможении гудят шахтовые паровозы. Огонь уже долгие годы пожирал устье шахты «Тивершолл», но погасить его накладно. Так и горел огромный факел денно и нощно.

А подует ветер в сторону дома (что не редкость), и усадьба наполнялась удушливой серной вонью испражнений Земли. Да и в безветренный день тянет чем-то подземным: серой, железом, углем и еще чем-то кислым. Даже розы, выращенные к Рождеству, каждый раз покрываются копотью, как черной манной с небес в Судный день. Глазам своим не поверишь.

Увы, это так: здешний край обречен! Конечно, это ужасно, но стоит ли вставать на дыбы? Жизнь идет своим чередом, ее не остановишь. На низких полночных тучах загорались красные точки, играли огненные блики, то надувались пузырями, то лопались, как волдыри после ожога, оставляя непреходящую боль. То были шахтные печи. Поначалу они завораживали и пугали Конни, ей казалось, что она живет в преисподней. Но обвыклась. Почти каждое утро встречало ее нудным дождем.

Клиффорд же во всеуслышанье заявлял, что Рагби ему больше по душе, нежели Лондон. В этом краю таилась своя угрюмая сила, жили крепкие, с характером люди. А что еще, кроме характера, есть у этих людей, думала Конни. Ничего. Пустые глаза, пустые головы. Люди под стать своей земле: изможденные, мрачные, безобразные, недружелюбные. А еще таилась страшная неразгаданность и в гортанном их говоре, и в шарканье тяжелых башмаков с подковами, когда тянулись по асфальтовой дороге с работы группы шахтеров.

Ни торжественной встречи, ни празднества по случаю возвращения молодого хозяина селяне не устроили. Никто не пришел приветить его, не принес цветов. И пришлось уныло трястись в машине под дождем по мокрой, темной, обсаженной угрюмыми деревцами аллее; на холме, где начинался парк, паслись овцы; чуть выше раскинулась мрачная усадьба. У подъезда, как загостившиеся и в доме, и на земле постояльцы, робко переминались с ноги на ногу экономка и ее супруг, готовясь произнести кургузое приветствие.

Обитатели усадьбы и деревни не общались — решительно и бесповоротно. Встречая господ, мужчины не снимали шапок, женщины не приседали в полупоклоне. Шахтеры лишь глазели на хозяев; торговцы кивали Клиффорду как знакомцу (хоть и смущались при этом) и чуть приподнимали шапки, здороваясь с Конни. Вот и все почести. Непреодолимая пропасть пролегла между господами и простолюдинами. А еще их разделяло скрытое презрение друг к другу. Первые дни Конни очень страдала от этого чувства, изморосью висевшего в деревенском воздухе. Потом закалила сердце и даже гордилась своей твердостью. Нельзя сказать, что их с Клиффордом ненавидели. Просто Конни и Клиффорд — существа иного порядка, нежели шахтеры. И пропасть меж теми и другими бездонна, они немыслимо далеки друг от друга, как, скажем, далека река Трент (хотя отнюдь не бездонна). Здесь же, среди заводов и шахт центральной и северной Англии, меж хозяевами и рабочими никакого мостика не перекинуть, общения не завязать. Мы на своем краю, вы — на своем! Странно: ведь и у тех, и у других бьются в груди одинаковые сердца!

Впрочем, в деревне даже жалели молодоженов, но лишь отвлеченно. А в делах житейских — не тронь! — и та, и другая сторона замыкались.

Местный священник — милый старичок лет шестидесяти, истый ревнитель веры — напрочь потерял особинку, подчинившись деревенской заповеди. Шахтерские жены почти все принадлежали к методистской

церкви. Сами шахтеры — ни к какой. Но даже простое облачение отгораживало священника от шахтеров, те совершенно не принимали служителя культа как простого, обыкновенного человека. Для них он оставался «господином Эшби», этакой произносящей молитвы и проповеди машиной.

Поначалу Конни и удивлялась, и недоумевала, натыкаясь на непроизвольно упрямую спесь местных: дескать, хоть вы и леди, мы тоже не лыком шиты. А чего стоит недоверчивая, насквозь лицемерная улыбчивость шахтерских жен в ответ на попытки Конни найти с ними общий язык! Как странно! И как обидно! Всякий раз слышишь насмешливые шепотки: «Эка! Надо ж, сама леди Чаттерли меня словом удостоила! Только пусть нос не задирает, не воображает, что я — грязь у нее под ногами». Невыносимо! И не избавиться от этого. Местные на сближение не пойдут, нечего и надеяться!

Клиффорд уже махнул на них рукой, пришлось и Конни менять отношение. Она шла по улице, ни на кого не глядя, хотя на нее глазели, как на заводную куклу. Случись Клиффорду с кем заговорить, он держался надменно, даже презрительно. Искать с ними дружбы далее — непозволительная роскошь. Дело еще и в том, что Клиффорд привечал и уважал людей лишь своего круга. И в этом он был непоколебим, никаких уступок и компромиссов! Среди шахтеров он не снискал ни любви, ни ненависти. Они принимали его как неотъемлемую часть бытия: как шахты или как усадьбу Рагби.

В душе Клиффорд отчаянно робел и страдал, сознавая свою увечность. Он не хотел никого видеть, кроме домашней прислуги. Ведь ему приходилось либо сидеть в кресле, либо передвигаться тоже в кресле, но с моторчиком. Однако одевался он по-прежнему изысканно: шил платье у лучших портных, носил элегантные галстуки — все как прежде, и если поглядеть со стороны, он выглядел по-прежнему красавцем-щеголем. Причем в нем не было слащавой женственности, столь присущей нынешним юношам. Напротив, широкие, как у крестьянина, плечи, румяное лицо. Но нет-нет да и проглядывала его суть: в тихой, неуверенной речи; во взгляде — смелом и в то же время боязливом, уверенном и нерешительном. И вел он себя то до обидного надменно, то скромно, даже тушуясь, а случалось, и вовсе робел.

Конни и Клиффорд были привязаны друг к другу, но, как заведено у современной молодежи, без каких-либо сантиментов. Игривым, ласковым котенком Клиффорду уже не стать — слишком великое потрясение выпало ему, слишком глубоко засела боль. Увечный. И Конни льнула к нему всей своей сострадающей душой.

Конечно же она замечала, что муж почти отгородился от людей. Шахтеры по сути — крепостные. И видел он в них скорее орудия труда, нежели живых людей; они составляли для него часть шахты, но, увы, не часть жизни; относился он к ним как к быдлу, но не как к равным. А в чем-то даже боялся их: страшно вообразить, как они будут глазеть на него теперешнего, на калеку. А их грубый, малопонятный уклад представлялся ему скорее звериным, нежели человечьим.

Наблюдал он эти существа отстраненно, будто букашек в микроскоп или неведомые миры в телескоп. Сблизиться с ними и не пытался, как, впрочем, и ни с кем, разве что с обитателями усадьбы (давно ему привычными) да с сестрой Эммой (их связывали узы кровного родства и защита семейных интересов). И больше, казалось, ничто и никто его не касается. Пустота. Пропасть. И мне до него не дотянуться, думала Конни. Ухватиться не за что. Ведь он отвергает любое общение.

На самом же деле Клиффорд не мог обойтись без жены. Ни единой минуты. Рослый, сильный мужчина, а совершенно беспомощен. Разве что передвигаться по дому да ездить по парку он умел сам. Но, оставаясь наедине с собой, он чувствовал себя ненужным и потерянным. Конни постоянно должна быть рядом, она возвращала ему уверенность, что он еще жив.

Бок о бок с неуверенностью в Клиффорде уживалось честолюбие. Он принялся писать рассказы: удивительные, глубоко личные воспоминания о бывших знакомых. Получалось умно, иронично, но — вот загадка! — не угадывался авторский замысел. Клиффорду не отказать в чрезвычайной и своеобычной наблюдательности. Но его героям не хватало жизни, связи друг с другом. Действие разворачивалось словно в пустоте. А поскольку сегодняшняя жизнь в основном — ярко освещенные театральные подмостки, то рассказы Клиффорда удивительнейшим образом оказались созвучны современной жизни, точнее, душевному ладу современного человека.

Клиффорд прямо-таки с болезненной чуткостью внимал отзывам. Ему непременно хотелось, чтобы рассказы нравились, считались великолепными, непревзойденными. Напечатали их самые передовые журналы. Как водится, кое-что критика похвалила, кое-что — пожурила. Журьба для Клиффорда хуже пытки, каждое слово — нож острый. Похоже, в рассказы он вкладывал всю душу.

Конни помогала чем могла. Сперва работа волновала. Муж обсуждал с ней каждую мелочь дотошно и обстоятельно, а ей приходилось напрягать все силы и тела, и души, и женского своего естества — собирать их воедино, увязывать в композиции рассказа. Это и волновало, и увлекало Конни.

Иных, кроме духовных, забот у них не было. Хотя на Конни вроде бы лежало все домашнее хозяйство... но и им занималась экономка, долгие годы служившая еще при сэре Джефри. Высохшая, безупречных манер и поведения... такую даже горничной неудобно назвать или застольной прислужницей. Ведь она в доме уже сорок лет! Да и сами служанки долгие-долгие годы при усадьбе. Ужас! Уклад усадебной жизни неколебим. Лучше и не трогать. Пусть себе стоят многочисленные комнаты (куда хозяева же не заглядывают), и пусть наводят там столь привычную и столь же бессмысленную чистоту и порядок — так заведено в этих краях. Клиффорд, правда, вытребовал себе новую повариху, эта искусная стряпуха готовила ему еще в Лондоне. А в остальном в доме царила анархия, бездушная и механистичная. Все совершалось в определенной последовательности, все было расписано по минутам. Честность слу́ги блюли не менее строго, чем чистоту. И все же за таким бездумно-бездушным распорядком виделась Конни анархия. Ибо только теплом и лаской можно связать воедино и наполнить смыслом все эти ритуалы. А пока что дом жил уныло и безотрадно, словно забытая улица.

Могла ли Конни что-либо изменить? Нет, пожалуй, лучше ничего не трогать. Так она и поступила. Изредка наведывалась сестра Клиффорда; на ее худощавом породистом лице всякий раз запечатлевалось и нескрываемое ликование — в доме все по-прежнему! Нет, вовек она не простит Конни за то, что та порушила ее духовный союз с братом. Эмма первой привозила только что вышедшие в свет рассказы Клиффорда. Несомненно, это новое слово в литературе и принадлежит оно роду Чаттерли — единственное мерило ценности для Эммы. Все мыслители и писатели прошлого не в счет. Ценится в мире только новое, а новое — это книги Чаттерли, столь доверительные и интимные.

Заезжал в Рагби и отец Конни. Разговаривая с дочерью с глазу на глаз, он так отозвался о рассказах Клиффорда: «Пишет умно, да только копнешь, а внутри пусто. Бабочки-однодневки — его рассказы!»

Конни глядела на отца — дородного шотландского дворянина, обратившего всю жизнь лишь себе на пользу,— и ее большие, еще по-детски изумленные голубые глаза затуманивались. «Внутри пусто!» Что он хотел сказать? Что значит «пусто»? Ведь критики расхваливают Клиффорда, он уже стал известным, книги его стали доходными. Так что же хотел сказать отец, назвав мужнины рассказы «пустыми»? Какой содержательности им не хватает?

Конни, как и все молодые, считала: все самое-самое происходит сию минуту. А минуты, увы, быстротечны, и они подчас не являют непрерывную цепочку.

На второй год в Рагби, зимой, отец спросил у нее:

— Надеюсь, Конни, ты не поплывешь по течению и не останешься demi-vierge?

— Demi-vierge? — нерешительно переспросила та.— А почему бы собственно и нет?

— Да ради Бога, если тебя такое положение устраивает,— спешно пошел на попятный отец.

А оставшись наедине с Клиффордом, сказал, по сути, то же самое:

— По-моему, Конни не очень-то на пользу быть demi-vierge.

— То есть, и не женщиной, и не девушкой? — уточнил Клиффорд, переведя с французского.

Ненадолго он задумался, густо покраснел — упрек задел за живое.

— И в каком же смысле ей это не на пользу? — сухо спросил он.

— Ну, она с лица и с тела спала, одни мослы торчат. Ее это отнюдь не красит. Воблой сушеной она отродясь не была, всегда ладненькая, круглобокая, как форель у нас в Шотландии.

— Одним словом, со всех сторон хороша,— подхватил Клиффорд.

Потом он хотел поговорить с Конни о ее двойственном положении... каково ей оставаться девушкой при живом муже. Но так и не набрался храбрости. Близкое, доверительное отношение к супруге порой словно натыкалось на преграду. Душой и мыслями они были едины, телом — просто не существовали друг для друга и избегали любого напоминания об этом, боялись, как преступники — улик.

Впрочем, Конни догадалась, что у отца был какой-то разговор с Клиффордом и чем-то Клиффорд крепко озабочен. Она знала, что его не беспокоит — demi-vierge она или demi-monde [1], лишь бы сам он ничего не ведал и никто б не указал. Чего глаз не видит, о том душа не болит.

Почти два года жили в Рагби Конни и Клиффорд, и тусклую жизнь их целиком поглощала Клиффордова работа. В этом интересы супругов никогда не расходились. Они обсуждали каждый поворот сюжета, спорили, в муках рождая рассказ, и обоим казалось, что их герои и впрямь живут, дышат... но в безвоздушном пространстве.

Так же в пустоте протекала и жизнь супругов. Остального просто не существовало. Усадьба, слуги — все казалось бесплотным и ненастоящим. Конни ходила гулять и в парк, и в лес сразу за парком: лес дарил ей уединение и тайну. Осенью она ворошила палую листву, весной — собирала первоцветы. Словно один бесконечный сон, похожий на жизнь. Порой она виделась себе будто в зеркале: вот она, Конни, ворошит листву, а вот женщина (она напоминает героиню какого-то рассказа) собирает первоцветы. И цветы — лишь тени воспоминаний, отзвуки чьих-то слов. И она сама, и все вокруг бесплотны. И некому протянуть руку, не с кем обмолвиться словом. Все, что у нее есть,— это жизнь с Клиффордом, плетение нескончаемых словесных кружев с тончайшим орнаментом подсознательного, хотя и говорит ее отец, что рассказы пустые, «бабочки-однодневки». А почему, собственно, должны они полниться чем-то? Почему должны жить вечно? Довольно для *каждого* дня своей заботы [2], как довольно для каждого мига не правдивого изображения, а правдивой иллюзии.

У Клиффорда водились друзья, вернее сказать — знакомцы. Иногда он приглашал их в Рагби. Люд бывал самый разный: и критики, и писатели, но каждый усердно подпевал в хоре славословия хозяйским рассказам. Им льстило приглашение в Рагби, вот они и старались. Конни все это отлично понимала, но не противилась. Подумаешь — мелькают в зеркале тени. Ну и что из того?

Она радушно принимала гостей, в основном мужчин. Она радуш-

[1] Дама полусвета *(франц.)*.

[2] Евангелие от Матфея, 6, 34.

но принимала и редких мужниных родичей — дворян. И те, и другие, видя милую, румяную, голубоглазую простушку с тихим голосом (чуть ли не конопатую!) полагали ее несовременной — сегодня такие крутые, вальяжные бедра не в почете. Сегодня и впрямь в моде «воблы сушеные», девушки с мальчишескими фигурами, плоскогрудые и узкобедрые. А Конни слишком уж «женственная» для современной красавицы.

Разумеется, гости — мужчины, в основном немолодые — относились к ней распрекрасно. Она же, зная, как уязвит Клиффорда даже малейший намек на флирт, не принимала никаких знаков внимания. Держалась спокойно и чуть отстраненно, намеренно отгораживаясь от какого-либо общения. Клиффорд в такие минуты гордился собою несказанно.

И родные его в общем-то привечали Конни. Возможно, потому, что не боялись ее. Но раз не боялись, значит, и не уважали. И с родней мужа у Конни не складывалось никаких отношений. Пусть говорят ей любезности, пусть едва скрывают снисходительное высокомерие, опасаться ее не стоит, так что острый булат их злословия может почивать в ножнах. Ведь Конни, по сути дела, отстояла от них далеко-далеко.

Время шло, что-то происходило вокруг, но для Конни ничего не менялось, она так замечательно самоустранилась от всего окружающего мира. Жили они с Клиффордом среди литературных замыслов. Скучать Конни не доводилось, в доме почти всегда были гости. Тик-так, тик-так, тикали дни и недели, только они явно спешили...

Глава 3

Конни стала замечать, как в душе все растет и растет беспокойство, оно заполняло пустоту, завладевало ее разумом и телом. Вдруг, вопреки желанию, начинали дергаться руки и ноги. Или, словно током, било в спину, и Конни вытягивалась в струнку, хотя ей хотелось развалиться в кресле. Или начинало щекотать где-то во чреве, и нет никакого спасения, разве что прыгнуть в реку или озеро и уплыть от щекотливой дрожи прочь. Наваждение! Или вдруг отчаянно заколотится сердце — ни с того ни с сего. Конни еще больше похудела и осунулась.

Наваждение! Вдруг вскочит и бросится по парку — прочь от Клиффорда,— упадет ничком в зарослях папоротника. Только бы подальше от дома, подальше ото всех. В лесу обретала она и приют, и уединение.

Впрочем, приют ли? Ведь с ним ничто ее не связывало: скорее в лесу ей удавалось спрятаться от всех и вся. А к истинной душе леса, если вообще о ней уместно говорить, Конни так и не прикоснулась.

Она смутно чувствовала: в ней зреет какой-то разлад. Она смутно понимала: жизнь, люди — точно за стеклянной стеной. Не проникают сквозь нее живительные силы! Рядом лишь Клиффорд и его книги — бесплотные миражи, то есть пустота. Куда ни кинь — лишь пустота. Конни это чувствовала и понимала, но смутно.

Что же делать? Стену лбом не прошибешь. Снова намекал отец:

— А что б тебе ухажера завести, а? Познала б все радости жизни.

В ту зиму на несколько дней в Рагби заезжал Микаэлис, молодой ирландец-драматург, сколотивший состояние в Америке. Некогда его с восторгом принимали в лучших домах Лондона. Как же! Ведь его пьесы о них, аристократах. Со временем в лучших домах поняли, что их просто-напросто высмеял дублинский мальчишка из самых что ни на есть низов общества. И его возненавидели. В разговоре его имя стало олицетворять хамство и ограниченность. Вдруг выяснилось, что настроения у него — антианглийские. Для некогда поднявших его на щит аристократов это было самым страшным преступлением. Итак, высшее общество морально казнило Микаэлиса и выбросило труп на помойку.

Сам же драматург преспокойно жил в престижнейшем районе Лондона, одевался как истинный джентльмен (не запретишь ведь лучшим портным шить и для подонков, если те хорошо платят).

Приглашение от Клиффорда Микаэлис получил в самый неблагоприятный момент за все тридцать лет жизни. Причем Клиффорд послал приглашение не колеблясь! В ту пору к мнению Микаэлиса прислушивались еще миллионы людей. В лихую для себя годину он, несомненно, будет рад-радешенек погостить в Рагби, ведь для него закрыты все остальные «приличные» дома. И уж конечно он потом отблагодарит Клиффорда, вернувшись в Америку. Деньги! Слава! И то, и другое — что пожелаешь — придет, если о тебе в нужную минуту, в нужном месте замолвят словечко, особенно там, за океаном. Молодой, подающий надежды писатель вдруг обнаружил огромную, совершенно подсознательную и глубоко коренящуюся тягу к известности. В конце концов Микаэлис поступил очень великодушно: вывел Клиффорда в очередной своей пьесе, тем самым прославив. Не сразу сообразил Клиффорд, что драматург высмеял и его.

Конни не понимала, откуда у мужа такое слепое, подсознательное стремление — прославиться. Важнее ничего не существовало. Зачем ему слава в этом безалаберном мире, которого он толком не знал и боялся, не ожидая добра. В этом мире его, однако, почитали писателем, причем писателем первоклассным и весьма современным. Конни вспомнила слова своего удачливого, грубого и простодушного отца: кто к искусству причастен, непременно должен себя в лучшем виде представить, да еще и все «прелести» напоказ выставить. Но сам отец, как и его друзья-художники, поторговывавшие своими холстами, довольствовался доступной рекламой. Клиффорд же изыскивал все новые, неочевидные способы — только чтоб о нем узнали. Он принимал в Рагби самых разных людей и ни перед одним в общем-то не пресмыкался. Но уж если вознамерился воздвигнуть в одночасье памятник своему писательскому таланту, не погнушаешься и за малым камушком нагнуться.

Микаэлис не заставил себя ждать, приехал на красивой машине, с шофером и слугой. Джентльмен с головы до пят! У Клиффорда, привыкшего не к столичному лоску, а к простой деревенской жизни, шевельнулось в душе неприятное чувство. Что-то притворное, нет, пожалуй, даже лживое угадывалось во внешности гостя. Под холеной личиной скрывалась совсем иная суть. Клиффорду этого было достаточно — выводы он делал категорично. Тем не менее к гостю отнесся очень уважительно. И тот был просто очарован. Подле него, тишайше-нижайше ироничнейшего, виляла хвостом, то рыча, то ощериваясь, Удача. И благоговеющему Клиффорду так захотелось почесать ей за ухом, подружиться — вот только, не ровен час, укусит.

Как ни обряжали, ни обували, ни холили Микаэлиса моднейшие лондонские портные, башмачники, шляпники, цирюльники, на англичанина он решительно не походил. Совершенно не походил! Не то лицо — бледное, вялое и печальное. Не та печаль — не подобающая истинному джентльмену. Читалась на этом лице помимо печали еще и озлобленность. А ведь и слепому ясно, что истинный, рожденный и взращенный в Англии джентльмен сочтет ниже своего достоинства выказывать подобные чувства. Бедняге Микаэлису досталось изрядно пинков и тычков, поэтому вид у него был чуть затравленный. Он выбился «в люди» благодаря безошибочному чутью и поразительному бесстыдству в пьесах, завоевавших теперь подмостки. Публика валила валом. Казалось, все пинки и тычки — в прошлом... Увы, так только казалось. Никогда им не суждено кончиться. Микаэлис зачастую сам лез на рожон. Тянулся к высшему обществу, где ему совсем не место. Ах, с каким удовольствием английские светские львы и львицы набрасывались на драматурга! И как люто он их ненавидел!

Тем не менее этот выходец из дублинской черни ездил с собственным шофером и со слугой!

Конни в нем даже что-то понравилось. Он не заносился, прекрасно сознавая свое положение. С Клиффордом беседовал толково, немного-

словно и обо всем, что того интересовало. Говорил сдержанно, не увлекался, понимал, что пригласили его в Рагби, поскольку заинтересованы в нем. И как многоопытный и прозорливый, но в данном случае почти бескорыстный делец, если не сказать — воротила, он любезно выслушивал вопросы и, не тратясь душой, спокойно отвечал.

— Что деньги? — говорил он.— Страсть к деньгам у человека в крови. Это свойство человеческой натуры, и от вас ничего не зависит. И страсть эта — не единичный приступ, а болезнь всего вашего существа, долгая и изнурительная. Вы начали делать деньги и уже не остановиться. Впрочем, у каждого свой предел.

— Но важно начать,— вставил Клиффорд.

— Безусловно! Пока не «заразились», ничего у вас не выйдет. А как на эту дорожку встанете, так все — вас понесет по течению.

— А могли бы вы зарабатывать иначе, не пьесами? — полюбопытствовал Клиффорд.

— Скорее всего, нет. Плох ли или хорош, но я писатель, драматург, это мое призвание. Поэтому ответ однозначен.

— И что же, ваше призвание — быть именно популярным драматургом? — спросила Конни.

— Вот именно! — мгновенно повернувшись к ней, ответил Микаэлис.— Но эта популярность — мираж, и только. Как мираж и сама публика, если на то пошло. И мои пьесы — тоже мираж, в них нет ничего особенного. Дело в другом. Как с погодой: какой суждено быть, такая и установится.

В чуть навыкате глазах у него таилось бездонное, безнадежное разочарование. Вот он медленно поднял взгляд на Конни, и она вздрогнула. Микаэлис вдруг представился ей очень старым, безмерно старым; в нем будто запечатлелись пласты разных эпох и поколений, пласты разочарования. И в то же время он походил на обездоленного ребенка. Да, в каком-то смысле он изгой. Но чувствовалась в нем и отчаянная храбрость — как у загнанной в угол крысы.

— И все же за свою жизнь вы сделали очень и очень много,— задумчиво произнес Клиффорд.

— Мне уже тридцать... да, тридцать! — воскликнул Микаэлис и вдруг, непонятно почему, глухо рассмеялся. Слышались в его смехе и торжество, и горечь.

— Вы одиноки? — спросила Конни.

— То есть? Живу ли я один? У меня есть слуга, грек, как он утверждает, и совершенный недотепа. Но я к нему привык. Собираюсь жениться. Да, жениться необходимо!

— Вы словно об удалении гланд говорите! — улыбнулась Конни.— Неужто жениться так тягостно?

Микаэлис восхищенно взглянул на нее.

— Вы угадали, леди Чаттерли! Выбор — страшное бремя! Простите, но меня не привлекают ни англичанки, ни даже ирландки.

— Возьмите в жены американку,— посоветовал Клиффорд.

— Американку! — глухо рассмеялся Микаэлис.— Нет уж, я попросил слугу, чтобы он мне турчанку нашел или какую-нибудь женщину с Востока.

Конни надивиться не могла на это дитя сногсшибательной удачи: такой необычный, такой задумчивый и печальный... Поговаривали, что только постановки в Америке сулят ему пятьдесят тысяч долларов ежегодно. Порой он казался ей красивым: в профиль и слегка наклонившись, он, если удачно падал свет, напоминал лицом африканскую маску слоновой кости — чуть навыкате глаза, рельефные дуги волевых бровей, застывшие, неулыбчивые губы. И в неподвижности этой — несуетная созерцательность, отрешенность от времени. Таким намеренно изображают Будду. А в африканских масках никакой намеренности — все естественно и просто, в них извечное смирение целой расы. Сколько же ей уготовано судьбой терпеть и смиряться! Иное дело — мы: всяк сам

по себе, топорщится, противится судьбе. Барахтаемся, точно крысы в омуте, пытаемся выплыть. Конни вдруг захлестнула волной жалость к этому человеку, странная, брезгливая жалость, но столь великая, что впору сравнить с любовью. Изгой! Ведь он же изгой! «Нахал», «пройдоха» — бросали ему в лицо. Да в Клиффорде в сто раз больше и самомнения и нахальства! Да и глупости тоже!

Микаэлис быстро смекнул, что покорил хозяйку дома. И во взгляде больших карих глаз засквозила отстраненность. Он хладнокровно оценивал Конни, равно и впечатление, которое на нее произвел. С англичанкой даже в любви он навечно обречен оставаться изгоем. Женщины, однако, нередко льнули к нему. В том числе и англичанки.

С Клиффордом Микаэлис держался независимо и раскованно, смекнув, что этот — такой же чужак в аристократической стае. Им больше по душе рычать друг на друга, нежели улыбаться. Но обстоятельства сильнее.

С Конни он не был столь самоуверен.

Завтракали они в покоях — в столовой Клиффорд обычно появлялся лишь к обеду, а в утренний час там было не очень-то уютно. После кофе Микаэлис — непоседа и суетник — затосковал, не зная, чем заняться. Стоял чудесный ноябрьский день... чудесный, конечно, по меркам Рагби. Микаэлис загляделся на печальный парк. Господи! Какая же красота.

Микаэлис послал слугу узнать, нельзя ли чем услужить леди Чаттерли — он собирается поехать в Шеффилд. Слуга вернулся с ответом: хозяйка просит пожаловать к ней в гостиную.

Гостиная Конни располагалась на верхнем этаже в центральной части дома. Покои и гостиная Клиффорда, разумеется, на первом. Микаэлису польстило приглашение в апартаменты хозяйки. Ничего не замечая вокруг, пошел он за слугой... Впрочем, он вообще ничего не замечал и с окружением не соприкасался.

В гостиной он осмотрелся, приметил отличные немецкие копии Ренуара и Сезанна на стенах.

— Как у вас здесь хорошо,— похвалил он и осклабился. Странная была у него улыбка — точно болезненный оскал.— Умно вы поступили, наверху устроились.

— Да, здесь лучше,— согласилась она.

И впрямь: во всем доме лишь ее комната не была безнадежно унылa и старомодна. Лишь в ее комнате запечатлелся характер хозяйки. Клиффорд ее вообще не видел, да и не многих гостей приглашала Конни к себе наверх.

Они с Микаэлисом сели слева и справа от камина и затеяли разговор. Она расспрашивала его о семье, о нем самом. Люди, казалось, всегда несли с собой чудо, и уж коль скоро они пробуждали в Конни сочувствие, не все ли равно, к какому классу принадлежат. Микаэлис говорил совершенно откровенно, но не играл на чувствах собеседницы. Он просто открывал ей свою разочарованную и усталую, как у бездомного пса, душу, иногда чуть обнажая уязвленную гордыню.

— Вы — словно птица, отбившаяся от стаи. Почему так? — спросила Конни.

И снова большие карие глаза пристально глядят на нее.

— А не все птицы стаи держатся,— ответил он и прибавил с уже знакомой иронией: — Вот вы, например? Вы же тоже сами по себе.

Слова эти смутили Конни, и она не сразу нашла что ответить.

— Далеко не во всем, не то что вы.

— А я, выходит, безнадежный одиночка? — спросил он, снова осклабившись и сморщившись, как от боли. Лишь в глазах на исказившемся лице все та же грусть, или же смирение перед судьбой, или разочарование, или даже страх.

— Конечно! — У Конни даже захватило дух, когда она взглянула на него.— Конечно, одиночка.

Сколь велик зов его плоти! Конни с трудом сохранила спокойствие.

— Вы совершенно правы! — ответил он, отвел взор, опустил глаза, лицо же оставалось неподвижным, как древняя маска древней расы, которой ныне уже нет. Микаэлис отстранился и замкнулся. От этого, именно от этого лишилась Конни спокойствия.

Вдруг он снова поднял голову, посмотрел ей прямо в лицо: ничего не укроется от такого взгляда, каждую мелочь приметит. И в то же время словно малое дитя воззвало к ней среди беспросветной ночи. И глас, рвущийся из его сердца, отозвался у Конни во чреве.

— Спасибо за то, что думаете обо мне,— только и сказал он.

— Отчего же мне не думать?! — едва слышно, с чувством произнесла она.

Микаэлис криво усмехнулся, будто хмыкнул.

— Ах, вон, значит, как!.. Позвольте руку! — вдруг попросил он и взглянул не нее, вмиг подчинив своей воле, и снова мольба плоти мужской достигла плоти женской.

Она смотрела на него зачарованно, неотрывно, а он опустился на колени, обнял ее ноги, зарылся лицом в ее колени и застыл.

Потрясенная Конни как в тумане видела мальчишески трогательный затылок Микаэлиса, чувствовала, как приник он лицом к ее бедрам. Смятение огнем полыхало в душе, но почти помимо своей воли Конни вдруг нежно и жалостливо погладила такой беззащитный затылок. Микаэлис вздрогнул всем телом.

Потом взглянул на нее: большие глаза горят, в них та же страстная мольба. И нет сил противиться. В каждом ударе ее сердца — ответ истомившейся души: отдам тебе всю себя, всю отдам.

Непривычны оказались для нее его ласки, но Микаэлис обращался с ней очень нежно, чутко; он дрожал всем телом, предаваясь страсти, но даже в эти минуты чувствовалась его отстраненность, он будто прислушивался к каждому звуку извне.

Для Конни, впрочем, это было не важно. Главное, она отдалась, отдалась ему! Но вот он больше не дрожит, лежит рядом тихо-тихо, голова его покоится у нее на груди. Еще полностью не придя в себя, она снова сочувственно погладила его по голове.

Микаэлис поднялся, поцеловал ей руки, ступни в замшевых шлепанцах. Молча отошел к дальней стене, остановился, не поворачиваясь к Конни лицом. Потом вернулся к ней — Конни уже сидела на прежнем месте подле камина.

— Ну, теперь вы, очевидно, ненавидите меня? — спросил он спокойно, пожалуй даже обреченно. Конни встрепенулась, взглянула на него.

— За что же?

— Почти все ненавидят... потом.— И тут же спохватился.— Это вообще присуще женщине.

— Ненависти к вам у меня никогда не будет.

— Знаю! Знаю! Иначе и быть не может! Вы ко мне так добры, что даже страшно! — вскричал он горестно.

«С чего бы ему горевать?» — подумала Конни.

— Может, присядете? — предложила она.

Микаэлис покосился на дверь.

— А как сэр Клиффорд?..— начал он.— Ведь ему... ведь он...— и запнулся, подбирая слова.

— Ну и пусть! — бросила Конни и взглянула ему в лицо.— Я не хочу, чтоб он знал или даже подозревал что-то... Не хочу огорчать его. По-моему, ничего плохого я не делаю, а как по-вашему?

— Господи, что ж тут плохого! Вы просто бесконечно добры ко мне... Невыносимо добры.

Он отвернулся, и она поняла, что вот-вот он расплачется.

— Не нужно, чтоб Клиффорд знал, правда? — уже просила Конни.—

Он очень расстроится, а не узнает — ничего и не заподозрит. И никому не будет плохо.

— От меня,— взорвался вдруг Микаэлис,— он уж во всяком случае никогда ничего не узнает! Никогда! Не стану ж я себя выдавать? — И он рассмеялся глухо и грубо — его рассмешила сама мысль.

Конни лишь завороженно смотрела на него. А он продолжал:

— Позвольте ручку на прощанье, и я отбуду в Шеффилд. Пообедаю, если удастся, там, а к чаю вернусь. Что мне для вас сделать? И как мне увериться, что у вас нет ко мне ненависти? И не будет потом? — закончил он на отчаянно-бесстыдной ноте.

— У меня нет к вам ненависти,— подтвердила Конни.— Вы мне очень приятны.

— Да что там! — продолжал он неистово.— Лучше б вы сказали, что любите меня. Эти слова значат куда больше... Прощаюсь до вечера. Мне надо многое обдумать.— Он смиренно поцеловал ей руку и ушел.

За обедом Клиффорд заметил:

— Что-то мне трудно выносить общество этого молодого человека.

— Почему? — удивилась Конни.

— За внешним лоском у него душа прохвоста. Только и ждет, когда б ножку подставить.

— С ним так обходились,— обронила Конни.

— И неудивительно! Ты думаешь, он день-деньской только добро и творит?

— По-моему, он бывает и благороден по-своему.

— К кому это?

— Наверное не скажу.

— Конечно, не скажешь. Не путаешь ли ты благородство с беспринципностью?

Конни задумалась. Неужели Клиффорд прав? Не исключено. Конечно, Микаэлис к цели идет любым путем, но даже в этом что-то привлекает. И исходил он ох как немало, а Клиффорд и нескольких жалких шагов не прополз. Микаэлис достиг цели, можно сказать, покорил мир, а Клиффорд только мечтает. А какими путями достигается цель?.. Да и так ли уж пути Микаэлиса грязнее Клиффордовых? Бедняга сам пускался во все тяжкие, не мытьем, так катаньем, но добился своего. Чем лучше Клиффорд: чтобы пробраться к славе, не гнушается никакой рекламой. Госпожа Удача — ни дать ни взять сука, за которой тысячи кобелей гонятся, вывалив языки, задыхаясь. Кто догонит — тот среди кобелей король. Так что Микаэлис может гордиться!

То-то и удивительно, что не гордился.

Вернулся он к пяти часам с букетами фиалок и ландышей. И снова — как побитый пес. Может, это маска, думала Конни, так легче обескуражить врагов. Только уж больно он привык к этой маске. А вдруг он и впрямь — побитый грустноглазый пес.

Так и просидел весь вечер Микаэлис с видом несчастной собаки. Клиффорду за этой маской представлялась суть — дерзость и бесстыдство. Конни не видела ни того, ни другого; возможно, против женщин он не направлял это оружие. А воевал только с мужчинами, с их высокомерием и заносчивостью. И вот эту-то неистребимую дерзость, таящуюся за унылой, худосочной личиной, и не могли простить Микаэлису мужчины. Само его присутствие оскорбляло светского человека, и оскорбление это не скрыть за ширмой благовоспитанности.

Конни влюбилась, но ничем себя не выдала; в беседу мужчин она не вмешивалась, а занялась вышивкой. Микаэлису нужно отдать должное: он оставался, как и вчера, грустноглазым, внимательным собеседником, хотя по сути был несказанно далеко от хозяев дома. Он лишь умело подыгрывал беседе, отвечая коротко, но ровно столько, сколько от него ожидалось, не выпячивая свое «я». Конни даже показалось, что он, скорее всего, забыл их утреннюю встречу. Но он ничего не забыл.

Не забыл и где находится. Тут он тоже — изгой, что ж, такова участь уродившегося изгоем. Утреннюю любовную игру он не принял близко к сердцу. Не переменит его это приключение. Как бездомным псом жил, таким и останется. Хоть завидуют его золотому ошейнику, а все одно: не бывать ему комнатной собачонкой.

В глубине души он сознавал (и смирялся!): в какие павлиньи перья ни рядись, все равно он чужак и в обществе не приживется. Но, с другой стороны, внутренняя отрешенность от всех и вся была ему необходима. Ничуть не меньше, чем чисто внешнее единообразие в общении с «благородными» людьми.

Редкие любовные связи утешали, успокаивали, словом, влияли на него благотворно, и Микаэлиса не упрекнуть в неблагодарности. Напротив, он пылко и растроганно благодарил за малую толику человеческого тепла, нежданной доброты, едва не плача при этом. За бледным, недвижным лицом-маской, запечатлевшим разочарование, таилась детская душа, исполненная благодарности ласковой женщине. Нестерпимо хочется побыть с ней еще, а душа изгоя твердила: ты все равно от нее далеко.

Зажигая свечи в зале, он улучил момент и шепнул ей:

— Можно мне к вам прийти?

— Я приду сама,— ответила Конни.

— Господи!

Он ждал ее долго-долго... но дождался.

Ласкал он ее трепетно, возбуждение его быстро нарастало, но так же быстро кончалось. Странно, голый он походил на подростка: щуплый, беззащитный — такие тела у мальчишек. Будто вместе с одеждой он расстался со своей броней: умом и хитростью, которая вошла в плоть и кровь. Обнажилось не только его тело, но и душа. Нежный, еще не оформившийся плотью ребенок беспомощно барахтается подле нее.

Да, он вызывал в ней необоримую жалость, но равно и необоримую страсть, желание близости. А близость меж тем не приносила ей радости: Микаэлис слишком быстро возгорался, но так же быстро и затухал — без сил падал к ней на грудь, и мало-помалу к нему возвращалась привычная бесстыдная дерзость. А Конни лежала как в полусне, разочарованная и опустошенная.

Но скоро она научилась управлять его телом: когда он быстро утолял свою страсть, Конни, чувствуя в себе его жаркую, на удивление все еще упругую плоть, не отпускала его, а неистово, со всей нерастраченной пылкостью брала на себя ведущую роль, и он благодарно поддавался, уступая ее страсти. Так она достигала высшей точки блаженства. А он, видя, что даже в пассивном положении способен удовлетворить женщину, сам, как ни странно, бывал горд и удовлетворен.

— Как хорошо! — трепетно шептала она, затихала и приникала к нему. А он лежал такой близкий и такой далекий, довольный собой.

В тот раз он гостил у них три дня, и Клиффорд не заметил в нем никаких перемен. Не заметила бы и Конни. Маску Микаэлис носил безупречно.

Он писал ей письма, все на той же грустно-усталой ноте, порой остроумные, порой трогавшие странной привязанностью без намека на плотское. По-прежнему он был раздвоен: с одной стороны, безнадежно тянулся к Конни, с другой — оставался далеким и одиноким. Какая-то безысходность таилась у него в душе, и он не торопился с ней расстаться, возродить надежду. Скорее наоборот, он ненавидел самое надежду. «Огромной волной катит по земле Надежда»,— вычитал он где-то и заметил: «И гонит на пути все достойное и желанное».

Конни толком не понимала его, хотя по-своему любила. Впрочем, безысходность Микаэлиса подавляла ее чувство. Нельзя без оглядки любить разуверившегося человека. А уж он и подавно никогда никого не любил.

Так и тянулась их связь несколько времени — письма да редкие

встречи в Лондоне. Она по-прежнему получала удовлетворение, истинное трепетное наслаждение, лишь подчинив его тело своему после того, как у него наступала чересчур быстрая разрядка. И он по-прежнему с готовностью подчинялся ее воле. На этом малом, собственно, и держалась их связь.

Но Конни доставало и малости. У нее появилась уверенность в себе, даже более — едва заметное довольство собой. Уверенность в своих силах, хоть и зижделась на чистой физиологии, давала огромную радость.

Как переменилось ее настроение в Рагби! Конни радовалась жизни, радовалась пробудившемуся женскому началу. И своим настроением она изо всех сил старалась подвигнуть Клиффорда на самые удачные творения. Они ему и впрямь удавались в ту пору, и он был почти что счастлив в неведении: ведь он пожинал плоды, взращенные на чувственной ниве его супруги, по сути, ею же самой, так как пахарь, равно и орудие его страсти были полностью подвластны Конни. Но Клиффорд, конечно же, об этом не догадывался. Узнай он, вряд ли похвалил бы жену.

Впрочем, когда дни великой радости и подъема ушли (причем безвозвратно!) и Конни вновь сделалась унылой и раздражительной, Клиффорд безмерно тосковал по дням минувшим. Тогда, может быть, даже узнав о связи жены с Микаэлисом, он попросил бы их снова сойтись.

Глава 4

Конни предчувствовала, что отношения с Миком (так многие называли Микаэлиса) заведут в тупик. Однако другие мужчины для нее будто и не существовали. Душой она была привязана к Клиффорду. Он хотел многого: чтобы вся ее жизнь принадлежала ему, и Конни давала что могла. Но она тоже хотела многого от мужчины, с которым живет. Клиффорд этого не давал. Не мог. Она довольствовалась редкими, скоротечными ласками Микаэлиса. Но предчувствие крепло: скоро все кончится. Мик не способен на долгую привязанность. Он непременно разорвет любую связь, вырвется на свободу — в этом его суть. Отрешится от всех и вся и снова станет бродячим псом. Без этого ему не прожить. Хотя потом он запричитает: «Это она меня бросила!»

На белом свете полным-полно самых заманчивых возможностей, но каждому в жизни выпадает лишь одна-две. Много в море самой замечательной рыбы, но попадается все скумбрия да сельдь. И если вы сами не из благородных, то хорошей рыбы встретите в море не много.

Клиффорд рвался к славе, да и к деньгам тоже. К нему часто приезжали, гость в Рагби шел косяком. Но все скумбрия да сельдь, редко-редко кто покрупнее да поблагороднее.

Был и, так сказать, постоянный круг — однокашники Клиффорда по Кембриджу.

Томми Дьюкс, он и после войны не оставил армию. Дослужился уже до бригадного генерала.

— Служба оставляет мне много времени для раздумий и спасает от битв в жизни повседневной,— говаривал он.

Ирландец Чарльз Мей, он очень умно писал о звездах.

Хаммонд — тоже писатель.

Все они — ровесники Клиффорда, молодые современные интеллигенты. Все они верили, что нужно жить высокодуховно. А остальное — личное дело каждого и значения не имеет. Никому же не придет в голову спрашивать, когда вы ходите в уборную. Никого это не интересует, кроме вас.

И ко всему в повседневной жизни — бедны вы или богаты, любите ли жену или у вас есть любовница — они относились так же: это ваше личное дело и посторонних интересовать не должно.

— Смысл полового вопроса в том, что он бессмыслен,— разгла-

гольствовал тощий, долговязый Хаммонд, супруг, отец двух детей, более породнившийся, однако, с пишущей машинкой.— Сам вопрос надуман. Придет ли кому в голову сопровождать вас в сортир? Так почему ж мы должны лезть к вам в постель, когда вы с женщиной? Вот и весь вопрос. Научиться не замечать половую жизнь, как и прочие естественные отправления, и нет больше никакого вопроса. Все дело в нашем неуместном любопытстве.

— Верно, Хаммонд, верно! Представь — кто-то задумал переспать с твоей Джулией, ты небось вскипишь, а перейди он от слов к делу — взорвешься!

— Ну конечно! Если кто станет мочиться в углу гостиной — тоже не потерплю. Всему свое место.

— То есть, соблазни кто Джулию в пристойном будуаре, ты и ухом не поведешь.

Чарли Мей немного язвил — он приударял за женой Хаммонда. Тот грубо отрезал:

— Наша половая жизнь с Джулией никого не касается. И совать нос я никому не позволю.

— Вот видишь, Хаммонд, как в тебе развито собственничество,— заметил тщедушный, конопатый Томми Дьюкс, куда больше похожий на ирландца, чем дебелый Мей.— А еще ты жаждешь самоутверждения, успеха. Я до мозга костей человек военный, светскую жизнь со стороны наблюдаю и вижу, как чрезмерна в мужчинах тяга к самоутверждению и успеху. Она все затмевает. Забирает силы без остатка. Ну, а такие, как ты, считают, что с женщиной под боком быстрее к цели придешь. Оттого и ревнуешь. Для тебя и постель — генератор успеха. А пойдет успех на убыль — начнешь и жене изменять. Вон как Чарли: его успех стороной обошел. Но на таких, как вы с Джулией, супругах будто ярлычок висит, знаешь, как на чемоданах: собственность такого-то. Вы уже сами себе не принадлежите. Джулия — «собственность Арнольда Б. Хаммонда», а сам он — «собственность госпожи Хаммонд». Да, конечно, ты возразишь: дескать, высокая духовная жизнь требует материального достатка — и уютного жилья, и вкусной пищи. Даже потомство — и то непременное условие. И зиждется все на подсознательном стремлении к успеху. Вокруг этой оси вся наша жизнь вертится.

Хаммонда эти слова задели. Он гордился тем, что в своей духовной жизни не шел ни на какие компромиссы со временем. Уж приспособленцем-то его не назвать! Хотя от этого ничуть не убыло его стремление к успеху.

— Верно, без денег не проживешь,— вздохнул Мей,— нужен достаток, чтоб жить, развиваться... Даже для того, чтоб беззаботно размышлять о том же достатке. На голодный желудок не поразмышляешь. А вот что касается собственнических ярлыков, я б не стал их привешивать на отношения мужчин и женщин. Мы беседуем с кем нам хочется, почему б нам не спать с теми женщинами, которые нам милы?

— Итак, слово похотливому кельту,— вставил Клиффорд.

— Похотливому? Впрочем, что ж в этом плохого? По-моему, переспав с женщиной, я обижу ее не более, чем станцевав с нею... или даже просто поговорив о погоде. Только в разговоре мы обмениваемся суждениями, а в постели — чувствами. Так что ж в этом плохого?

— И превратимся в кроликов. Они любой самке рады.

— А чем, собственно, тебе не нравятся кролики? Неужто они хуже человечьего племени, всех этих неврастеников и революционеров, исходящих зудом ненависти.

— И все же мы не кролики,— бросил Хаммонд.

— Вот именно! Я обладаю разумом. Я могу производить расчеты астрономических величин, и они для меня едва ли не важнее жизни и смерти. Порой меня допекает желудок. А голод и вовсе действует губительно. Также и изголодавшаяся плоть частенько напоминает о себе. Что же делать?

— Твоя плоть, по-моему, больше бунтует не от голода, а от обжорства,— съязвил Хаммонд.

— Только не от обжорства! Не терплю излишеств ни в пище, ни с женщинами. Во всем нужно знать меру. Но ты б меня посадил на голодный паек.

— Зачем же! Я б и тебе советовал жениться.

— А откуда ты знаешь, гожусь я для семейной жизни или нет? Семейная жизнь подорвет... да что там — сведет на нет мою жизнь духовную. Я не хочу ограничивать свой мир семьей, не хочу сидеть на привязи и жить монахом! Все это чушь и суета! Мне суждено жить, заниматься астрономией и иногда спать с женщинами. Я отнюдь не такой уж сердцеед, но ничьих осуждений или запретов не потерплю. Мне было бы стыдно видеть женщину с ярлыком, на котором значится мое имя, адрес — словно чемодан с платьем.

Хаммонд не мог простить Мею флирта с женой, а тот не упускал случая уязвить соперника.

— Ты, Чарли, интересно рассуждаешь,— вступил в разговор Дьюкс,— сравнивая половое общение с разговором. Дескать, в первом случае — дела, во втором — слова. По-моему, ты прав. И надо как можно полнее обмениваться с женщинами чувствами, ощущениями, ведь можем же мы с ними многословно рассуждать о погоде. Так и физическая близость: вроде обыкновенного — только на уровне физиологии — разговора между мужчиной и женщиной. Ведь и словесно ты заговариваешь с ней лишь тогда, когда чувствуешь что-то общее, то есть: нет интереса — нет и разговора. То же самое и с близостью: нет у тебя чувства к женщине, не станешь и спать с ней. А уж если чувство появится...

— Если чувство появится, то твой прямой долг — переспать с этой женщиной,— заключил Мей.— Поступать иначе — просто неприлично. Как и в беседе: если тебе интересно, ты выскажешься, иначе просто неприлично. А что, лучше быть ханжой и помалкивать, прикусив язычок? Нет уж, лучше все накопившееся излить. Во всех случаях лучше.

— Как ты неправ, Мей,— начал Хаммонд.— На твоем же примере докажу. Вот ты тратишь на женщин половину сил. И не совершишь того, что мог бы, ведь у тебя светлая голова. Но ты растрачиваешь себя попусту.

— Возможно, но ведь и тебе, дорогой мой, больших свершений не видать, хоть ты и женат, и не «растрачиваешься». Только ум твой, праведный и бескомпромиссный, давно высох. И вся твоя праведность и стойкость, насколько я вижу, ушла в слова.

Томми Дьюкс рассмеялся:

— Да хватит вам, умники! Посмотрите на меня. Я не ахти какой философ, просто, случается, кое-какие мыслишки записываю. Я не женат, но и за женщинами не волочусь. По-моему, Чарли прав: если ему нравятся женщины, пусть спит с ними, часто ли, редко ли — его дело. Во всяком случае я ему запрещать не буду. А у Хаммонда возобладал инстинкт собственника, поэтому для него праведность и смирение плоти — главное! Погоди, его еще при жизни нарекут Великим Английским Писателем. Все у него четко, ясно и понятно, от А до Я. А взять меня. Ничтожный человек, пустослов... А ты, Клиффорд, как думаешь: постель и впрямь генератор успеха, движитель мужчины в жизни?

В подобных разговорах Клиффорд участвовал редко, стараясь держаться в тени: в этой области его рассуждения маловажны. Теперь же он покраснел и смутился.

— Я, так сказать, hors de combat, человек увечный, вряд ли смогу что-либо сказать по существу.

— Не наговаривай на себя,— вмешался Дьюкс,— голова-то у тебя отнюдь не увечная, ум твой цел-невредим и по-прежнему глубок. И нам интересно тебя послушать.

— Право, не знаю.— Клиффорд запнулся.— Не знаю, что и ска-

зать. «Женись, и дело с концом» — вот, пожалуй, суть. Ну, а если мужчина и женщина любят друг друга, их близость — великое чудо.

— Ну-ка расскажи о великом чуде,— попросил Томми.

— Близость таких людей много выше близости плотской,— пробормотал Клиффорд; его, как девушку, смущали такие разговоры.

— Ну, вот, например, мы с Чарли считаем, что секс — это форма общения, как речь. Случись женщине заговорить со мной на языке интимности, я, естественно, поддержу этот разговор и пересплю с ней, когда время подойдет. К сожалению, женщины не очень-то балуют меня такими разговорами, так что приходится спать одному, что, впрочем, ничуть не хуже. Хотя откуда мне знать, можно лишь предполагать. Ведь я не считаю звезды, не пишу бессмертных романов. Я всего-навсего простой армейский бездельник.

Беседа прервалась. Мужчины закурили. А Конни все сидела подле них и — стежок за стежком — продолжала вышивать. Да, она присутствовала при этих разговорах! Но сидела молча — таков порядок,— не вмешивалась в сверхважные рассуждения высокодуховных джентльменов. И уйти ей нельзя — без нее беседа у мужчин не клеилась. Они теряли велеречивость. А Клиффорд совсем пасовал, нервничал, трусил, если Конни не сидела рядом, и беседа заходила в тупик. Больше, чем другим, Конни симпатизировала Томми Дьюксу — очевидно, чувствуя это, он старался вовсю. Хаммонд не нравился ей вовсе — в каждом слове, в каждой мысли проглядывал себялюбец. К Чарльзу Мею она относилась более благосклонно, но что-то в нем претило ей, что-то вульгарно-приземленное, несмотря на высокие устремления к звездам.

Сколько вечеров провела Конни, слушая откровения четырех мужчин. Редко к ним добавлялся один-другой гость. Конни нимало не трогало, что мужчины так ни до чего и не договаривались. Она просто с удовольствием слушала, особенно когда говорил Томми. Лестно! Мужчины открывали перед ней свои мысли, а это, право же, стоило всех их поцелуев и ласк. До чего же лестно! И сколь холоден их разум!

Но они ее и раздражали. Пожалуй, Микаэлиса она уважала больше, хотя на его голову гости обрушивали столько испепеляющего презрения: шавка, рвущаяся к славе, невежественный нахал, каких свет не видывал. Пусть шавка, пусть нахал, но он мыслил четко и по-своему, а не утопал в пышном многословии, любуясь своей высокодуховностью.

Конни привечала духовность, ее очень увлекала такая жизнь. Но не слишком ли усердствовали друзья Клиффорда? Да, приятно сидеть в клубах табачного дыма на этих славных вечерах закадычных (как она величала их про себя) друзей. Как забавно и лестно, что им не обойтись без ее присутствия. Она безгранично уважала МЫСЛЬ, а эти мужчины пытались хотя бы мыслить честно. Однако мысли мыслями, а дальше-то что? Никак не могла она взять в толк, в чем суть этих разговоров. Не раскрыл эту суть и Микаэлис.

Впрочем, сам-то он ничего особенного не замышлял, а просто шел к цели, не мытьем так катаньем добиваясь своего и равно страдая от чужих козней. Клиффорд со своими закадычными дружками считал его врагом общества. Сами же они врагами не были, напротив, они радели об обществе, жаждали так или иначе спасти человечество или по крайней мере просветить.

Вечером в воскресенье беседа удалась. Незаметно она снова коснулась любовной темы.

— Благословенна будет связь, что наши души сочетает,— продекламировал Томми Дьюкс.— А вот знать бы, что это такое. У нас, например, связь как у разновеликих шестеренок, только сцепляемся мы своими воззрениями. А в остальном нас очень мало что связывает. Стоит разъять шестеренки, и мы уже порознь, говорим друг о друге гадости — так заведено у интеллигентов во всем мире. Впрочем, черт с ними, речь не обо всех, а о нас. А зачастую злоба друг к другу у нас не на языке, а в душе, и вот мы ее прячем, прикрываем дживой любезностью. Удиви-

тельно! Жизнь мыслителей цветет прекрасным цветом, а корнями-то уходит в злобу, в бездонную, чудовищную злобу. И так испокон веков! Вспомните Сократа, его ученика Платона и сравните со всем их окружением. Сколько в них злобы, как рады они растерзать кого-либо, например Протагора, если мне не изменяет память. Или взять Алкивиада и всех мелких шавок-учеников. Как упоенно травят они учителей! Поневоле обратишь взгляд на Будду, смиренно сидящего под священным деревом, или на Христа: в Его притчах ученикам столько любви, покоя и никакой мишурной зауми. Нет, что-то в корне неверно в том, как живет и развивается мысль. Ее питают злоба и зависть, зависть и злоба! Дерево по плодам узнаешь!

— По-моему, не столь уж мы и злобны,— возразил Клиффорд.

— Дорогой мой, прислушайся, как мы друг с другом говорим. Я, пожалуй, хуже всех. Да я предпочту самую горькую пилюлю конфете, в которой сокрыт яд. И когда я завожу, какой Клиффорд славный малый, тут его впору пожалеть. Ради Бога, не жалейте меня, говорите самое мерзкое, тогда я по крайней мере пойму, что вам на меня не наплевать. А начнете льстить — все, значит, со мной покончено.

— А мне кажется, мы друг к другу питаем искреннюю приязнь,— заметил Хаммонд.

— И все ж нам надо... да чего там, мы и в глаза друг другу всякие пакости говорим. А за глаза — и подавно! Я, пожалуй, больше всех!

— Ты, по-моему, путаешь размышление с критикой. Согласен: Сократ положил блистательное начало критическому направлению, но ведь он не только в этом преуспел,— важно произнес Чарльз Мей. Сколько тщеславия и напыщенности прятали закадычные друзья под личиной скромности. Каждое слово рассчитано на публику и вместе с тем сколь смиренно!

Дьюкс не стал спорить относительно Сократа, а Хаммонд заметил:

— Совершенно верно — критика и познание далеко не одно и то же.

— Далеко не одно и то же,— эхом откликнулся Берри — молодой застенчивый смугляк. Он приехал на два дня повидать Дьюкса.

Присутствующие изумленно воззрились на него, как на валаамову ослицу.

Дьюкс рассмеялся:

— Да я вовсе не о познании говорил, а о сознании. Истинное знание приходит к нам посредством всех органов тела: и через желудок, и через половой член, и в том числе через сознание, то бишь мозг. Сознание может лишь анализировать и логически обосновывать, а стоит возвысить мозг над остальными органами, и ему останется только критиковать, то есть выхолостится его основное предназначение. Но и критика исключительно важна! Наш образ жизни нуждается в нелицеприятнейшей критике. И давайте жить разумом, и давайте с радостью глотать горькие пилюли, а с былым ханжеством и притворством покончим. Но помните, пока живете как простой смертный, вы — частичка всего сущего и незримо связаны с ним. А как выбрали жить разумом, так вмиг прервалась связь, как бы отторгли вы себя от ветки, на которой росли. И если, кроме жизни разума, не будет у вас никакой иной, вы завянете, как палое яблоко. Отсюда и вытекает логически: не уйти нам от злобы, это естественно и неизбежно, как не миновать палому яблоку гниения.

Клиффорд не скрывал недоумения: что за чушь несет приятель?! Конни тоже едва сдерживала смех.

— Что ж, видно, мы все — палые яблоки,— сердито и не без яда бросил Хаммонд.

— Впору из нас сидр сделать,— обронил Чарли.

— А что вы думаете о большевизме? — вдруг спросил смуглый Берри, словно его подвела к вопросу логика разговора.

— Браво! — воскликнул Чарли.— Так что же вы думаете о большевизме?

— Ну-ка, ну-ка! Сейчас мы и с большевизмом в два счета разделаемся!

— Вопрос, прямо скажем, непростой! Тут не до шуток,— покачал головой Хаммонд.

— По-моему, большевизм — это высшая точка ненависти ко всему, что кажется большевикам буржуазным,— начал Чарли.— Ну, а «буржуазное» — понятие очень и очень расплывчатое. Оно включает в себя и капитализм. Равно и все чувства — проявления «буржуазные»; и нужно создать человека без этих предрассудков. Тогда и сам человек, его личность, его неповторимость — тоже явление буржуазное. К ногтю его! Личное должно уступить место большему, общественному. Так это понимают Советы. Для них даже человеческий организм — проявление буржуазности. Так не лучше ли придумать механическое нутро? Наделать бездушных, противоестественных, разнозначных, но равноценных винтиков и собрать из них свою машину. Каждый человек — винтик. Ну, а движет эту машину... ненависть ко всему буржуазному. Вот так я понимаю большевизм.

— Очень точная картина! — воскликнул Томми.— Но до чего ж она близка к идеалу нашего промышленного мира. Идеал заводчика в общих чертах. Правда, заводчик не согласится избрать ненависть движителем. Впрочем, ненависть многолика. Можно ненавидеть самое жизнь. Достаточно взглянуть на наш край, неприкрытая ненависть во всем... но, как мы уже говорили, если жить разумом, логика неизбежно приведет к ненависти.

— Выходит, большевизм закономерен? Не согласен! Ведь он отрицает основы самой логики! — возмутился Хаммонд.

— Дорогой мой, у большевиков своя логика, материалистическая. Это привилегия... душ неискушенных.

— Как бы там ни было, а большевики потрясли мир.

— Потрясли-то потрясли, а где этому конец? Очень скоро у большевиков будет лучшая армия в мире, с лучшим техническим оснащением.

— Но должен же прийти конец... всей этой ненависти. Должно же быть противодействие.

— Сколько лет ждали, подождем еще. Ведь ненависть, как и все на свете, развивается. Это неизбежный результат насильственного претворения в жизнь тех или иных замыслов, насильственное извлечение чьих-то глубоко запрятанных чувств. Появляется задумка, за ней на свет Божий выползают глубоко скрытые чувства. Нас нужно завести, как машину. Логический разум стремится возобладать над чувствами, а чувства-то все суть ненависть. Так что мы все большевики. Но лицемерим, не признаемся в этом. А русские — большевики без всякого лицемерия.

— Но развитие может идти не только путем Советов. Много и других путей. Ведь большевики, по сути, глупы.

— Верно. Но порой быть дураком не так уж и глупо. Если хочешь добиться своего. Я лично считаю большевизм движением полоумных, равно и общественная жизнь на Западе представляется мне полоумной. Даже более того: наша хваленая «жизнь разума» — и та, кажется мне, от скудоумия. Мы — выродки, идиоты. Лишены человеческих чувств. Чем мы не большевики? Только называем себя по-другому. Мы мним себя богами, всесильными и всемогущими. Точно так же и большевики. Нужно вернуться к человеческому естеству, вспомнить, зачем нам сердце, половой член,— тогда мы перестанем уподоблять себя богам и, соответственно, большевикам, что, по сути, одно и то же: добродетельны они лишь на вид.

Наступило молчание. Чувствовалось, что присутствующие не согласны. И тут снова прозвучал вопрос Берри:

— Но уж в любовь-то вы верите, Томми?

— Ах ты, мой милый! — усмехнулся Томми.— Нет, мой ангел, нет, нет и еще раз нет! Любовь в наш век — еще одна забава полоумных. Вихлявые мальчишки спят с грубыми девками, у которых бедра под стать мальчишечьим. Посмотришь — как два жеребчика в упряжке. Ты такую любовь имеешь в виду? Или любовную связь, что непременно приведет к успеху? Или, может, унылый брак двух собственников? Нет, в такую любовь я не поверю ни за что!

— Но во что-то вы же верите?

— Я-то? Ну, разумом я верю в доброе сердце, в задорный пенис, в живой ум, в мужество, если его достанет сказать при даме неприличное слово.

— Во всем этом вам не отказать,— согласился Берри.

Томми Дьюкс захохотал во все горло:

— Ах ты, ангел мой! Если бы! Увы, в сердце моем не больше доброты, чем в картофелине, пенис совсем понурился, и я скорее дам его отрезать, чем выругаюсь при матушке или тетушке; они у меня истинные дамы. Да и ума у меня маловато, мой разум — мое вечное узилище! А хотелось бы обладать умом. Встрепенулся б тогда, ожил бы каждой клеточкой, каждым органом. Тогда б мой пенис приосанился бы, поприветствовал бы меня, как всякого умного человека. Ренуар, по его же признанию, рисовал картины пенисом... и как! Вот бы и мой на что толковое употребить! Господи! Какая же пытка работать только языком! Мука адская! Это все пошло от Сократа.

— Но красивые женщины на белом свете еще не перевелись,— подняла голову и наконец заговорила Конни.

Мужчины оскорбленно промолчали. Хозяйке дома не полагалось вслушиваться в беседу. Им претила сама мысль, что Конни могла следить за ходом разговора.

— Нет, и думать нечего! Я просто не могу соответствовать всем колебаниям женской натуры. Нет такой женщины, которая будила бы во мне желание. Это желание мне нужно вызывать в себе силой... Господи! Нет никакой надежды. Я буду жить, по-прежнему руководствуясь голым разумом. И честно в этом признаюсь. Я счастлив, разговаривая с женщинами. Но это просто разговор, непорочный, без каких-либо задних мыслей! Не сулящий никаких надежд. Что ты на это скажешь, мой птенчик? — обратился он к Берри.

— Если остаться непорочным, жизнь намного проще,— ответил тот.

— Да, жизнь вообще предельно проста!

Глава 5

Морозным утром, под тусклым февральским солнцем Клиффорд и Конни отправились парком на прогулку в лес. Клиффорд ехал на кресле с моторчиком, Конни шла рядом.

В холодном воздухе все же чувствовался запах серы, но и Клиффорд, и Конни давно привыкли к нему. Горизонт скрывала молочно-серая от копоти морозная дымка, а над ней — лоскуток голубого неба. Будто Клиффорд и Конни оказались под смрадным колпаком, откуда и не выбраться. И вся жизнь — страшный, дикий сон под этим колпаком.

Коротко взблеивали овцы, щипая жесткую, жухлую траву в парке, там и сям во впадинках серебрился иней. Через парк к лесу красной лентой вилась тропинка, выложенная наново (по приказу Клиффорда) мелким гравием с шахты. Выгорая, выделяя серу, порода делалась красноватой, под цвет креветки, в дождливый день темнела — более под стать крабьему панцирю. Сейчас тропинка была нежно-розовой с голубовато-серебристой оторочкой из инея. Конни так нравилось хрустеть мелким красным гравием. Нет худа без добра: и шахта дарила маленькую радость.

Клиффорд, осторожно правя креслом, съехал с пригорка, на котором стояла усадьба. Конни шла следом, придерживая кресло за спинку. Невдалеке раскинулся лес: спереди плотной кучкой выстроились

каштаны, за ними, догорая последним багрянцем, высились дубы. На опушке прыгали, вдруг застывая как вкопанные, зайцы. Снялась и устремилась к голубому небесному лоскутку большая стая грачей. Конни открыла калитку, выводившую из парка в лес, и Клиффорд медленно выехал на широкую аллею, взбирающуюся на пригорок меж ровно и густо растущих каштанов. Некогда лес был дремуч, в нем охотился сам Робин Гуд, некогда и нынешняя аллея была основной дорогой меж западными и восточными графствами. Сейчас же по аллее только ездить верхом да оглядывать частные владения, а дорога забирала на север, огибая лес.

Лес стоял недвижим. Палые листья иней прилепил к холодной земле. Вот вскрикнула сойка, разом вспорхнули какие-то мелкие птахи. Но поохотиться уже не удастся — даже фазанов нет. В войну уничтожили всю живность, некому постоять за господский лес. Лишь недавно Клиффорд нанял егеря-лесничего.

Клиффорд любил лес, любил старые дубы. Скольким поколениям Чаттерли служили они. Их нужно охранять. Ему хотелось уберечь лесок от мирской скверны.

Медленно катило кресло вверх по склону, вздрагивая, когда под колесо попадал ком мерзлой земли. Неожиданно слева открылась полянка — кроме приникших к земле спутанных кустиков папоротника, нескольких чахлых побегов, гололобых пней, уцепившихся мертвыми корнями, ничего нет. Чернели лишь кострища: дровосеки жгли валежник и мусор.

Во время войны сэр Джефри определил этот участок под вырубку. И пригорок справа от аллеи облысел и глядел очень сиротливо. Некогда на макушке его красовались дубы. Сейчас — проплешина. Оттуда виднелась рудничная узкоколейка за лесом, новые шахты у Отвальной. Конни смотрела как зачарованная. Вот как вторгается мирская суета в покой и уединение леса. Но Клиффорду ничего не сказала.

Плешивый пригорок приводил Клиффорда в необъяснимую ярость. Он прошел войну, повидал всякое, но не ярился так, как при виде этого голого холма. И тут же велел его засадить. А в сердце засела острая неприязнь к отцу.

Неспешно Клиффорд взбирался на своей каталке все выше, лицо у него напряглось и застыло. Одолев кручу, остановился, спуск долог и ухабист, нужно отдохнуть. Засмотрелся на аллею внизу, четко обозначенную меж побурелыми деревьями. Вон там ее окружили заросли папоротника, дальше — красавцы дубы. У подножия холма дорога заворачивала и терялась из виду. Но сколь изящен и красив этот поворот: вот-вот из-за него появятся рыцари и изящные амазонки.

— По-моему, вот это и есть подлинное сердце Англии,— сказал Клиффорд жене, оглядывая лес в скупых лучах февральского солнца.

— Ты так думаешь? — спросила Конни и села на придорожный пенек, не жалея голубого шерстяного платья.

— Уверен! Это и есть сердце старой Англии, и я его сберегу в целости-сохранности.

— Правильно! — кивнула Конни. С шахты у Отвальной прогудела сирена — значит, уже одиннадцать часов. Клиффорд вообще не обратил внимания — привык.

— Я хочу, чтоб этот лес стоял нетронутым. Чтоб ничья нога не осквернила его,— продолжал он.

И впрямь: лес будил воображение. Что-то таинственное и первозданное таил он. Конечно, он пострадал: сэр Джефри вырубил немало деревьев во время войны. Сейчас лес стоял тихий, воздев к небу бесчисленные извилистые ветви. Серые могучие стволы попирали бурно разросшийся папоротник. Покойно и уютно птицам порхать с кроны на крону. А когда-то водились здесь и олени, бродили по чащобе лучники, а по дороге ездили на осликах монахи. И все это лес помнит, помнит и по сей день.

На светлых прямых волосах Клиффорда играло неяркое солнце, на полном румяном лице — печать непроницаемости.

— Здесь мне особо горько — так недостает сына,— заговорил он.

— Но ведь лес много старше рода Чаттерли.

— Но сохранили его мы. Не будь нас, не было бы уже и леса. Уже сегодня бы ни деревца не осталось. И так от былого леса — рожки да ножки. Но ведь нужно сохранить хоть что-то от Англии былых времен.

— А нужно ли? Ну, сохранишь ты старое, а оно новому помешает. Хотя я понимаю тебя — видеть это грустно.

— Если не сохраним ничего от прежней Англии, новой не будет вообще! И сохранять это нам, тем, кто владеет землей, лесами, тем, кому на это не наплевать!

Разговор прервался на грустной ноте.

— Что ж, сохранишь на несколько лет,— вздохнула Конни.

— Пусть на несколько лет! Большее нам не по силам. Но с той поры, как мы здесь поселились, я уверен, каждый из нашего рода внес свою малую лепту. Можно противиться условностям, но должно чтить традицию.

И снова Конни откликнулась не сразу.

— О какой традиции ты говоришь? — спросила она.

— О традиции, на которой зиждется Англия! Сохранить все, что нас окружает!

— Теперь поняла,— протянула Конни.

— И будь у меня сын — продолжил бы дело. Все мы — точно звенья одной цепи.

Мысль о звеньях в цепи Конни не понравилась, но она промолчала. Ее удивило, насколько обезличена и абстрактна его тоска по сыну.

— Жаль, что у нас не будет сына,— только и сказала она.

Он пристально посмотрел на нее. Большие голубые глаза не мигали.

— Я бы, пожалуй, даже обрадовался, роди ты от другого мужчины,— сказал он.— Воспитаем ребенка в Рагби, и он станет частичкой нас самих, частичкой Рагби. Я вообще-то не очень придаю значение отцовству. Будет ребенок, мы его вырастим, и он продолжит дело. Как ты думаешь, есть в этом смысл?

Конни наконец подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Ребенок, ее ребенок, был для Клиффорда лишь «продолжателем дела».

— А как же... с другим мужчиной?

— Разве это важно? Неужто нам обоим не все равно? Был же у тебя любовник в Германии. Ну, и что он значит для тебя сейчас? Почти ничего. Дело-то, по-моему, не во всяких там интрижках, связях — не они определяют нашу жизнь. Связь кончается, и все, нет ее... нет! Как прошлогоднего снега! А важно лишь то, что неподвластно времени. Мне важна моя жизнь и все в протяженности и в развитии. А что эти сиюминутные связи? Особенно те, которые держатся не духом, а плотью? Все как у птичек: раз-два и разлетелись, большего связи и не стоят. Правда, люди порой пытаются придать этим связям значительность. Смешно! А важна общность людей на протяжении всей жизни. Важно жить вместе изо дня в день, а не просто раз-другой переспать. Мы с тобой вместе, что бы с нами ни случилось. Мы уже привыкли друг к другу. А привычка, как я разумею, куда сильнее, нежели всполох страсти. Жизнь тягуча, тяжка и долга, это отнюдь не фейерверк. Постепенно, мало-помалу люди, живя вместе, начинают походить друг на друга, как инструменты, звучащие в унисон, хотя порой это так нелегко. Вот в чем истинная суть брака, а отнюдь не в половой сфере. Точнее, половой сферой брак далеко не исчерпывается. Вот мы с тобой буквально вросли друг в друга за время семейной жизни. И если мы будем из этого исходить, то легко решим и половую проблему, это не сложнее, чем сходить к дантисту и вырвать зуб. Что ж поделать, раз судьба поставила нас в безвыходное положение.

Конни сидела и с изумлением слушала мужа. Она не знала, прав ли он. Ведь у нее есть Микаэлис, и она любила его (или внушила себе, что любит). Связь с ним — словно развлекательная поездка, бегство из страны унылого супружества, построенного долгим, упорным трудом, страданием и долготерпением. Очевидно, человеческой душе необходимо отвлекаться и развлекаться. И грех в этом отказывать. Но беда любой поездки в том, что рано или поздно приходится возвращаться домой.

— Неужели тебе все равно, от кого родится ребенок? — полюбопытствовала она.

— Отчего же. Я доверяю твоему природному чутью и скромности. Ты же ничего не позволишь недостойному человеку.

Она сразу подумала о Микаэлисе! В глазах Клиффорда — он самый недостойный.

— Но ведь мужчины и женщины могут по-разному толковать, кто достойный, а кто — нет.

— Вряд ли. Ты очень внимательна ко мне. А мужчина крайне мне неприятный и половины бы этого внимания не получил. Не верю. Тебе характер не позволит.

Конни промолчала. Логика — советчик никудышный, какой с нее спрос.

— И как по-твоему, должна ли я потом тебе все рассказать? — спросила она, украдкой взглянув на мужа.

— Зачем это? Мне лучше ничего не знать... но согласись, мимолетная связь — ничто по сравнению с долгими годами, прожитыми вместе. И не кажется ли тебе, что запросы семейной жизни диктуют и сексуальное поведение? Сейчас важно найти мужчину, раз того требуют обстоятельства. В конце концов, неужели минутный трепет в постели — главное? Может, все-таки главное в жизни — год за годом растить в себе цельную личность? И жить цельной, упорядоченной жизнью. Ибо какой смысл в жизни неупорядоченной? Если личность твоя разрушается без плотских утех, съезди куда-нибудь, потешь себя. Если личность твоя разрушается потому, что не познано материнство,— заведи ребенка. Но и то, и другое — лишь средства, лишь пути к цельной жизни, к вечной гармонии. И мы к ней придем... вместе... правда ведь? Нужно только приспособиться к условиям жизни, так, чтоб не повредить, а органично вплести в нашу упорядоченную жизнь. Согласна ты со мной?

Слова Клиффорда изрядно озадачили Конни. Да, конечно, теоретически он прав. Но на деле... она задумалась о своей «упорядоченной» жизни с Клиффордом и заколебалась. Неужто ее удел — ниточку за ниточкой вплетать всю себя без остатка в жизнь Клиффорда? И так до самой смерти? Неужто ничего иного ей не уготовано?

И так пройдет ее век? Она будет смиренно жить «цельной» жизнью с мужем, сплетая ровный ковер их бытия. лишь изредка вспыхнет ярким цветком какое-либо увлечение или связь. Но откуда ей знать, как изменятся ее чувства через год? Да и вообще, дано ли это знать кому-нибудь? И возможно ли всегда и во всем соглашаться? Всегда произносить короткое, как вдох, «да». Она словно бабочка на булавке — среди пришпиленных догм и правил «упорядоченной» жизни. Выдернуть все булавки, и пусть летят себе все помехи и препоны стайкой вольных бабочек.

— Да, Клиффорд, я согласна с тобой. Ты прав, насколько я могу понять. Только ведь жизнь может и иначе все повернуть.

— Ну, пока не повернула. Значит, ты согласна?

— Согласна. Честное слово, согласна.

Откуда-то сбоку вдруг появился коричневый спаниель; подняв морду, принюхался, коротко и неуверенно взлаял. Быстро и неслышно выступил вслед за псом человек с ружьем, решительно направился было к супругам, но, узнав, остановился. Молча отдал честь и пошел дальше вниз по склону. Это и был новый егерь. Конни даже испугалась, так

внезапно и грозно он надвинулся на них с Клиффордом. По крайней мере ей так показалось — вдруг, откуда ни возьмись, ураганом налетела опасность.

Одет был егерь в темно-зеленый плисовый костюм, на ногах гетры — издавна так одевались все егери. Смуглое лицо, рыжеватые усы. Взгляд, устремленный вдаль. Вот он проворно сбегает с холма.

— Меллорс! — окликнул его Клиффорд.

Егерь чуть обернулся, козырнул, сразу видно — из солдат.

— Поверните, пожалуйста, мне кресло и подтолкните. Так легче ехать.

Меллорс перекинул ружье через плечо, проворно, но по-кошачьи мягко, без суеты, будто хотел остаться не только неслышным, но и невидимым, взобрался наверх. Чуть выше среднего роста, сухощавый, очевидно немногословный. На Конни он даже не взглянул, обратив все внимание на кресло.

— Конни, познакомься, это наш новый егерь — Меллорс. Вам ведь, Меллорс, с госпожой еще не приходилось разговаривать?

— Никак нет, сэр,— бесстрастно отрезал он и снял шляпу. Волосы у него оказались густые, темно-русые. Он посмотрел прямо в глаза Конни. Во взгляде не было ни робости, ни любопытства, казалось, он просто оценивал ее внешность. Конни смутилась, чуть склонила голову, он же переложил шляпу в левую руку и ответил легким поклоном, как настоящий джентльмен, однако не произнес ни слова. Так и застыл со шляпой в руке.

— Вы ведь не первый день у нас? — спросила Конни.

— Восемь месяцев, госпожа... ваша милость! — с достоинством поправился он.

— И нравится вам здесь?

Теперь она посмотрела ему прямо в глаза. Он чуть прищурился — насмешливо и дерзко.

— А как же! Спасибо, ваша милость. Я в этих краях вырос.— Он вновь едва заметно поклонился. Надел шляпу и отошел к креслу. Последнее слово он произнес тягуче, подражая местному говору. Может, тоже в насмешку, ведь до этого речь его была чиста. Почти как у образованного человека. Прелюбопытнейший тип — сноровистый и ловкий, любит самостоятельность и обособленность, уверен в себе.

Клиффорд запустил моторчик, Меллорс осторожно повернул кресло и направил его на тропинку, полого сбегавшую в чащу каштанов.

— Моя помощь больше не требуется? — спросил егерь.

— Вы нас все же немного проводите. Вдруг мотор заглохнет; он не очень мощный, на холмы не рассчитан.

Егерь огляделся — потерял из виду собаку; взгляд у него был глубокий, раздумчивый. Спаниель, не спуская глаз с хозяина, вильнул хвостом. На мгновение в глазах Меллорса появилась озорная, дразнящая и вместе нежная улыбка и потухла. Лицо застыло. Они довольно быстро двинулись под гору. Меллорс придерживал кресло за поручни. Он скорее походил на солдата, нежели на слугу. Он чем-то напомнил Томми Дьюкса.

Миновали каштановую рощицу. Конни вдруг припустила вперед, распахнула калитку в парк, подождала, пока мужчины проедут. Оба взглянули на нее. Клиффорд — неодобрительно, Меллорс — с любопытством и сдержанным удивлением, опять тот же отстраненный, оценивающий взгляд. И в голубых глазах увидела она за нарочитой бесстрастностью боль, и неприкаянность, и непонятную нежность. Почему ж он такой далекий и одинокий?

Проехав калитку, Клиффорд остановил кресло. Слуга же быстро и почтительно вернулся ее запереть.

— Зачем ты бросилась открывать? — спросил Клиффорд; ровный и спокойный тон его выдавал недовольство.— Меллорс сам бы справился.

— Я думала, вы сразу, без задержки поедете.

— Чтоб ты нас потом бегом догоняла?

— Пустяки! Иногда так хочется побегать.

Подошел Меллорс, взялся за кресло, видом своим давая понять, что ничего не слышал. Однако Конни чувствовала: Меллорс все понял. Катить кресло в гору было труднее. Меллорс задышал чаще, приоткрыв рот. Да, сложен он отнюдь не богатырски. Но сколько в этом сухопаром теле жизни, скрытой чувственности. Женским нутром своим угадала это Конни.

Она чуть поотстала. День поскучнел: серая дымка наползла, окружила и сокрыла голубой лоскуток неба, точно под крышкой — и сразу влажным холодом дохнуло на землю. Наверное, пойдет снег. А пока все кругом так уныло, так серо! Одряхлел весь белый свет!

На пригорке, в начале красной тропинки, ее поджидали мужчины. Клиффорд обернулся.

— Не устала? — спросил он.

— Нет, что ты!

Все-таки она устала. К тому же в душе пробудилось непонятное досадливое томление и недовольство. Клиффорд ничего не заметил. Он вообще был глух и слеп к движениям души. А вот чужой мужчина понял все.

Да, вся жизнь, всё вокруг представлялось Конни дряхлым, а недовольство ее — древнее окрестных холмов.

Вот и дом. Клиффорд подъехал не к крыльцу, а с другой стороны — там пологий въезд. Проворно перебирая сильными руками, Клиффорд перекинул тело в домашнее низкое кресло-коляску. Конни помогла ему втащить омертвелые ноги.

Егерь стоял навытяжку и ждал, когда его отпустят. Внимательный взгляд его примечал каждую мелочь. Вот Конни подняла неподвижные ноги мужа, и Меллорс побледнел — ему стало страшно. Клиффорд, опершись на руки, поворачивался всем туловищем вслед за Конни к домашнему креслу. Да, Меллорс испугался.

— Спасибо за помощь,— небрежно бросил ему Клиффорд и покатил по коридору в сторону людской.

— Чем еще могу служить? — прозвучал бесстрастный голос егеря, такой иной раз прислышится во сне.

— Больше ничего не нужно. Всего доброго.

— Всего доброго, сэр!

— До свидания, Меллорс. Спасибо, что помогли... Надеюсь, было не очень тяжело,— обернувшись, проговорила Конни вслед егерю — тот уже выходил.

На мгновение они встретились взглядами. Казалось, что-то пробудилось в Меллорсе, спала пелена отстраненности.

— Что вы! Совсем не тяжело! — быстро ответил он и тут же перешел на небрежный тягучий говорок: — Всего доброго, ваша милость!

За обедом Конни спросила:

— Кто у тебя егерем?

— Меллорс! Ты же его только что видела.

— Я не о том. Откуда он родом?

— Ниоткуда! В Тивершолле и вырос... кажется, в шахтерской семье.

— И сам в шахте работал?

— Нет, по-моему, при шахте — кузнецом. В забой сам не лазил. Он еще до войны два года здесь егерем служил, потом армия. Отец о нем всегда хорошо отзывался. Поэтому я и взял его снова егерем — сам-то он после войны пошел было снова кузнецом на шахту. Я полагаю, мне крупно повезло: найти в здешнем краю хорошего егеря почти невозможно. Ведь он еще и в людях должен толк знать.

— Он не женат?

— Был раньше. Но жена с кем только не гуляла, наконец спуталась с каким-то шахтером из Отвальной, кажется, так по сей день с ним и живет.

— Значит, он совсем один?

— Почти что. У него в деревне мать... и, помнится, был ребенок.

Клиффорд посмотрел на жену. Большие голубые глаза подернулись дымкой. Взгляд вроде бы и живой, но за ним проступала все ближе и ближе мертвенно-серая дымка, под стать той, что заволакивает небо над шахтами. Клиффорд смотрел, как всегда, значительно, как всегда, с определенным смыслом, а Конни все виделась эта омертвляющая пелена, обволакивающая сознание мужа. Страшно! Пелена эта, казалась, лишала Клиффорда его особинки, даже ума.

Постепенно ей открылся один из величайших законов человеческой природы. Если человеческой душе нанести разящий удар, от которого пострадает и тело, кажется, что душа — вслед за телом — тоже пойдет на поправку. Увы, так только кажется. Мы просто переносим привычные понятия о теле на душу. Но рана душевная постепенно, изо дня в день, будет мучить все больше. На теле от удара остается синяк, лишь потом нестерпимая боль пронизывает тело, заполняет сознание. И вот когда мы думаем, что поправляемся, что все страшное позади, тогда-то ужасные последствия и напомнят о себе — безжалостно и жестоко.

Так случилось и с Клиффордом. Вроде бы он «поправился», вернулся в Рагби, начал писать, обрел уверенность. Казалось, прошлое забыто и к Клиффорду вернулось самообладание. Но шли неспешной чередой годы, и Конни стала замечать, что синяк на зашибленной душе мужа все болезненнее, что он расползается все шире. Долгое время он не напоминал о себе — сразу после удара душа сделалась бесчувственной,— а сейчас страх, точно боль, распространился по всей душе и парализовал ее. Пока еще жив разум, но мертвящий страх не пощадит и психику.

Мертвела душа у Клиффорда, мертвела и у Конни.

И в ее душе поселились страх, и пустота, и равнодушие ко всему на свете. Когда Клиффорд бывал в духе, он все еще блистал великолепием мысли и слова, уверенно строил планы. Как тогда в лесу он предложил ей родить, чтобы у Рагби появился наследник. Но уже на следующий день все его красноречивые доводы увяли, точно палые листья, иссохли, обратились во прах, в ничто, в пустоту, их словно ветром унесло Не питались эти слова соками подлинной жизни, не таилась в них молодая сила, потому и увяли вмиг. А жизнь, заключенная в сонмищах палых листьев,— бесплодна.

Она виделась Конни во всем. Шахтеры Тивершолла поговаривали о забастовке, и Конни казалось, что это вовсе не демонстрация силы, а исподволь вызревавшая боль — кровоподтек со времен войны, достигший поверхности, и — как следствие — смуты, недовольства. Глубоко-глубоко угнездилась боль, причиненная войной, бесчеловечной и беззаконной. Сколько лет пройдет, прежде чем сойдет с души и тела человечества этот кровоподтек, разгонит его кровь новых поколений. Но не обойтись и без новой надежды.

Бедняжка Конни! За годы в Рагби и ее душу поразил страх: вдруг омертвеет и она. Мужнина «жизнь разума» и ее собственная мало-помалу теряли содержание и смысл. Вся их совместная жизнь, если верить разглагольствованиям Клиффорда, строилась на прочной, проверенной годами близости. Но выпадали дни, когда ничего, кроме беспредельной пустоты, Конни не чувствовала. Многословье, одно многословье. Подлинной в ее жизни была лишь пустота под покровом лживых, неискренних слов.

Клиффорд преуспевал — уломал-таки Вертихвостку-Удачу! Без пяти минут знаменитость. Книги уже приносили немалый доход. Повсюду — его фотографии. В одной галерее выставлялся его скульптурный портрет, портреты живописные — в двух других. Из всех новомодных писа-

тельских голосов его голос был самым громким. С помощью почти сверхъестественного чутья лет за пять он стал самым известным из молодых «блестящих» умов. Конни, правда, не очень-то понимала, откуда взялся блеск. В уме, конечно, Клиффорду не откажешь. Чуть насмешливо он раскладывал по полочкам человеческие черты, привычки, побуждения, а в конце концов разносил все в пух и прах. Так щенок игриво выхватит поначалу клочок диванной обивки, а потом, глядишь, от дивана рожки да ножки. Разница в том, что у щенка все выходит по детскому недомыслию, а у Клиффорда — по непонятной, прямо стариковски твердолобой чванливости. Какая-то роковая, мертвящая пустота. Мысль эта далеким, но навязчивым эхом прилетала к Конни из глубины души. Все суть пустота и мертвечина. И Клиффорд еще этим щеголяет. Да, щеголяет! Именно — щеголяет.

Микаэлис задумал пьесу и в главном герое вывел Клиффорда. Он уже набросал сюжет и написал первый акт. Да, Микаэлис еще больше Клиффорда поднаторел в искусстве щеголять пустотой. У обоих мужчин, лишенных сильных чувств, только и осталась страстишка — повыгоднее показать себя, покрасоваться. А страстью (даже в постели) обделены оба.

Микаэлис отнюдь не гнался за деньгами. Не ставил это во главу угла и Клиффорд. Хотя и не упускал случая заработать, ведь деньги — это знак Удачи! А Удача, Успех — цель как одного, так и другого. И оба тщились показать себя, блеснуть, хоть на минуту стать «властителями дум» толпы.

Удивительно... Как продажные девки завлекали они Удачу! Но Конни не участвовала в этом, ей неведом был их сладострастный трепет. Ведь даже заигрывание с Удачей попахивало мертвечиной. Не сосчитать, сколько раз Микаэлис и Клиффорд бесстыдно предлагали себя Вертихвостке-Удаче. И тем не менее, все их потуги — тщета и пустота.

О пьесе Микаэлис сообщил Клиффорду в письме Конни, конечно же, знала о ней намного раньше. Ах, как встрепенулся Клиффорд. Вот еще раз он предстанет во всем блеске чьими-то стараниями и к своей выгоде. И он пригласил Микаэлиса в Рагби читать первый акт.

Микаэлис не заставил себя ждать. Стояло лето, и он явился в светлом костюме, в белых замшевых перчатках, с очень красивыми лиловыми орхидеями для Конни.

Чтение первого акта прошло с большим успехом. Даже Конни была взволнована до глубины своего естества (если от него хоть что-нибудь осталось). А сам Микаэлис был великолепен — он просто трепетал, сознавая, что заставляет трепетать других,— казался Конни даже красивым. Она вновь узрела в его чертах извечное смирение древней расы, которую более уже ничем не огорчить, не разочаровать, расы, чье осквернение обернулось ее чистотой. Ведь в рьяной, неукротимо-похотливой тяге к своевольной Удаче Микаэлис был искренен и чист. Столь же искренне и чисто запечатлевает африканская маска слоновой кости самые грязные и мерзкие черты.

И объясним его трепет, когда под его чары подпали и Клиффорд, и Конни: то был, пожалуй, наивысший триумф в его жизни. Да, он победил, он влюбил в себя супругов. Даже Клиффорда, пусть и ненадолго. Именно — влюбил в себя!

Зато назавтра к утру он просто извелся: дерганый, истерзанный сомнениями, руки и в карманах брюк не находят покоя. Конни не пришла к нему ночью... И где ее сейчас искать, он не знал. Кокетка! Так испортила ему праздник!

Он поднялся к ней в гостиную. Она знала, что он придет. Не укрылась от нее и его тревога. Он спросил, что она думает о его пьесе, нравится ли? Как воздух нужна ему похвала, она подстегивала его жалкую, слабенькую страсть, которая, однако, неизмеримо сильнее любого плотского удовольствия. И Конни не жалела восторженных слов, в глубине души зная, что и ее слова мертвы!

— Послушай! — вдруг решился он.— Почему бы нам не зажить честно и чисто? Почему б нам не пожениться?

— Но я замужем! — изумилась Конни, а омертвелая душа ее даже не встрепенулась.

— Пустяки! Он согласится на развод, не сомневайся. Давай поженимся! Мне этого так хочется. Самое лучшее для меня — завести семью и остепениться. Ведь у меня не жизнь, а черт-те что! Я прожигаю жизнь! Послушай, мы ведь созданы друг для друга! Просто идеальная пара! Ну, давай поженимся. Скажи, что, ну что тебе мешает?

Конни все так же изумленно взирала на него, а на душе — пустота. Как похожи все мужчины. Витают в облаках. Придумают что-нибудь и — раз! — вихрем устремляются ввысь, причем полагают, что и женщины должны следом воспарить.

— Но я замужем,— повторила она,— и Клиффорда не брошу, сам понимаешь.

— Но почему? Почему? — воскликнул он.— Через полгода он забудет о тебе, не заметит даже, что тебя нет рядом. Он вообще никого, кроме собственной персоны, не замечает. Ведь я вижу: тебе от него никакого толка. Он занят только собой.

Конни понимала, что Мик прав. К тому же она чуяла, что он сейчас и не стремится выставить себя благородным.

— А разве не все мужчины заняты только собой? — спросила она.

— Да, пожалуй, в какой-то степени. Мужчина должен состояться, должен проявить себя. Но это еще не самое главное. А главное: будет ли женщине с ним хорошо? Способен ли он ее осчастливить? Если нет, то нечего такому и думать о женщине...— Он замолчал и, как гипнотизер, вперил в нее взгляд больших, чуть навыкате, карих глаз.— Я же не сомневаюсь, что способен дать женщине все, что она ни попросит. Я в себе уверен.

— А что именно ты способен дать? — спросила Конни, все с тем же изумлением, которое легко принять за восторг. А в душе по-прежнему пусто.

— Да что угодно, черт побери! Что угодно! Завалю платьями, осыплю кольцами, серьгами, ожерельями; любой ночной клуб — к ее услугам! С кем бы ни пожелала познакомиться — пожалуйста! Захочет — пусть прожигает жизнь.. или путешествует, и везде ей почет и уважение! Разве это мало, черт возьми!

Говорил он вдохновенно, почти ликуя; и Конни зачарованно все смотрела и смотрела на него, но душа безмолвствовала. Даже разум не внял радужным посулам. Даже в лице ничего не переменилось, ни один мускул не дрогнул, а раньше Конни бы загорелась. Сейчас же ее сковало какое-то бесчувствие — нет, не «воспарить» ей вслед за Миком и его мечтой. Она лишь зачарованно-помертвело уставилась на него; правда она почуяла за барьером слов мерзостный запашок Вертихвостки-Удачи.

А Мик мучился от ее неопределенного молчания. Сидя в кресле, он подался вперед и умоляюще, со слезами на глазах смотрел на Конни. И кто знает, что в нем сейчас преобладало — гордыня ли, требовавшая, чтобы Конни подчинилась, или страх, что она и впрямь уступит его мольбам.

— Мне нужно подумать. Сразу я не могу решить,— сказала она наконец.— По-твоему, Клиффорда можно сбросить со счетов, а по-моему — нет. Вспомни только о его увечье...

— Чушь это все! Если каждый начнет козырять своими невзгодами, я могу козырнуть своим одиночеством. Я всю жизнь одинок! Пожалейте меня, разнесчастного, ну, и далее в том же духе! Чушь! Если нечем больше похвастать, кроме увечий да невзгод...— Он внезапно замолчал, отвернулся, видно было лишь, как сжимаются и разжимаются кулаки в карманах брюк.

Вечером он спросил:

— Ты придешь сегодня ко мне? Я ведь даже не знаю, где твоя спальня.

— Приду! — ответила она.

В ту ночь этот странный мужчина с худеньким телом подростка ласкал Конни как никогда страстно. И все же оргазма одновременно с ним она не достигла. Только потом в ней вдруг разгорелось желание, ее так потянуло к этому детскому, нежному телу. И неистово вверх-вниз заходили бедра, а Мик героически старался сохранить твердость не только духа, но и плоти, отдавшись порыву ее страсти. Наконец, полностью удовлетворившись, постанывая и вскрикивая, она затихла.

Но вот тела их разъялись, Мик отстранился и обиженно, даже чуть насмешливо сказал:

— Ты что же, не умеешь кончить одновременно с мужчиной?! Придется научиться! Придется подчиниться!

Слова эти поразили Конни безмерно. Ведь совершенно очевидно, что в постели Мик может удовлетворить женщину, лишь уступив ей инициативу.

— Я тебя не понимаю,— пробормотала она.

— Прекрасно ты все понимаешь! Мучаешь меня часами после того, как я уже кончил. Терплю, стиснув зубы, пока ты своими стараниями удовольствие получаешь.

Нежданные жестокие слова ударили больно. Ведь сейчас ей хорошо, ослепительно хорошо, сейчас она любит его — к чему же эти слова! В конце концов она не виновата: он, как почти все нынешние мужчины, кончал, не успев начать. Оттого и приходится женщине брать инициативу.

— А разве тебе не хочется, чтобы и я получила удовольствие? — спросила она.

Он мрачно усмехнулся:

— Хочется? Вот это здорово! По-твоему, мне хочется смиренно лежать стиснув зубы и чтоб ты надо мной верховодила?!

— Ну а все-таки? — упорствовала Конни, но Мик не ответил.

— Все вы, женщины, одинаковы. Либо лежите не шелохнетесь, будто мертвые, либо, когда мужчина уже устал, вдруг разгораетесь и начинаете наяривать, а наш брат знай терпи.

Конни, однако, не вслушивалась, хотя точка зрения мужчины ей в новинку. Ее ошеломило отношение Мика, его необъяснимая жестокость. Разве она в чем виновата?

— Но ведь ты же хочешь, чтобы и я получила удовольствие? — вновь спросила она.

— Разумеется! О чем речь! Но поверь, любому мужчине не очень-то по вкусу, сделав свое дело, еще ждать, пока женщина сама кончит...

Нечасто доставались Конни в жизни столь сокрушительные удары — после таких слов ее чувству не суждено было оправиться. Нельзя сказать, что до этого она души не чаяла в Микаэлисе. Не разбуди он в ней женщину, она б обошлась без него. И прекрасно бы обошлась! Но коль скоро в ней все же проснулась женщина, стоит ли удивляться, что и она хочет получить свое в постели. А получив, питает самые нежные чувства к мужчине (как в эту ночь), можно сказать, любит его, хочет выйти за него замуж.

Пожалуй, Микаэлис нутром почувствовал ее готовность и сам же безжалостно разрушил собственные планы — разом, словно карточный домик. А Конни в ту ночь похоронила свое влечение к этому мужчине, больше для нее не существовал вообще ни один мужчина. Жизни их разъялись, как и тела. Будто и не было никогда Микаэлиса.

Безотрадной чередой потянулись дни. Все пусто и мертво. Лишь однообразное, бесцельное существование; в понятии Клиффорда, это и есть «совместная жизнь»: двое долго живут бок о бок в одном доме, и объединяет их привычка.

Пустота! Смириться с тем, что жизнь — это великая пустыня, значит, подойти к самому краю бытия. Великое множество дел малых и важных составляет огромное число — но из одних только нулей.

Глава 6

— Почему в наши дни мужчины и женщины по-настоящему не любят друг друга? — спросила Конни у Томми Дьюкса — он был для нее вроде прорицателя.

— Вы неправы! С тех пор как придуман род людской, вряд ли мужчины и женщины любили друг друга крепче, чем сейчас. И добавлю: искреннее. Вот я, к примеру... Мне женщины нравятся куда больше мужчин. Они храбрее, им можно больше довериться.

Конни призадумалась:

— Но вы тем не менее никаких отношений с ними не поддерживаете.

— Разве? А что я сейчас, по-вашему, делаю? Разговариваю с женщиной о самом сокровенном!

— Вот именно — разговариваете...

— Ну, а будь вы мужчиной, удалось бы мне большее, нежели разговор по душам?

— Нет, пожалуй, но ведь женщина...

— Женщина хочет, чтобы ее любили, чтобы с ней говорили и чтобы одновременно сгорали от страсти к ней. Сдается мне, что любовь и страсть — понятия несовместимые.

— Но это же неправильно!

— А вам не кажется, что вода чересчур мокра? Что б ей стать посуше, а? Но она с нашими желаниями не считается. Мне нравятся женщины, я с ними охотно разговариваю, но я отнюдь не питаю к ним ни страсти, ни вожделения. Духовное и плотское во мне одновременно не уживутся.

— А по-моему, никакого противоречия не должно быть.

— Допустим, но зачастую в жизни все не так, как должно быть. Я в такие рассуждения не вдаюсь.

Конни снова задумалась.

— Но ведь мужчины умеют и пылко любить, и говорить с женщинами по душам. Не представляю, как можно пылко любить женщину и по-доброму, по-дружески не разговаривать с ней о сокровенном. Не представляю!

— Ну, знаете...— замялся он.— Впрочем, если я начну обобщать, толку будет немного. Я могу ссылаться лишь на собственный опыт. Я люблю женщин, но влечения не испытываю. Мне нравится разговаривать с ними. И в разговоре, с одной стороны, достигаю близости, с другой — отдаляюсь, меня совсем не тянет их целовать. Вот вам и противоречие. Но я, возможно, пример не типичный; скорее исключение из правил. Люблю женщин, но бесстрастно, а тех, кто требует от меня даже жалкого подобия страсти или пытается вовлечь в интрижку,— тех ненавижу.

— И вы об этом не жалеете?

— С чего бы?! Ничуть! Вон у таких, как Чарли Мей, связей предостаточно. Но я им не завидую. Пошлет мне Судьба желанную женщину — прекрасно! Раз такой нет или, может, я ее пока не встретил, значит, говорю я себе, ты — рыбья кровь, и довольствуюсь очень сильной симпатией к некоторым женщинам.

— А я вам симпатична?

— Весьма! Хотя, как видите, нам и в голову не приходит целоваться.

— Воистину! Хотя что ж в самом желании противоестественного?

— Ну, при чем тут это! Я люблю Клиффорда, но что вы скажете, если я брошусь его целовать?

— А разницы вы не видите?

— Собственно, в чем эта разница, взять хотя бы наш пример. Мы люди цивилизованные, половое влечение научились держать в узде, и притом в строгой. Понравится ли вам, если я начну, подобно разнузданным европейцам, хвастать своими «достоинствами»?

— Мне бы стало противно.

— Вот именно! А я — если вообще меня можно отнести к роду мужскому — пока не вижу соответствующую мне женщину и не ахти как страдаю. Потому-то мне хватает просто добрых чувств к женщинам. И никто никогда не заставит меня являть пылкую страсть или изображать ее в постели.

— Что верно, то верно. Но нет ли в этом какой-то ущербности?

— Вы ее чувствуете, я — нет.

— Да, я чувствую, что между мужчинами и женщинами какой-то разлад. Женщина в глазах мужчины потеряла очарование.

— А мужчина — в глазах женщины?

— Почти не потерял,— подумав, честно призналась Конни.

— Оставим всю эту заумь, вернемся к простому и естественному общению, как и подобает разумным существам. И к чертям собачьим всю эту надуманную постельную повинность! Я ее не признаю!

Конни понимала, что Томми Дьюкс прав. Но от его слов почувствовала себя еще более одинокой и беспризорной. Как щепку, крутит и несет ее по каким-то сумрачным водам. Для чего живет она и все вокруг?

То восставала ее молодость. Черствы и мертвы сердца этих мужчин. Все вокруг черство и мертво. Даже на Микаэлиса нет надежды: продаст и предаст женщину. А этим женщина и вовсе не нужна. Никому из них не нужна женщина, даже Микаэлису.

А подонки, которые притворно клянутся в любви, чтобы переспать с женщиной, и того хуже.

Страшно. Но ничего не поделать. Прав Томми: потерял мужчина очарование в глазах женщины. И остается обманывать себя, как обманывала она себя, увлекшись Микаэлисом. Все лучше, чем однообразная, унылая жизнь. Она отчетливо поняла, почему люди приглашают друг друга на вечеринки, почему до одури слушают джаз, почему до упаду танцуют чарльстон. Просто это молодость по-всякому напоминает о себе, а иначе не жизнь — тоска смертная! А вообще-то молодость — ужасная пора. Чувствуешь себя старой, как Мафусаил, но что-то внутри щекочет, лишает покоя. Что за жизнь ей выпала! И никаких надежд! Она почти жалела, что не уехала с Микаэлисом, тогда б вся ее жизнь потянулась нескончаемой вечеринкой или джазовым концертом. И то лучше, чем маяться и тешить себя праздными мечтаниями, дожидаясь смерти.

Однажды, когда на душе было совсем худо, она отправилась одна в лес, ничего не слыша, не видя вокруг. Ахнул выстрел — она вздрогнула, досадливо поморщилась, но пошла дальше. Потом услышала голоса, и ее передернуло: люди сейчас совсем некстати. Но чуткое ухо поймало и другой звук. Конни насторожилась — плакал ребенок. Она вслушалась: кто-то обижает малыша. Еще больше исполнившись мрачной злобой, она решительно зашагала вниз по скользкой тропе — сейчас обидчика в пух и прах разнесет.

Чуть поодаль, за поворотом, она увидела двоих: егеря и маленькую девочку в бордовом пальто и кротовой шапочке, девочка плакала.

— Ну-ка ты, рева-корова, замолчи сейчас же! — сердито прикрикнул мужчина, и девочка заплакала еще громче.

Завидев спешившую к ним разъяренную Констанцию, мужчина спокойно козырнул, лишь побледневшее лицо выдавало гнев.

— В чем дело, почему девочка плачет? — властно спросила Конни, запыхавшись от быстрого шага.

На лице у егеря появилась едва заметная глумливая ухмылка.

— А поди разбери! Спросите у нее сами! — жестко бросил он, нарочито подражая местному говору.

От таких слов Конни побледнела — ей словно пощечину влепили! Ну нет, она не уступит этому нахалу! И в упор взглянула на егеря — однако решимости в потемневших от гнева синих глазах поубавилось.

— Я спрашиваю у вас! — выпалила она.

Егерь приподнял шляпу, чуть наклонил голову — не то кивок, не то поклон.

— Слушаюсь, ваша милость. Только чего мне говорить-то? — ответил он, опять произнося слова по-местному грубовато.

И вновь замкнулось солдатское его лицо, лишь побледнело с досады.

Конни повернулась к девочке. Была она румяна и черноволоса, лет десяти от роду.

— Ну что случилось, маленькая? Почему плачешь? — тоном «доброй тети» спросила Конни. Девочка испугалась и зарыдала еще пуще. Конни заговорила еще мягче: — Ну-ну, не надо, не плачь! Скажи, кто тебя обидел,— как могла нежно проворковала она и, к счастью, нашарила в кармане вязаной кофты монетку.— Давай-ка вытрем слезы.— И она присела рядом с девочкой.— Посмотри-ка, что у меня есть — держи!

Девочка перестала всхлипывать, хлюпать носом, отняла кулачок от зареванного лица и смышленым черным глазом зыркнула на монетку. Потом раз-другой всхлипнула и примолкла.

— Ну, а теперь расскажи, из-за чего такие слезы,— снова попросила Конни, положила монетку на пухлую ладошку, девочка сразу зажала ее в кулачок.

— Из-за.. из-за киски!

И всхлипнула еще раз, но уже тише.

— Из-за какой киски, радость моя?

После некоторой заминки кулачок с монеткой ткнул в сторону кустов куманики.

— Вон той!

Конни пригляделась. Верно: большая черная окровавленная кошка безжизненно распласталась под кустом.

— Ой! — в ужасе воскликнула она.

— Она, ваша милость, нарушительница границы,— язвительно произнес Меллорс.

Конни сердито взглянула на него.

— Если вы ее при ребенке пристрелили, неудивительно, что девочка плачет! Совсем неудивительно.

Он быстро, но не тая презрения, посмотрел на нее. И опять Конни стыдливо зарделась: никак снова затеяла скандал, за что ж Меллорсу ее уважать?!

— Как тебя зовут? — игриво обратилась она к девочке.— Неужели не скажешь?

Девочка засопела, потом жеманно пропищала:

— Конни Меллорс!

— Конни Меллорс! Какое у тебя красивое имя! Значит, ты вышла погулять с папой, а он возьми и застрели киску. Но это нехорошая киска.

Девочка взглянула на нее смело и изучающе: что за тетя? Вправду ли такая добрая?

— Я к бабушке приехала.

— Что ты говоришь?! А где же твоя бабушка живет?

— В доме, вот где.— И девчушка махнула рукой в сторону аллеи.

— Вон оно что! И не вернуться ли тебе сейчас к ней, а?

— Вернуться! — отголоски рыданий дрожью пробежали по детскому телу.

— Хочешь, я провожу тебя? До самого бабушкиного дома. А папе нужно работать.— И повернулась к Меллорсу: — Это ваша дочка?

Он чуть кивнул и снова взял под козырек.

— Надеюсь, вы мне ее доверите?

— Как будет угодно вашей милости.

И снова он посмотрел ей в глаза. Спокойно, испытующе и в то же время независимо. Гордый и очень одинокий мужчина.

— Ты ведь хочешь пойти со мной к бабушке?

— Ага,— девочка еще раз взглянула на Конни.

Той маленькая тезка не понравилась: еще под стол пешком ходит, а уже набралась дурного: и притворства, и жеманства. Все же она утерла ей слезы и взяла за руку. Меллорс молча козырнул на прощанье.

— Всего доброго,— попрощалась и Конни.

Путь оказался неблизкий; когда наконец они пришли к бабушкиному нарядному домику, Конни-младшая изрядно надоела Конни-старшей. Девочка, точно дрессированная обезьянка, обучена великому множеству мелких хитростей и тем изрядно гордится.

Дверь в дом была распахнута, там что-то гремело и бряцало. Конни приостановилась, а девочка отпустила ее руку и вбежала в дом.

— Бабуля! Бабуля!

— Никак уже возвернулась?

Бабушка чистила плиту — обычное занятие субботним утром. Она подошла к двери: маленькая сухонькая женщина в просторном фартуке, со щеткой в руке, на носу — сажа.

— Батюшки, кто ж это к нам припожаловал! — ахнула она, увидев за порогом Конни, и поспешно отерла лицо рукой.

— Доброе утро! Девочка плакала, вот я и привела ее домой,— объяснила Конни.

Старушка проворно обернулась к внучке:

— А где ж папка-то твой был?

Малышка вцепилась в бабушкину юбку и засопела.

— Он тоже там был,— ответила вместо нее Конни.— Он пристрелил бездомную кошку, а девочка расстроилась.

— Да что же вам такие хлопоты, леди Чаттерли! Спасибо вам, конечно, за доброту, но, право, не стоило это ваших хлопот! Это ж надо! — И старушка снова обратилась к девочке: — Ты ж посмотри! Самой леди Чаттерли с тобой возиться пришлось! Ей-богу, не стоило так хлопотать!

— Какие хлопоты? Просто я прогулялась,— улыбнулась Конни.

— Бог воздаст вам за доброту! Это ж надо — плакала! Я так и знала: стоит им за порог выйти, что-нибудь да приключится. Малышка его боится, вот в чем беда-то. Он ей ровно чужой, ну, вот как есть чужой; и, сдается мне, непросто им будет поладить, ох, непросто. Отец-то — большой чудак.

Конни смешалась и промолчала.

— Ба, посмотри-ка, что у меня! — прошептала девочка.

— Надо же, тебе еще и монетку дали! Ой, ваша светлость, балуете вы ее. Ой, балуете! Видишь, внученька, какая леди Чатли добрая! Везет тебе сегодня!

Фамилию Чаттерли старуха выговаривала, как и все местные, проглатывая слог.

— Ох, и добра леди Чатли к тебе.

Неизвестно почему Конни засмотрелась на старухин испачканный нос, и та снова машинально провела по нему ладонью, однако сажу не вытерла.

Пора уходить.

— Уж не знаю, как вас и благодарить, леди Чатли! — все частила старуха.— Ну-ка, скажи спасибо леди Чатли! — это уже внучке.

— Спасибо! — пропищала девочка.

— Вот умница! — засмеялась Конни, попрощалась и пошла прочь, с облегчением расставшись с собеседницами. Занятно, думала она: у такого стройного гордого мужчины — и такая мать, осколочек.

А старуха, лишь Конни вышла за порог, бросилась к зеркальцу на буфете, взглянула на свое лицо и даже ногой топнула с досады.

— Ну, конечно ж! Вся в саже, в страшном фартуке! Вот, скажет, раззява!

Конни медленно возвращалась домой в Рагби. Домой... Не подходит это уютное слово к огромной и унылой усадьбе. Когда-то, может, и подходило, да изжило себя, равно измельчали и другие великие слова: любовь, радость, счастье, дом, мать, отец, муж. Поколение Конни просто отказалось от них, и теперь слова эти мертвы, и кладбище их полнится с каждым днем. Ныне дом — это место, где живешь; любовь — сказка для дурачков; радость — лихо отплясанный чарльстон; счастье — слово, придуманное ханжами, чтобы дурачить других; отец — человек, который живет в свое удовольствие; муж — тот, с кем живешь и кого поддерживаешь морально; и, наконец, «секс», то бишь радости плоти, последнее из великих слов,— это пузырек в игристом коктейле: поначалу бодрит, а потом — раз! — и от хорошего настроения — одни клочки. Сущие лохмотья! Будто вмиг обветшавшая тряпичная кукла.

Оставалось только, упрямо стиснув зубы, терпеть. Даже в этом таилось некое удовольствие. Каждый день, прожитый в мертвящем мире, каждый шаг по человеческой пустыне приносил странное и страшное упоение. Да, чему быть, того не миновать. Извечная мудрость: в семейной ли жизни, в любви, замужестве, связи с Микаэлисом — чему быть, того не миновать! И, умирая, человек произносит те же слова.

Пожалуй, только с деньгами обстоит иначе. Тягу к ним не усмирить. Деньги, Слава (или Вертихвостка-Удача, как ее величает Томми Дьюкс) нужны нам постоянно. Не прикажешь себе: «Смирись!» И десяти минут не проживешь, не имея гроша за душой — то одно, то другое нужно купить. Вложил деньги в дело — вкладывай еще, иначе дело остановится. Нет денег — и шагу не ступишь. Есть деньги — и больше ничего не нужно. И здесь выходит: чему быть, того не миновать.

Конечно, не твоя вина, что живешь на белом свете. Но раз уж родился, привыкай, что самое насущное — деньги. Без всего остального можно обойтись, ограничить себя. Но не без денег.

Она подумала о Микаэлисе. С ним бы она денег имела предостаточно. Но и это не привлекало. Пусть она не так богата с Клиффордом, но она сама помогает ему зарабатывать деньги. Сама причастна к ним. «Мы с Клиффордом зарабатываем литературой тысячу двести фунтов в год»,— прикинула она. Зарабатываем! А, собственно, на чем? Можно сказать, на ровном месте! Не ахти какой подвиг, чтобы гордиться. А остальное — и вовсе суета.

Она брела домой и думала, что вот сейчас она с Клиффордом засядет за новый рассказ. Создадут нечто из ничего. И заработают еще денег. Клиффорд ревниво следил, ставятся ли его рассказы в разряд самых лучших. А Конни было, собственно говоря, наплевать. «Пустые они» — так оценил рассказы ее отец. «Не такие уж пустые, раз тысячу фунтов приносят!» — вот самое краткое и бесспорное возражение.

Когда молод, можно, стиснув зубы, терпеть и ждать, пока деньги начнут притекать из невидимых источников. Все зависит от того, насколько ты влиятелен, насколько сильна твоя воля. Умело направишь мощное излучение своей воли, и к тебе приходят деньги — пустой фетиш, волшебно наделенный могуществом, слово, начертанное на клочке бумаги. Так ничто, пустота оборачивается успехом. Ах, Вертихвостка-Удача! Уж если и продавать себя, то только ей! Ее можно презирать, даже продаваясь, однако не так уж это и плохо!

У Клиффорда, разумеется, еще много угнездившихся еще в детском подсознании представлений о «запретном» и о «ценном». Ему непременно хотелось прослыть «очень хорошим» писателем. А «очень хорош»

тот, кто в моде. Мало быть просто очень хорошим и удовольствоваться этим. Ведь большинство «очень хороших» опоздало к автобусу удачи. А ведь живешь, в конце концов, только раз, и уж если опоздал на свой автобус, место тебе на обочине, рядом с остальными неудачниками.

Конни хотелось провести грядущую зиму в Лондоне вместе с Клиффордом. Ведь они-то на свой автобус не опоздали, могут теперь и немного покрасоваться, прокатившись наверху.

Беда в том, что Клиффорда все больше и больше сковывал душевный паралич, все чаще он замыкался или впадал в безумную тоску. Так напоминала о себе в его сознании давняя боль. Конни хотелось кричать от отчаяния. Что же делать человеку, если у него разлаживается что-то в механизме сознания? Пропади все пропадом! Неужто так и нести свой крест?! Но нельзя ВО ВСЕМ бессовестно предавать!

Порой она сокрушенно плакала, но и в такие минуты говорила себе: дура, что толку слезы лить! Слезами горю не поможешь!

Расставшись с Микаэлисом, она твердо решила: в жизни ей ничего не нужно. Вот самое простое решение неразрешимой в принципе задачи. Что жизнь дает, то и ладно, только бы поскорее, поскорее бежала жизнь: и Клиффорд, и его рассказы, Рагби, дворянство, деньги, слава — пусть все промелькнет поскорее. Любовь, связи, всякие там увлечения — чтоб как мороженое: лизнул раз-другой — и все! С глаз долой — из сердца вон. А раз из сердца вон, значит, все это ерунда. Половая жизнь в особенности. Ерунда! Заставишь себя так думать — вот и решена неразрешимая задача. И впрямь, секс — что бокал с коктейлем. И то, и другое, как ни смакуешь, а быстро кончается; и то, и другое одинаково возбуждает и пьянит.

То ли дело ребенок! С ним связаны чувства куда более сильные. Прежде чем решиться, она тщательно обдумает каждый шаг. Нужно выбрать мужчину. Удивительно! Но на свете нет мужчины, от кого б она хотела родить. От Микаэлиса? Брр! Подумать-то страшно! Скорей она от кролика родит! От Томми Дьюкса? Он очень хорош собой, но трудно представить его отцом, продолжателем рода. Томми — словно замкнутый сосуд. А остальные довольно многочисленные знакомцы Клиффорда вызывали отвращение, стоило ей подумать об отцовстве. Кое-кого она, пожалуй, взяла бы в любовники, даже Мика. Но родить ребенка?! Ни за что! Унизительно и омерзительно!

И от этого никуда не уйдешь!

Все ж в уголке души Конни лелеяла мысль о ребенке. Терпение, терпение! Как через сито просеет она мужчин и старых, и молодых, пока наконец найдет подходящего.

Обыдите пути Иерусалимские и воззрите, и познайте, и поищите на стогнах его, аще обрящете мужа... В Иерусалиме при Иисусе Христе невозможно было найти мужчину среди многих и многих тысяч. Но у нее-то запросы меньше. C'est une autre chose, совсем другое дело!

Ей подумалось даже, что он непременно будет иностранцем — не англичанином и уж конечно не ирландцем. Настоящий иностранец!

Нужно терпение и только терпение. Будущей зимой она увезет Клиффорда в Лондон, а еще через год отправит его на юг Франции или Италии. Главное — терпение! Торопиться с ребенком не следует. Дело это ее, и только ее, единственное, что в глубине своей причудливой женской души она считала важным. Уж она-то не польстится на случайного мужчину! Любовника найти можно в любую минуту, а вот отца будущего ребенка... нет, тут нужно терпение и еще раз терпение! Цели столь разнятся! Обыдите пути Иерусалимские... Но она ищет не любовь, а всего лишь мужчину. И относись она к нему хоть с неприязнью — не важно. Главное, чтоб это был мужчина, а отношение — дело десятое! Оно затрагивает совсем иные струнки души.

Накануне прошел уже привычный дождь, и тропинки еще не подсохли — Клиффорду не проехать. А Конни все же пошла погулять. Она

гуляла в одиночестве каждый день, больше любила лес, там-то ее никто не потревожит. Кругом — ни души.

Сегодня же Клиффорду вздумалось отправить егерю записку, а мальчонка-посыльный заболел гриппом и не вставал с постели — в Рагби вечно кто-нибудь да болел гриппом. Конни вызвалась отнести записку.

Воздух напоен влагой и мертвящей тишиной, будто все кругом умирает. Серо, стыло, тихо. Молчат и шахты: они работают неполную неделю, и сегодня — выходной. Кончилась жизнь.

Лес стоит молчаливо и недвижно, лишь редкие крупные капли, шурша, падают с голых ветвей. Затаилась в лесной чащобе меж вековых деревьев унылая безнадежная, сковывающая пустота.

Медленно, как во сне брела Конни по лесу. От него исходила старая-престарая грусть, и душа Конни умирялась как никогда — в жестоком и бездушном мире обыденности. Она любила самую суть старого леса, бессловесно донесенную до нее вековыми деревьями. И сколько силы, сколько жизни таилось в их молчании. Деревья тоже терпеливо выжидают: гордые неукротимые, исполненные молчаливой силы. Может, они просто ждут, когда наступит конец: их спилят, пни выкорчуют, конец лесу, конец их жизни. А может, их гордое и благородное молчание — так молчат сильные духом — означает нечто иное.

Она вышла к северной оконечности леса, там стоял дом лесничего — мрачноватый, сложенный из темного песчаника, с фронтоном и затейливой печной трубой. В доме, казалось, никто не живет, кругом ни души, тихо. Дверь заперта. Но из трубы тонкой струйкой бежал дымок, а палисадник под окнами ухожен, земля взрыхлена.

Оказавшись здесь, Конни слегка оробела, ей вспомнился взгляд егеря — пытливый и зоркий. Захотелось вообще уйти — передавать хозяйское распоряжение ох как неловко. Она тихо постучала. Никто не открыл. Заглянула в окно: маленькая угрюмая комнатка, стерегущая свое уединение — не подходи!

Конни прислушалась: из-за дома доносился не то шелест, не то плеск. Что ж, не беда, что не открывают, она не отступится, своего добьется! За домом земля поднималась крутым бугром, так что весь задний двор, окруженный низкой каменной стеной, оказывался как бы в низине. Завернув за угол, Конни остановилась. В двух шагах от нее мылся егерь, не замечая ничего вокруг. Он был по пояс гол, плисовые штаны чуть съехали, открыв крепкие, но сухие бедра. Он нагнулся над бадьей с мыльной водой, окунул голову, мелко потряс ею, прочистил уши — каждое движение тонких белых рук скупо и точно, так моется бобер. Делал он все сосредоточенно, полностью отрешившись от окружающего. Конни отпрянула, отошла за угол, а потом и совсем — в лес. Она сама не ждала, что увиденное так потрясет ее. Подумаешь, моется мужчина, какая невидаль!

Но именно эта картина поразила ее, сотрясла нечто в самой сокровенной ее глубине. Она увидела белые нежные ягодицы, полускрытые неуклюжими штанами, чуть очерченные ребра и позвонки; почуяла отрешенность и обособленность этого человека, полную обособленность, почуяла и содрогнулась. Ее просто ослепила чистая нагота человека, замкнувшего и свой одинокий дом, и свою одинокую душу. Ошеломила ее и красота чистого существа. Нет, не плотская красота привлекла ее, даже не собственно красота тела — прекрасного сосуда, а тот теплый белый свет жизни, горевший в нем. Он-то и выделял очертания сосуда, до которого можно дотронуться.

Да, увиденное потрясло Конни до самых сокровенных глубин и там запечатлелось. А разумом она пыталась отнестись ко всему иронично. Ишь, баню какую устроил во дворе! И мыло, конечно, самое дешевое — желтое, пахучее. А за издевкой появилась досада: с какой стати должна она лицезреть чей-то немудреный туалет?

Пройдя немного по лесу, она присела на пень. Мысли путались. Очевидно одно: распоряжение Клиффорда нужно передать, и ничто ее не остановит. Подождет немного — пусть егерь оденется, только бы не ушел. Судя по всему, он куда-то собирался.

И Конни побрела назад, чутко вслушиваясь. Вот и дом, ничто не изменилось. Залаяла собака. Конни постучала, сердце, вопреки воле, едва не выпрыгнуло из груди.

Послышались легкие шаги. Очевидно, егерь спускался со второго этажа. Дверь распахнулась так неожиданно, что Конни вздрогнула. Егерь и сам, видно, смутился, но тотчас же на губах заиграла усмешка.

— А, леди Чаттерли! Проходите, милости прошу!

Говорил и держался он естественно и просто. Конни переступила порог маленькой мрачноватой комнаты.

— Мне всего лишь нужно передать вам поручение сэра Клиффорда,— проговорила она по обыкновению тихо, чуть с придыханием.

А мужчина стоял рядом и смотрел. Голубые глаза его примечали все, Конни даже пришлось отвернуть лицо. Какая милая женщина, застенчивость красит ее еще больше, подумал он и с ходу взял инициативу в свои руки.

— Может, присядете? — спросил он, не надеясь на согласие. Дверь оставалась открытой.

— Нет, спасибо. Сэр Клиффорд просил...— И она передала записку, безотчетно глядя ему прямо в глаза. А в них столько тепла, столько доброты, чудесной, теплой доброты, обращенной к женщине просто и естественно.

— Понял, ваша милость, сейчас же займусь.

И все в нем вдруг переменилось — он посуровел и отдалился, будто скрылся за стеклянной стеной. Пора уходить, но Конни мешкала, беспокоен был ее дух. Она оглядела чистую, уютную, хотя и мрачноватую маленькую гостиную.

— Вы здесь совсем один живете? — спросила она.

— Совсем один, ваша милость.

— А матушка...

— Она живет в деревне, у нее там дом

— И девочка с ней?

— И девочка.

И простое усталое лицо тронула непонятная усмешка. Переменчивое лицо, обманчивое лицо.

Увидев, что Конни недоумевает, он пояснил:

— Не думайте, по субботам мать приходит, прибирает в доме. Со всем остальным сам управляюсь.

Еще раз Конни взглянула на него. Он улыбался глазами, чуть насмешливо, но в голубых озерцах все же осталась теплая доброта. Конни не переставала ему удивляться. Вот он стоит перед ней, в брюках, в шерстяной рубашке, при галстуке, мягкие волосы еще не высохли, лицо бледное и усталое. Угасла улыбка в глазах, но теплота осталась, и проглянуло за ней страдание — трудная, видно, выпала этому человеку доля. Но вот взгляд подернулся дымкой отчуждения, милой и приятной женщины рядом словно и не бывало.

А Конни хотелось так много ему сказать, но она сдержалась. Лишь взглянула на него и обронила:

— Надеюсь, я не очень помешала вам?

Чуть сощурились глаза в едва приметной усмешке.

— Разве что причесываться. Простите, я без пиджака, но я и не предполагал, кто ко мне постучит. Никто никогда вообще не стучит, а любой непривычный звук пугает.

Он пошел по тропинке впереди, чтобы открыть калитку. Без неуклюжей плисовой куртки, в одной рубашке, он, как и получасом раньше, со спины показался ей худым и чуть сутулым. Но, поравнявшись с ним,

она почуяла его молодость и задор — и в непокорных светлых вихрах, и в скором взгляде. Лет тридцать семь — тридцать восемь, не больше.

Она зашагала к лесу, чувствуя, что он смотрит вслед. Растревожил он ей душу, против ее воли растревожил.

А егерь, закрывая за собой дверь в доме, думал: «Как же она хороша, как безыскусна! Ей это и самой невдомек».

Конни надивиться не могла на этого человека: не похож он на егеря, вообще на обычного работягу не похож, хотя с местным людом что-то роднило его. Но что-то и выделяло.

— Этот егерь, Меллорс, прелюбопытнейший тип,— сказала она Клиффорду,— прямо как настоящий джентльмен.

— «Прямо как»? — усмехнулся Клиффорд.— Я до сих пор не замечал.

— Нет, что-то в нем все-таки есть,— не сдавалась Конни.

— Он, конечно, славный малый, но я плохо его знаю. Он год как из армии, да и года-то нет. В Индии служил, если не ошибаюсь. Может, там-то и поднабрался манер. Состоял небось при офицере, вот и пообтесался. С солдатами такое случается. Но пользы никакой. Приезжают домой, и все возвращается на круги своя.

Конни пристально посмотрела на Клиффорда и задумалась. Исконно мужнина черта: острое неприятие любого человека из низших сословий, кто пытается встать на ступеньку выше. Черта, присущая всей нынешней знати.

— И все-таки что-то в нем есть,— настаивала Конни.

— По правде говоря, нет! Я не замечал! — И Клиффорд взглянул на нее с любопытством, тревогой и даже подозрением. И она почувствовала: нет, не скажет он ей всей правды. Как не скажет и себе. Ненавистен ему даже намек на чью-то особенность, исключительность. Все должны быть либо на его уровне, либо ниже.

Да, теперешние мужчины скупы на чувства и жалки. Боятся чувств, боятся жизни!

Глава 7

Конни взошла к себе в спальню, разделась и стала разглядывать себя в огромном зеркале — сколько лет не делала она подобного. Она и сама не знала, что пыталась найти или увидеть в своем отражении, только поставила лампу так, чтобы полностью оказаться на свету.

И ей подумалось,— уже в который раз! — сколь хрупко, беззащитно и жалко нагое человеческое тело. Есть в нем какая-то незавершенность.

Говорили, что у нее неплохая фигура, но не по теперешним меркам — слишком округло-женственная, а не новомодная угловато-мальчишечья. Невысокого роста, крепко сбитая, как шотландка, коренастая. Каждое движение исполнено неспешной грации и неги, что часто и принимают за красоту. Кожа с приятной смуглинкой, плечи и бедра округлы и покойны. Наливаться бы этому телу, точно яблоку, ан нет!

Как переспелый плод, теряло оно упругость, кожа — шелковистость. Недостало этому плоду солнца и тепла, оттого и цветом тускл, и соком скуден.

Женственность принесла этому телу лишь разочарование, а мальчишески-угловатым, легким, почти прозрачным уже не стать. Вот и потускнело ее тело.

Маленькие неразвитые грудки печально понурились незрелыми грушами. Живот утратил девичью упругую округлость и матовый отлив, с тех пор как рассталась она со своим немецким другом — уж он-то давал ей любовь плотскую. В ту пору ее молодая плоть жила ожиданием, и неповторима была каждая черточка в облике. Сейчас же живот сделался плоским, дряблым. Бедра, некогда верткие, отливавшие матовой

белизной, тоже начали терять женственную округлость, пропала их крутизна; зачем же они ей?

Зачем ей вообще тело? И оно хирело, тускнело — ведь роль ему отводилась самая незначительная. Как горевала, как отчаивалась Конни! И было отчего: в двадцать семь лет она — старуха, и нет ни проблеска, ни лучика надежды. Плоть, ее женскую суть забыли, просто отвергли, да, отвергли. И она состарилась. Тела светских львиц были изящны и хрупки, словно фарфоровые статуэтки, благодаря вниманию мужчин. И не важно, что у этих статуэток пусто внутри. Но ей даже и с ними не сравниться. «Жизнь разума» умертвила ее плоть! И в душе закипела ярость — ее попросту надули!

Она разглядывала в зеркале свою спину, талию, бедра. Да, похудела, и это ее не красит. На пояснице набежала складка, когда Конни выгнулась, чтобы увидеть себя со спины. Как от нудной, тяжелой работы. А когда-то там играли веселые ямочки. Ягодицы и долгие выпуклые ляжки утратили шелковистость, отлив и вальяжность. Все в прошлом! Лишь немецкий парень любил ее тело, да и того уж десять лет как нет в живых. Как летит время! Целых десять лет как его нет, а ей еще всего двадцать семь. Тогда она даже презирала пробуждающуюся грубоватую чувственность здорового мальчишки. А теперь такой не найти. Нынешние мужчины — как Микаэлис: ласки жалкие, скорые, раз-два — и все. Нет у них здоровой человеческой плоти, что зажигает кровь и молодит душу.

Все ж она решила, что самое красивое у нее — бедра: от долгих ляжек до округлых, недвижно-спокойных ягодиц. Как песчаные дюны: зыбко-податливые, круто заворачивающие вниз. Меж ними еще теплилась жизнь, надежда. Но и сама плоть ее, казалось, стала гаснуть, увядать, так и не распустившись.

Зато спереди жалко на себя смотреть. Грудь и живот начали немного обвисать, так она похудела, усохла телом, состарилась, толком и не пожив. Она подумала о ребенке, которого ей, быть может, придется выносить. А может, она уже и для этого не годится.

Она накинула ночную рубашку, юркнула в постель и горько расплакалась. Горючими слезами изошла досада на Клиффорда, на его тщеславное писательство, на его чванливые разговоры. Досадовала и на других мужчин, подобных ему, кто обманом отобрал у женщины плотские радости.

Это нечестно! Нечестно! Зов обманутой плоти занимался огнем в сердце.

А утром... утром все как и прежде: встала в семь часов, спустилась к Клиффорду — ему нужно помочь во всех интимных отправлениях. Мужчины-слуги в доме не было, а от служанки он отказывался. Муж экономки, знавший Клиффорда еще ребенком, помогал поднимать и переносить его, все остальное делала Конни, причем делала охотно. Хоть это и вменялось ей в обязанность, она рада была помочь всем, что в ее силах.

Если она и отлучалась из Рагби, то на день — на два. Ее подменяла экономка миссис Беттс. С течением времени он всякую помощь стал принимать как должное — следствие сколь неизбежное, столь и естественное.

И все же глубоко в душе у Конни все ярче разгоралась обида: с ней поступили нечестно, ее обманули! Обида за свое тело, свою плоть — чувство опасное. Коль скоро оно пробудилось — ему нужен выход, иначе оно жадным пламенем сожрет душу. Бедняга Клиффорд! Он-то ни в чем не виноват. Ему еще горше пришлось в жизни. Участь обоих — лишь частичка всеобщего губительного разлада.

Впрочем, так ли уж он ни в чем не виноват? Он не давал тепла, не давал простого, душевного человеческого общения. Разве нет в этом его вины? Теплоты и задушевности в нем не сыскать, лишь холодная, расчетливая и благовоспитанная рассудочность. Но ведь может мужчи-

на приласкать женщину. Даже в родном отце чувствовала Конни мужчину. Пусть он эгоист, причем вполне сознательный, но даже он способен утешить женщину, согреть мужским теплом.

Нет, Клиффорд не из таких. Равно и все его друзья — внутренне холодные, каждый сам по себе. Душевное тепло для них — признак дурного тона. Нужно научиться обходиться без этого, главное — держаться на высоте. И все пойдет как по маслу, если жить среди себе подобных. И можно вести себя холодно и обособленно — вас все равно будут ценить и уважать, и притом держаться на высоте — до чего ж приятно это сознавать! Но если вы общественной ступенькой выше или ниже — дело совсем иное. Какой смысл держаться на высоте, зная, что вы принадлежите высшему обществу. Да и есть ли у самых высокородных аристократов эта «высота», и не глупый ли фарс само их кичливое поведение? Какой в этом смысл? Все это — бездушная чепуха.

В душе у Конни вызревал протест. Какая польза от ее жизни? Какая польза от ее жертвенного служения Клиффорду? И чему, собственно, она служит? Холодной мужниной гордыне, не ведающей теплоты человеческих отношений. Клиффорд не менее алчен, чем самый низкопородный ростовщик-еврей, только алчет он Удачи, мечтает о том, как бы завлечь ее, эту великую Вертихвостку. И он готов, как гончая, высунув язык, мчаться по пятам Удачи, нимало не смущаясь, что самоуверенно, лишь по рассудку, причислил себя к высшему обществу. Право же, у Микаэлиса больше достоинства, и он куда более удачлив. Если присмотреться, Клиффорд — настоящий шут гороховый, а это унизительнее, чем быть нахалом и наглецом.

Уж если выбирать меж Клиффордом и Микаэлисом, от последнего куда больше пользы. Да и она, Конни, нужна ему больше, чем Клиффорду. За обезножевшим калекой любая сиделка сможет присмотреть! Пусть Микаэлис — крыса, но крыса, способная на самоотверженность. Клиффорд же — глупый, кичливый пудель.

В Рагби порой наведывались гости, и среди них тетка Клиффорда, Ева,— леди Беннерли. Худенькая вдовица лет шестидесяти, с красным носом и повадками светской львицы. Она происходила из знатнейшего рода, но держалась очень просто. Конни полюбила старушку. Та бывала предельно открыта, когда это не противоречило ее намерениям, и внешне добра. Притом она, как, пожалуй, никто, умела держаться на высоте, да так, что всякий в ее присутствии чувствовал себя чуть ниже. Но ни малейшего снобизма в ее поведении не было, лишь безграничная уверенность в себе. Она преуспела в светской забаве: держалась спокойно и с достоинством, незаметно подчиняя остальных своей воле.

К Конни она благоволила и пыталась отомкнуть тайники молодой женской души своим острым, проницательным великосветским умом.

— По-моему, вы просто кудесница,— восхищенно говорила она Конни.— С Клиффордом вы творите чудеса! На моих глазах распускается, расцветает его великий талант!

Тетушка, будто своим, гордилась успехом Клиффорда. Еще одна славная строка в летописи рода! Сами книги ее совершенно не интересовали. К чему они ей?

— Моей заслуги в этом нет,— ответила Конни.

— А чья ж еще? Ваша, и только ваша. Но, сдается мне, вам-то от этого проку мало.

— То есть?

— Ну, посмотрите, вы живете как затворница. Я Клиффорду говорю: «Если в один прекрасный день девочка взропщет, вини только себя».

— Но Клиффорд никогда мне ни в чем не отказывает.

— Вот что, девочка моя милая,— и леди Беннерли положила тонкую руку на плечо Конни,— либо женщина получает от жизни то, что ей положено, либо — запоздалые сожаления об упущенном. Уж поверь-

те мне! — И она в очередной раз приложилась к бокалу с вином. Возможно, именно так она выражала свое сожаление.

— Но разве я мало получаю от жизни?

— По-моему, очень! Клиффорду свозить бы вас в Лондон, развеяться. Его круг хорош для него, а вам что дают его друзья? Я б на вашем месте с такой жизнью не смирилась. Пройдет молодость, наступит зрелость, потом старость, и ничего кроме запоздалых сожалений у вас не останется.— И ее изрядно выпившая милость замолчала, углубившись в размышления.

Но Конни не хотелось ехать в Лондон, не хотелось, чтобы леди Беннерли выводила ее в свет. Какая она светская дама! Да и скучно все это! Да и чуяла она за добрыми словами мертвящий холодок. Как на полуострове Лабрадор: на земле яркие цветы растут, а копнешь — вечная мерзлота.

В Рагби приехали Томми Дьюкс и еще один их приятель, Гарри Уинтерслоу, и Джек Стрейнджуэйз с женой Оливией. Болтали о пустяках (ведь только в кругу «закадычных» шел серьезный разговор), плохая погода лишь усугубляла скуку. Можно было лишь поиграть на бильярде да потанцевать под механическое пианино.

Оливия стала рассказывать о книге про будущее, которую читала. Детей будут выращивать в колбах, и женщин «обезопасят» от беременности.

— Как это замечательно! — восторгалась она.— Женщина наконец сможет жить независимо.

Ее муж хотел детей, она же была против.

— И вы бы захотели «обезопаситься»?— неприятно усмехнувшись, спросил Уинтерслоу.

— Меня, судя по всему, и так природа обезопасила,— ответила Оливия.— Во всяком случае, у грядущих поколений будет побольше здравого смысла, и женщине не придется опускаться до своего «природного предназначения».

— Тогда, может, стоит их всех вообще поднять за облака, пусть себе летят подальше,— предложил Дьюкс.

— Думается, достаточно развитая цивилизация упразднит многие несовершенства наших организмов,— заговорил Клиффорд.— Взять, к примеру, любовь — это лишь помеха. Думаю, что она отомрет, раз детей в пробирках будут выращивать.

— Ну уж нет! — воскликнула Оливия.— Любовь еще больше радости будет приносить.

— Случись, любовь отомрет,— раздумчиво сказала леди Беннерли,— непременно будет что-то вместо нее. Может, морфием увлекаться начнут. Представьте: вы дышите воздухом с добавкой морфина. Как это взбодрит!

— А по субботам по указу правительства в воздух добавят эфир — для всеобщего веселья в выходной,— вставил Джек.— Все бы ничего, да только вообразите, какими мы будем в среду.

— Пока способен забыть о теле, ты счастлив,— заявила леди Беннерли.— А напомнит оно о себе, и ты несчастнейший из несчастных. Если в цивилизации вообще есть какой-то смысл, она должна помочь нам забыть о теле. И тогда время пролетит незаметно и счастливо.

— Пора нам вообще избавиться от тел,— сказал Уинтерслоу.— Давно уж человеку нужно усовершенствовать себя, особенно физическую оболочку.

— И превратиться в облако, как дымок от сигареты,— улыбнулась Конни.

— Ничего подобного не случится,— заверил их Дьюкс.— Развалится наш балаганчик, только и всего. Цивилизации нашей грозит упадок. И падать ей в бездонную пропасть. Поверьте мне, лишь крепкий фаллос станет мостом к спасению.

— Ах, генерал, докажите! Свершите невозможное! — воскликнула Оливия.

— Погибнет наш мир,— вздохнула тетушка Ева.

— И что же потом? — спросил Клиффорд.

— Понятия не имею, но что-нибудь да будет,— успокоила его старушка.

— Конни предрекает, что люди превратятся в дым, Оливия — что детей станут растить в пробирках, а женщин избавят от тягот, Дьюкс верит, что Фаллос станет мостом в будущее. А каким же оно будет на самом деле? — задумчиво проговорил Клиффорд.

— Не ломай голову! С сегодняшним бы днем разобраться! — нетерпеливо бросила Оливия.— Побыстрей бы родильную пробирку изобрели да нас, женщин, избавили.

— А вдруг в новой цивилизации будут жить настоящие мужчины, умные, здоровые телом и духом, и красивые, под стать мужчинам, женщины? — предположил Томми.— Ведь они как небо от земли будут отличаться от нас! Разве мы мужчины? И что в женщинах женского? Мы лишь примитивные мыслящие устройства, так сказать, механико-интеллектуальные модели. Но ведь придет время и для подлинных мужчин и женщин, которые сменят нас — кучку болванчиков с умственным развитием дошколят. Вот это было бы воистину удивительно — похлеще, чем люди-облака или пробирочные дети.

— Когда речь заходит о настоящих женщинах, я умолкаю,— прощебетала Оливия.

— Да, в нас ничто не может привлекать, разве только крепость души,— обронил Уинтерслоу.

— Верно, крепость привлекает,— пробормотал Джек и допил виски с содовой.

— Только ли души? А я хочу, чтоб вслед за душой обессмертилось и тело! — потребовал Дьюкс.— Так оно и будет со временем. Когда мы хоть чуточку сдвинем с места нашу рассудочность, откажемся от денег и всякой чепухи. И наступит демократия, но не мелкого своекорыстия, а свободного общения.

«Хочу, чтоб обессмертилось и тело!... Наступит демократия свободного общения» — вновь и вновь звучало в ушах Конни. Она не понимала толком смысл, но слова эти успокаивали ее душу — так успокаивает журчание воды.

Но до чего ж глупый и нескладный разговор. Конни измаялась от скуки, слушая Клиффорда, тетушку Еву, Оливию и Джека, этого Уинтерслоу. Даже Дьюкс надоел. Слова, слова, слова! Бесконечное и бессмысленное сотрясание воздуха.

Однако, проводив гостей, она не почувствовала облегчения. Размеренно и нудно потянулись часы. Но где-то в животе угнездились досада и тоска, и ничем их не вытравить. Из часов складывались дни, каждый давался ей с необъяснимой тягостью, хотя ничего нового он не приносил. Разве что она все больше и больше худела — это заметила даже экономка и спросила, не больна ли Конни. И Томми Дьюкс уверял, что она нездорова; Конни отнекивалась, говорила, что все в порядке. Только вдруг появился страх перед белыми, как привидения, надгробиями. Мраморной отвратительной белизной они напоминали вставные зубы — этими жуткими «зубами» утыкано подножие холма у церкви в Тивершолле. Из парка Конни как на ладони была видна эта пугающая картина. Ощерившийся в жуткой гримасе кладбищенский холм вызывал у Конни суеверный страх. Ей казалось, недалек тот день, когда и ее схоронят там, еще один «зуб» вырастет среди надгробий и памятников, в этом прокопченном «сердце Англии».

Она понимала: без помощи не обойтись. И послала коротенькую записку сестре Хильде: «Мне в последнее время нездоровится. Сама не пойму, в чем дело».

Ответ пришел из Шотландии — там теперь «осела» Хильда. А в марте приехала и сама — в одиночку. На юркой двухместной машине. Одолела подъем, проехала аллеей, обогнула луг, на котором высились два огромных бука, и подкатила к усадьбе.

К машине подбежала Конни. Хильда заглушила мотор, вылезла и расцеловалась с сестрой.

— Но что же все-таки случилось? — тут же спросила она.

— Да ничего! — пристыженно ответила Конни, но, взглянув на сестру и сравнив с собой, поняла, что та не изведала и толики ее страданий. Раньше у обеих сестер была золотистая с матовым отливом кожа, шелковистые каштановые волосы, природа наделила обеих крепким и вместе нежным телом. Но сейчас Конни осунулась, лицо сделалось пепельно-серым, кожа на шее, сиротливо выглядывавшей из ворота кофты, пожелтела и пошла морщинами.

— Ты и впрямь нездорова! — Хильда, как и сестра, говорила негромко, чуть с придыханием. Была она почти на два года старше Конни.

— Да нет, здорова; просто, наверное, надоело мне все.

Боевой огонек вспыхнул во взгляде сестры. Она, хоть и казалась мягкой и спокойной, в душе была лихой и непокорной воительницей.

— Проклятая дыра! — бросила она, оглядывая ненавидящим взором ни в чем не повинную дремлющую старушку усадьбу.

Неистовая душа жила в ее нежном, налитом, точно зрелый плод, теле. Ныне такие воительницы уже перевелись.

Ничем не выдавая своих чувств, она пошла к Клиффорду. Тот тоже подивился ее красе, но внутренне напрягся. Родные жены, не в пример ему, не отличались изысканной воспитанностью и лоском. Конечно, они люди иного круга, но, приезжая к нему в гости, они почему-то всегда подчиняли его своей воле.

Он сидел в кресле прямо, светлые волосы ухожены; голубые, чуть навыкате глаза бесстрастны. На холеном лице не прочитать ничего, кроме благовоспитанного ожидания. Хильде вид его показался надутым и глупым. Он старался держаться как можно увереннее, но Хильда на это и внимания не обратила. Она приготовилась к бою, и кто перед ней — папа римский или император, — ей было все равно.

— Конни выглядит просто удручающе,— тихо начала она, обожгла его взглядом своих прекрасных серых глаз и скромно потупилась, совсем как Конни. Но Клиффорд увидел сокрытое до поры твердокаменное, истинно шотландское упрямство.

— Пожалуй, она немного похудела.

— И что же, вы ничего не предприняли?

— А так ли уж это необходимо? — парировал он ее вопрос с учтивостью и непреклонностью — столь разные качества зачастую уживаются в англичанах.

Хильда не ответила, лишь свирепо зыркнула на него: особой находчивостью в словесной перепалке она не отличалась. Клиффорду же ее взгляд пришелся горше всяких слов.

— Я покажу ее врачу,— наконец заговорила Хильда.— Вы могли бы порекомендовать кого-либо из местных?

— Сожалею, но не могу.

— Хорошо. Отвезу ее в Лондон, там у нас есть надежный врач.

Клиффорд не проронил ни слова, хотя кипел от гнева.

— Надеюсь, мне можно у вас переночевать,— продолжала Хильда, снимая перчатки.— Сестру я увезу завтра утром.

От злости Клиффорд пожелтел, и белки глаз тоже пожелтели — пошаливала печень. Но Хильда по-прежнему являла образец скромности и благочестия.

— Вам нужно завести сиделку, чтоб ухаживала только за вами. А еще лучше мужчину в слуги взять,— сказала Хильда позже за послеобеденным кофе — к тому времени оба уже успокоились. Говорила она,

как всегда, тихо и вроде бы мягко, но Клиффорд чувствовал, что каждое слово — точно удар дубинкой по голове.

— Вы так полагаете? — сухо спросил он.

— Вне всякого сомнения! Иначе нам с отцом придется увезти Конни на месяц-другой. Так дальше продолжаться не может.

— Что — не может?

— Да вы посмотрите на бедную девочку! — И сама воззрилась на Клиффорда. Он сидел перед ней точно огромный вареный рак.

— Мы с Конни обсудим ваше предложение.

— Да я уж с ней все обсудила,— подвела черту Хильда.

Клиффорду ненавистны были сиделки — они напрочь лишают возможности побыть наедине с собой, у них на виду — все его самое сокровенное. Нет, от них он настрадался, хватит. А мужчина-прислужник и того хуже, он его в доме не потерпит, на худой конец, возьмет женщину. Но пока ему доставало Конни.

Сестры уехали утром. Конни — точно агнец на закланий — съежилась и притихла рядом с сидевшей за рулем Хильдой. Хотя их отец, сэр Малькольм, в отъезде, дом в Кенсингтоне ждал сестер.

Доктор внимательно осмотрел Конни, расспросил о жизни.

— Иногда в газетах мне попадаются ваши с сэром Клиффордом фотографии. Вы теперь — знаменитые люди. Да, вот как вырастают маленькие, тихие девочки! Впрочем, вы и сейчас такая. Не испортила вас слава. Итак, никаких патологических изменений у вас нет, но образ жизни придется изменить. Скажите сэру Клиффорду, пусть отвезет вас в город или за границу. Вам нужно развлечься, просто необходимо! Набраться сил — они у вас на исходе. Сердце начинает пошаливать. Но это невроз, всего лишь невроз. Месяц в Канне или Биаррице — и все как рукой снимет. Но так дальше жить вам нельзя, просто нельзя! Иначе я не отвечаю за последствия. Вы тратите жизненные силы и ничем их не восполняете. Вам не хватает радости, обычной, здоровой радости. Нельзя так расходовать силы. Всему есть предел! И всякую грусть-тоску — прочь! Это главное.

Хильда лишь стиснула зубы — видно, дело нешуточное.

Микаэлис, прослышав, что они в городе, тотчас примчался с букетом роз.

— Что, что случилось? — воскликнул он.— На тебе лица нет! Ты страшно переменилась, от тебя только тень осталась. Что ж ты ничего мне не сообщила? Я б увез тебя в Ниццу или на Сицилию. Да, поедем со мной на Сицилию. Там сейчас чудесно. Тебе нужно солнце! Тебе нужна жизнь! Поедем со мной! Поедем в Африку! Да брось ты сэра Клиффорда! Забудь о нем и поедем со мной. Я женюсь на тебе, как только он даст развод. Поехали Ты поймешь, что такое жизнь! Благодать! Да Рагби кого угодно в могилу сведет! Пропащее место! Как трясина! Любого засосет! Поедем же со мной к солнцу! Тебе так не хватает света, тепла — естественной человеческой жизни.

Но при одной только мысли, что придется оставить Клиффорда прямо сейчас, все бросить, у Конни занимался дух. Нет, не сможет она! Нет... ни за что! Не сможет, и все! Она непременно вернется в Рагби.

Микаэлис выслушал ее с раздражением. Хильда отнюдь не благоволила ему, но все же меж Клиффордом и Микаэлисом выбрала бы последнего. Итак, сестры вернулись в Рагби.

Хильда первым делом отправилась к Клиффорду; желтизна, тронувшая белки его глаз, еще не сошла. Конечно же, и он по-своему волновался и томился. Но внимательно выслушал все, что говорила Хильда, что говорил Хильде доктор (о том, что говорил Микаэлис, Хильда, разумеется, не упомянула). Пока она выставляла Клиффорду одно условие за другим, бедняга сидел молча.

— Вот адрес хорошего слуги. Он ухаживал за одним инвалидом, тот умер в прошлом месяце. Слуга этот — человек надежный и, не сомневаюсь, приедет, если позвать.

— Но я не инвалид, и мне не нужен слуга! — отчаянно отбивался Клиффорд.

— Вот еще адреса двух сиделок. Одну я сама видела, она внушает доверие. Лет пятьдесят, спокойная, крепкая, добродушная, для своего уровня даже воспитанная.

Клиффорд, насупившись, молчал.

— Ну что же, Клиффорд. Если к завтрашнему дню мы ни о чем не договоримся, я даю отцу телеграмму и мы забираем Конни.

— И Конни готова уехать?

— Ей, конечно, не хочется, но она понимает, что иного выхода нет. Мать у нас умерла от рака, и все на нервной почве. Рисковать еще одной жизнью мы не будем.

Назавтра Клиффорд предложил в сиделки миссис Болтон, приходскую сестру милосердия из Тивершолла. Очевидно, ее порекомендовала Клиффорду экономка. Миссис Болтон собиралась оставить службу и практиковать как частная сестра-сиделка. Клиффорду просто невмоготу было бы довериться чужому человеку, но миссис Болтон ухаживала за ним, когда в детстве он болел скарлатиной.

Конни и Хильда тут же отправились к миссис Болтон. Жила она в добротном домике, на «чистой» половине поселка. Миловидная женщина лет под пятьдесят в белой наколке и переднике, в подобающем сестре милосердия платье — как раз заваривала чай. Гостиная у нее была маленькая, заставленная мебелью.

К гостям она отнеслась с большим вниманием и тактом; в речи лишь изредка проскальзывал местный небрежный говорок, говорила она грамотно, хотя и тяжеловесно. Много лет верховодила она заболевшими шахтерами, исполнилась веры в собственные силы и наилучшего о себе мнения. Одним словом, по деревенским масштабам она тоже представляла высшее местное общество, к тому же весьма уважаемое.

— Да, конечно, леди Чаттерли выглядит не очень-то хорошо! Она, помнится, все время была такой славной пышечкой, и — на тебе! За зиму, поди, так ослабела! Еще бы, ей нелегко! Ах, бедный сэр Клиффорд! Все война проклятая! Кто-то за все ответит?

Миссис Болтон готова ехать в Рагби незамедлительно, лишь бы отпустил доктор Шардлоу. У нее еще полмесяца ночные дежурства, но ведь можно и замену подыскать.

Хильда написала доктору Шардлоу письмо, и уже в воскресенье сиделка и два чемодана в придачу прибыли на извозчике в Рагби. Все переговоры с ней вела Хильда. Миссис Болтон и без повода готова была переговорить обо всем на свете. Казалось, молодость еще бьет в ней ключом. Так легко вспыхивали ее белые щеки! А было ей сорок семь.

Мужа, Теда Болтона, она потеряла двадцать два года назад, ровно под Рождество — он погиб на шахте, оставив ее с двумя малыми детьми. Младшенькая еще и ходить не умела. Сейчас она уже замужем за очень приличным молодым человеком, работает на солидную фирму в Шеффилде. Старшенькая учительствует в Честерфилде, приезжает на выходные домой, если не сманят куда-нибудь подружки. Теперь ведь у молодых забав хоть отбавляй, не то что в ее, Айви Болтон, пору.

Тед Болтон погиб при взрыве в забое двадцати восьми лет от роду. Их там четверо было. Штейгер им крикнул: «Ложись!» — трое-то успели, а Тед замешкался. Вот и погиб. На следствии товарищи давай начальство выгораживать, дескать, Тед испугался, хотел убежать, приказа ослушался, так что вроде выходит, будто он сам и виноват. И компенсацию заплатили только три сотни фунтов, да и то будто из милости, а не по закону. Так как Тед, видите ли, по своей вине погиб. Да еще и на руки-то всех денег не дали! Она-то хотела лавку открыть. А ей говорят: промотаешь деньги или пропьешь. Так и платили по тридцать

шиллингов в неделю. Приходилось каждый понедельник тащиться в контору и по два часа простаивать в очереди. И так почти четыре года. А что ей оставалось — с двумя малышками на руках? Хорошо, мать Теда, добрая душа, помогла. Как девочки ходить научились, она на день их к себе стала забирать, а Айви ездила в Шеффилд на курсы при «скорой помощи», а на четвертый год даже выучилась на сестру-сиделку и бумагу соответственную получила. Она твердо решила ни от кого не зависеть, самостоятельно воспитывать дочерей. Одно время работала в маленькой больнице, потом ее приметили в тивершольской Угольной компании, приметил-то сам сэр Джефри, решил, что опыта у нее уже достаточно, и пригласил работать в приходской больнице. Очень любезно с его стороны. И вообще к ней по-доброму начальство относилось, ничего дурного сказать нельзя. Так она и работала, только сейчас уже трудно все на своих плечах нести, полегче бы занятие подобрать, а то приходится и в дождь, и в слякоть по всему приходу грязь месить, больных навещать.

— Что верно, то верно, в Компании ко мне по-доброму отнеслись. Но вовек не забуду, как они о Теде отзывались. Таких, как он, бесстрашных да хладнокровных, в шахте и не сыскать. А его чуть не трусом выставили. Ну, а мертвый-то что, ведь за себя не заступится.

Сколь противоречивые чувства обнаружились в этой женщине, пока она рассказывала. К шахтерам она привязалась — ведь много лет лечила их. Но в то же время она ставила себя много выше. Вроде б и «верхушка», ан нет, к тем, кто «наверху», она исходила ненавистью и презрением. Хозяева! В столкновениях хозяев с рабочими она всегда стояла за трудовой люд. Но стихала борьба, и Айви Болтон снова пыталась доказать свое превосходство, приобщиться к «верхушке». Эти люди завораживали ее, пробуждая в душе исконно английскую тягу к главенству. Она с трепетом ехала в Рагби, с трепетом беседовала с леди Чаттерли. Ну, о чем речь! С шахтерскими женами ее не сравнить! Это миссис Болтон старалась подчеркнуть, насколько ей хватало красноречия. Однако проглядывало в ней и недовольство высокородным семейством — то было недовольство хозяевами.

— Конечно же, такая работа леди Чаттерли не под силу! Слава Богу, сестра приехала, выручила. Мужчины, что из благородных, что из простых — все одно, не задумываются, каково женщине, принимают все как должное. Уж сколько раз я шахтерам выговаривала. Сэру Клиффорду, конечно, трудно, что и говорить, обезножел совсем. У них в семье люд гордый, заносчивый даже — ясное дело, аристократы! И вот как судьба их ниспровергла. Леди Чаттерли, бедняжке, тяжело, поди, тяжелее, чем мужу. Что у нее в жизни есть?! Я хоть три года со своим Тедом прожила, но уж пока при нем была, знала, что такое муж, и той поры мне не забыть. Кто бы подумал, что он так погибнет? Мне и сейчас даже не верится. Хоть и своими руками его обмывала, но для меня он и сейчас как живой. Живой, и все тут.

Итак, в Рагби зазвучал новый, непривычный поначалу для Конни голос. Он обострил ее внутренний слух.

Правда, первую неделю в Рагби миссис Болтон вела себя очень сдержанно. Никакой самоуверенности, никакого верховодства, в новой обстановке она робела. С Клиффордом держалась скромно, молчаливо, даже испуганно. Ему такое обращение пришлось по душе, и он вскоре перестал стесняться, полностью доверившись сиделке, даже не замечал ее.

— Полезный ноль — вот она кто! — сказал он. Конни изумилась, но спорить не стала. Столь несхожи впечатления о двух несхожих людях.

И вскорости вернулись его высокомерные, поистине хозяйские замашки с сиделкой. Она была к этому готова и бессознательно согласилась с отведенной ролью. С какой готовностью принимаем мы обличье, которое от нас ждут! Ее прежние пациенты, шахтеры, вели себя как дети, жаловались, что и где болит, а она перевязывала их, терпеливо

ухаживала. В их окружении она чувствовала себя всемогущей, этакой доброй волшебницей, способной уврачевать. При Клиффорде она умалилась до простой служанки, безропотно смирилась, постаралась приноровиться к людям высшего общества.

Молчаливо потупив взор, опустив овальное, еще красивое лицо, приступала она к своим обязанностям, всякий раз спрашивая разрешения сделать то или это.

— Нет, это подождет. С этим повременим.

— Прекрасно, сэр.

— Зайдите через полчаса.

— Прекрасно, сэр.

— И унесите, пожалуйста, старые газеты.

— Прекрасно, сэр.

И тихо она исчезала, а через полчаса появлялась вновь. Да, к ней относились не очень уважительно, но она и не возражала. Она жила новыми ощущениями, вращаясь среди «сильных мира сего». К Клиффорду она не питала ни отвращения, ни неприязни. Он был любопытен ей, как часть доселе непонятного и незнакомого явления — жизни аристократов. Куда проще ей было с леди Чаттерли, да к тому же за хозяйкой дома первое слово.

Миссис Болтон укладывала Клиффорда спать, сама же стелила себе в комнате напротив и по звонку хозяина приходила даже ночью. Не обойтись без нее и утром; вскоре миссис Болтон стала просто незаменимой; она даже брила Клиффорда своей легкой женской рукой. Обходительная и толковая, она скоро поняла, как возобладать и над Клиффордом. В конце концов, не столь уж он и отличается от шахтеров — и подбородок ему так же намыливаешь, и щетина у него такая же. А его заносчивость и неискренность ее мало беспокоили. У новой жизни свои законы.

Клиффорд в глубине души так и не простил Конни: ведь та отказала ему в самой важной заботе, передоверив ее чужой, платной сиделке. Завял цветок интимности меж ним и женой — так объяснил себе перемену Клиффорд. Конни меж тем нимало не огорчилась. «Цветок интимности» виделся ей вроде капризной орхидеи, вытягивавшей из нее, Конни, все жизненные соки. Однако, по ее разумению, он до конца так и не распустился.

Теперь у нее появилось больше свободного времени, она тихонько наигрывала на фортепьяно у себя в гостиной, напевала: «Не рви крапивы... и пут любовных — сожжешь всю душу». Да, ожогов на душе у нее не счесть, и все — за последнее время, все из-за этих «пут любовных». Но, слава Богу, она все ж их ослабила! Как хорошо побыть одной, не нужно все время поддерживать с мужем разговор. Он же, оставаясь наедине, садился за пишущую машинку и печатал, печатал, печатал — до бесконечности. А случись жена рядом в минуту досуга, он тут же заводил нескончаемо долгий монолог: без устали копался в людских поступках и побуждениях, чертах характера и иных проявлениях личности — у Конни голова шла кругом. Долгие годы она с упоением слушала мужа и вот наслушалась, хватит. Речи его стали ей невыносимы. Как хорошо, что теперь она может побыть одна.

Они, как два больших дерева, срослись тысячами корешков, сплелись множеством ветвей, да так крепко, что начали душить друг друга. И вот Конни принялась распутывать этот клубок, обрывать узы, ставшие путами, осторожно-осторожно, хотя ей не терпелось поскорее вырваться на свободу. Но у них любовь особая, и путы рвались не так-то легко. Однако появилась миссис Болтон и изрядно помогла.

Впрочем, Клиффорд по-прежнему хотел проводить с женой вечера за сокровенными беседами или чтением вслух. Но Конни подстраивала так, что в десять часов приходила миссис Болтон и «посиделки» заканчивались, Конни поднималась к себе в спальню, а Клиффорд оставался на попечении доброй няньки.

Миссис Болтон столовалась с экономкой в ее комнате, они прекрасно ладили друг с другом. Занятно, как близко к господским покоям подобрались комнаты прислуги — прямо к дверям хозяйского кабинета, раньше они ютились поодаль. А теперь миссис Беттс частенько заглядывала в комнату сиделки, и до Конни доносились их приглушенные голоса. Подчас даже в гостиной, сидя с Клиффордом, она чувствовала всепроникающее дыхание иного, простолюдинного мира.

Да, появление миссис Болтон во многом изменило жизнь усадьбы. У Конни точно гора свалилась с плеч. Началась совсем другая жизнь, она стала чувствовать по-иному, вздохнула полной грудью. Но ее еще пугало, как много корней связывает — причем на всю жизнь — с Клиффордом. Все же она вздохнула свободнее, вот-вот откроется новая страница в ее жизни.

Глава 8

Миссис Болтон и на Конни поглядывала покровительственно, и ее хотела взять под свое крыло, видя в ней и дочь, и пациентку. Она выпроваживала ее милость на прогулки, либо пешие, либо на машине. Конни сделалась вдруг домоседкой: она проводила почти все время у камина, либо с книгой (хотя читала вполглаза), либо с вышивкой (хотя это ее мало увлекало) и очень редко покидала дом.

Как-то в ветреный день, вскорости после отъезда Хильды, миссис Болтон предложила:

— Пошли б в лес погулять. Набрали б нарциссов, их у дома лесничего много. Красотища! Ничего лучше в марте не сыскать. Поставите у себя в комнате, любо-дорого смотреть.

Конни добродушно выслушала сиделку, улыбнулась ее говорку. Дикие нарциссы — это и впрямь красота! Да и нельзя сидеть и киснуть в четырех стенах, когда на дворе весна. Ей вспомнились строки Мильтона: «Так с годом каждым проходит череда времен. Но не сулит мне ничего ни День, ни нежный сумрак Ночи, ни Утро...»

А егерь? Худощавое белое тело его — точно одинокий пестик чудесного невидимого цветка! В невыразимой тоске своей она совсем забыла про него, а сейчас будто что-то торкнуло ...«У двери на крыльце». Значит, надо распахнуть дверь, выйти на крыльцо. Она чувствовала себя крепче, прогулка не утомляла как прежде, ветер, столь необоримый в парке, в лесу присмирел, уже не сбивал с ног. Ей хотелось забыться, сбросить всю мирскую мерзость, отринуть всех этих людей с мертвой плотью. «...должно вам родиться свыше» [1]. Я верю и в воскресение тела. «...если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» [2].

Сколько разных высказываний и цитат принесло ей мартовским ветром.

А еще ветром принесло солнечные блики, они разбежались по опушке леса, где рос чистотел, вызолотили голые ветки орешника. И притих лес под ласковыми лучами. Выглянули первые анемоны, нежным бледно-фиолетовым ковром выстлали продрогшую землю. «И побледнела земля от твоего дыхания». Но на этот раз то было дыхание Персефоны. Конни чувствовала себя так, словно выбралась на чистый молочный воздух из преисподней. И ветер дышал холодом над головой, запутавшись в хитросплетенье голых ветвей. И он тоже рвется на свободу, подумалось Конни,— как Авессалом [3]. Как, должно быть, холодно анемонам — белый стан, зеленые кринолины листьев. Но им все ни-

---

[1] Евангелие от Иоанна, 3, 7.

[2] Евангелие от Иоанна, 12, 24.

[3] «И встретился Авессалом с рабами Давидовыми; он был на муле. Когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то *Авессалом* запутался волосами своими в ветвях дуба, и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал» (Вторая книга Царств, 18, 9).

почем. Появились и первые примулы — у самой тропы: желтые тугие комочки открывались, выпуская лепестки.

Ветер ревел и буйствовал высоко над головой, понизу обдавало холодом. В лесу Конни вдруг разволновалась, раскраснелась, в голубых глазах вспыхнул огонек. Шла она неторопливо, нагибалась, срывала примулы, первые фиалки — они тонко пахли свежестью и морозцем. Свежестью и морозцем! Она брела куда глаза глядят.

Лес кончился. Она вышла на полянку и увидела каменный дом. Камень, кое-где тронутый мхом, был бледно-розовый, точно изнанка гриба, и под широкими лучами солнца казался теплым. У крыльца рос куст желтого жасмина. Дверь затворена. Тишина. Не курится над трубой дымок. Не лает собака.

Она осторожно обошла дом — за ним дыбился холм. У нее же есть повод — она хочет полюбоваться нарциссами.

Да, вот они, дрожат и ежатся от холода, как живые, и некуда спрятать им свои яркие нежные лица, разве что отвернуть от ветра.

Казалось, их хрупкие приукрашенные солнцем тельца-стебельки сотрясаются от рыданий. А может, вовсе и не рыдают, а радуются. Может, им нравится, когда их треплет ветер.

Констанция села, прислонившись к молодой сосенке,— та прогнулась упруго, оттолкнув незваную гостью; сколько в этом могучем и высоком деревце жизни. Оно живет, растет и тянется-тянется к солнцу. Конни смотрела, как солнце золотит макушки цветов, чувствовала, как греет оно руки, колени. До нее долетел легкий аромат цветов, смешался с запахом смолы. Она сейчас одна, ей покойно... Но вот уже мысли о собственной судьбе водоворотом захватили и понесли. Раньше ее, точно лодку на приколе, било о причал, бросало из стороны в сторону; теперь она на свободе, и ее несут волны.

Солнце пошло на убыль. Конни озябла. Понурились и цветы — теперь на них падала тень. Так и простоят весь день и всю долгую, холодную ночь — хрупкие и нежные, но сколько в них силы!

Она поднялась, разогнула затекшую спину, сорвала несколько нарциссов — она не любила рвать цветы — и пошла прочь. Ее ждет Рагби, ненавистные стены, толстые непробиваемые стены! Стены! Повсюду стены! Но в такой ветер и стены кстати.

Когда она вернулась домой, Клиффорд спросил:

— Куда ты ходила?

— По лесу гуляла. Взгляни, правда, эти малютки нарциссы — чудо? Не верится, что они вырастают из земли.

— Равно из воздуха и солнечного тепла,— добавил он.

— Но зачатые в земле,— мигом отпарировала Конни и сама себе удивилась.

И назавтра после обеда она пошла в лес. Широкая лиственничная аллея, петляя, вывела ее к источнику, называли его Иоаннов колодец. На этом склоне холма было холодно, и ни одного цветочка меж сумрачных лиственниц она не нашла. Маленький, обжигающе холодный ключ бил из земли, кругом выложенной белыми и красными камушками. Ледяная, чистейшая вода! Капли — что алмазы! Это новый егерь, несомненно, обложил источник чистыми камнями. Чуть слышно журчит вода, тонкой струйкой сбегает по склону. А над головой шумят лиственницы, сейчас они, голые и по-волчьи ощетинившиеся, смотрят вниз на темную землю, но не заглушить им источника, который звенит-журчит серебряными колокольцами.

Мрачновато здесь, холодно и сыро. Хотя к источнику напиться ходили люди не одну сотню лет. Больше не ходят. Давным-давно зарос вытоптанный подле него пятачок, и сделалось это место холодным и печальным.

Она встала и медленно пошла домой. Вдруг справа ей послышался ритмичный стук, и она остановилась. Может, дятел? Или кто молотком бьет? Нет, определенно, молоток!

Вслушиваясь, пошла она дальше. Меж молодых елочек обозначилась тропа — вроде бы бесцельная, в никуда. Но что-то подсказало ей, что по тропе этой ходят. И она отважно свернула на нее, пробралась меж пушистыми елями и вышла к маленькой дубраве. Тропа вела дальше, а стук молотка слышался отчетливее; несмотря на то что по вершинам деревьев гулял шумный ветер, в лесу стояла тишина.

Но вот открылась укромная полянка, на ней — лачужка из нетесаных бревен. Конни никогда здесь не бывала! Наверное, именно в этом сокрытом от глаз уголке и устроили фазаний питомник. Егерь в одной рубашке стоял на коленях и что-то приколачивал. К Конни с лаем бросилась собака, егерь встрепенулся, поднял голову. В глазах мелькнула тревога.

Он поднялся. Молча поклонился, не сводя с Конни выжидательного взгляда. А она, не чуя под собой ног, шагнула навстречу. Его раздосадовало вторжение: ведь уединение он ценил превыше всего — единственное и последнее, что осталось у него от свободы.

— Я никак не могла взять в толк, что за стук,— начала она, вмиг потеряв дыхание, почти шепотом, испугавшись его прямого взгляда.

— Да вот, клетками для птенцов занимаюсь,— сказал он, нарочито растягивая звуки.

Конни не знала, что ответить, у нее подкашивались ноги.

— Вы позволите, я на минутку присяду,— попросила она.

— Заходите,— бросил он и первым пошел к хибарке, отшвыривая ногой ветки и всякий мусор. Он подвинул табурет, сколоченный из ореховых поленцев.

— Может, чуток подтопить? — спросил он, непонятно почему снова ударяясь в деревенское просторечие.

— Не беспокойтесь, пожалуйста,— быстро проговорила Конни.

Он взглянул ей на руки — от холода они посинели,— проворно закинул в сложенный из кирпичей камин в углу несколько сучьев, и желтые языки пламени устремились ввысь, к дымоходу. Освободив место подле огня, он предложил:

— Сюда садитесь, обогрейтесь малость.

Конни послушно пересела. Удивительно заботливая властность этого человека подействовала на нее. Конни вытянула к огню руки, потом подбросила поленцев, а Меллорс вышел и вновь принялся что-то мастерить. Сидеть в углу подле очага ей вовсе не хотелось, куда приятнее смотреть с порога, как работает егерь, но ничего не поделаешь: придется уступить перед хозяйской заботливостью.

Комнатка ей понравилась. Стены обшиты некрашеными досками, посредине стол и табурет, рядом — простой самодельный верстак, ящик с инструментами, доски, кучка гвоздей. На стене развешено самое необходимое: топор, тесак, капканы, дождевик, чем-то набитые мешки. Окна в хижине не было, свет проникал через открытую дверь. Конечно, здесь грязь и хлам, но для Меллорса хибарка эта — вроде святилища.

Она вслушалась: не очень-то бодро стучит егерский топор. Видать, крепко задет Меллорс, ведь посягнули на его уединение, и кто! Женщина! С ними бед не оберешься. А он уже дожил до той поры, когда осталось лишь одно желание — побыть одному. И все ж не в силах он исполнить даже это, ведь он человек подневольный, а хозяева мешают.

И особенно не хотелось ему видеть рядом женщину. Его наполнил страх, не зажила еще рана с прошлых времен. Нужно, чтоб его оставили в покое, не оставят — он умрет. Он полностью отрешился от мира, найдя последнее пристанище в лесу, где можно надежно спрятаться.

Конни согрелась у камина, огонь она развела побольше, и скоро в комнате стало жарко. Она перебралась к двери и села у порога — оттуда видно, как работает егерь. Он будто и не замечал ее, хотя и чувствовал взгляд. Но работал как ни в чем не бывало, сосредоточенно и споро; бурая собака сидела, поджав хвост, рядом и бдительно поглядывала по сторонам.

Каждое движение сухопарого тела неспешно, но проворно. Вот клетка готова. Меллорс перевернул ее, проверил раздвижную дверцу, отложил в сторону. Поднялся, принес старую клетку, поставил на колоду, подле которой работал, присел на корточки, потрогал прутья — некоторые сломались под пальцами. Он принялся вытаскивать гвозди. Потом перевернул клетку, задумался. Женщины рядом будто бы и вовсе не было — егерь забыл о ней или искусно делал вид, что забыл.

А Конни не сводила с него глаз. Ей виделось то же отчуждение, та же обособленность, что и в первый раз, когда она увидела его полуголым; одежда не скрыла отчужденности зверя-одиночки, томимого воспоминаниями. Душа егеря в ужасе бежала от любого общения с людьми. Даже сейчас молча и терпеливо он старался отдалиться от нее. Но спокойствие и безграничное терпение это исходило от человека нетерпеливого и страстного — вот что угадала Конни всей своей плотью. Поворот головы, движения проворных, спокойных рук, чувственный изгиб его тонкого стана — во всем сквозит терпение и отчужденность. Глубже и шире, чем она, познал он жизнь, глубже и шире и его раны, жизнью нанесенные. И сразу стало легче бремя собственных невзгод и забот, убавилось бремя ответственности.

Как в полузабытьи сидела она на пороге, не ведая ни времени, ни окружения. Так увлекли ее собственные грезы, что она не заметила острого, быстрого взгляда Меллорса. А он увидел застывшую, полную ожидания женщину. Женщина ждет! И в паху, в копчике у него точно ожгло огнем. Вот напасть! — он едва не застонал. Со смертным страхом и отвращением думал он о любой попытке сблизиться с людьми. Ну почему, почему бы ей не уйти, не оставить его одного! Он боялся ее воли, ее новомодной женской настойчивости. Но еще больше страшился ее холодной аристократической наглости, с которой Конни делала что хотела. Ведь он для нее лишь работник. Он ненавидел Конни за то, что она пришла.

А она наконец пробудилась от грез и смущенно поднялась с табуретки. День клонился к вечеру, но уйти она была просто не в силах. Она подошла к егерю. Тот заметил, встал навытяжку, измученное лицо застыло и потускнело, лишь глаза внимательно следили за Конни.

— Здесь у вас хорошо, так покойно,— заметила она.— Я здесь в первый раз.

— Неужели?

— Пожалуй, я буду сюда иногда наведываться.

— Как вам угодно.

— Вы запираете дверь, когда уходите?

— Да, ваша милость.

— А не могли бы вы и мне дать ключ, чтоб я иной раз зашла, посидела. У вас есть второй ключ?

— Вроде как и нет, чего-то не припомню.— Он снова заговорил на деревенский манер. Конни смешалась: ведь это он ей в пику делает. Да что ж это в самом деле! Он, что ли, хозяин хибары?!

— И нельзя сделать второй ключ? — вкрадчиво спросила она, но за вкрадчивостью этой сквозило женское своеволие.

— Второй! — хмыкнул егерь и пронзил ее негодующим и презрительным взглядом.

— Да, второй! — покраснев, твердо ответила Конни.

— Вам бы лучше сэра Клиффорда спросить,— как мог сопротивлялся егерь.

— И верно! У него может быть второй ключ. А нет — так мы новый закажем с того, что у вас. Одного дня на это хватит. На сутки, надеюсь, вы сможете одолжить ключ.

— Не скажите, сударыня! Чего-то я не знаю, кто б из местных ключ мог смастерить.

Конни снова вспыхнула. На этот раз от ярости.

— Не беспокойтесь! Этим я сама займусь.

— Как скажете, ваша милость!

Взгляды их встретились. Он смотрел холодно и с презрением, что его отнюдь не красило; она — пылко и решительно.

Но сердце у нее замерло, она увидела, сколь неприятна егерю, ведь она пошла против его воли. А еще она увидела, как на него накатывает бешенство.

— До свиданья, Меллорс!

— До свидания, ваша милость.

Он отдал честь и, круто повернувшись, ушел. Конни пробудила в нем злобу, дремавшую до поры, сейчас же злоба эта вскинулась и рыкнула на незваную гостью. Но на большее сил нет! Нет! И Меллорс это знал.

Конни тоже рассердилась, и тоже на своеволие, только на мужское. Слуга, а тоже нос задирает! И мрачно побрела домой.

На холме, у большого бука, она увидела миссис Болтон — та, очевидно, высматривала хозяйку.

— Я уж вас обыскалась, ваша милость! — радостно воскликнула она.

— И что, меня ждут какие-то дела? — удивилась Конни.

— Да нет, просто сэру Клиффорду давно пора пить чай.

— А почему ж вы его не напоили, да и сами бы с ним посидели.

— Что вы, разве мне за господским столом место! Да и сэру Клиффорду такое пришлось бы не по душе.

— Почему? Право, не понимаю.

Она прошла в кабинет к Клиффорду и увидела на подносе старый латунный чайник.

— Клиффорд, я опоздала? — спросила она, положила цветы, взяла чайницу, так и не сняв шляпки и шарфа.— Прости меня! Почему ж ты не попросил миссис Болтон заварить чай и напоить тебя?

— Мне такая мысль и в голову не пришла,— язвительно проговорил он.— Представить миссис Болтон во главе стола мне, право, крайне трудно.

— Ну, чайник-то она б своим прикосновением не осквернила.

Клиффорд с любопытством взглянул на нее:

— Что ты делала весь день?

— Гуляла, отдыхала в одном укромном месте. А знаешь, на остролисте еще остались ягоды.

Она развязала и сняла шарф и, забыв о шляпке, принялась готовить чай. Поджаренные хлебцы, конечно же, превратились в сухари. Надев чехольчик на чайник, чтобы не остывал, она поднялась и взяла стаканчик для фиалок. Бедняжки понурились, тугие стебельки обмякли.

— Они еще оживут! — уверила Конни мужа и поставила перед ним цветы, чтоб он порадовался тонкому аромату.

— «Нежнее юноновых век»,— вспомнилась Клиффорду стихотворная строка.

— Не понимаю, какое может быть сравнение с фиалками! — хмыкнула Конни.— Все поэты-елизаветинцы толстокожи.

Она налила Клиффорду чая.

— А не знаешь, есть ли второй ключ от сторожки, что у Иоаннова колодца: там фазанов разводят?

— Может, и есть.

— Я случайно набрела на эту сторожку — раньше не доводилось. Как там чу́дно! Я б не прочь туда иногда заглядывать.

— Меллорс там был?

— Да! Он что-то сколачивал. Только по стуку молотка я и нашла сторожку. Похоже, Меллорсу мое вторжение не понравилось. Когда я спросила о втором ключе, он не очень-то любезно ответил.

— Что именно?

— Да ничего особенного, просто вид был недовольный. А про ключи ничего, дескать, не знает.

— Может, где и лежит у отца в кабинете. Там все ключи. Беттс все наперечет знает. Я попрошу его поискать.

— Уж пожалуйста!

— Значит, Меллорс был нелюбезен?

— Да ну, пустяки! По-моему, ему не по душе, что я всем распоряжаюсь.

— Возможно.

— Но, с другой стороны, какое его дело! Ведь усадьба-то наша, а не его вотчина! И почему б мне не приходить туда, куда хочется?!

— Ты права! — согласился Клиффорд.— Пожалуй, он слишком высоко себя ставит.

— Ты думаешь?

— Определенно. Он считает себя личностью особенной, не как все. Ты знаешь, он не поладил с женой, поступил на военную службу, и, кажется, в пятнадцатом году его отправили в Индию. Одно время он служил кузнецом при кавалерийской части в Египте, все время состоял при лошадях, он в них толк знал. Потом приглянулся какому-то полковнику из Индии, даже чин лейтенанта получил. Да, представили его к офицерскому званию. Потом, кажется, опять в Индию уехал со своим полковником, куда-то к северо-западной границе. Заболел, дали ему пенсию по болезни, но с армией распрощался только в прошлом году. Естественно, трудно человеку, вроде бы чего-то достигшему, вновь к прежнему уровню опускаться. Отсюда — всякие оплошности, срывы. Но с работой он справляется. Мне его упрекнуть не в чем. А офицерских замашек я не потерплю.

— Как ему могли дать чин, если он и говорит-то как простой мужик?

— Да нет... Это на него находит. Он умеет говорить, и великолепно — для своего круга, разумеется. Думаю, он решил так: раз жизнь его в чине понизила, он и разговаривать будет под стать низам.

— А почему ты мне раньше о его злоключениях не рассказывал?

— Такие «злоключения» замучаешься рассказывать. Они весь жизненный уклад ломают. Пожалеет бедняга тысячу раз, что на свет родился.

Конни мысленно согласилась с мужем. Бывают же такие люди, обиженные или обделенные, кто никак не приспособится к жизни, и толку от таких людей никакого.

Соблазнился хорошей погодой и Клиффорд — тоже решил поехать в лес. Дул холодный ветер, но не сильный, с ним не приходилось бороться — солнце, точно сама жизнь, дарило светом и теплом.

— Поразительно,— заметила Конни,— в такой чудный день будто оживаешь. Обычно даже воздух какой-то мертвый. Люди умертвили даже воздух.

— Ты считаешь — люди виноваты? — спросил Клиффорд.

— Да. Их неизбывная скука, недовольство, злоба губят воздух, жизненные силы в нем. Я просто уверена в этом.

— А может, некие атмосферные условия понижают жизненные силы людей?

— Нет, это человек губит мир,— стояла на своем Конни.

— Рубит сук, на котором сидит,— подытожил Клиффорд.

Моторчик в кресле натужно похрипывал. На зарослях лещины повисли золотистые сережки, на солнечных проталинах раскрылись ветреницы, ликуя и радуясь жизни — точно память о прошлом, когда так же радоваться жизни могли и люди. Пахли цветы, как яблоневый цвет. Конни собрала Клиффорду букетик.

Он принялся с любопытством перебирать цветы.

— «Покоя непорочная невеста»,— процитировал он из Китса.— По-моему, это сравнение больше подходит к цветам, нежели к греческим амфорам.

— Непорочная... порочный — какое ужасное слово! — воскликнула Конни.— Опорочить все на свете могут только люди.

— Ну, как сказать... «Все на свете могут эти, как их... слизняки»,— перешел он на детскую дразнилку.

— Да нет, слизняки лишь пожирают все подряд, никакая иная, кроме человека, живность не порочит природу.

Она рассердилась на Клиффорда — вечно он все обращает в пустые слова. Фиалки у него — по Мильтону — «нежнее юноновых век», ветреницы — по Китсу — «непорочные невесты». Как ненавистны ей слова, они заслоняют жизнь, они-то как раз и порочат все на свете, готовые слова и сочетания высасывают соки из всего живого.

Не удалась эта прогулка. Меж Клиффордом и Конни возникла некая натянутость. Оба пытались ее не замечать, но от этого она не пропадала. Вдруг со всей силой женского наития Конни начала рвать узы, связующие ее с Клиффордом. Хотелось освободиться от него, от пут его ума, слов, от его одержимости собственной персоной, неизбывной, нескончаемой самовлюбленной болтовни.

Снова зарядили дожди. Но через день Конни снова пошла в лес, не убоявшись погоды. И сразу направилась к сторожке. Дождь был совсем не холодный, лес стоял молчаливый и задумчивый, сокрытый пеленой измороси.

Вот и поляна. Никого! Сторожка заперта. Конни села на бревенчатое крыльцо под навесом, свернулась в комочек, чтобы подольше сохранить тепло. Так и сидела, глядя на дождь, слушала, как он едва слышно шуршит по земле, как вздыхает ветер в вершинах деревьев, хотя казалось, ветра нет вообще. Вокруг стояли могучие дубы, почерневшие от дождя, полные жизни, дерзко раскинув сильные ветви. Травы на земле почти не было, там и сям выглянули первоцветы, кое-где виднелись кусты калины и сизо-бурые заросли куманики. Прошлогодний папоротник полег и скрылся за зелеными круглыми листиками анемонов. Может, здесь одно из неопороченных мест. Неопороченное! А весь мир погряз в пороке.

Но не все можно опорочить. Банку сардин, например. А сколько на свете таких женщин, закрытых со всех сторон! Сколько мужчин! Но земля беззащитна, ее всякий опорочит...

Дождь стихал. В дубраве чуть посветлело. Конни хотела идти дальше, однако с места не тронулась. Ее уже пробирал холод. Но обида, снедавшая душу, давила и не пускала, сковала по рукам и ногам.

Опорочена! Да, она опорочена, хотя ее никто и пальцем не тронул. Опороченность мертвыми словами неприлична, а мертвые идеи — словно навязчивый бред.

Подбежала мокрая бурая собака, но не залаяла, завиляла хвостом, слипшимся, точно перо торчком. Следом вышел мужчина в мокрой черной клеенчатой, как у шоферов, куртке. Лицо у него тронул румянец. Конни показалось, что он внутренне напрягся, хотя и не замедлил шаг; а она так и стояла на сухом пятачке под навесом. Он молча козырнул и двинулся прямо на нее. Конни посторонилась.

— Я ухожу,— сказала она.

— Вы ждали, чтоб зайти? — спросил он, глядя мимо Конни на сторожку

— Да нет, я всего несколько минут под навесом посидела,— спокойно и с достоинством ответила она.

Он посмотрел на женщину. Похоже, она замерзла.

— Значит, у сэра Клиффорда второго ключа не нашлось,— вывел он.

— Нет — и не надо. Здесь на крыльце сухо. До свидания! — Как ей претил его просторечный выговор!

Он внимательно посмотрел на нее. Потом, подняв полу куртки, сунул руку в карман брюк и вытащил ключ.

— Хотите — берите, вот вам ключ, а я птичник в другом месте устрою.

Конни посмотрела ему в лицо.

— Не понимаю.

— Чего же понимать-то? Я найду, где фазанов растить. Вам здесь нравится, вот и приходите. И я под ногами у вас вертеться не буду,— говорил он очень небрежно, глотая звуки, и Конни не сразу поняла, что он имеет в виду.

— Зачем вы коверкаете язык? Говорите как положено,— холодно поправила она.

— Надо ж! А я-то думал, я как положено.

Конни замолчала, в душе разгорался гнев.

— Так, значит, коли вам ключ надобен, забирайте. Или нет, погодите уж до завтрева. Я уж тут приберу, чтоб все чин чинарем было.

Конни разозлилась не на шутку.

— Мне не нужен ваш ключ! Я не хочу, чтоб вы отсюда уходили! Я не собираюсь выгонять вас из собственной сторожки. Мне просто хотелось иногда приходить сюда, посидеть, как сегодня. Впрочем, и на крыльце неплохо, так что оставим этот разговор.

В голубых глазах егеря вспыхнул недобрый огонек.

— Что вы,— заговорил он, снова растягивая звуки и проглатывая окончания.— Вашей милости здесь рады, как солнышку ясному, пожалте, вам и ключ, и все что душеньке угодно. Только у меня тут работы непочатый край, за птицей глаз да глаз нужен. Зимой-то я сюда и не заглядываю, а вот весной для сэра Клиффорда фазанов надобно растить... Разве вашей милости угодно, чтоб я тут мельтешил да стучал-колотил, пока вы тут.

Конни слушала со смутным удивлением.

— С чего вы взяли, что помешаете мне? — спросила она.

Он пытливо посмотрел на нее.

— Вот незадача! — бросил он значительно.

Конни покраснела.

— Ну что ж! — наконец решилась она.— Не стану вас беспокоить. Хотя я не прочь посидеть тут и посмотреть, как вы возитесь с птицами. Мне это даже по душе. Но раз вы считаете, что я вам помешаю, не бойтесь, я не стану вам докучать. Вы же не у меня служите, а у сэра Клиффорда.

Странно прозвучали эти слова, с чего бы? Но задумываться она не стала.

— Что вы, ваша милость. Эта сторожка принадлежит вам. Она к вашим услугам в любое время. А меня можно за неделю отсюда выдворить. Стоит только...

— Только что? — опешила Конни.

Он по-шутовски заломил шляпу.

— Стоит вам только захотеть — и сторожка ваша, приходите когда хотите. Я не буду под ногами крутиться.

— Ну зачем вы так! Вы же культурный человек. Вы, может, думаете, я вас боюсь? Почему я вообще должна на вас внимание обращать? Какое мне дело, тут вы или нет? Почему это должно меня волновать?

Он посмотрел ей в лицо, и губы его тронула недобрая усмешка.

— Ни в коей мере вас это волновать не должно, ваша милость. Ни в коей мере.

— Тогда в чем же дело?

— Прикажете сделать для вас второй ключ?

— Нет уж, благодарю вас! Не нужно.

— Я все ж сделаю. Пусть будет два ключа.

— Мне кажется, вы чересчур дерзки.— Конни раскраснелась, задышала тяжело и натужно.

— Что вы, что вы! — торопливо проговорил он.— Не говорите так! Что вы! Ничего такого и в мыслях не держал. Только подумал: раз вы

сюда пришли, мне убираться надо, другое место искать. Но раз ваша милость на меня внимания обращать не будет, тогда... это же сэра Клиффорда сторожка, и все, как ваша милость пожелает. Как вам угодно; только на меня уж вы внимания не обращайте, я уж со своей работенкой буду ковыряться.

Конни ушла, так и не решив: то ли над ней посмеялись и нанесли смертельную обиду, то ли егерь и впрямь говорил, что думал: ему показалось, что она хочет выдворить его из сторожки. У нее и в мыслях такого нет! Да и не столь уж он важная персона! Так, какой-то придурковатый мужлан.

Так и пошла она домой, не зная толком, как отнестись к словам егеря.

Глава 9

У Конни проснулась необъяснимая неприязнь к Клиффорду. Более того: ей стало казаться, что она давно, с самого начала, невзлюбила его. Не то чтоб возненавидела, нет, ее чувство не было столь сильным. Просто неприязнь, глубокое физическое неприятие. Ей пришло в голову, что и замуж за него она вышла по этой неприязни, в ту пору затаившейся и в душе, и во плоти. Хотя она, конечно же, понимала, что в Клиффорде ее привлек и увлек его ум. Клиффорд казался ей в чем-то неизмеримо выше ее самой, он подчинил ее своей воле.

Но увлечение умственным прошло, лопнуло, как мыльный пузырь, и тогда из глубин ее естества поднялось и заполнило душу физическое отвращение. Только сейчас поняла Конни, сколь сильно жизнь ее источена этим отвращением.

Никому-то она не нужна, ни на что-то она не способна. Кто бы помог, поддержал, но на всем белом свете не сыскать ей помощи. Общество ужасно, оно словно обезумело. Да, цивилизованное общество обезумело. Люди, как маньяки, охотятся за деньгами да за так называемой любовью. На первом месте с большим отрывом — деньги. И каждый тщится преуспеть, замкнувшись в своей одержимости деньгами и любовью. Посмотреть хотя бы на Микаэлиса! Вся его жизнь, все дела — безумие! И любовь его — тоже безумие!

Клиффорд не лучше. Со своей болтовней! Со своей писаниной! Со своим остервенелым желанием пробиться в число первых! Все это тоже безумие. И с годами все хуже и хуже — настоящая одержимость!

Страх лишал Конни последних сил. Хорошо еще, что сейчас не она, а миссис Болтон в мертвой хватке у Клиффорда. И сам он этого не сознавал. Как и у многих безумцев, серьезность его болезни можно проверить по тем проявлениям, которых он сам не замечает, которые затерялись в великой пустыне его сознания.

У миссис Болтон много восхитительных черт. Но и она не избежала безумия, поразившего современную женщину: она удивительно властолюбива. Каждый час и каждую минуту утверждает она свою волю, хотя ей кажется, что она смиренно живет ради других. Клиффорд буквально очаровал ее: ему почти всегда удавалось сводить на нет ее попытки командовать, он будто чутьем угадывал, как поступить. Чутьем, равно и властной волей (только более умной и тонкой) он превосходил миссис Болтон. Тем ее и очаровал.

А не из-за того ли и сама Конни некогда подпала под его чары?..

— Какой сегодня чудесный день! — ворковала сиделка нежно и внушительно.— Сэр Клиффорд, вам не мешало бы прокатиться, солнышко такое ласковое.

— Неужели? Дайте мне, пожалуйста, ту книгу, вон ту, желтую. А гиацинты, по-моему, лучше из комнаты унести.

— Да что вы! Они прэлэстны! — Она именно так и произносила: прэлэстны.— А запах, ну, просто бесподобный.

— Вот запах-то мне и не нравится, кладбищенский какой-то.

— Вы и вправду так думаете?! — скорее восклицала, нежели вопрошала миссис Болтон, чуть обидевшись и изрядно удивившись. Цветы она выносила из комнаты, дивясь хозяйской утонченности...

— Вас побрить или побреетесь сами? — все так же вкрадчиво, ласково-смиренно спрашивала она. Но повелительные нотки в голосе оставались.

— Пока не решил. Будьте любезны, обождите с этим. Я позвоню в колокольчик, если надумаю.

— Прекрасно, сэр Клиффорд! — смиренно шептала она и исчезала. Но всякий его отпор будил в ней новые силы, и воля ее лишь крепла.

Позже он звонил в колокольчик, она тут же появлялась, и он объявлял:

— Сегодня, пожалуй, побрейте меня.

Сердце у нее прыгало от радости, и она отвечала кротчайшим голосом:

— Прекрасно, сэр Клиффорд!

Она была очень расторопна, но не суетлива: каждое движение плавно и четко. Поначалу Клиффорд терпеть не мог, когда она легкими пальцами едва ощутимо касалась его лица. Но постепенно привык, потом даже понравилось — он все больше и больше находил в этом чувственное удовольствие и просил брить его едва ли не каждый день. Она наклонялась к нему совсем близко, взгляд делался сосредоточенным: хотелось выбрить все чисто и ровно. Мало-помалу, на ощупь, она запомнила каждую ямочку, складочку, родинку на щеках, подбородке, шее у хозяина. Лицо у того было холеное, цветущее и миловидное, сразу ясно — из благородных.

Миссис Болтон тоже не откажешь в миловидности: белое, чуть вытянутое, всегда спокойное лицо, глаза с искоркой, но в них ничего не прочитать.

Так беспредельной мягкостью, почти что любовной лаской мало-помалу она подчиняла своей воле и Клиффорда, и он постепенно сдавал свои позиции. Она помогала ему буквально во всем, он привык к ней, стеснялся ее меньше, чем собственной жены, доверяясь мягким лакейским манерам, и ей нравилось ухаживать за ним, управлять его телом полностью, помогать в самые интимные минуты. Однажды она сказала Конни:

— Мужчины — ровно дети малые, если копнуть поглубже. Уж какие среди пациентов были бедовые мужики с шахт. Но что-нибудь заболит — и они враз становятся как дети, большие дети! В этом все мужчины друг от друга не отличаются.

На первых порах миссис Болтон все ж думала, что в истинном джентльмене вроде сэра Клиффорда есть какое-то отличие. И Клиффорд произвел на нее весьма благоприятное впечатление. Но потом, как она говорила, «копнув поглубже», она поняла, что он такой же, как и все, дитя с телом взрослого. Правда, дитя своеобычное, наделенное изысканными манерами, немалой властью и знаниями в таких областях, какие миссис Болтон и не снились (чем ему и удавалось застращать ее).

Иногда Конни так и подмывало сказать мужу: «Ради Бога, не доверяйся ты этой женщине!» А потом она понимала, что в конечном счете ей это не так уж и важно.

Как и прежде вечерами — до десяти часов,— они сидели вместе: разговаривали, читали, разбирали его рукописи. Но работала Конни уже без былой трепетности. Ей прискучила мужнина писанина. Однако она добросовестно перепечатывала его рассказы. Со временем миссис Болтон сможет помогать ему и в этом.

Конни посоветовала ей научиться печатать. Миссис Болтон упрашивать не приходилось, она тут же рьяно взялась за дело. Клиффорд уже иногда диктовал ей письма, а она медленно, зато без ошибок отстуки-

вала на машинке. Трудные слова он терпеливо произносил по буквам, равно и вставки на французском. А миссис Болтон трепетно внимала ему — такую и учить приятно.

Теперь уже, сославшись на головную боль, Конни могла после ужина удалиться к себе.

— Может, миссис Болтон составит тебе компанию, поиграет с тобой в карты,— говорила она Клиффорду.

— Не беспокойся, дорогая. Иди к себе, отдыхай.

Но стоило ей выйти за порог, он звонил в колокольчик, звал миссис Болтон и предлагал сыграть в карты или даже в шахматы. Он и этому научил сиделку. Конни было и забавно, и в то же время неприятно смотреть, как раскрасневшаяся и взволнованная, словно девочка, миссис Болтон неуверенно берется за ферзя или коня и тут же отдергивает руку. Клиффорд улыбался с чуть вызывающим превосходством и говорил:

— Если только поправляете фигуру, надо произнести по-французски: «Жадуб!».

Она испуганно поднимала голову, глаза у нее блестели, и она смущенно и покорно повторяла:

— Жадуб!

Да, он поучал миссис Болтон. И поучал с удовольствием, ибо чувствовал свою силу. А ее это необычайно волновало: ведь шаг за шагом она постигала премудрости дворянской жизни. Ведь чтобы попасть в высшее общество, кроме денег нужны и знания. Было от чего развол-новаться. И в то же время она старалась стать для Клиффорда незаменимой. Выходило, что и ее искренняя взволнованность обращалась в тонкую и неочевидную лесть.

А перед Конни муж начинал представать в истинном обличье: довольно пошлый, довольно заурядный, бесталанный, пустой сердцем, но полный телом. Уловки Айви Болтон, этой смиренной верховодки, уж слишком очевидны. Но Конни не могла взять в толк, что эта женщина нашла в Клиффорде, почему он приводит ее в трепет? Влюбилась? — нет, совсем не то. Трепетала от общения с благородным господином, дворянином, писателем? — вон книги его рассказов и стихов, вон его фотографии в газетах. Знакомство с таким человеком волновало ее, вызывало странное, почти страстное влечение. А «обучение» пробудило в ней другую страсть, пылкую готовность внимать — никакая любовная связь такого не пробудит, скорее, наоборот: сознание того, что любовная связь невозможна, до сладострастия обострило связь просветительскую, миссис Болтон нестерпимо хотелось разбираться во всем так же, как Клиффорд.

Безусловно, в некотором смысле она была влюблена в Клиффорда — смотря что под этим подразумевать. Привлекательная, моложавая, серые глаза порой просто восхитительны. В то же время таилась в ее мягких манерах некая удовлетворенность, даже торжество, торжество победившей женщины. Да, именно женщины! Сколь ненавистно было это чувство для Конни!

Неудивительно, что Клиффорда «заловила» именно эта женщина. Айви Болтон обожала своего хозяина, хотя и с присущей ей навязчивостью: она полностью отдала себя ему в услужение. Неудивительно, это льстило самолюбию Клиффорда.

Конни слышала их нескончаемо долгие беседы. Точнее, монологи миссис Болтон. Та выкладывала Клиффорду целый ворох деревенских слухов и сплетен. Нет, она не просто передавала сплетни. Она их живописала: ее рассказам позавидовали бы и миссис Гаскелл, и Джордж Элиот, и мисс Митфорд. Взяв от них все лучшее, миссис Болтон добавила много своего, такого, о чем искусные литературные дамы постеснялись бы написать. Миссис Болтон стоило только начать — увлекательнее и подробнее любой книги рассказывала она обстоятельства того или иного соседа. Даже в самом обыденном находила она «изюминку», так

что слушать ее было хоть и занимательно, но чуточку стыдно. Поначалу она не отваживалась доносить до Клиффорда «деревенские суды-пересуды». Но стоило ей однажды отважиться — и пошло-поехало. Клиффорду нужен был литературный «материал», и от миссис Болтон он получал его в избытке. Конни поняла, в чем заключался истинный «талант» мужа: он умел ясно и умно, как бы со стороны, представить любой малозначительный разговор. Миссис Болтон, конечно же, горячилась и кипятилась, передавая «суды-пересуды», одним словом, увлекалась. Поразительно — чего только не случалось в деревне; поразительно — ничто не ускользало от внимания миссис Болтон. Ее историй хватило бы на многие и многие тома.

Конни слушала ее зачарованно, но потом всякий раз ей делалось стыдно: нельзя давать волю нездоровому любопытству. О сокровенном можно слушать либо из уважения к человеческой душе, измученной нескончаемой внутренней борьбой, либо из разумного сочувствия. Ибо даже сатира — одно из проявлений сочувствия. И жизнь наша течет по тому руслу, куда устремляется наше сочувствие и неприятие. Отсюда и важность искусно написанного романа: он направляет нашу сочувствующую мысль на нечто новое и незнакомое или отвращает наше сочувствие от безнадежного и гибельного. Искусно написанный роман откроет нам самые потаенные уголки жизни. Потому что прежде всего потаенные уголки нашей чувственной жизни должны омыться и очиститься волной чужого понимания и сочувствия.

Но роман, подобно сплетне, может всколыхнуть такое сострадание или неприятие, которое разрушающе и умертвляюще подействует на наше сознание. Роман ведь может прославлять и самые низменные чувства, коль скоро они почитаются обществом «чистыми». Тогда роман, подобно сплетне, становится злонамеренным, даже более злонамеренным, чем клеветническая сплетня, ибо роман, предположительно, всегда защищает добро. Миссис Болтон в своих рассказах всегда защищала добро. «Он оказался недостойным человеком, ведь она такая славная». Хотя даже со слов миссис Болтон Конни поняла: женщина, о которой идет речь, из тех, кто мягко стелет, да потом жестко спать, а мужчина пусть и гневлив, но прямодушен. Именно за гневное прямодушие он прослыл «недостойным», а лицемерная женщина объявлена «славной». Вот по какому злонамеренному, но обывательски-привычному руслу направлялось сочувствие миссис Болтон.

Оттого-то и стыдно слушать сплетни. Оттого-то и стыдно читать едва ли не все романы, в особенности самые популярные. Читатель в наши дни откликается, лишь когда взывают к его порокам.

Тем не менее в рассказах миссис Болтон деревня Тивершолл представала совсем в ином свете; отнюдь не скучная, сонная заводь, как казалось со стороны, а страшный водоворот роковых страстей. Клиффорд знал многих селян в лицо, Конни — лишь двоих-троих. Рассказы миссис Болтон, казалось, живописали не английский поселок, а африканские дебри.

— Вы, конечно, уж слышали о свадьбе мисс Олсоп! Надо ж! На прошлой неделе замуж вышла. Ну да знаете вы мисс Олсоп, дочь старика Джеймса, сапожника. У них еще дом на Диком поле. Так вот старик прошлой зимой помер. Восемьдесят три года, а все крутился как молодой. А тут, надо ж, поскользнулся на бугре, что в Добролесье — там ребятня с горки каталась,— и сломал ногу. Тут бедняге и конец пришел. Надо ж — такая смерть! Ну так вот, деньги он все оставил дочери, Тетти, а сыновьям — ни гроша. А Тетти-то уж в годах, на пять лет старше... Да, ей осенью пятьдесят три стукнуло. Они хоть все веры и сектантской, но страсть как богомольны. Тетти лет тридцать в воскресной школе занятия вела, покуда отец не умер. А потом закрутила с одним мужиком из Кинбрука, может, вы и видели его: немолодой, нос такой сизый, одевается щегольски. Уилкок ему фамилия, на дровяном

складе у Гаррисона работает. Ему лет шестьдесят пять, не меньше, а посмотреть на них с Тетти, ну прямо как голубки воркуют, идут под руку, расцеловываются у ворот. А то еще: она к нему на колени сядет и выставится из окна на всеобщее обозрение, а окно большое, выступом таким — это в ее доме на Диком поле. У Уилкока уж сыновьям за сорок. Сам всего два года как овдовел. Кабы мертвые могли из могил восставать, старый Джеймс Олсоп непременно б к дочери заявился да приструнил ее — при жизни-то в строгости держал! А вот теперь поженились. Уехали жить в Кинбрук, говорят, она с утра до ночи чуть не в ночной рубашке по дому разгуливает — вот уж пугало так пугало! Смотреть противно, когда на старости лет такое непотребство творят. Ей-Богу, хуже молодых! Это все кино, по-моему, виновато. Но разве людей удержишь! Я все время говорю: надо смотреть фильмы для души полезные, и упаси Господь от всяких там мелодрам да любовных картин! Хоть бы детей уберегли! А вон как все оборачивается: старые хуже малых. Уму непостижимо! Вот и говори после этого о морали! Всем наплевать. Всяк живет как вздумается. И не очень-то страдают, прямо скажу. Правда, сейчас безобразят меньше, на шахтах работы почти нет, значит, и денег в обрез. Зато роптать стали, вот беда, причем особо стараются бабы! Мужики-то знай работают да терпят, что им еще, беднягам, остается! А вот женщины прямо из кожи лезут вон. Сначала пускают пыль в глаза, жертвуют деньги на свадебный подарок принцессе Марии, а потом видят, что ей досталось, и с зависти чуть не бесятся: «Ишь, ей меховщики шесть шуб отвалили! Лучше б мне одну! И зачем я только десять шиллингов отдала! Небось от принцессы и гроша не дождешься! Я плаща купить не в состоянии, мой старик крохи домой приносит, а этой крале, вишь, вагонами добро отгружают. Пора б и нам, беднякам, деньжата иметь, хватит богачам роскошествовать. Стыдоба — на плащ денег не скопить!» — «Будет вам,— говорю,— скажите спасибо, что сыты и одеты, и без обновки проживете!» Тут уж все разом на меня: «А-а! Небось принцесса Мария в обносках ходить, да при этом еще и судьбу благодарить не станет, а нам, значит, шиш? Таким, как она, вагоны шмоток, а мне и плаща купить не на что! Стыд и срам! Подумаешь, принцесса! Цветет и пахнет! Дело все в ее деньгах. А их у нее куры не клюют: а деньги, как известно, к деньгам идут. Вот мне почему-то никто и гроша не подаст, а чем я хуже! Только про образованность не заводите! Не в этом дело, а в деньгах. Мне вот позарез плащ нужен, а не купить — денег нет». Только о тряпках и думают. Не задумываясь, за зимнее пальто семь, а то и восемь гиней выложат — это шахтерские-то дочери, прошу не забывать. За летнюю детскую шляпку двух гиней не пожалеют! Нарядятся и идут в церковь. В мое-то время девчонки и дешевым шляпкам были рады-радешеньки. Они там в своей методистской церкви праздник какой-то справляли, так для ребятишек, что в воскресную школу ходят, помост поставили, огромный, чуть не до потолка. И я собственными ушами слышала, как мисс Томпсон — она занимается с девочками-первогодками — сказала, что там нарядов на детишках не меньше чем на тысячу фунтов! Такое уж наше время! Его вспять не повернешь. У всех на уме — одни только тряпки. Что у девчонок, что у мальчишек. Парни тоже каждый грош на себя тратят: одежда, курево, выпивка в шахтерском клубе, поездки в Шеффилд по два раза в неделю. Нет, жизнь стала совсем иной. Молодые ничего не боятся, никого не почитают. Кто постарше, те поспокойнее, подобрее, умеют женщине уступить, лучшее отдать. До добра это, правда, тоже не доводит. Женщины — сущие ангелы с рожками! А молодые парни в отцов своих не пошли. Ничем не поступятся, не пожертвуют, ни-ни. Все только для себя. Скажешь им: «Не трать все деньги, подумай о доме!» А они: «Успеется! А пока молод, нужно веселиться! Остальное подождет!» Да, молодежь нынешняя и груба, и себялюбива, знаете ли. Все заботы на старших перекладывают. Куда ни посмотри — везде хуже некуда.

И Клиффорду совершенно по-новому представился шахтерский поселок. Он всегда побаивался тамошнего люда, но полагал, что живут они тихо и спокойно.

— И что же, расхожи ли средь них социалистические или большевистские веяния? — спросил он.

— Не без этого! Послушали б вы местных горлодеров. Правда, больше всего опять-таки бабы надрываются, из тех, кто по уши в долгах. Мужики их и не слушают. Нет, наш Тивершолл красным никогда не станет. Народ у нас тихий, скромный. Иной раз какой смутьян из молодых высунется. Да и то не из-за политики, а ради собственного кармана, чтобы заработать побольше да тут же спустить на выпивку, да чтоб в Шеффилд лишний раз съездить. Больше им и не нужно ничего. Как в карманах пусто, тут и начинают слушать красных пустобрехов. Но всерьез им никто не верит.

— Значит, вы полагаете, что опасности нет?

— Никакой! Если жизнь хорошая, смуты не будет. А уж если надолго черная полоса затянется, молодежь может и взбрыкнуть. Говорю вам: эти баловни только себя любят. Но, право, даже не представляю, способны ли они на что-нибудь — разве что гонять на мотоциклах да с девицами в Шеффилде на танцульки ходить. Они всерьез ни к чему не относятся. И не заставишь их никак. Те, кто посерьезнее, надевают вечерние костюмы и едут в Шеффилд, покрасоваться перед девушками в танцзале, потанцевать всякие там новомодные чарльстоны. Иной раз автобус полнехонек: парни все приодеты, наши шахтерские парни — и в танцзал. А сколько с девицами в своих машинах да на мотоциклах в Шеффилд катят! И ничто в жизни их больше не волнует. Разве что скачки в Донкастере и Дерби, ведь они делают ставки на каждый заезд. Ах да, еще футбол забыла! Хотя ныне и футбол не тот, что раньше, не сравнить! Теперь на поле не играют, а словно в забое трудятся. Нет, молодежь скорее в Шеффилд или Ноттингем на мотоциклах рванет в субботу вечером.

— Но что они там делают?

— Так, слоняются по городу, чаи распивают в модных кафе, вроде «Микадо», в танцзале торчат, или в кино, или в варьете. А уж девчонки-то нынешние похлеще парней, ничего не стесняются, что хотят, то и воротят.

— Ну, хорошо, а что им делать, если денег нет?

— Деньжонки-то у них водятся. Это уж когда все спустят, тогда роптать начинают. Но куда им до большевиков. Нашим-то ребятам только деньги на развлечения подавай, девчонкам тоже — деньги да тряпки. А больше ни о чем и заботы нет. Мозгов маловато, чтоб в социалисты податься. Да и всерьез они ничего на свете не принимают и вовек не примут.

Конни мысленно подивилась, до чего ж люд неимущий похож на «сильных мира сего». Одно и то же. И в Тивершолле, и в Мейфэре, и в Кенсингтоне люди одинаковы. Все сословия слились, объединились в погоне за деньгами. И в гонке этой и девушки, и юноши. Отличают их достаток и аппетиты.

Под влиянием миссис Болтон у Клиффорда вновь проснулся интерес к собственным шахтам. Он наконец почувствовал свою причастность. Более того — свою необходимость и важность. Ведь, в конце концов, кто как не он хозяин в Тивершолле, и шахты — его плоть и кровь. Сознание своего могущества было внове, до сих пор Клиффорд страшился этого чувства.

Тивершольские рудники почти что выработаны. Шахт, по сути, оставалось две: собственно Тивершолл и Новый Лондон. Некогда «Тивершольская» славилась и углем, и прибылью. Но золотые деньки миновали. «Новолондонская» изначально была скромнее, но обычно убытка не приносила. Сейчас настали времена необычные, худые, и с «Новолондонской» народ начал уходить.

Миссис Болтон оказалась в курсе и этих дел.

— С «Тивершольской» народ на соседние шахты бежит. Вы ведь, сэр Клиффорд, не видели «Отвальную», после войны ее заново открыли. Непременно съездите, посмотрите. Не узнать, все переделали: прямо у копра химический завод построили. «Отвальная» теперь и на шахту-то не похожа. Говорят, не столько уголь приносит прибыль, сколько отходы, что на химическом заводе перерабатывают... как их? Ой, забыла. А какие рабочим дома построили! Ну, ровно городские! Немудрено, что со всей страны туда всякий сброд потянулся. И от нас, с Тивершолла, кое-кто к ним перешел, теперь лучше наших живут. Говорят, «Тивершольская» последние деньки доживает, год-другой — и закроют. А Новый Лондон и того не протянет. Господи, в голове не укладывается! Даже когда в забастовку и то не по себе. А если уж навсегда закроют — считай, конец света. Я еще под стол пешком ходила, а «Тивершольская» уже лучшей шахтой в стране считалась; счастливчикам, кто там работает, завидовали. А теперь шахтеры говорят: это-де тонущий корабль, пора деру давать. Уши б мои не слышали! Большинство, правда, останется на шахте, покуда есть работа. Новые-то шахты людям не очень по душе: больно глубоки, да и машин всяких слишком много, шахтеры их «железными забойщиками» называют и даже побаиваются: всю жизнь люди уголек рубили, а теперь нате вам — машины! Да и ворчат шахтеры: дескать, в отход больше угля идет. А платят только за то, что на-гора выдают, в общем, многие недовольны. Говорят, скоро людям и работы-то не останется, все машины заполонят. Но ведь и раньше такое говорили, еще когда со старыми ткацкими станками расставались. Я их еще застала. Но, по мне, так чем больше машин, тем больше людей занято. Говорят, вроде и отходы нашего угля не те, что в «Отвальной», для химии не годятся. Непонятно, ведь шахты в трех милях друг от друга, и того не будет. Однако ж так говорят. И почти все возмущаются, почему шахтерам условия не улучшают, почему девушек на работу не берут. А то приходится бедняжкам в Шеффилд каждый день мотаться. Вот бы разговоров было, случись «Тивершольской» возродиться! Прикусили б язычки, кто каркал, что шахту закроют, что это тонущий корабль, с которого людям как крысам пора бежать. Да мало ли разговоров всяких Понятно, во время войны дело процветало. Сэр Джефри стал жить на проценты со своего капитала — доход верный, и риска нет. Умно поступил. Так всем казалось. Но сейчас люди видят: не очень-то большой доход хозяева получают. Это надо ж! Ведь и я думала раньше, что наши шахты — на века, на долгие века. Я тогда девчонкой была. Кто бы подумал, что все так обернется! Но вот закрыли и «Новую Англию», и «Лесную». Страшно смотреть: стоит запустелая шахта среди леса, копер зарос бурьяном, подъездные пути заржавели. Мертвая шахта, сама словно смерть. Что же делать, коли закроют «Тивершольскую»? Даже подумать страшно. Тут всегда шум, суета, полно людей, если, конечно, не забастовка. Да и в забастовку вентиляторы работали — пони в забое ходили по кругу, крутили колесо, их не всякий раз наверх поднимали Господи, до чего ж чудна́я жизнь, катимся, катимся, а куда — сами не знаем.

Именно миссис Болтон своими рассказами и заронила семя новой борьбы в душу Клиффорда. Доход его, стараниями отца, и впрямь был верный, хоть и небольшой А шахтами Клиффорд не интересовался. Ведь он тщился покорить иной мир: мир литературы и славы. Его манил мир маститых, а не мир мастеровых.

И в этом, и другом мире можно достичь успеха, но разница очевидна: в одном — люд праздный, в другом — рабочий. Клиффорд, как кустарь-одиночка, рассказами своими потрафлял люду праздному. И пришелся ко двору. Но за тонкой прослойкой праздного люда лежал другой слой — люда рабочего, грязный, мрачный, даже пугающий. Должны же быть желающие позаботиться и о них, хотя делать это еще отвратитель-

нее, чем ублажать избранных. Пока Клиффорд писал рассказы и благоденствовал, Тивершолл медленно умирал.

Удаче — этой прожорливой Вертихвостке — мало лести, обожания, игривой ласки, расточаемой писателями и художниками. Ей подавай что посущественней — плоть и кровь. И поставщики находились среди тех, кто делал деньги в промышленности.

Да, паскудной Вертихвостки домогались две большие стаи псов: одни виляли хвостами, заискивали, предлагая развлечения, рассказы, фильмы, пьесы, другие — не столь бесстыжие на вид, но куда более страшные по сути,— поставляли ей плоть и кровь — из этого «сырья» и делаются деньги. Благовоспитанные псы-затейники отчаянно грызлись меж собой за расположение царственной Удачи Но что их грызня по сравнению с тихой, смертельной схваткой меж теми, кто потчевал Великую Вертихвостку насущным, то бишь плотью и кровью.

Под влиянием миссис Болтон Клиффорд поддался искушению и сам ввязался в эту борьбу, пытаясь овладеть Удачей грубой силой, то бишь силой промышленной. Даже настроение поднялось В каком-то смысле миссис Болтон сделала из него мужчину — жене это так и не удалось. Конни по-прежнему держалась в отдалении, тем самым задевая тончайшие струнки его души. напоминая о его неполноценности. Миссис Болтон же напоминала ему лишь о заботах телесных. И душа его обмякла и раскиселилась. Зато разум и тело изготовились действовать.

Он даже заставил себя еще раз посетить шахты. Его посадили в вагонетку и опустили. Так, в вагонетке, и провезли по всему забою. Ему стало вспоминаться выученное еще до войны и, казалось, безвозвратно забытое горное дело. Недвижно сидел он в забое, и управляющий ярким лучом электрического фонаря высвечивал пласт за пластом. Хозяин говорил мало, но мысль работала напряженно.

Он снова взялся за книги по угледобыче, изучал министерские сводки, знакомился с новейшими методами добычи угля и сланцев — в основном по немецким источникам. Разумеется, самые ценные новшества держали в секрете, покуда было можно. Стоит заняться изучением угледобычи, изучением самого угля, его отходов, их применением в химической промышленности, как диву даешься: до чего ж преуспела современная техническая мысль, сколь нечеловечески она изощрилась, словно дьявол наделил ученых и инженеров сверхъестественным разумом. Куда там искусству или литературе, где все зиждется на убогих, глупых чувствах — техническая промышленная наука несравнимо интереснее. В этой сфере мужчины точно боги (или демоны!); они подвигаются на открытия, они отстаивают их в борьбе. И на этом поприще мудрость мужчин не измерить и веками. Но Клиффорд знал, что стоит таким «мудрецам» окунуться в мир человеческих чувств — и мудрости у них окажется не больше, чем у подростка. Какое великое и чудовищное противоречие!

Но так устроена жизнь. Видно, суждено человеку скатиться до полного идиотизма в чувственном, «человеческом» восприятии. Впрочем, Клиффорда это не волновало. Пусть себе катится. Его занимала технология современной угледобычи — необходимо вытащить Тивершолл из беды.

День за днем он ездил на шахту и изучал положение дел. У управляющих — как наземными, так и подземными работами,— у инженеров забот прибавилось стократ. Такого они и вообразить не могли. Власть! Клиффорд упивался ее живительными соками: все эти люди, сотни и сотни шахтеров в его власти! Интересуясь делами, он мало-помалу брал бразды правления в свои руки.

Воистину, он словно заново родился. Только сейчас почувствовал он жизнь! Раньше, уединившись с Конни в маленьком мирке своего таланта и своего разума, он медленно умирал. Теперь с этим покончено! Хватит! Из глубин забоя, от угольных пластов на него повеяло жизнью. Спертый воздух подземелья оказался для него живительнее кислорода,

ибо принес ощущение власти! Власти! Значит, он еще на что-то способен. А сколько ждет впереди! Сколько побед, да, побед! Их не сравнить с победами литературными; те принесли лишь известность среди людей, увядших от собственной несостоятельности и злобы. Его ждет победа, достойная настоящего мужчины!

Поначалу он искал панацею в электричестве: хотел всю энергию угля преобразовать в электрическую. Потом пришла новая мысль. Немцы изобрели новый паровоз, в котором топливо подавалось автоматически и кочегар был не нужен. Требовалось и новое топливо; малыми порциями оно сгорало при высокой температуре с соблюдением особых условий.

Клиффорда привлекла мысль о новом, концентрированном топливе, которое бы сгорало медленно, несмотря на ужасающую температуру. Кроме воздушного поддува нужно еще какое-то внешнее условие, способствующее горению. И Клиффорд решил провести опыты, нанял себе в помощь толкового молодого химика.

В душе Клиффорд ликовал. Наконец-то ему удалось вырваться за пределы своих весьма ограниченных возможностей. Всю жизнь он втайне мечтал об этом. Искусство ему не помогло. Скорее, напротив, усугубило его состояние. И вот теперь, только теперь его мечта осуществилась.

Он не понимал, что за его решением стоит миссис Болтон. Он не задумывался, насколько зависит от нее. И тем не менее в ее присутствии менялась даже его речь, делалась легкой и задушевной, даже чуточку панибратской.

С Конни он держался суховато. Он понимал, что обязан ей в жизни всем, буквально, и выказывал величайшее уважение и предупредительность, получая взамен лишь ни к чему не обязывающее внимание. Но было ясно: в глубине души он боится ее. Он хоть и почувствовал в себе ахиллесовы силы, все ж ахиллесова пята оказалась и у него. И сразить его могла женщина — собственная жена, Конни. У Клиффорда зародился какой-то почти рабский страх перед ней, и он вел себя предельно учтиво. Но голос Клиффорда чуть напрягался, когда он заговаривал с женой, а часто он и вовсе молчал в ее присутствии.

Только наедине с миссис Болтон чувствовал он себя властителем и хозяином, речь лилась легко и охотно, как и у самой миссис Болтон. Он позволял ей и брить себя, и, точно малому дитяти, обтирать тело мокрой губкой.

(Продолжение следует)

ВОЛЬФ БИРМАН

Вступление и перевод с немецкого
ВИКТОРА ТОПОРОВА

Мне не удалось повидаться с Вольфом Бирманом. Как раз в те дни, когда я был в Гамбурге, городе, где Бирман родился и где он вновь — после изгнания из ГДР и лишения гражданства — обитает, знаменитый немецкий бард впервые получил возможность посетить страну, которую некогда выбрал добровольно, чтобы выступить перед восточногерманской публикой. И лейпцигский концерт Бирмана я вместе с миллионами телезрителей обеих Германий наблюдал и приветствовал издалека.

Личная судьба Бирмана причудливо отражает и повторяет многие перипетии в истории Германии. Влияние бабки, убежденной коммунистки, предопределило выбор Бирмана: семнадцатилетним юношей он переселился в страну строящегося социализма — ГДР. В «зону», как именовали ее тогда на Западе. Бирман работает ассистентом театрального режиссера, занимается философией, начинает писать. Пишет он стихи и главным образом песни, вскоре приобретающие широкую популярность в авторском исполнении и в «магнитиздате». Книги Бирмана начинают выходить на Западе.

Характерно, что Бирман в ту пору (шестидесятые—начало семидесятых) — убежденный марксист. Он выступает против войны, в том числе против вьетнамской войны, он с симпатией и сочувствием относится к молодежному движению в Западной Германии. Но, конечно же, он, будучи политическим поэтом, не может и не хочет молчать о том, что прогнило что-то в Датском королевстве и по сю сторону Берлинской стены. А этого режим Хоннекера ни ему, ни кому-нибудь другому простить не может.

Постепенно Бирман оказывается в кругу восточногерманских инакомыслящих, становится одним из его признанных лидеров. Рядом с ним — многое претерпевший на своем веку, но ничуть не утративший гражданского мужества прозаик Стефан Гейм, известный физик и общественный деятель профессор Хавеман, поэты Гюнтер Кунерт, Сара и Райнер Кирш, супруги Герхард и Криста Вольф. Изгнание Бирмана — по апробированной и в нашей стране схеме (лишение гражданства во время зарубежных гастролей) — приобрело широкий резонанс, выразившийся, в частности, и в письмах протеста, и стало, пожалуй, вехой, обозначившей окончательный разрыв демократического движения в ГДР с официальной идеологией. Хотя атмосфера бездуховности, диктат властей, гнет цензуры и помпезная ложь и задолго до изгнания Бирмана побуждали многих представителей творческой и научной интеллигенции к нелегкому для них выбору в пользу Запада. Одни были так же лишены гражданства, другие уехали сами, третьи оказались во внутренней эмиграции и творческой изоляции. Среди последних уместно еще раз назвать имя Р. Кирша, избранного в этом году председателем правления Союза писателей ГДР, а ранее, на протяжении долгих лет, не имевшего возможности публиковать ничего, кроме поэтических переводов.

Когда Берлинская стена пала, Бирман сказал:

— Двадцать пять лет я пел и говорил, пока большинство жителей ГДР молчало или было принуждено к молчанию. А сегодня могу наконец замолчать и я. Я не могу не плакать от радости, потому что все это так быстро и так просто свершилось. И я не могу не плакать от гнева, потому что все это так невыносимо долго тянулось. (Из интервью западногерманскому журналу «Культуркроник», 1990, № 1).

В Германии сыздавна существовала традиция политического кабаре. Здесь достаточно упомянуть имена Бертольта Брехта, Эриха Кестнера, Иоахима Рингельнаца, Курта Тухольского. Советскому зрителю знаком также фильм Боба Фосса «Кабаре», который так явственно отразил роль политической песни, песни протеста в 30-х годах. Песни Вольфа Бирмана — это свободное самовыражение человека, сумевшего сперва стать, а потом, невзирая ни на что, остаться свободным,— общепризнанный и весьма значительный факт немецкой культуры.

Петеру Хухелю [1]

Не будем слишком прямы
В прямые времена
Певцам что так упрямы
Застенки дыбы ямы
Сулящие сполна

Не будем слишком плохи
В плохие времена
Ведь в каждом нашем вздохе —
Гарантия эпохе
Что суть ее верна

Не будем слишком кротки
В крутые времена —
Они набьют колодки
Чтоб вечно в околотке
Царила тишина

Не будем тратить время
В скупые времена
На то чтобы со всеми
Осанну петь системе —
Не стоит нас она

Не будем жить в молчанье
В немые времена
Покуда есть в гортани
И горечь и дыханье:
— Изыди Сатана!

---

[1] Петер Хухель (1903—1981) — немецкий поэт, много лет возглавлял журнал Академии искусств ГДР «Зинн унд форм». В конце 1962 г. Хухель был снят с поста главного редактора и фактически лишен возможности печататься; позднее выехал в ФРГ *(Здесь и далее прим. перев.)*

Солдат солдат

1

Солдат солдат всегда в строю
Солдат солдат хорош в бою
Солдат солдат нельзя назад
Солдат солдат полно солдат
Солдат солдат всегда во тьме
Что у солдата на уме?
Солдаты на одно лицо
И всем хана в конце концов

2

Солдат солдат весь век поход
Солдат солдат всегда вперед
Солдат с грядущей мировой
Ты не воротишься живой
Солдат солдат как молод мир!
Солдат солдат как молод ты!
Есть мир есть бездна и пойми
Ты вечно у черты

3

Солдат солдат всегда в строю
Солдат солдат хорош в бою
Солдат солдат нельзя назад
Солдат солдат полно солдат
Солдат солдат всегда во тьме
Что у солдата на уме?
Солдаты на одно лицо
И всем хана в конце концов

Солдаты на одно лицо —
И всем хана в конце концов

Баллада об Охранке

1

Я противник перебранки
с крепышами из Охранки
ночью и средь бела дня
стерегущими меня
понаставив микрофоны
чтобы слушать смех и стоны —
что́ сосед что́ я в ответ
и о чем шумит клозет
— привнесла Госбезопасность
в жизнь мою масштаб и ясность

Ведь ребята из Охранки
из-за двери со стремянки
из машины под окном
ночью бдят и белым днем

анекдоты и советы
честно пишут на кассеты
знают боль мою и грусть
знают песни наизусть
ходят хоть и по работе
словно Эккерман за Гёте [1]
— мы с Охранкою дружны
мы с Охранкой
мы с Охранкой
друг без дружки не нужны

2

Если ночью из пивной
злой бреду я и хмельной
и сомнительный прохожий
хочет мне влепить по роже
что конечно приведет
к подвигу наоборот
— это будет крайне сложно
или просто невозможно
ведь гэбисты тут как тут
и в обиду не дадут

— ибо западным газетам
только повод дай к наветам
чтобы мною например
опорочить ГДР
словно мы не коммунисты
а анархо-террористы
словно массовый террор
нам неведом до сих пор
словно индивидуальный
не отверг еще Карл Маркс
не отверг еще Карл Маркс
преподав пример похвальный

3

Или взять мой развеселый
прежний курс в вопросах пола
разобидевший жену
курс в длину и в глубину
то есть проще мой обычай
переспать с любой добычей
— раз ребята начеку
никого не сволоку
ни супруг ваших ни дочек
ни в постель ни под кусточек

ибо эти тет-а-теты
тоже пишут на кассеты
ибо словно приговор
рядом слышится «мотор!»
и жене моей упорно
предъявляют эти порно
я отныне не ходок

---

[1] Немецкий писатель Иоганн Петер Эккерман (1792—1854) — личный секретарь Гёте (с 1823 г.), автор известной книги «Разговоры с Гёте».

а работе это впрок
— проще говоря Охранка
ждет и требует стихов
    ждет и требует стихов
        как объятий нимфоманка

4

Вы ребята не бандиты
ваши частые визиты
обязательно врасплох
поглядеть хорош иль плох
я с женой моей в постели
что мы выпили что съели
заходил ли к нам смутьян
хитрый дьявол Хавеман
— абсолютно бескорыстны
и ничуть не ненавистны

Ну коньяк ну с ним ну пиво
мы сидели сиротливо
мы сидели на мели
на Восток мы не могли
а на Запад не хотели
ну потом еще попели
— а решитесь дать мне срок
я приму и этот рок
потому что если честно
неизвестно где страшней
    неизвестно где скучней
        где противней неизвестно

Заключение
равнозначное отречению

Но учтите: эта шутка
не для вашего рассудка
не для вашего желудка
чересчур она остра
вы предмет моей сатиры

завлекательней есть дыры
чем тюремная нора

О вы!..

1

Ночная нечисть — кто ж еще!
Твердит нам о рассвете
    о радостном рассвете
Лампасники — а кто ж еще!
За мир людей в ответе
    за мир на всей планете

        О вы-ы!..

2

За место держится — и как!
Всевластный аппарат
напрасный аппарат
Социализм — и навсегда!
Твердит нам бюрократ
он любит наш уклад

О вы-ы!..

3

Ленивый боров — кто ж еще!
Читает нам морали
марксистские морали
Лжецы у власти — кто ж еще!
А правду придержали
а правде рот зажали

О вы-ы!..

4

Жируют все они — и как!
Машины и хоромы
и стражи-костоломы
Ведь с коммунизмом как-никак
они давно знакомы
на практике знакомы

О вы-ы!..

5

Глухие дятлы — кто ж еще!
Долбят нам всем по темени
долбят в полночной темени
Гнилые старцы — кто ж еще!
Вопят о новом времени
великом новом времени

О вы-ы!..

6

Стоит Стена — чего еще!
Стоит и не развалится
и наземь не повалится
Творцы ее — а кто ж еще!
Сидят за стенкой в Вандлице
в курортно-райском Вандлице [1]

О вы-ы!..

---

[1] Вандлиц — курортный пригород Берлина, прозванный в народе «царским поселком», здесь проживала верхушка политического и партийного руководства ГДР.

7
А нас преследуют — и как!
Судья и прокурор
    готовят приговор
Так нам и следует — лишь так!
А почести — позор
    для партии — позор

О вы-ы!..

8
Былых кумиров погребли
На свалке и в пыли
    в конце концов в пыли
А всё гребут как встарь гребли
А всех ведут куда вели
    ведут куда вели

О вы-ы!..

9
Свободам буржуазным — нет!
Таков их скорый суд
    таков ударный труд
Ну а других свобод-то — нет!
Свободой ли зовут
    то что творится тут?

О вы-ы!..

Романс о Рите, или Песня о социалистическом сотрудничестве, или Баллада во славу плебейской Венеры

1
Воротился муж с работы
Рита дверь ему открыла
И предстал он перед нею
Переполненный не только
Пивом с водкой но и злобой
И невинного младенца
Из нежнейших ручек вырвав
Укокошил на пороге

2
А затем мертвецки трезвый
На суде раздавлен горем
Выдавил из уст причину
Выдав судьям анонимку
Из которой вытекало
Что его рыжеволосый
Сын на самом деле отпрыск
Рыжего помбригадира

3
Схоронила Рита сына
Без священника и мужа
Села возле колыбели
На супружеское ложе
На баллон с кухонным газом
С подозреньем поглядела
Но одумавшись на службу
Поспешила в понедельник

4
Отнеслись к ней сослуживцы
С исключительным вниманьем
И работой нагрузили
Ерундовской а в субботу
Заявилась вся бригада
К ней с обоями и краской
И раскрасила ремонтом
Риты мрачное жилище

5

Здесь заканчиваю мрачный
Эпизод из жизни Риты
Без налившихся как вишни
Наисладких глаз которой
Без молочных и медовых
И пока поджатых губок
Без колонно-долгих бедер
Райских кущ и прочих рощиц

6

Несомненно никчемушны
Были б Ритины для ласки
Словно созданные руки
Были б масляные грудки
Если бы не вечный голод
Утоляемый однако
Исключительно объятьем
Обстоятельно обильным

7

Пауль Шустер был в бригаде
На подхвате и его-то
И послали после смены
Побелить ей подоконник
И с соломенной вдовою
Кофейку попить и с кистью
И с ведерком Пауль к Рите
Стал наведываться часто

8

Но квартирка одиночной
Перестройке поддавалась
Не особенно и Пауль
Прихватил из общежитья
Трех оболтусов которым
Поручил доделку комнат
И доставку с новостройки
Неучтенных матерьялов

9

Неучтенным матерьялам
Находила примененье
Рита в спальне и в столовой
И на кухне но померкли
Эти мелкие вливанья
В обустройство перед лысым
Экскаваторщиком Максом
Обозревшим помещенье

10

Из постели и с пристрастьем
И увидевшим повсюду
Недоделки и халтуру
Что его и побудило
К нескончаемым свершеньям
Вместе с парой подмастерьев
Награждаемых с не меньшей
Щедростью за прилежанье

11

Рита праздновала тризну
По ребеночку и мужу
Пребывавшему в тюряге
Прибывавшие машины
Трактора и лесовозы
И один микроавтобус
С одинаковым встречая
Постоянством и радушьем

12

Рита ездила на службу
Из постели возвращалась
Печь топила щи варила
И стелила и посылки
Посылала в каталажку
И на кладбище цветочки
Все на свете лезли к Рите
С утешеньем и под юбку

13

Отмечать любила Рита
Первомай Восьмое марта
День танкиста День шофера
День учителя День песни
День рожденья Карла Маркса
Ульбрихта В. И. и Розы
А грустила и постилась
Только в День защиты детства

14

Так из песни пролетарской
Постепенно вырастая
К буржуазному романсу
И начальственной балладе
Тяготела все сильнее
Все рискованнее Рита
Все раскованней о муже-
Арестанте забывала

15

И соседям перепало
Кое-что на даровщинку
Вопли Ритины ночами
Напролет и скрип кровати
Грохот стульев бой посуды
Весь набор в диапазоне
От разбоя до разврата
На меняющихся волнах

16

Управдом явился к Рите
С кипой коллективных кляуз
Алчущих единогласно
Выселения буянки
Но едва в глаза ей глянув
Сам взалкал совсем иного
И поставил ей колонку
Оборудовал ей ванну

17

Двое бледных комсомольских
Вожачков пришли с беседой
На предмет политзанятья
О значенье двух Германий
И о Пауле и прочих
Но пока дошли до дела
Уж один заснул за пивом
А другой залез на Риту

18

Красно-синий комсомольский
Флаг сгодился на гардины
А когда познав об этом
Рассердился участковый
И с довольно щекотливым
Постучался разговором
Угостила и мильтона
Рита добрая собою

19

И завкадрами конторы
Где отсиживала Рита
Ей положенное время
Щепетильно домогался
Почему да и откуда
Столько вдруг приобретений
Но и сам еще добавил
Получив ответ детальный

20

Ибо правят в нашем мире
Органы мужского рода
Просто Органы и власти
И печати и надзора
Человек на человека
Смотрит волком но мужчина
Смотрит волком на мужчину
А на женщину бараном

21

И как слезы сквозь ресницы
Все они прошли сквозь Риту
Все они без исключенья
Нескончаемый конвейер
Как тот самый на работе
Все они прошли сквозь Риту
Ибо тяга к сладкой жизни
Всем присуща в равной мере

22

Разорвавшеюся бомбой
И рождественской открыткой
Поступило извещенье
Что уже к Восьмому мая
За ударную работу
Выпустят детоубийцу
На свободу и неделю
Рита в ужасе стенала

23

Он увидит все обновы
Все доделки и пристройки
Все мои приобретенья
И убьет меня конечно
Раз выходит он досрочно
Нужно мне досрочно смыться
Из дому а лучше дому
И соседям всем исчезнуть

24

И опять пустилась Рита
Во все тяжкие в Берлине
В государственной столице
Как в общественном борделе
И козлы повыше рангом
Подмахнули ей бумажку
О досрочном сносе дома
В аварийном состоянье

25

И любимого убийцу
В новые микрорайоны
И в квартирку недурную
Повезла его супруга
Здесь конец приходит песне
И балладе и романсу
А роман жены и мужа
Станет браком многодетным

■

МИЛАН КУНДЕРА

Шутка

РОМАН

Перевод с чешского Н. ШУЛЬГИНОЙ

Передо мной лежит экземпляр романа Милана Кундеры «Шутка», присланный мне писателем весной 1967 года вскоре после выхода в свет. На титульном листе вместе с любезными словами, которыми автор обычно сопровождает посылку своей книги,— типично кундеровское ироническое замечание: «...этот роман исключительно пригоден для перевода на русский язык». Думать тогда об издании у нас «Шутки» не приходилось. После 1968 года — тем более. Потребовались крутые исторические повороты и у нас, и на родине писателя для того, чтобы наш читатель получил возможность познакомиться с романом, одной из вершин чешской прозы.

Знаменательна дата появления «Шутки» — 1967 год, канун событий, вошедших в историю под наименованием «пражская весна» и обозначивших попытку народов Чехословакии отказаться от сталинской модели социализма. В одной из тогдашних рецензий писалось: «У нас вышло уже немало книг, в которых главное — расчет с недавним прошлым, но роман Кундеры превосходит даже лучшие из них широтой взгляда, последовательностью и своеобразием авторской концепции».

Правда, авторского голоса в романе не слышно — в качестве повествователей выступают четыре участника той драмы, которая составляет содержание романа, но отношение писателя проявляется весьма отчетливо в интонации, исполненной боли и горькой иронии. И как может быть иначе, если в «Шутке» он воссоздает духовную историю своего поколения, которую невозможно писать, «не ведая ни жалости, ни гнева».

Милан Кундера принадлежит к тому поколению, с которым история сыграла действительно очень злую шутку. Известно, с каким восторгом встречали пражане советскую армию-освободительницу в майское утро Победы, и неудивительно, что в первых рядах встречавших были юноши и девушки, которые задыхались в душной атмосфере нацистского протектората, которым грозила «тотальная мобилизация», а то и фашистский концлагерь. После освобождения перед ними открылись не только двери университетов, но и перспективы светлого будущего — многие в него безоговорочно поверили — и возможность участвовать в его построении. Нетрудно представить себе, как болезненно столкнулись эти надежды и эта светлая вера с реальностью государства сталинского тоталитарного типа, возникшего в Чехословакии после 1948 года.

Милан Кундера, как и герой романа «Шутка» Людвик Ян, пережил и светлые надежды первых послевоенных лет, и болезненное крушение иллюзий.

А в 1968 году — еще более злая шутка истории. Я встретилась с Миланом Кундерой в начале лета в опьяненной свободой Праге, он тоже испытывал радость, охватившую его соотечественников, хотя и не утратил свой обычный иронический тон. А потом — август этого судьбоносного года. Танки той самой армии, которая принесла в 1945 году освобождение, теперь явились, чтобы растоптать надежды «пражской весны».

Кундера, как и многие деятели чешской культуры, вынужден был эмигрировать. В эмиграции, живя в Париже, он публикует произведения, которые вскоре принесли ему мировую известность. Конечно, в них отразились и тяжелый исторический опыт, и долгие размышления писателя, и его новые художественные искания, и все же для творчества Кундеры характерна некая целостность мировидения. Многие темы и мотивы первого романа нашли свое выражение и в последующих его произведениях.

Насмешка таится не только в заглавии этого романа, но и в заголовках других книг: сборника новелл «Смешные любовные истории», романов «Книга смеха и забвения», «Невыносимая легкость бытия». Это не просто насмешка над конкретными явлениями, не просто смех или столкновение смешного и печального, а, как писал сам Кундера в одном из своих эссе, отзвук смеха Бога над несовершенством человека и его часто ложными представлениями о себе и о мире.

С мотивом злой шутки связывается и еще одна, повторяющаяся в произведениях Кундеры тема — тема возмездия. В его первом романе и сама месть оборачи-

вается злой шуткой, абсурдным гротеском — планы мести ударяют по мстителю, наносят вред ни в чем не повинным людям. В романе «Невыносимая легкость бытия» эта тема обретает значительное обобщение и философскую глубину. Здесь речь идет о тех, кто был ответственен за бедствия страны в годы сталинской диктатуры, об энтузиастах, убежденных, что открыли единственную дорогу в рай, а когда обнаружилась пагубность этой дороги, не устающих твердить, что они были обмануты. Кундера вспоминает историю царя Эдипа, который не смог вынести зрелища бед, порожденных его неведением, и сам выколол себе глаза. Героя романа — Томаша, опубликовавшего статью с подобными рассуждениями в короткие месяцы свободы в 1968 году, потом, в эпоху «нормализации», обвиняют чуть ли не в призыве к террору. Но у Кундеры история Эдипа связана как раз с общей концепцией тщетности возмездия, продиктованного ненавистью.

Но как же все-таки числить вины тех, кто «не знал» и «обманывался»? Трагедия и вина тех, кто «не знал», считает Кундера, в том, что они слепо уверовали в догматы. Самые опасные враги искусства, да и вообще человечества,— это люди, лишенные юмора, всерьез считающие, что они владеют абсолютной истиной. Подобных «владельцев ключей от истины» Кундера изобразил еще в 60-е годы в драме под выразительным названием «Владельцы ключей». Костку и Ярослава — героев «Шутки», тоже уверовавших в непогрешимость своих взглядов на мир, ожидает неминуемое крушение в двух областях, чрезвычайно важных для Кундеры,— любви и творчестве.

Кундера отвергает идею мести, но ему близка мысль о целительности самоочищения и раскаяния, которое заставило Эдипа выколоть себе глаза. И именно эта идея звучит в финале романа «Шутка», именно в финале пробивается какая-то несмелая надежда на обновление и воскрешение человеческих душ. Конечно, автор не ведет повествование к сколь-нибудь традиционному хеппи-энду, нет ничего более чуждого поэтике Кундеры. Свет, который пробивается в конце романа, такой же робкий, как тоненький лучик надежды, светящийся в конце фильмов Феллини.

И. БЕРНШТЕЙН

I

И вот спустя много лет я вдруг вновь очутился дома. Я стоял на главной площади (несчетное число раз я прошел по ней ребенком, мальчиком, юношей) и не испытывал никакого умиления; напротив, думал о том, что эта ровная площадь, над крышами которой торчит башня ратуши (точно воин в старинном шлеме), напоминает большой казарменный плац и что военное прошлое этого южноморавского города, вставшего некогда неприступным валом на пути венгров и турок, отметило его лик чертами непреодолимой мерзости.

После долгой разлуки меня ничто не тянуло на родину; я убеждал себя, что стал к ней совершенно равнодушен, и это казалось естественным: уже пятнадцать лет я не живу в этих краях, осталось здесь лишь двое-трое знакомых или товарищей (да и тех постараюсь обойти стороной), мама похоронена в чужой могиле, всеми заброшенной. Но я заблуждался: то, что я называл равнодушием, на самом деле было ненавистью; ее причины ускользали от меня, поскольку на родине происходили со мной вещи и хорошие и плохие, как во всех других городах, но это была ненависть; я осознал ее как раз в связи с этой поездкой: цели, ради которой я ехал, можно было достигнуть и в Праге, но меня вдруг неудержимо стал привлекать подвернувшийся случай сделать это в родном городе именно потому, что цель была циничной и низменной, глумливо освобождавшей меня от подозрения, что возвращаюсь я сюда ради сентиментальных вздохов по утраченному времени.

Я еще раз насмешливо оглядел безобразную площадь и, повернувшись к ней спиной, пошел по улочке к гостинице, где для меня был забронирован номер. Швейцар вручил мне ключ с деревянной грушей и сказал: «Третий этаж». Номер был неприглядный: у стены — кровать, возле нее — вычурный туалет красного дерева с зеркалом, посредине — маленький стол с одним стулом, у двери — крохотный облупленный умывальник. Положив портфель на стол, я открыл окно: выходило оно во двор и на дома, обратившие к гостинице голые и грязные зады. Я закрыл окно, задернул шторы и подошел к умывальнику с двумя кранами — красным и синим; открутил их на пробу — из обоих текла холодная вода. Оглядел стол: пожалуй, он еще сошел бы — бутылка с двумя рюм-

ками вполне уместилась бы на нем, но хуже было, что за ним мог сидеть всего один человек — в номере не было второго стула. Я пододвинул стол к кровати и попробовал подсесть к нему, но кровать была чересчур низкой, а столик чересчур высоким, кроме того, кровать подо мной так сильно прогнулась, что мне стало сразу же ясно: она не только не годится для сидения, но и свое прямое назначение выполняет весьма условно. Я уперся в нее кулаками, затем лег на нее, аккуратно подняв ноги кверху, дабы ботинками не испачкать (вполне чистые) одеяло и простыню. Кровать провалилась подо мной, и я лежал в ней как в гамаке или в узехонькой могиле; трудно было представить, чтобы на этой постели можно было улечься вдвоем.

Я сел на стул и, уставившись сквозь прозрачные шторы, задумался. В это время из коридора донеслись шаги и голоса; это были двое, мужчина и женщина, они разговаривали, каждое их слово было отчетливо слышно: говорили они о каком-то Петре, сбежавшем из дому, и о какой-то тете Кларе, что глупа и якобы балует внука; затем раздались поворот ключа в замке, скрип открываемой двери, и голоса переместились в соседний номер; слышны были вздохи жены (да, явно слышны были даже вздохи!) и твердые заверения мужа поговорить с Кларой должным образом.

Я встал с уже созревшим решением; еще раз вымыл руки, вытер их полотенцем и вышел из гостиницы, хотя точно еще не знал, куда, собственно, держу путь. Но одно понимал четко: если я не хочу успех своей поездки (поездки дальней и изнурительной) подвергать риску из-за обычных неудобств гостиничного номера, я должен, при всем нежелании, обратиться к кому-нибудь из здешних знакомых с доверительной просьбой. Я постарался быстро перебрать в памяти забытых друзей времен молодости, но тотчас всех их отверг, хотя бы уж потому, что доверительность требуемой услуги вынудила бы меня перешагнуть через пропасть тех долгих лет, когда я с ними не виделся,— а к этому я вовсе не был расположен. Но тут неожиданно вспомнилось, что в городе, вероятно, живет один человек, переселенец, для которого я сам в свое время выхлопотал место и который, думается, будет рад представившемуся случаю отплатить мне услугой за услугу. Это был чудак, в ком болезненная щепетильность странно сочеталась с непоседливостью и переменчивостью — как мне известно, жена развелась с ним несколько лет назад просто потому, что он жил где угодно, только не с ней и их сыном. Сейчас опасался я лишь одного: не женился ли он во второй раз, ибо это усложнило бы исполнение моей просьбы. Итак, я поспешил к больнице.

Здешняя больница — целый комплекс корпусов и павильонов, разбросанных на обширной территории сада; я вошел в маленькую, невзрачную конуру у ворот и попросил дежурного за столом соединить меня с отделением вирусологии; дежурный пододвинул ко мне — к самому краю стола — телефон и сказал: «Ноль два». Я набрал ноль два и узнал, что доктор Костка ушел минуту назад и сейчас, вероятно, на пути к выходу. Я опустился на скамейку вблизи ворот, дабы не разминуться с ним, и стал глазеть на мужчин, бродивших здесь в голубых полосатых больничных халатах; и вдруг я увидел его: он шел задумчиво, высокий, худой, симпатично неприметный, да, это он. Я поднялся со скамейки и пошел прямо ему навстречу, словно хотел в него врезаться; он поглядел на меня обиженно, но сию же минуту узнал и раскинул руки. Похоже, он был осчастливлен этой неожиданностью, и непосредственность, с какой встретил меня, весьма обнадеживала.

Я объяснил, что приехал около часа назад по одному незначительному дельцу, которое задержит меня здесь дня на два, и он тут же выразил радостное изумление, что моя первая дорожка в городе привела к нему. И вдруг меня покоробило, что пришел я к нему не без корысти, не ради него самого и что вопрос, который задаю ему (я бодро спросил, не женился ли он вторично), лишь симулирует искреннее участие, на деле же — расчетливо-практичен. Он ответил (к моему успокоению), что

он по-прежнему один. Я обронил, что нам есть о чем поговорить. Он согласился, выразив сожаление, что располагает лишь немногим более часа, поскольку должен вернуться в больницу, а под вечер автобусом уехать из города. «Вы живете не здесь?» — ужаснулся я. Он уверил меня, что живет здесь, что в новом районе у него гарсоньерка, но «человеку в одиночестве бывает не по себе». Выяснилось, что у Костки в другом городе, за двадцать километров отсюда, невеста, учительница, причем с двухкомнатной квартирой. «Вы со временем переедете к ней?» — спросил я. Он ответил, что едва ли найдет в другом месте столь интересную работу, какую я помог ему когда-то найти здесь, и, несмотря на трудности, его невеста постарается переехать сюда и устроиться. Я стал проклинать (вполне искренне) неповоротливость нашей бюрократии, которая не в состоянии пойти навстречу мужчине и женщине, желающим соединиться. «Успокойтесь, Людвик,— сказал он мне с милой снисходительностью,— это отнюдь не так уж непереносимо. Пусть я и расходую немного больше денег и времени, зато мое уединение остается нерушимым, а я свободным».— «Зачем вам так нужна свобода?» — спросил я. «А зачем она нужна вам?» — ответил он вопросом. «Я бабник»,— сказал я. «Мне свобода нужна не ради женщин, а ради себя,— ответил он и продолжал: — Знаете что, зайдемте-ка ненадолго ко мне до моего отъезда». Ни о чем другом я и не мечтал.

Мы вышли из больницы и вскоре приблизились к кучке новых домов, вразброд торчавших на изрытом пыльном пространстве (ни газона, ни тротуаров, ни шоссе) и являвших печальный пейзаж на окраине города, окаймленного голой равниной дальних полей. Мы вошли в подъезд и стали подниматься по узкой лестнице (лифт не работал); остановились на четвертом этаже перед дверью, на табличке которой я прочел имя Костки. По коридору мы прошли в комнату, и я несказанно обрадовался: в углу стояла широкая и удобная тахта, покрытая красным узорчатым покрывалом; кроме тахты в комнате были столик, кресло, большой книжный шкаф и радиола.

Похвалив комнату, я спросил Костку, какая у него ванная. «Ничего особенного»,— ответил он, польщенный моим интересом, и пригласил меня в коридор, откуда вела дверь в ванную комнату — маленькую, но вполне приятную, с ванной, душем и умывальником. «При виде вашей чудесной квартиры мне поневоле пришла в голову одна мысль,— сказал я.— Какие у вас планы на завтрашний день и вечер?» — «К сожалению,— извинился он сокрушенно,— завтра я долго дежурю, вернусь только к семи. А вечером вы заняты?» — «Вечером, пожалуй, я буду свободен,— ответил я,— но не могли бы вы мне на день — до вечера — предоставить вашу квартиру?»

Он был ошарашен моим вопросом, но тотчас (словно боялся, что я заподозрю его в нелюбезности) ответил: «С великим удовольствием окажу вам эту услугу». И продолжал, словно нарочно не желая догадываться о мотивах моей просьбы: «Если у вас трудности с квартирой, можете уже сегодня расположиться здесь на ночь, я вернусь только утром, а впрочем, даже не утром, так как пойду прямо в клинику».— «Нет, ни к чему это. Я поселился в гостинице. Но номер ужасно неприютный, а завтра во второй половине дня мне хочется быть в приятной обстановке. Не для того, естественно, чтобы быть в ней одному».— «Да,— сказал Костка и чуть склонил голову,— я догадался.— А немного помедлив, сказал: — Я рад, что могу сделать для вас что-то хорошее.— И добавил: — Если вам при этом в самом деле будет хорошо».

Затем, подсев к столику (Костка приготовил кофе), мы немного потолковали (причем я сидел на тахте и с радостью обнаруживал, что она крепкая, не прогибается и совсем не скрипит). Чуть погодя Костка, объявив, что ему пора возвращаться в больницу, посвятил меня в некоторые таинства своего домашнего обихода: кран в ванной надо потуже закручивать, горячая вода, вопреки всем правилам, течет из крана, обозначенного буквой «Х», розетка для шнура от радиолы скрыта под

тахтой, в шкафчике стоит едва початая бутылка водки. Дав мне связку с двумя ключами, указал, какой ключ от подъезда, какой от квартиры. За свою жизнь, на протяжении которой я спал на разных постелях и сиживал за разными столами, я воспитал в себе особый культ ключей; ключи Костки я также сунул в карман с тихой радостью. Уже с порога Костка пожелал, чтобы в его гарсоньерке я испытал «поистине нечто прекрасное». «Да,— сказал я,— она позволит мне произвести одно прекрасное разрушение».— «Полагаете, разрушения бывают прекрасными?» — спросил Костка, а я усмехнулся про себя, узнав в этом вопросе (произнесенном мягко, но воинственном по существу) его самого, именно таким, каким он был, когда впервые — более пятнадцати лет тому — мы познакомились. Я любил его, хотя он и казался мне немного смешным, и потому, настраиваясь на его лад, ответил: «Я знаю, что вы тихий строитель вечного божьего дома и не любите слушать о разрушениях, но что мне делать: я не есть каменщик божий. Впрочем, если бы каменщики божьи возводили здесь дома с настоящими стенами, едва ли наши разрушения могли бы нанести им ущерб. Но мне представляется, что вместо стен я вижу повсюду одни лишь кулисы. А разрушение кулис — занятие справедливое».

Мы снова были там, где в последний раз (лет девять назад) разошлись; наш спор в эту минуту носил характер весьма отвлеченный, ибо конкретную подоплеку мы хорошо знали и о ней не надо было говорить вновь; повторить стоило разве лишь то, что мы не изменились, что оба по-прежнему не похожи друг на друга (причем, должен сказать, эту непохожесть я любил в Костке и потому охотно беседовал с ним: так я всегда как бы мимоходом постигал, кто я по сути и что я думаю). И дабы у меня не оставалось сомнений относительно себя самого, Костка ответил: «То, что вы сказали, звучит прекрасно. Но позвольте спросить: коль вы такой скептик, откуда у вас эта уверенность, что вам дано отличить кулису от стены? Всегда ли вы были убеждены в том, что иллюзии, над которыми вы смеетесь, и вправду только иллюзии? А что, ежели вы ошибаетесь? Что, ежели это ценности и вы разрушитель ценностей? — И затем добавил: — Преуменьшенная ценность и развенчанная иллюзия, полагаю, имеют равно убогую плоть, они подобны друг другу, и перепутать их проще простого».

Я провожал Костку через город опять к больнице, поигрывая в кармане ключами, и мне было славно в присутствии давнего знакомого, который мог убеждать меня в своей правде когда угодно и где угодно, да хоть и сейчас — дорогой по бугристому простору нового поселка. Впрочем, Костка, зная, что перед нами целый завтрашний вечер, минутой позже от философствования перешел к делам обыденным; он вновь уверился, что завтра я подожду его в квартире до семи вечера (других ключей у него не было), и спросил, действительно ли мне ничего больше не нужно. Я провел ладонью по лицу и сказал, что мне, пожалуй, не мешало бы зайти к парикмахеру, ибо я оброс до неприличия. «Превосходно,— сказал Костка,— я устрою вам бритье по первому классу».

Я не отказался от покровительства Костки и дал ему возможность отвести меня в маленькую цирюльню, где перед тремя зеркалами возвышались три огромных вращающихся кресла, и на двух из них, запрокинув головы, сидели мужчины с намыленными лицами. Две женщины в белых халатах склонялись над своими клиентами. Костка подошел к одной и что-то шепнул; женщина вытерла салфеткой бритву и, обернувшись назад, крикнула в глубь заведения: оттуда вышла девушка в белом халате и занялась оставленным в кресле мужчиной, тогда как женщина, с которой разговаривал Костка, поклонилась мне и жестом руки попросила сесть в пустое кресло. Распрощавшись с Косткой, я сел, откинул голову на подставленный подголовник, а поскольку, прожив достаточно долгую жизнь, не люблю глядеть на собственную физиономию, отвел глаза от расположенного напротив зеркала, поднял их кверху и стал блуждать ими по белому, в разводах потолку.

Не оторвал я от него взора и тогда, когда почувствовал на шее пальцы парикмахерши, засовывавшие мне за воротник рубашки белую простыню. Потом парикмахерша отошла чуть, и я, прислушиваясь лишь к шорканью бритвы о кожаный точильный ремень, застыл в какой-то сладостной неподвижности, исполненной блаженного безучастия. Минутой позже я ощутил на лице пальцы, влажные и скользящие, легко растиравшие по моей коже мыльный крем, и вдруг осознал нечто странное и смешное: какая-то чужая женщина, которая мне столь же безразлична, как и я ей, нежно гладит меня. Затем парикмахерша стала взбивать мыльную пену кисточкой, и мне показалось, будто я вовсе не сижу в кресле, а витаю в белом, покрытом пятнами пространстве, в кое упираюсь взглядом. И тут я представил себя (ибо мысли и в минуты отдохновения не устают вести свои игры) беззащитной жертвой, отданной на произвол женщине, точащей бритву. А поскольку мое тело истаивало в пространстве и я ощущал лишь лицо, которого касались пальцы, я легко вообразил, что нежные руки парикмахерши держат (поворачивают, гладят) мою голову так, словно ничуть не связывают ее с телом, а воспринимают саму по себе — стало быть, острая бритва, ожидающая на подсобном столике, сможет разве что завершить эту полнейшую обособленность.

Затем прикосновения прекратились, я услышал, как парикмахерша отходит, как сейчас уже и вправду берет в руки бритву, и я подумал (ведь мысли продолжали свои игры), что не худо бы посмотреть, как выглядит держащая (возносящая) мою голову моя нежная убийца. Я оторвал взгляд от потолка и перевел его на зеркало. И ужаснулся: игра, которой я забавлялся, внезапно обрела невообразимо реальные черты; мне показалось, что женщину, склонившуюся надо мной в зеркале, я знаю.

Одной рукой она придерживала мочку моего уха, другой тщательно соскребала мыльную пену с моего лица; я смотрел на нее, и вдруг подобие, минутой раньше с ужасом установленное, стало понемногу рассеиваться и теряться. Она наклонилась над умывальником, двумя пальцами сбросила с бритвы клок пены, выпрямилась и мягко повернула кресло; на миг наши взгляды встретились, и снова мне показалось, что это она! Разумеется, это лицо было несколько другим, будто принадлежало ее старшей сестре, было посеревшим, увядшим, слегка опавшим; но ведь прошло пятнадцать лет с тех пор, как я в последний раз ее видел! Эти годы наложили на ее истинное лицо обманчивую *маску,* но, по счастью, эта маска с двумя отверстиями, сквозь которые на меня снова глядят ее настоящие, взаправдашние глаза, такие, какими я знал их.

А затем наступило дальнейшее запутывание следа: в цирюльню вошел новый клиент и сел за моей спиной на стул в ожидании своей очереди; вскоре, окликнув мою парикмахершу, стал нести что-то о чудесном лете, о бассейне, строившемся за городом; парикмахерша отвечала (я следил за ее голосом больше, чем за словами, ничего, кстати, не значащими), и убеждался, что не узнаю этого голоса: он звучал резко, небрежно, развязно, почти грубо, это был совершенно чужой голос.

Она мыла мое лицо, прижимала к нему ладони, и я (вопреки голосу) снова начинал верить, что это она, что после пятнадцати лет снова чувствую на своем лице ее руки, что она снова гладит меня, гладит долго и нежно (я даже забывал, что это не ласки, а умывание); ее чужой голос все время что-то отвечал разболтавшемуся парню, но мне не хотелось верить голосу, хотелось скорее верить рукам, хотелось узнать ее по рукам; по степени нежности ее прикосновений я пытался угадать, она ли это и узнала ли она меня.

Она взяла полотенце, осушила мое лицо. Говорливый парень шумно смеялся остроте, которую сам же изрек, но я заметил, что моя парикмахерша не смеется — по-видимому, не очень-то и вслушивается в его болтовню. Это взволновало меня — в этом я усматривал доказательство, что она узнала меня и в душе растревожена. Я решил заговорить с ней,

как только встану с кресла. Она вынула салфетку у меня из-под горла. Я поднялся. Стал вытаскивать из нагрудного кармана пять крон. Ждал, когда снова встретятся наши взгляды, чтобы назвать ее по имени (парень без устали молол языком), но, безразлично отвернув в сторону голову, она быстро и по-деловому взяла пять крон — я вдруг показался себе безумцем, поверившим обманчивым призракам, и у меня не нашлось мужества заговорить с ней.

Странно взбудораженный, я покинул парикмахерскую; я знал лишь, что ничего не знаю и что это величайшая *грубость души* — потерять уверенность в тожестве лица, когда-то столь любимого.

Конечно, установить истину не составляло труда. Я поспешил в гостиницу (дорогой заметил на противоположном тротуаре старинного друга молодости, первую скрипку нашей капеллы с цимбалами, Ярослава, но, словно спасаясь от навязчивой и шумной музыки, быстро отвел взгляд) и из гостиницы позвонил Костке; он был еще в больнице.

— Скажите, пожалуйста, парикмахершу, которой вы поручили меня, зовут Люция Шебеткова?

— Теперь у нее другая фамилия, но это она. Откуда вы ее знаете? — спросил Костка.

— С бесконечно давних времен,— ответил я и, так и не поужинав, вышел из гостиницы (уже смеркалось): хотелось еще побродить.

II

1

Лягу сегодня рано, хоть и не знаю, усну ли, но лягу пораньше. Павел после обеда уехал в Братиславу, я завтра утренним самолетом лечу в Брно, а потом еще автобусом, Зденочка остается на два дня дома одна, но это ее не огорчает, к общению с нами она не очень-то и стремится. Павла боготворит, Павел — первый мужчина, которым она восхищается, да и он нашел к ней ключик, как находил его ко всем женщинам, как нашел и ко мне и по-прежнему еще находит, на этой неделе он снова стал относиться ко мне как в давние годы, гладил по лицу и обещал, что ради меня остановится в Южной Моравии на обратном пути из Братиславы, сказал, что нам надо еще раз потолковать, может, и сам понял, что дальше так жить невозможно, может, хочет вернуться к тому, что было между нами прежде, но почему он понял это только сейчас, когда я узнала Людвика? Мне становится страшно, но я не смею печалиться, не смею, пусть мое имя ни в ком не отзывается печалью, эта фраза Фучика — моя заповедь, и мне абсолютно все равно, что эта заповедь теперь не в моде, может, я дура, но и те, что говорят мне об этом, не умнее, у них тоже свои заповеди и словечки, абсурдность, отчуждение, непонятно, почему я должна собственную глупость подменить чужой, нет, я не хочу свою жизнь разломить на две половины. Я хочу, чтобы моя жизнь была цельной от начала до конца, вот почему мне так пришелся по душе Людвик: когда я с ним, мне не нужно менять свои убеждения и вкусы, он обыкновенный, простой, веселый, ясный — то, что я люблю, что я всегда любила.

Я не стыжусь, что я такая, другой, чем я была и есть, быть не могу, до восемнадцати я только и знала что монастырские запреты, туберкулез, два года санатория, затем два года наверстывала упущенное в школе, даже танцы были для меня недоступны, одно лишь упорядоченное бытие упорядоченных пльзеньчан и учение, учение, настоящая жизнь — книга за семью печатями, когда в сороковом я приехала в Прагу, мне вдруг открылось чудо, такое счастье, о каком никогда не забуду, и потому никогда не смогу исторгнуть из своей души Павла, хоть его уже не люблю, хоть он оскорбил меня, нет, это свыше моих сил, Павел — моя молодость, Прага, факультет, общежитие и, главное, Фучиковский ансамбль песни и танца, сейчас уже никто не знает, что это значило для

нас, там я познакомилась с Павлом, он тенор, у меня был альт, мы выступали на сотнях концертов и подмостков, пели советские песни, наши песни о строительстве новой жизни и, конечно же, народные песни, их мы пели с особым увлечением, моравские песни так полюбились мне тогда, что я, пльзеньчанка, чувствовала себя мораванкой, они стали лейтмотивом моей жизни, они сливаются во мне с той порой, с моей молодостью, с Павлом, отзываются во мне всякий раз, когда должно выйти солнце,— отзываются во мне и в эти дни.

А как я сблизилась с Павлом — об этом сейчас рассказать никому и не могла бы, наша история проста до банальности, отмечалась годовщина Освобождения, и на Староместской площади была большая манифестация, наш ансамбль тоже там был, мы всюду ходили вместе, маленькая горстка людей среди десятков тысяч, а на трибуне стояли наши государственные деятели и зарубежные гости, было много выступлений и много аплодисментов, а потом к микрофону подошел Тольятти и по-итальянски приветствовал нас, и площадь ответила ему, как всегда, восторженными возгласами, аплодисментами, скандированием. Случайно в этой ужасной давке рядом со мной оказался Павел, я слышала, как в этот гул он тоже что-то выкрикивает, что-то другое, что-то свое, я поглядела на его губы и поняла, что он поет, нет, он скорее кричал, чем пел, он хотел, чтобы его услышали и присоединились к нему, пел он итальянскую революционную песню, она была в нашем репертуаре и в те годы пользовалась особой популярностью, «аванти пополо, а ла рискосса, бандьера росса, бандьера росса...»

В этом был он весь, ему всегда недостаточно было воздействовать только на разум человека, он хотел покорять и души, мне это казалось прекрасным — на пражской площади приветствовать итальянского рабочего вождя революционной итальянской песней, я мечтала увидеть Тольятти таким же растроганным, какой была я, и потому изо всей мочи стала подпевать Павлу, к нам присоединились другие, еще и еще, и вот уже пел весь наш хор, но гул на площади был таким мощным, а нас была горстка, человек пятьдесят, а их на площади по меньшей мере пятьдесят тысяч, они совершенно заглушали нас, это была отчаянная схватка, пока мы пели первый куплет, нам думалось, мы не выдержим, сдадимся, но вдруг произошло чудо, в наше пение стали вливаться все новые и новые голоса, люди услышали нас, и песня исподволь начала высвобождаться из дикого гула площади, словно бабочка из огромного гудящего кокона. Наконец эта бабочка, наша песня, по крайней мере несколько последних ее тактов, долетела до самой трибуны, а мы с жадным любопытством смотрели в лицо седоватого итальянца и были счастливы, когда нам показалось, что движением руки он отвечает на песню, и я была даже уверена, хотя из той дали ничего не могла разглядеть, что в его глазах стоят слезы.

И в этом восторге и умилении, не пойму даже как, я вдруг схватила Павла за руку, и он ответил мне на пожатие, а когда потом площадь утихла и к микрофону подошел кто-то другой, меня залил страх, что он отпустит мою руку, но он не отпустил, мы держались за руки до самого конца манифестации — не разжали их и потом, когда толпа разошлась и мы много часов подряд бродили по цветущей Праге.

Семью годами позже, когда Зденочке было уже пять, я никогда не забуду этого, он сказал мне, *мы поженились не по любви, а подчиняясь партийной дисциплине,* я знаю, что сказано это было в порыве злобы, что это ложь, что Павел женился на мне по любви и просто потом изменился, но все равно ужасно, что он мог сказать мне это, ведь именно он всегда уверял меня, что теперешняя любовь другая, она не бегство от людей, а поддержка в бою, мы так и жили ею, в полдень нам не хватало времени даже пообедать, съедим, бывало, на секретариате ЧСМ [1] две сухие булочки, а потом снова почти целый день не видимся,

[1] Чехословацкий союз молодежи. *(Здесь и далее прим. перев.)*

ждала я Павла обычно к полуночи, когда он возвращался с бесконечных шести-восьмичасовых собраний, в свободное время я переписывала ему доклады, которые он готовил к самым разным конференциям и лекциям, он придавал им огромное значение, только я знаю, какое значение он придавал успеху своих политических выступлений, он сотни раз повторял в своих докладах, будто новый человек отличается от старого тем, что устраняет в своей жизни противоречия между личным и общественным, а спустя годы вдруг взял и попрекнул меня, что товарищи тогда вмешались в его личную жизнь.

Мы встречались почти два года, и меня понемногу охватывало нетерпение, в этом нет ничего удивительного, ни одна женщина не станет довольствоваться обычной студенческой связью. Павла же она вполне устраивала, он свыкся с ее удобной необязательностью, любой мужчина в большой мере эгоист, и дело женщины отстоять самое себя и свое женское назначение, к сожалению, Павел понимал это меньше других в ансамбле, прежде всего я имею в виду моих подруг, так вот они, договорившись с остальными, вызвали Павла в комитет, уж и не знаю, как они там его прорабатывали, никогда у нас с ним не заходила о том речь, но явно не церемонились, тогда ведь преобладала строгая мораль, быть может, с некоторым перебором, но, думается, лучше излишне строгая мораль, чем нынешняя безнравственность. Павел долго избегал меня, я боялась, что все испортила, я просто отчаялась, хотела руки на себя наложить, а потом он пришел ко мне, у меня подкашивались ноги, он попросил у меня прощения и в подарок дал мне брелок с изображением Кремля, самую свою дорогую памятную вещицу, я никогда не сниму его, это не только память о Павле, а гораздо большее, и я расплакалась от счастья, а через две недели мы сыграли свадьбу, на ней был весь ансамбль, продолжалась она почти сутки, на ней пели и танцевали, а я говорила Павлу, что, предай мы друг друга, мы предали бы и всех тех, кто справляет с нами свадьбу, предали бы и манифестацию на Староместской площади, и Тольятти, сегодня мне просто смешно, сколько всего мы потом в общем-то предали...

2

Не решу никак, что завтра надеть, пожалуй, розовую кофточку и болонью, в плаще фигура намного лучше, теперь я уже не такая стройная, что поделаешь, возможно, за морщины возраст вознаградил меня другим очарованием, какого нет у молодой девчонки, очарованием прожитой судьбы, во всяком случае такой меня видит Индра, до чего ж он был разочарован, узнав, что я лечу утром, а ему придется ехать одному, он счастлив, когда бывает со мной наедине, любит покрасоваться в своей девятнадцатилетней возмужалости, наверняка жал бы при мне со скоростью сто тридцать в час, лишь бы я восхищалась им, бедный гадкий утенок, хотя, впрочем, первоклассный техник и водитель, редакторы с немалой охотой берут его «на пленэр» для небольших репортажей, и в общем-то, что греха таить, приятно сознавать, что кому-то хорошо со мной, в последнее время на радио не очень меня жалуют, болтают, что я придира, фанатичка, догматик, партийная ищейка и неведомо еще кто, только я никогда не буду стыдиться, что люблю партию и ради нее жертвую всем своим свободным временем. Что, впрочем, осталось у меня в жизни? У Павла другие женщины, а я теперь и не пытаюсь узнать, кто они, дочка обожает отца, работа моя вот уже лет десять беспросветно однообразна, репортажи, интервью, совещания о выполнении плана, о коровниках, доярках, домашнее хозяйство — такая же безнадега, лишь партия никогда ни в чем не провинилась передо мной, и я перед ней ни разу не провинилась, даже в те минуты, когда чуть ли не все хотели покинуть ее, в пятьдесят шестом, когда открылись сталинские преступления, люди с ума посходили, все оплевывали, наша печать, говорили они, бессовестно врет, магазины, что были национализированы, не работают, культура падает, кооперативы в деревнях незачем было организовывать,

Советский Союз — страна несвободы, а наихудшим злом было то, что так говорили и коммунисты на своих партийных собраниях, говорил так и Павел, и ему опять же все аплодировали, Павлу всегда аплодируют, с самого детства аплодируют, единственный сынок, любимчик, его мать до сих пор не ложится спать без его фотографий, чудо-ребенок, но мужчина самый заурядный, не курит, не пьет, а вот без аплодисментов жить не может, это его алкоголь и никотин, и, конечно, тогда он обрадовался, что снова может пронимать людей до самого сердца, он говорил о чудовищных казнях без вины осужденных с таким вдохновением, что люди чуть не плакали, я чувствовала,. как он упивается своим негодованием, и ненавидела его.

Партия, к счастью, дала по рукам истерикам, они притихли, притих и Павел, должность институтского доцента, преподавателя марксизма была слишком удобной, чтобы рисковать ею, но что-то здесь все же продолжало витать в воздухе, зародыш апатии, недоверия, скепсиса, зародыш, который исподволь и тайком набирался сил. Я не знала, как бороться с этим, разве приросла к партии еще больше, чем прежде, будто партия была живым существом, человеком, и что удивительно — скорей женщиной, чем мужчиной, женщиной мудрой, с какой можно разговаривать совершенно доверительно, особенно когда уже ни с кем ни о чем нельзя говорить, не только с Павлом, другие люди тоже меня недолюбливают, а это выяснилось, когда нам пришлось разбирать ту скандальную историю, наш редактор, человек женатый, связался с монтажисткой из нашего отдела, девицей молодой, незамужней, легкомысленной и циничной, и жена редактора в отчаянии обратилась тогда в партийный комитет за помощью, мы разбирали дело много часов подряд, приглашали для разговора всех поочередно, жену, монтажистку и свидетелей-сослуживцев, стремясь обсудить вопрос со всех сторон и соблюсти объективность, редактор получил партийный выговор, монтажистке вынесли предупреждение, и обоих обязали обещать комитету, что они расстанутся. К сожалению, слова — одно, а дело — другое, они дали обещание, лишь бы нас успокоить, а сами продолжали встречаться, однако на лжи далеко не уедешь, вскоре мы узнали об этом, я заняла очень твердую позицию, предложила исключить редактора из партии за сознательный обман и двурушничество, какой же это коммунист, если он лжет партии, я ненавижу ложь, но мое предложение не поддержали, редактор получил всего лишь выговор, зато монтажистке пришлось с работы уйти.

Сослуживцы отплатили мне хуже некуда, сделали из меня сущую стерву, гадину, развернули настоящую кампанию, устроили слежку за моей интимной жизнью, а это была моя ахиллесова пята, женщина не может жить без эмоций, она просто перестает быть женщиной, к чему было отпираться, я искала любви в другом месте, раз потеряла ее дома, хотя искала безуспешно, и вот однажды на открытом партсобрании все скопом навалились на меня, заявили, что я ханжа, что клеймлю позором других, якобы разрушающих брачные узы, призываю исключить их из партии, выбросить, уничтожить, а сама, мол, изменяю мужу, если только представляется случай, так говорили на собрании, но за спиной болтали обо мне еще более дикие вещи, на народе я, дескать, прикидываюсь монашкой, а в личной жизни — настоящая шлюха, они словно не могли взять в толк: я строга к людям именно потому, что по своему опыту знаю, каково быть несчастной в браке, не из ненависти к ним я строга, а из любви, из любви к самой любви, из любви к их дому, к их детям, потому что хочу им помочь, ведь у меня тоже ребенок и дом, и я так дорожу этим!

А там кто знает, может, они и правы, может, в самом деле я злюка и людям действительно надо предоставить свободу, никто не смеет лезть в их интимную жизнь, может, мы и вправду весь этот наш мир придумали неудачно и я действительно ненавистный комиссар, который вмешивается в дела, его не касающиеся, но я такая и не могу поступать иначе, чем думаю, теперь уже поздно, я всегда считала, что человеческое существо

неделимо, что только мещанин лицемерно раздваивается на существо общественное и существо частное, это мое убеждение, и в согласии с ним я жила, живу так и сейчас.

А в том, что была, возможно, злобной — признаюсь чистосердечно, я теперь ненавижу молодых девиц, этих безжалостных шмакодявок, без толики сочувствия к женщине постарше, ведь им тоже когда-нибудь будет тридцать, и тридцать пять, и сорок, и пусть мне никто не говорит, что эта девица любила его, ей ли знать, что такое любовь, без лишних разговоров она переспит с каждым, для нее нет ни преград, ни стыда, меня ужасно коробит, когда кто-то сравнивает меня с такими девицами лишь потому, что я, уже замужняя женщина, была близка с другими мужчинами. Но ведь я всегда искала любви, и если ошибалась и не находила ее там, где искала, я с отвращением отворачивалась и уходила прочь, шла за счастьем к иным берегам, хотя знаю, как было бы просто забыть свой девический сон о любви, начисто забыть о нем, переступить границу и оказаться в царстве свободы, где нет ни стыда, ни препятствий, ни морали, в царстве редкостно гнусной свободы, где все дозволено, где человеку достаточно лишь прислушаться, а не бьется ли в его утробе секс, это неуемное животное.

И еще кое-что я знаю: переступи я эту границу, я потеряла бы самое себя, стала бы кем-то другим, неведомо кем, и меня приводит в ужас эта возможность, возможность этой чудовищной перемены, и потому я ищу любви, отчаянно ищу любви, в которую могла бы уйти такой, какая я есть, со своими устаревшими снами и идеалами, и не хочу, чтобы жизнь моя разломилась надвое, хочу, чтобы она оставалась цельной от начала до конца, и потому я была так околдована, когда узнала тебя, Людвик, Людвик...

3

Впрочем, это было ужасно смешно, когда я впервые вошла к нему в кабинет, он не произвел на меня особого впечатления, я с ходу, без всякой робости выпалила, какая информация могла бы заинтересовать меня, каким представляю себе свой радиофельетон, но стоило ему заговорить со мной, как я вдруг почувствовала, что сбиваюсь, болтаю всякую чушь, говорю глупо, а он, заметив мою растерянность, свернул разговор на банальные темы, замужем ли я, есть ли у меня дети, где по обыкновению провожу отпуск, и еще сказал, что выгляжу я молодо и что красива, он хотел помочь мне справиться с моим волнением, как это мило с его стороны, я знавала стольких фанфаронов, которые умели разве что повыставляться, хотя на деле его мизинца не стоили, Павел, например, говорил бы только о себе, но самым комичным во всей истории было то, что я проторчала у него битый час и ушла, так и не узнав для себя ничего нового, а потом корпела над своим фельетоном — ну никак не получался, может, я была даже рада, что ничего не получается, по крайней мере у меня нашелся предлог позвонить ему и спросить, не хотел бы он прочесть то, что я написала. Встретились мы в кафе, мой жалкий фельетон занимал четыре страницы, он прочел его, вежливо улыбнулся и сказал, что фельетон превосходен, однако с самого начала дал мне понять, что я интересна ему как женщина, а не как редактор, я и не знала, радоваться мне или обижаться, но он был такой милый, мы с полуслова понимали друг друга, он совсем не изнеженный интеллектуал, какие мне противны, нет, у него за плечами богатый жизненный опыт, он и на рудниках работал, я сказала ему, что именно таких людей я люблю, людей горьковской судьбы, но больше всего меня ошеломило, что он из Южной Моравии, что даже играл в капелле с цимбалами, я своим ушам не могла поверить, я услышала лейтмотив всей моей жизни, видела, как из дальнего далека возвращается ко мне молодость, и чувствовала, как Людвик покоряет меня.

Он спросил, что я поделываю днями, я рассказала ему, а он ответил мне на это, неотступно слышу его голос, полушутливый, полусочувствую-

щий, плохо живете, пани Гелена, причем звучало это так, что, дескать, все должно измениться, что я должна жить иначе, что должна больше ощущать *радость жизни.* Я сказала ему, что против этого не возражала бы, что я всегда была поклонницей радости, что для меня нет ничего отвратительнее, чем все эти новомодные печали и хандры, а он заметил, что это вовсе не важно, чему я поклоняюсь, что поклонники радости по большей части бывают самыми грустными людьми на свете, о, как вы правы, хотелось мне крикнуть, а потом он сказал прямо, без обиняков, что завтра в четыре встретит меня после работы и мы вместе поедем куда-нибудь на природу, под Прагу. Я отказывалась, я все-таки замужняя женщина и мне не просто поехать с чужим мужчиной в лес, но Людвик ответил на мои возражения шуткой, он, дескать, никакой не мужчина, а всего-навсего ученый, но при этом он погрустнел, да, погрустнел! Я заметила это, и меня бросило в жар от счастья, что он тянется ко мне, и тянется тем сильней, чем чаще я напоминаю ему, что я замужем, и таким образом отдаляюсь от него, а человек всегда больше всего мечтает о том, что ускользает от него, я с жадностью пила эту грусть с его лица, поняв в ту минуту, что он влюбился в меня.

А на следующий день с одной стороны шумела Влтава, с другой — поднимался отвесный лес, все было романтично, я люблю романтику, я вела себя довольно безрассудно, как, пожалуй, не к лицу матери двенадцатилетней дочери, я смеялась, прыгала, потом взяла его за руку и заставила пробежаться со мной, у меня стучало сердце, мы стояли лицом к лицу почти вплотную, и Людвик чуть-чуть склонился и легонько коснулся меня губами, я вырвалась и опять схватила его за руку, и мы снова побежали, у меня небольшой порок сердца, оно начинает сильно биться даже при малейшем напряжении, стоит мне взбежать на один лестничный марш, и потому я скоро замедлила шаг, дыхание понемногу успокоилось, восстановилось, и я вдруг тихонько затянула первые два такта моей самой любимой песни. Ой, светило солнышко да над нашим садом... а когда я почувствовала, что он понимает меня, я запела громче, мне совсем не было стыдно, я чувствовала, как с меня спадают годы, заботы, печали, тысячи серых чешуек, а потом мы сидели в маленьком трактирчике под Збраславом, ели хлеб и шпикачки, все было совсем обычно и просто, ворчливый трактирщик, скатерть в пятнах, и все-таки это были восхитительные минуты, я сказала Людвику, знает ли он, что через три дня я еду в Моравию писать репортаж о «Коннице королей». Он спросил, в какой город, и когда я ему ответила, сказал, что как раз там он родился, и снова такое совпадение, оно просто ошеломило меня, а Людвик добавил: освобожусь и поеду туда с вами.

Я испугалась, вспомнила о Павле, о той искорке надежды, которую он высек передо мной, я не отношусь цинично к своему браку, я готова сделать все, чтобы сохранить его, ради Зденочки, но главное — зачем лгать — ради себя, ради всего, что было, сохранить как память о своей молодости, но я не нашла в себе силы сказать Людвику «нет», я не нашла этой силы, а теперь жребий уже брошен, Зденочка спит, я вся обмираю от страха, а Людвик уже в Моравии и завтра будет ждать меня на автобусной остановке.

III

1

Да, я вышел побродить. Остановившись на мосту через Мораву, я заскользил взглядом вдоль ее течения. Как безобразна Морава (река до того коричневая, словно течет в ней скорее жидкая глина, чем вода), и как уныло ее побережье: улица из пяти двухэтажных городских домов, стоявших порознь, каждый сам по себе, странно и широко; видимо, они должны были создать основу набережной, пышность которой впослед-

ствии так и не осуществилась; на двух из них изображены лепные керамические ангелочки и разные сценки, ныне совсем облезлые: ангел без крыла, а сценки, местами оголенные до кирпича, утратили свой смысл. Затем улица одиноких домов кончается, а дальше — одни железные мачты высоковольтной линии, трава, на ней несколько припоздавших гусей, и поля, поля без конца и без края, уходящие в никуда, поля, в которых теряется жидкая глина реки Моравы.

У городов есть известное свойство отражаться друг в друге как в зеркале, и в этом пейзаже (знакомом с детства, но ничего мне не говорившем тогда) я увидел вдруг Остраву, этот шахтерский город, подобный огромной временной ночлежке, полной заброшенных домов и грязных улиц, ведущих в пустоту. Я был застигнут врасплох; стоял на мосту, как человек, нежданно попавший под пулеметный обстрел. Не хотелось дольше смотреть на убогую улицу пяти отшельнических домов, ибо не хотелось думать об Остраве. Я повернулся и побрел берегом против течения.

Туда вела дорожка, окаймленная с одной стороны густым рядом тополей: узкая аллея, откуда все как на ладони. Справа от нее спускался к водной глади берег, поросший сорной травой, а дальше на противоположном берегу реки видны были склады, мастерские и дворы мелких фабрик; слева от дороги тянулась длинная свалка, а за ней просторные поля, прошитые железными конструкциями мачт с электрическими проводами. Возвышаясь над всем этим, я шел по узкой аллее, словно шагал по длинным мосткам над водами — эта местность навевала сравнение с половодьем главным образом потому, что обдавала холодом, и еще потому, что казалось, будто в любой миг я могу сорваться и упасть. Причем я сознавал, что эта особая иллюзорность местности не более как сколок с того, о чем я после встречи с Люцией не хотел вспоминать; словно бы подавляемые воспоминания переселились во все, что сейчас окружало меня, в пустоту полей, и дворов, и складов, в мутность реки и в вездесущий холод, который связывал воедино весь этот пейзаж. Я понял, что не уйду от воспоминаний, что они плотно обступили меня.

2

О том, как я пришел к своему первому жизненному краху (а с его немилостивой помощью и к Люции), можно было бы рассказывать тоном легковесным и даже с некоторой долей занимательности: всему виной была моя злополучная склонность к глупым шуткам и Маркетино злополучное неумение понять шутку. Маркета принадлежала к числу женщин, все воспринимающих всерьез (тут она в полной мере сливалась с самим духом эпохи) и уже изначально наделенных парками способностью верить, как сильнейшим свойством их натуры. Тем самым, конечно, я не хочу, прибегая к эвфемизму, намекать, что Маркета, возможно, была глупа; никоим образом; она была достаточно одарена, умна и к тому же настолько молода (училась на первом курсе, и было ей девятнадцать), что наивная доверчивость относилась скорей к ее прелестям, нежели к недостаткам, тем более что она сочеталась с бесспорным внешним очарованием. Мы все на факультете были влюблены в Маркету и в разной степени пытались завлечь ее в свои сети, что, однако, не мешало нам (по крайней мере некоторым из нас) легко и незлобиво подтрунивать над ней.

Да, шутка меньше всего сочеталась с Маркетой, а с духом времени и подавно. Шел первый год после Февраля сорок восьмого[1], началась новая жизнь, и вправду совершенно новая, и лицо этой новой жизни, каким оно запечатлелось в моей памяти, было напряженно-серьезным, причем странным в этой серьезности казалось то, что лицо не хмурилось,

[1] Имеются в виду февральские события 1948 года, приведшие к установлению народно-демократического строя в стране.

а сохраняло подобие улыбки; да, те годы заявляли о себе как о самых радостных из всех прошедших, и каждого, кто не радовался, тут же начинали подозревать в том, что победа рабочего класса огорчает его или (ничуть не меньшее прегрешение) что он *индивидуалистически* погружен в свои сокровенные печали.

У меня тогда не было особых сокровенных печалей, напротив, я обладал изрядным чувством юмора, и все-таки нельзя сказать, что радостному лику эпохи я соответствовал безоговорочно, ибо шутки мои были слишком несерьезны, а радость эпохи не любила ерничества и иронии; это была радость, как я сказал, серьезная, гордо величающая себя «историческим оптимизмом класса-победителя», радость аскетическая и торжественная, просто-напросто Радость.

Помню, как на факультете мы объединились тогда в так называемые академические кружки, которые часто собирались с целью провести общественную критику и самокритику всех своих членов, а затем на этом основании составить на каждого характеристику. У меня, как и у любого коммуниста, тогда было множество обязанностей (я занимал высокий пост в Студенческом союзе), а если еще учесть, что был и неплохим студентом, такая характеристика не могла угрожать мне ничем особенным. Однако за фразами, в которых отдавалось должное моей активности, моему положительному отношению к государству, работе и глубокому знанию марксистских основ, зачастую следовало упоминание о свойственных мне «остатках индивидуализма». Такая оговорка была не очень опасной, ибо считалось хорошим тоном вносить и в самую безупречную характеристику иное критическое замечание; одного попрекнуть «вялым интересом к революционной теории», другого — «холодным отношением к людям», третьего — неразвитой «бдительностью и настороженностью», а еще кого-то, допустим, «плохим отношением к женщине»; конечно, если к одной оговорке добавлялась еще и другая, если человек оказывался замешанным в каком-либо конфликте или становился жертвой подозрений и нападок, такие «остатки индивидуализма» или же «плохое отношение к женщине» могли стать семенами гибели. И особая фатальность была в том, что такое семя таилось в листке по учету кадров каждого, да, буквально каждого из нас.

Случалось (скорее из спортивного интереса, нежели из всамделишных опасений), я защищался против обвинений в индивидуализме и просил товарищей обосновать, почему я индивидуалист. Особо конкретных тому доказательств у них не находилось. Они говорили: «Потому что ты так себя ведешь».— «Как я себя веду?» — спрашивал я. «Ты все время как-то странно улыбаешься».— «Ну и что? Я радуюсь!» — «Нет, ты улыбаешься, как будто про себя о чем-то думаешь».

Когда товарищи пришли к выводу, что мое поведение и улыбки не иначе как интеллигентские (еще один известный уничижительный нюанс того времени), я поверил им в конце концов, ибо не мог представить себе (это было просто сверх моей дерзновенности), чтобы все вокруг ошибались, ошибалась сама Революция, дух времени, тогда как я, индивид, прав. Я начал следить за своими улыбками и в скором времени почувствовал в себе небольшую брешь, приоткрывшуюся между тем, кем я был, и тем, кем я (сообразно духу времени) должен был быть и силился быть.

Итак, кто же я был на самом деле? Хочу ответить на этот вопрос совершенно честно: я был человеком с несколькими лицами.

И лиц становилось все больше. Примерно за месяц до каникул я стал сближаться с Маркетой (она училась на первом, я на втором курсе), стремясь поразить ее таким же дурацким способом, к которому прибегают двадцатилетние юнцы всех времен: я надевал маску, я изображал из себя более взрослого (духом и опытом), чем был, я держался отстраненно, делая вид, что взираю на мир с высоты и что на кожу мою надета еще одна, невидимая и пуленепробиваемая. Я полагал (кстати, правильно), что пошучивание — вполне доступное выражение отстране-

ния, и если я всегда любил пошутить, то с Маркетой шутил особенно усердно, нарочито и утомительно.

Но кто все-таки я был на самом деле? Я должен еще раз повторить: я был человеком с несколькими лицами.

Я был серьезным, восторженным и убежденным на собраниях, придирчивым и язвительным среди самых близких товарищей; я был циничен и судорожно остроумен с Маркетой; а оставаясь наедине с собой (и думая о Маркете), становился беспомощным и по-школярски взволнованным.

Было ли последнее лицо тем истинным?

Нет. Все эти лица были истинными: не было у меня, как у ханжи, лица истинного и лица ложного. У меня было несколько лиц, ибо я был молод и не знал сам, кто я и кем хочу быть. (Однако несоразмерность между всеми теми лицами смущала меня, целиком я не сросся ни с одним из них и двигался вслед за ними неуклюже и вслепую.)

Психологический и физиологический механизм любви настолько сложен, что в определенную пору жизни молодой человек вынужден сосредоточиться почти исключительно на его простом постижении, тогда как собственное содержание любви — женщина, которую он любит,— при этом ускользает от него (подобно тому, как, допустим, молодой скрипач не сможет достаточно хорошо сосредоточиться на содержании сочинения, пока не овладеет техникой игры настолько, чтобы во время исполнения вообще не думать о ней). Если я говорил о своей школярской взволнованности при раздумьях о Маркете, то должен следом добавить, что проистекало это не столь из-за моей влюбленности, сколь из-за моей неловкости и неуверенности — их тяжесть я постоянно испытывал, и она стала владеть моими чувствами и мыслями в гораздо большей степени, чем сама Маркета.

Тяжесть растерянности и неловкости я усугублял еще и тем, что все время выламывался перед Маркетой: норовил переспорить ее или прямо высмеивал ее взгляды, что не составляло особого труда, ибо при всей смышлености (и красоте, которая — как любая красота — внушала окружающим ощущение мнимой недоступности) эта девушка была доверительно простодушной; она никогда не умела заглядывать *за* предмет и видела лишь предмет как таковой; она превосходно разбиралась в ботанике, но случалось, не понимала анекдота, рассказанного ей товарищами; она давала увлечь себя всеми восторгами эпохи, но в минуту, когда оказывалась свидетелем какого-либо политического начинания, совершенного по принципу «цель оправдывает средства», становилась такой же непонятливой, как в случае с рассказанным анекдотом, вот поэтому товарищи и рассудили, что ей нужно подкрепить свой энтузиазм знаниями стратегии и тактики революционного движения и с этой целью на каникулах пройти двухнедельные партийные курсы.

Эти ее занятия для меня были как нельзя более некстати: именно в те две недели я задумал побыть с Маркетой в Праге и довести наши отношения (пока еще ограничивавшиеся прогулками, разговорами и немногими поцелуями) до определенного конца; кроме этих двух недель времени у меня не было (следующие четыре недели каникул я рассчитывал провести на сельскохозяйственных работах, а последние две — у матери в Моравии), и, конечно, я с болезненной ревностью воспринял то, что Маркета не разделяла моей грусти, приняла занятия как должное, более того — сказала, что ждет их с нетерпением.

С занятий (проходили они в каком-то замке в центре Чехии) Маркета прислала мне письмо, которое было таким же, как и она сама: исполненным искреннего согласия со всем, чем она жила, все ей нравилось: и утренняя пятнадцатиминутная зарядка, и доклады, и дискуссии, и песни, которые там пели; она писала, что у них царит «здоровый дух», а от усердия еще добавила свои соображения о том, что революция на Западе не заставит себя долго ждать.

В конечном счете я соглашался со всем, что утверждала Маркета, верил даже в близкую революцию в Западной Европе; лишь с одним я не мог согласиться: с тем, что она довольна и счастлива, когда мне без нее так грустно. И потому я купил открытку и (чтобы побольнее ранить ее, оглоушить и сбить с толку) написал: «Оптимизм — опиум для народа! Здоровый дух попахивает глупостью! Да здравствует Троцкий! Людвик».

3

На мою провокационную открытку Маркета ответила коротким письмецом банального содержания, а на последующие мои послания, которыми я в течение каникул заваливал ее, не отвечала. Я торчал где-то на Шумаве, сгребал сено с университетской бригадой и несказанно грустил из-за молчания Маркеты. Писал ей оттуда чуть не каждый день, письма мои были полны умоляющей и меланхоличной влюбленности; я просил ее провести хотя бы последние две недели каникул вместе, я был готов не ездить домой, не видеть своей одинокой матери — лишь бы махнуть куда угодно к Маркете; и все это не только потому, что любил ее, но прежде всего потому, что она была единственная женщина на моем горизонте, а положение парня без девушки мне представлялось непереносимым. Но Маркета на мои письма не отвечала.

Я не понимал, что происходит Я приехал в августе в Прагу, и мне посчастливилось застать ее дома. Мы пошли вместе на привычную прогулку вдоль Влтавы и на остров — Цисаржский луг (на этот грустный луг с тополями и пустыми площадками), и Маркета утверждала, что между нами ничего не изменилось, да и держала она себя соответствующим образом, однако именно эта судорожно неподвижная *похожесть* (похожесть поцелуев, похожесть разговора, похожесть улыбки) была удручающей. Когда я попросил Маркету о следующей встрече, она сказала, чтобы я позвонил ей, а уж тогда, дескать, мы договоримся.

Я позвонил; чужой женский голос сообщил мне, что Маркета уехала из Праги.

Я страдал, как только может страдать двадцатилетний парень, если у него нет женщины; познавший физическую любовь, может, раз-другой, причем бегло и плохо, и мысленно не перестающий заниматься ею, такой парень еще достаточно робок. Дни стояли невыносимо долгие и пустые; я не мог читать, не мог работать, по три раза на дню ходил в кино на все дневные и вечерние сеансы, без разбору, лишь бы убить время, лишь бы как-то заглушить ухающий совиный голос, который непрерывно издавало мое нутро. Маркета была убеждена (благодаря моему усердному бахвальству), что мне едва ли не наскучили женщины, а я меж тем не осмеливался окликнуть шагавших по улице девушек, чьи красивые ноги терзали мою душу.

Поэтому я даже обрадовался, когда наконец пришел сентябрь, вместе с ним — занятия в университете, а еще несколькими днями раньше началась работа в Студенческом союзе, где у меня была отдельная комната и множество разнообразных обязанностей. Однако уже на второй день меня вызвали по телефону в партийный комитет. С этого момента я помню все досконально: был солнечный день, я вышел из здания Студенческого союза с чувством, что печаль, которой я был переполнен все каникулы, медленно покидает меня. Мужчина, по счастью, кроме своих личных страстей, одержим еще и страстью общественной работы, и я был рад, что эта страсть снова завладевает мной; я подошел к комитету с приятным любопытством; позвонил — дверь открыл его председатель, высокий молодой человек с узким лицом, светлыми волосами и ледяным голубым взором. Я сказал «честь труду», он же, не ответив на приветствие, обронил: «Проходи дальше, там тебя ждут». В конце коридора, в последней комнате, меня действительно ждали три члена партийного студенческого комитета. Они предложили мне сесть, я сел и сразу же смекнул, что происходит неладное. Все три товарища, которых

я хорошо знал и с которыми обычно весело балагурил, на сей раз напускали на себя вид неприступный; хоть они и обращались ко мне на «ты» (как полагается между товарищами), но это «тыканье» было не *товарищеским,* а официальным и *угрожающим.* (Признаюсь, с тех пор обращение на «ты» вызывает у меня отвращение; «ты» должно выражать доверительную близость между людьми, но если они взаимно чужие, такое обращение приобретает обратное значение и выражает прежде всего грубость: мир, в котором люди повсеместно «тыкают» друг друга, есть мир не всеобщей дружбы, а всеобщего неуважения).

Итак, я сидел перед тремя «тыкающими» студентами, которые задали мне первый вопрос: знаю ли я Маркету. Я сказал — знаю. Они спросили, переписывался ли я с ней. Я ответил, переписывался. Они спросили, не помню ли я, что писал ей. Я сказал, не помню, однако в ту же минуту открытка с провокационным текстом всплыла перед моими глазами, и я начал понимать, о чем идет речь. Ты не можешь вспомнить? — спросили меня. Нет, ответил я. А что тебе писала Маркета? Я пожал плечами, дабы создать впечатление, что писала она об интимных вещах, о которых говорить не могу. Она писала тебе что-нибудь о политзанятиях? — спросили. Да, писала, сказал я. Что же она тебе писала? Что ей там нравится, ответил я. А что еще? Что там хорошие доклады и хороший коллектив, добавил я. Она писала тебе, что на политзанятиях царит здоровый дух? Да, сказал я, пожалуй, писала что-то вроде того. А может, писала тебе, что постепенно узнает, что такое сила оптимизма? — напирали они. Писала, сказал я. Ну и что ты думаешь об оптимизме? — спросили они. Об оптимизме? А что я должен о нем думать? — в свою очередь задал вопрос я. Считаешь ты сам себя оптимистом? — продолжали они. Считаю, ответил я робко. Я люблю пошутить, я вполне веселый человек, стремился я смягчить тон допроса. Веселый может быть и нигилистом, сказал один из них, он способен, например, потешаться над людьми, которые страдают. Веселый бывает и циником, заключил он. Полагаешь, что можно построить социализм без оптимизма? — спросил меня другой. Нет, ответил я. Так ты, стало быть, против того, чтобы у нас был построен социализм, сказал третий. Как так? — защищался я. Потому что для тебя оптимизм опиум для народа, наступали они. Как так, опиум для народа? — все еще отбивался я. Не выкручивайся, ты так и написал. Маркс считал религию опиумом для народа, а для тебя наш оптимизм является опиумом! Ты так и написал Маркете. Любопытно, как бы к этому отнеслись наши рабочие и ударники, которые перевыполняют планы, знай они, что их оптимизм — опиум, тут же подхватил другой. А третий добавил: для троцкиста созидательный оптимизм — всегда лишь опиум. А ты троцкист. Ради всего святого, откуда вы это взяли? Ты написал так или не написал? Возможно, что-то подобное я и написал шутки ради, ведь тому два месяца, я не помню. Мы можем тебе напомнить об этом, сказали они и прочли мне мою открытку: «Оптимизм — опиум для народа! Здоровый дух попахивает глупостью! Да здравствует Троцкий! Людвик». В маленькой комнатке партийного комитета фразы звучали так страшно, что в ту минуту я испугался их и почувствовал, что в них сокрыта такая разрушительная сила, какой мне не одолеть. Товарищи, это была шутка, сказал я и понял, что здесь мне никто не поверит. У вас это вызывает смех? — спросил один из товарищей двух других. Те покачали головами. Знали бы вы Маркету! — вскричал я. Мы знаем ее, ответили мне. Так вот, сказал я, Маркета все принимает всерьез, мы всегда немножко подшучивали над ней и старались чем-то ее ошеломить. Занятно, сказал один из товарищей, по дальнейшим твоим письмам нам не показалось, что Маркету ты не принимаешь всерьез. Вы что, читали все мои письма к Маркете? Выходит, если Маркета все принимает всерьез, взял слово другой, ты решил над ней подшутить. Но скажи нам, что именно она принимает всерьез? Допустим, это партия, оптимизм, дисциплина, не так ли? А все то, к чему она относится серьезно, у тебя вызывает смех. Товарищи, поймите, взмо-

лился я, да я и не помню, как это писал, писал наспех, просто несколько таких шуточных фраз, я даже не думал о том, что пишу, разумей я под этим что-то плохое, я бы не послал открытку на курсы. Пожалуй, нет разницы, как ты это писал. Писал ли ты быстро или медленно, на коленях или на столе, ты мог написать лишь то, что сидит в тебе. Ничего другого написать ты не мог. Возможно, поразмысли ты над этим чуть больше, ты бы такого не написал. Такое ты написал без притворства. Так по крайней мере мы знаем, кто ты есть. Так по крайней мере мы знаем, у тебя много лиц: одно лицо для партии, другое — для прочего. Я почувствовал, что моя защита лишилась каких бы то ни было аргументов. Я повторял одно и то же: что это была шутка, что это ничего не значащие слова, что их подоплекой было лишь мое настроение и тому подобное. Они не приняли моих возражений. Сказали, что я написал свои фразы на открытке, что любой мог прочесть их, что эти слова приобрели *объективное* значение и что к ним не было приписано ни одного замечания о моем настроении. Затем спросили, что я читал из Троцкого. Я сказал, ничего. Спросили, кто все же дал мне эти книги. Я сказал, никто. Спросили, с какими троцкистами я встречался. Я сказал, ни с какими. Они сказали, что меня безотлагательно снимают с должности в Студенческом союзе, и попросили отдать ключ от помещения. Он был у меня в кармане, я отдал его. Затем сказали, что моим делом займется первичная партийная организация естественного факультета. Они встали, глядя мимо меня. Я сказал «честь труду» и удалился.

Чуть позже я вспомнил, что в моей комнате в Студенческом союзе остались кое-какие личные вещи. Я никогда не обладал особым пристрастием к порядку, и потому в ящике письменного стола среди разных бумаг валялись мои носки, а в шкафу среди документов — нарезанная ломтями ромовая баба, которую прислала мне из дому мама. И хотя минуту назад в парткоме я отдал ключ, дежурный по первому этажу, зная меня, дал мне казенный ключ, висевший на деревянной доске среди прочих ключей; помню все до мельчайших подробностей: ключ от моей комнаты был привязан толстой пеньковой бечевкой к маленькой деревянной дощечке, на которой белой краской был написан номер моей комнаты. Итак, этим ключом я отомкнул дверь и сел к письменному столу; открыл ящик и стал вытаскивать из него свои вещи; делал я это медленно и рассеянно, пытаясь в эту короткую минуту относительного спокойствия поразмыслить, что со мной приключилось и что мне делать.

Прошло немного времени, и открылась дверь. В ней стояли те же три товарища из комитета. На сей раз они уже не выглядели холодно и замкнуто. На сей раз голоса у них были негодующие и громкие. Особенно ярился самый маленький из них, «специалист» по кадрам. Он накинулся на меня — каким образом я сюда вообще попал. По какому праву. Спросил, не хочу ли я, чтобы он велел сотрудникам КНБ [1] выпроводить меня. Чего, дескать, я тут копаюсь в столе. Я сказал, что пришел за ромовой бабой и за носками. Он заявил, что у меня нет ни малейшего права ходить сюда, будь у меня здесь даже полный шкаф носков. Затем он подошел к ящику и самым тщательным образом просмотрел бумажку за бумажкой, тетрадь за тетрадью. В самом деле, это были мои личные вещи — в конце концов он позволил мне у него на глазах положить их в чемоданчик. Сунул я туда и носки, мятые и грязные, положил туда и бабу, которая стояла в шкафу на замасленной, усыпанной крошками бумаге. Они следили за каждым моим движением. Я вышел из комнаты с чемоданчиком, и на прощание кадровик сказал мне, чтобы ноги моей больше здесь не было.

Как только я очутился вне досягаемости парткомовских товарищей и неопровержимой логики их допроса, мне стало казаться, что я невиновен, что в моих сентенциях нет ничего дурного и что надо обратиться к кому-нибудь, кто хорошо знает Маркету, кому я смогу довериться и кто

[1] Корпус национальной безопасности.

поймет, что вся эта скандальная история не стоит выеденного яйца. Я разыскал одного студента с нашего факультета, коммуниста, и изложил ему суть дела. В ответ он сказал, что в райкоме сидят изрядные ханжи, не понимающие шуток, и что он, зная Маркету, вполне может представить себе, как все происходило. Затем посоветовал пойти к Земанеку, который в этом году будет партийным секретарем нашего факультета и достаточно близок со мной и с Маркетой.

4

О том, что Земанек будет секретарем парторганизации, я понятия не имел и принял эту новость с надеждой, ибо Земанека хорошо знал и был даже уверен, что и он питает ко мне всяческую симпатию, хотя бы из-за моего моравско-словацкого происхождения: Земанек страшно увлекался песнями Моравской Словакии. Да, в те годы было чрезвычайно модно петь народные песни, но петь не по-школьнически, а с рукой, вскинутой над головой и чуть грубым голосом, изображая из себя истинно простого, *свойского* парня, которого мать родила на гулянке под цимбалами.

Я был на естественном факультете по существу единственным настоящим мораванином, что явно давало мне кое-какие привилегии; при каждом торжественном случае, то ли на некоторых собраниях, празднествах, то ли на Первое мая, я по просьбе товарищей вытаскивал кларнет и вместе с двумя-тремя любителями, которые всегда находились среди студентов, пытался изобразить некое подобие моравско-словацкой капеллы. Так (с кларнетом, скрипкой и контрабасом) мы участвовали в майской демонстрации два года подряд, а Земанек, парень красивый и любивший показать себя, шел с нами, одетый во взятый напрокат национальный костюм, танцевал по ходу шествия, вскидывал руку над головой и пел. Этот коренной пражанин, никогда не бывавший в Моравии, представлялся парнем из народа, и я глядел на него с большой симпатией, счастливый тем, что музыка моей родины, извечно слывшей эльдорадо народного искусства, так любима и популярна.

Земанек знал и Маркету — это было второе преимущество. На разных студенческих мероприятиях мы нередко оказывались все трое вместе; как-то раз (нас была тогда большая студенческая компания) я пошутил, что на Шумаве живут карликовые племена, и стал доказывать это цитатами из якобы существующего научного труда, посвященного этой примечательной теме. Маркета диву давалась, что никогда о таком не слыхивала. Я сказал, что удивляться тут нечему: буржуазная наука умышленно утаивала существование карликов, поскольку капиталисты промышляли карликами, как рабами.

Но об этом следовало бы написать! — выкрикивала Маркета. Почему об этом не пишут! Ведь это был бы аргумент против капиталистов!

Возможно, об этом потому не пишут, проговорил я раздумчиво, что вещь эта несколько деликатная и непристойная: известно, что карлики обладали исключительными талантами по части любовных подвигов, и это стало причиной того, что они пользовались огромным спросом и наша республика тайно вывозила их за большую валюту преимущественно во Францию, где их нанимали стареющие капиталистические дамы в качестве слуг, чтобы на самом деле, естественно, приспособить их к исполнению совершенно иных обязанностей.

Товарищи давились от смеха, вызванного не столько неподражаемым остроумием моих измышлений, сколько Маркетиным возбужденным лицом, всегда готовым во имя чего-то (а при случае против чего-то) загореться; они кусали губы, лишь бы не испортить Маркете радость познания, а кое-кто (прежде всего Земанек) вторил мне со всей серьезностью, подтверждая мои сведения о карликах.

Когда Маркета спросила, как такой карлик в общем-то выглядит, помню, Земанек с глубокомысленным видом сказал ей, что профессор Чехура, которого Маркета со всеми своими сокурсниками имеет честь

иной раз видеть на университетской кафедре, происходит от карликов, причем не то по линии обоих родителей, не то — одного из них. Рассказывал об этом Земанеку якобы доцент Гуле, что жил когда-то на каникулах в одной гостинице с супругами Чехурами, достигавшими вместе не полных трех метров. Однажды утром он вошел в их номер, не предполагая, что супруги еще спят, и ужаснулся: они лежали в одной постели, но не рядом, а друг за дружкой: пан Чехура, скрючившись в изножье, а пани Чехурова — в изголовье кровати.

Да, подтвердил я, как Чехура, так и его супруга по происхождению несомненно шумавские карлики, ибо спать в ряд — атавистический обычай всех тамошних карликов; кстати, в стародавние времена свои лачуги они строили не в форме круга или четырехугольника, а всегда в форме длиннющего прямоугольника, так как не только супруги, но и целые семейства имели обычай спать длинной цепью, друг за дружкой.

Когда в тот злополучный сумрачный день я воскресил в памяти эту нашу трепотню, мне почудилось, что от нее забрезжило огоньком надежды. Земанек, который будет обязан вынести решение по моему делу, знает мой стиль вышучивания, знает и Маркету и потому поймет, что открытка, какую я написал ей, была всего лишь шутейным подразниванием девушки, которой мы все восхищались и над которой (возможно, именно поэтому) любили покуражиться. При первом же случае я рассказал ему о своих незадачах; Земанек, наморщив лоб, внимательно выслушал меня и сказал «посмотрим».

А пока я жил в подвешенном состоянии; ходил как прежде на лекции и ждал. Меня часто вызывали на разные партийные комиссии, которые силились главным образом установить, не принадлежу ли я к какой-либо троцкистской группе; я же стремился доказать, что, по сути дела, даже не знаю толком, что такое троцкизм; я ловил любой взгляд ведущих дознание товарищей и искал в нем проблески доверия; иногда я действительно находил такой взгляд и умудрялся долго носить его в себе, лелеять в душе и терпеливо высекать из него надежду.

Маркета по-прежнему избегала меня. Я понял, что это связано со скандалом вокруг моей открытки, и в своей сострадательной гордыне не хотел ни о чем ее спрашивать. Но однажды она сама остановила меня на лестнице факультета: «Я хотела бы поговорить с тобой».

Так мы снова после нескольких месяцев оказались на нашей совместной прогулке; стояла уже осень, мы оба были в длинных пальто-«монтгомерках» [1], да, длинных, много ниже колен, как в то время (время вовсе не элегантное) носили; слегка моросило, деревья на набережной были безлистные и черные. Маркета рассказывала мне, как все произошло: однажды в каникулы, когда она была на партзанятиях, вызвали ее товарищи из руководства и спросили, получает ли она сейчас какую-либо корреспонденцию; она сказала, что получает. Спросили — откуда. Она сказала, что пишет ей мама. А кто еще? Иногда один университетский товарищ, ответила она. Можешь сказать нам кто? — спросили ее. Она назвала меня. А что тебе пишет товарищ Ян? Она пожала плечами, ей вроде бы не хотелось цитировать слова из моей открытки. Ты тоже ему писала? — спросили. Писала, ответила она. Что ты писала ему? — спросили они. Так, о занятиях и вообще. Тебе занятия нравятся? — спросили ее. Да, очень, ответила она. А ты написала ему, что тебе здесь нравится? Да, написала, ответила. А он что? — продолжали они. Он? — помялась Маркета, ну он ведь чудной, знали б вы его. Мы его знаем, сказали они, и хотели бы знать, что он писал тебе. Ты можешь показать нам ту его открытку?

«Не сердись на меня,— сказала Маркета,— мне пришлось показать ее».

---

[1] Пальто военного покроя из непромокаемой материи цвета хаки (по имени британского маршала Монтгомери).

«Не оправдывайся,— сказал я Маркете,— они знали о ней еще раньше, чем заговорили с тобой; не знали бы, не позвали б тебя».

«Я совсем не оправдываюсь, я даже не стыжусь, что дала им прочитать ее, не выдумывай зря. Ты член партии, а партия имеет право знать, кто ты и что думаешь»,— возразила Маркета, а потом добавила, что была в ужасе от того, что я написал ей, так как все мы знаем, Троцкий — самый страшный враг всего, за что мы боремся и ради чего живем.

Что мне было объяснять Маркете? Я попросил ее продолжать и рассказать по порядку, что происходило дальше.

Маркета сказала, что открытку прочли и оторопели. Спросили, что она по этому поводу думает. Она сказала, что все это ужасно. Спросили, почему она сама не пришла показать им открытку. Она пожала плечами. Ее спросили, знает ли она, что такое бдительность и настороженность. Она опустила голову. Спросили, знает ли она, сколько у партии врагов. Она сказала им, что знает, но не могла бы поверить, что товарищ Ян... Ее спросили, хорошо ли она меня знает. И спросили, какой я. Она сказала, что я чудной. Что хоть она временами и думает, что я стойкий коммунист, но случается, я говорю такое, чего коммунист не должен был бы говорить никогда. Она сказала, что ничего конкретного не помнит, но для меня как бы нет ничего святого. Они сказали, что и по открытке это ясно видно. Она сказала, что часто по многим вещам со мной спорила. И еще сказала, что на собраниях я говорю одно, а ей другое. На собраниях я, мол, сплошной восторг, тогда как с ней только надо всем подшучиваю и все принижаю. Спросили, думает ли она, что такой человек может быть членом партии. Она пожала плечами. Спросили, построила бы партия социализм, если бы ее члены провозглашали, что оптимизм — опиум для народа. Она сказала, что такая партия социализма бы не построила. Ей сказали, что этого достаточно. И что, мол, пока она не должна ничего говорить мне, так как они хотят проследить, что я буду писать дальше. Она им сказала, что больше не хочет никогда меня видеть. Они ответили, что это было бы нежелательно, что, напротив, она должна писать мне, пока не выявится вся моя подноготная.

«И ты им потом показывала мои письма?» — спросил я Маркету, краснея до корней волос при воспоминании о своих любовных излияниях.

«А что мне было делать? — сказала Маркета.— Но сама я тебе после всего, правда, не могла уже писать. Не стану же я переписываться с кем-то лишь для того, чтобы вывести его на чистую воду. Написала тебе еще открытку, и все. Не хотела тебя видеть, потому что не имела права тебе ничего говорить, но боялась, что ты будешь меня о чем-то спрашивать и мне придется тебе врать прямо в глаза, а врать я не люблю».

Я спросил Маркету, что принудило ее встретиться со мной сегодня.

Она сказала, что причиной тому был товарищ Земанек. Он встретил ее после каникул на лестнице факультета и повел в комнатушку, где помещался комитет парторганизации естественного факультета. Он сказал, что до него дошли слухи, будто я написал ей на партийные курсы открытку с антипартийными изречениями. Спросил, что это были за фразы. Она сказала ему. Он спросил, что она по этому поводу думает. Она ответила, что осуждает. Он сказал, что это правильно, и спросил, продолжает ли она со мной встречаться. Она смешалась и ответила неопределенно. Он сказал, что с партийных курсов на факультет поступили о ней весьма благоприятные сведения и что факультетская организация вполне полагается на них. Она сказала, что рада. Он добавил, что не хотел бы вмешиваться в ее частную жизнь, но думает, что о человеке можно судить по тому, с кем он встречается, какого друга выбирает себе, и что ей не очень пошло бы на пользу, выбери она именно меня.

Лишь несколько недель спустя до Маркеты, дескать, дошел смысл их разговора. Со мной она уже много месяцев не встречалась, так что наущение Земанека по существу было напрасным; и все-таки как раз

это наущение и заставило ее задуматься, не жестоко ли и допустимо ли нравственно призывать кого-то расстаться с другом всего лишь на том основании, что друг оступился, а значит, справедливым ли было и то, что еще раньше она сама перестала со мной встречаться. Она пошла к товарищу, который вел на каникулах партзанятия, и спросила, по-прежнему ли действует приказ, запрещающий говорить со мной по поводу открытки, но, узнав, что можно уже ничего не утаивать, остановила меня и попросила побеседовать с ней.

И вот теперь она, стало быть, делится со мной тем, что мучит и удручает ее: да, поступила она дурно, когда решила, что не будет со мной встречаться; но все-таки нельзя считать человека совсем пропащим, даже если он совершил самый большой проступок. Она, к примеру, вспомнила Алексея Толстого, который был белогвардейцем и эмигрантом, но, несмотря на это, стал крупным социалистическим писателем. Вспомнила она также и советский фильм «Суд чести» (фильм в то время весьма популярный в партийной среде), в котором советский ученый-врач предоставляет свое открытие в распоряжение общественности зарубежной прежде, чем отечественной, что попахивало *космополитизмом* и предательством; Маркета растроганно ссылалась главным образом на финал фильма: ученый был в конце концов осужден судом чести своих коллег, но любящая жена не покинула осужденного супруга, а старалась влить в него силы, чтобы он сумел искупить свой тяжкий грех.

«Значит, ты решила не покидать меня»,— сказал я.

«Да»,— сказала Маркета и схватила меня за руку.

«И ты, Маркета, действительно думаешь, что я совершил большую провинность?»

«Думаю, что да»,— сказала Маркета.

«А как ты думаешь, я имею право остаться в партии или нет»?

«Думаю, Людвик, что не имеешь».

Я знал, что прими я игру, в которую вжилась Маркета и пафос которой переживала, похоже, всей душой, то обрел бы все, чего месяц назад так безуспешно добивался: приводимая в движение пафосом спасительства, как пароход—паром, Маркета, без сомнения, отдалась бы мне теперь и телесно. Конечно, при одном условии: что ее спасительство будет действительно полностью удовлетворено, а для полного удовлетворения объект спасения (о, горе, я сам!) должен признать свою глубокую, глубочайшую провинность. Но сделать этого я не мог. Желанная цель — Маркетино тело — была совсем близко, и все-таки столь дорогой ценой я не мог овладеть им, не мог признать свою вину и подписаться обеими руками под невыносимым приговором; я не мог допустить, что близкий мне человек считает меня виноватым, а этот приговор — справедливым.

Я не согласился с Маркетой, отказался от ее помощи и потерял ее, но чувствовал ли я себя безвинным? Разумеется, я убеждал себя в комичности этой скандальной истории, но одновременно (и нынче из дали многих лет это кажется мне самым мучительным и самым типичным) я начинал видеть три фразы на открытке глазами тех, кто расследовал мое дело; я стал ужасаться этих фраз, пугаться того, что под покровом шутки во мне обнаружат и вправду что-то очень серьезное, иными словами — то, что я никогда так и не слился с партией, что я никогда не был настоящим пролетарским революционером, а лишь на основании *простого* (!) решения «пошел в революционеры» (то есть, мы понимали пролетарскую революционность, я бы сказал, отнюдь не как дело *выбора*, а как дело самой *сущности:* человек либо революционер и в таком случае сливается с движением в единое коллективное тело, мыслит его головой и чувствует его сердцем, либо им не является, и ему ничего не остается, как лишь *хотеть* им быть; но тогда он все равно бесконечно виноват в том, что им не является: он виноват своей самостоятельностью, инаковостью, своим неслиянием).

Когда я вспоминаю свое тогдашнее состояние, мне по аналогии приходит мысль о беспредельной силе христианства, которое внушает ве-

рующему его исходную и непрерывную греховность; и я стоял (и мы все так стояли) перед лицом революции и ее партии с вечно опущенной головой и потому исподволь смирялся с тем, что мои фразы, замышленные как шутка, все-таки по сути греховны; и в голове моей стал разматываться клубок самокритики: я говорил себе, что фразы осенили меня не просто так, не с бухты-барахты, что товарищи уже и раньше (и, видимо, поделом) указывали мне на «остатки индивидуализма» и на «интеллигентство»; я говорил себе, что стал слишком самонадеянно цепляться за свое образование, за студенческий статус и интеллигентское будущее и что мой отец, рабочий, погибший в годы войны в концентрационном лагере, едва ли понял бы мой цинизм; я упрекал себя, что от его пролетарского образа мыслей во мне, к сожалению, не осталось и следа; я упрекал себя во всех возможных грехах и смирялся даже с необходимостью такого-то наказания; противился я лишь одному: быть исключенным из партии и тем самым заклейменным, как один из ее *врагов,* жить, как заклейменный враг того, что я выбрал уже в юности и к чему действительно льнул душой, представлялось мне поистине кошмаром.

Такие самокритичные речи, что одновременно были и умоляющей защитой, я произносил раз сто мысленно, по меньшей мере раз десять перед различными комитетами и комиссиями и наконец на решающем пленарном заседании нашего факультета, где обо мне и о моей провинности во вступительном слове (впечатляющем, блистательном, незабываемом) говорил Земанек и от имени комитета предложил исключить меня из партии. Дискуссия, последовавшая за моим покаянным выступлением, развернулась не в мою пользу; никто не заступился за меня, а под конец все (их было человек сто, среди них и мои преподаватели, и самые ближайшие товарищи), да, все до единого подняли руки, чтобы одобрить не только мое исключение из партии, но и мой принудительный уход из университета.

Еще в ту же ночь после собрания я сел в поезд и уехал домой, однако родной очаг не принес мне никакого утешения уже хотя бы потому, что несколько дней я вообще не осмеливался сказать маме, гордившейся моим студенчеством, обо всем, что случилось. Зато на второй день пришел ко мне Ярослав, товарищ по гимназии и по капелле с цимбалами, в которой я играл еще гимназистом, и возликовал, что застал меня дома: послезавтра он, дескать, женится и просит меня быть у него свидетелем. Я не мог отказать старому товарищу, и мне, стало быть, ничего не оставалось, как отметить свое падение свадебным весельем.

Надо заметить, Ярослав ко всему был еще и завзятым моравско-словацким патриотом и фольклористом; воспользовавшись собственной свадьбой во благо своих же этнографических увлечений, он устроил ее в духе старых народных традиций: национальные костюмы, капелла с цимбалами, посаженый отец, произносящий витиеватые речи, перенос невесты через порог, песни и вообще множество круглосуточных церемоний, которые он, разумеется, воссоздавал в большей степени по этнографическим книгам, нежели по живым воспоминаниям. Но я обратил внимание и на нечто странное: как ни держался мой друг Ярослав, новоиспеченный руководитель весьма прибыльного ансамбля песни и танца, всевозможных старинных обычаев, однако (явно памятуя о своей карьере и повинуясь атеистическим призывам) он не пошел со свадебниками в церковь, хотя традиционная народная свадьба без священника и божьего благословения просто немыслима; он заставил посаженого отца произносить всякие народные обрядовые речи, но тщательно вычеркнул из них какие бы то ни было библейские мотивы, вопреки тому, что именно они-то и составляли главный образный материал свадебных причетов. Печаль, мешавшая мне до конца слиться с пьяным свадебным весельем, дала мне возможность почувствовать в совершении этих народных обрядов запах хлороформа и на дне этой кажущейся непринужденности увидеть соринку фальши. И когда Ярослав попросил меня взять (по сенти-

ментальной памяти моего давнишнего участия в капелле) кларнет и подсесть к музыкантам, я отказался. Вдруг припомнилось, как последние два года я вот так же играл на Первое мая, а пражанин Земанек танцевал рядом со мной в национальном костюме, вскидывая руки, и пел. Я не мог коснуться кларнета, я чувствовал, как все это фольклорное верезжание противно душе моей, противно, противно...

5

Лишившись университета, я лишился и права отсрочки военной службы и дожидался теперь осеннего призыва; долгое ожидание я заполнил двумя вербовками: сперва я ремонтировал дорогу где-то под Готвальдовом, а к концу лета подался на сезонные работы на «Фруту», фабрику по переработке фруктов; затем наконец пришла осень, и в одно прекрасное утро (после бессонной ночи в поезде) я приплелся в казарму, расположенную в незнакомом уродливом остравском предместье.

Я стоял во дворе казармы с другими парнями, приписанными к той же части; мы не знали друг друга; в полумраке этой первоначальной взаимной незнакомости на первый план резко выступают на лицах черты грубости и чуждости; так это было и на сей раз, и единственное, что нас по-человечески сплачивало, это неясное будущее, о котором мы обменивались лишь беглыми догадками. Некоторые утверждали, что мы загремели к «черным»; иные отрицали это, а кто вообще не знал, что это такое. Я знал и потому принимал эти догадки с испугом.

Вскоре пришел за нами сержант и отвел всех в один барак; попали мы в коридор, а по коридору — в какую-то большую комнату, сплошняком увешанную огромными стенгазетами с лозунгами, фотографиями и неумелыми рисунками; на стене против двери кнопками была пришпилена большая надпись, вырезанная из красной бумаги: МЫ СТРОИМ СОЦИАЛИЗМ, под этой надписью стоял стул, а возле него маленький сухонький старичок. Сержант указал на одного из нас, и тот уселся на стул. Старичок повязал ему вокруг горла белую простыню, потом взял портфель, прислоненный к ножке стула, достал машинку для стрижки и заехал ею парню в волосы.

С парикмахерского стула начинался конвейер, призванный преобразить нас в солдат: от стула, на котором мы лишались волос, нас погнали в соседнюю комнату, где велено было раздеться догола, упаковать одежду в бумажный мешок, перевязать его бечевкой и сдать в окошко; голые и бритоголовые, мы прошли по коридору в следующее помещение; там получили ночные рубахи; в ночных рубахах дошли еще до одной двери, где нам выдали армейские башмаки — «поллитровки»; в «поллитровках» и нижних рубахах промаршировали через двор к другому бараку, где приобрели рубахи, подштанники, портянки, ремень и форму (на куртках были черные петлицы!); и, наконец, мы протопали к последнему бараку, где сержант закрепил за нами комнаты и койки.

Так в два счета каждый из нас был лишен своей личной воли и стал чем-то, что внешне походило на вещь (вещь направленную, посланную, зачисленную, откомандированную), а внутренне — на человека (страдающего, озлобленного, напуганного); в тот же день нас отослали на построение, затем на ужин, затем по койкам; поутру нас разбудили и препроводили на рудник: на руднике наши отделения разбили на трудовые бригады и одарили инструментом (лампой, буром, лопатой), с которым никто не умел обращаться; потом подъемная клеть опустила нас под землю.

Когда мы, с трудом волоча ноющее тело, поднялись наверх, уже поджидавшие сержанты построили нас в шеренгу и снова отвели в казарму; мы пообедали, после обеда начались строевые занятия, после строевых занятий — уборка, политучеба, обязательное пение; вместо личной жизни — комната с двадцатью койками. И так изо дня в день.

Овеществление, которому мы подверглись в первые дни, казалось мне абсолютно непроглядным; безликие, предписанные действия, кото-

рые мы выполняли, заменили любые наши человеческие проявления; эта непроглядность была, конечно, относительной, порожденной не только реальными обстоятельствами, но и неприученностью зрения (как будто из света попадаешь во тьму); со временем она начала понемногу редеть, и в этом «сумраке овеществления» в людях уже проглядывалось кое-что человеческое. Я должен, конечно, признать, что был одним из последних, сумевших приспособить зрение к измененной «светосиле».

А главная причина состояла в том, что я всем своим существом противился своей участи. Ведь солдаты с черными петлицами, среди которых я оказался, занимались строевой подготовкой исключительно без оружия и работали на рудниках. За работу им, правда, платили (в этом смысле они находились в лучшем положении, чем другие солдаты), но меня это мало утешало: то и дело возникала мысль, что все это люди, которым молодая социалистическая республика не хотела доверить оружие, ибо считала их своими врагами. Естественно, это приводило к более жестокому обращению и к устрашающей опасности, что действительная служба может продлиться дольше, чем обязательные два года; однако больше всего меня ужасал факт, что я оказался среди тех, кого считал своими смертельными врагами, и что меня к ним причислили (окончательно, бесповоротно и с пожизненным клеймом) мои же собственные товарищи. Поэтому первое время я жил среди «черных» упрямым нелюдимом; я не хотел сближаться со своими врагами, не хотел приспосабливаться к ним. С прогулками тогда дела обстояли совсем скверно (на увольнительную солдат не имел *права,* он получал ее лишь как *награду,* и это практически означало, что он выходил в город раз в две недели — в субботу), но в те дни, когда солдаты гурьбой заваливались в трактиры и охотились за девушками, я с радостью оставался один; забирался на койку в казарме, старался читать что-то или даже заниматься (математику, кстати, достаточно для работы карандаша и бумаги) и кейфовал в своей неприкаянности; я верил, что здесь у меня единственная задача: продолжать борьбу за право «не быть врагом», за право выйти отсюда.

Не раз и не два я заходил к политруку части и пытался убедить его, что оказался среди «черных» по ошибке; что был исключен из партии из-за своего интеллигентства и цинизма, но не как враг социализма; я объяснял ему снова (в какой уж раз!) комичную историю открытки, историю, которая, впрочем, совсем уже не была смешной, а становилась чем дальше, тем подозрительнее, и, казалось, скрывала в себе нечто, о чем я умалчиваю. Но я должен честно признаться, что политрук выслушивал меня терпеливо и проявил почти неожиданное понимание моего стремления к оправданию; где-то наверху (как незримое определение места!) он и вправду справлялся о моем деле, но в конце концов вызвал меня и сказал с откровенной горечью: «Почему ты обманывал меня? Я узнал, что ты троцкист».

Я стал понимать, что нет силы, способной изменить тот образ моей личности, который сложился в каком-то наивысшем третейском ареопаге, где решаются людские судьбы; я понял, что этот образ (сколь бы ни похож он был на меня) гораздо реальнее, чем я сам; что вовсе не он моя а я его тень; что вовсе не он виноват, что не похож на меня, а в этой непохожести повинен я и что эта непохожесть — мой крест, который я ни на кого не могу возложить и вынужден нести его сам.

И все-таки сдаваться я не хотел. Хотел поистине *нести* свою непохожесть; оставаться тем, кем, как было решено, я не являюсь.

Прошло недели две, пока я чуть привык к изнуряющей работе на руднике, с тяжелым отбойным молотком в руках, вибрация которого отзывалась в теле почти напролет. Но ломил я работу на совесть и с какой-то даже яростью; решил давать высокую выработку, и вскоре мне это стало удаваться.

Однако никто не видел в этом проявления моей сознательности. Работу нам оплачивали, и пусть вычитали за питание и проживание, все

равно на руки мы получали достаточно, и потому многие, каких бы взглядов ни придерживались, тоже вкалывали с большим пылом, чтобы извлечь из этих напрасных лет хоть какую-то пользу.

Хотя нас всех и считали остервенелыми врагами режима, в казарме, однако, сохранялся весь уклад общественной жизни, который был привычен в социалистических коллективах: мы, враги режима, под присмотром политрука устраивали десятиминутку, ежедневно у нас бывали политбеседы, мы вывешивали стенгазеты, куда наклеивали фотографии деятелей социалистических государств и писали лозунги о счастливом будущем. Поначалу я почти демонстративно принимал участие во всех этих мероприятиях. Но и в этом никто не усматривал признака сознательности, делать это вызывались и другие, если хотели привлечь внимание командира и получить увольнительную. Солдаты воспринимали эту деятельность не как деятельность политическую, а всего лишь как бессмысленную хлопотню, которой приходится расплачиваться с теми, в чьей власти мы находимся.

Я понял, что это мое сопротивление напрасно, что уже и свою «непохожесть» воспринимаю один я, а для других она невидима.

Среди младшего командного состава, на чей произвол мы были отданы, запомнился мне один чернявый словак, младший сержант, который отличался от остальных мягкостью и полным отсутствием садизма. Он пользовался у нас любовью, хотя некоторые злорадно утверждали, что его доброта проистекает исключительно из его глупости. Сержанты в отличие от нас, естественно, владели оружием и время от времени занимались стрелковой подготовкой. Однажды после таких занятий воротился младший сержантик с великим торжеством, заняв на стрельбах первое место. Многие из нас громко поздравляли его (полусерьезно, полушутя); младший сержантик знай краснел от удовольствия.

Случайно в тот день я остался с ним наедине и, чтобы поддержать разговор, спросил: «Как вам удается так хорошо стрелять?»

Младший сержантик испытующе посмотрел на меня и сказал: «У меня есть один способ, который помогает мне. Я воображаю, будто это не просто мишень из жести, а империалисты. И такая злость меня разбирает, что я бью без промаха».

Я хотел спросить его, каким он представляет себе такого империалиста (какой у него нос, волосы, глаза, шляпа), но он опередил мой вопрос и сказал серьезным и раздумчивым голосом: «Не знаю, чего вы все меня поздравляете. Ведь случись война, я бы в вас стрелял!»

Когда я услышал такое из уст добряка, который не способен был никогда прикрикнуть на нас и которого в конце концов за это перевели куда-то в другое место, я понял, что нить, связывавшая меня с партией и с товарищами, безнадежно выскользнула из рук. Я очутился за пределами своего жизненного пути.

6

Да. Все нити были прерваны.

Прервано было образование, участие в движении, работа, связи с друзьями, прервана была любовь и поиски любви, прервано было просто-напросто все осмысленное течение жизни. Мне не оставалось ничего, кроме времени. Зато его я узнал так интимно, как никогда прежде. Оно уже не было тем временем, с каким я общался когда-то, временем, превращенным в труд, любовь, стремления всякого рода, временем, воспринимаемым равнодушно, поскольку и оно было неназойливым и деликатно скрывалось за моей собственной деятельностью. Сейчас оно явилось мне обнаженным, само по себе, в своем исконном и подлинном виде и принудило меня назвать его настоящим именем (ибо теперь я проживал чистое время, одно пустое время), дабы ни на минуту не забывать о нем, беспрестанно думать о нем и чувствовать его тяжесть.

Когда играет музыка, мы слышим мелодию, забывая, что это лишь одна из форм времени; когда оркестр умолкает, мы слышим время; вре-

мя само по себе. Я жил в паузе. Разумеется, никоим образом не в оркестровой генеральной паузе (ее размер точно определен знаком тире), а в паузе без установленного срока. Мы не могли (как это делалось в других частях) отрезать деленьица портняжного сантиметра, чтобы видеть, как день за днем сокращается наша двухлетняя действительная служба: «черных» могли держать в армии сколько заблагорассудится. Сорокалетний Амброз из второй роты был здесь уже четвертый год.

Служить в те времена в армии, оставив дома жену или невесту, было мукой мученической, это значило — в мыслях неусыпно быть на бесполезной страже их неустерегаемого существования, неусыпно охранять их роковую неустойчивость. И еще — вечно надеяться на их возможный приезд и вечно дрожать, как бы командир не отменил назначенной на этот день увольнительной и жена не приехала бы к воротам казармы впустую. Среди «черных» (с черным же юмором) ходили слухи, что офицеры поджидают истосковавшихся по ласке солдатских жен, подваливают к ним и так собирают плоды жажды, которые по праву положены задержанным в казарме солдатам.

И все-таки: у тех, у кого дома осталась женщина, даже сквозь паузу тянулась нить, возможно, тонкая, возможно, томительно тонкая и оборванная нить, но все-таки нить. У меня не было и такой; с Маркетой я прекратил всякое общение, если и приходили ко мне еще какие-то письма, так только от мамы... Ну и что? Разве это не нить?

Нет, это не нить; дом, поскольку это лишь родительский дом, еще не нить, это всего лишь прошлое: письма, которые пишут родители, это послания с материка, от которого ты удаляешься; да, такое письмо разве что напоминает тебе, заблудшему, о гавани, из которой ты выплыл в условиях столь честно, столь жертвенно созданных; да, говорит такое письмо, гавань все еще есть на этом свете, она все еще существует, безопасная и прекрасная в своей давнишности, но *дорога, дорога к ней потеряна!*

И я, стало быть, исподволь привык к тому, что жизнь моя утратила свою непрерывность, что жизнь выпала у меня из рук и мне не суждено ничего другого, как начать наконец внутренне существовать там, где я реально и непреложно был. Так мое зрение постепенно приспосабливалось к сумраку овеществления, и я начинал воспринимать людей вокруг себя, позднее, правда, чем другие, но, к счастью, еще не настолько поздно, чтобы успеть безнадежно отстраниться от них.

Из этого сумрака прежде всего выплыл (так же как выплывает он первым из сумрака моей памяти) брненчанин Гонза (он говорил на почти невразумительном пригородном жаргоне), попавший к «черным» из-за того, что избил каэнбешника, своего бывшего одноклассника. Избил потому, что поругался с ним, но суд не внял Гонзиным объяснениям; полгода он отсидел за решеткой и прямо оттуда прибыл к нам. Гонза был профессиональным монтажником, и ему, очевидно, было без разницы, будет ли он работать где-то монтажником или кем-то еще; он ни к чему не испытывал тяги и проявлял к будущему полное равнодушие, которое было источником его вызывающей и беззаботной *свободности.*

Редкостным ощущением свободы с Гонзой сравниться мог разве что Бедржих, самый большой чудик нашей двадцатикоечной комнаты, попавший к нам два месяца спустя после регулярных сентябрьских призывов; поначалу он был определен в пехотную часть, но там упрямо отказывался взять в руки оружие, ибо это противоречило его особо строгим религиозным принципам; когда перехватили его письма, адресованные Трумэну и Сталину, в которых он патетически призывал обоих правителей распустить во благо социалистического единства все армии, в части совсем растерялись; сперва ему позволили даже участвовать в строевой подготовке — среди всех воинов он единственный был без оружия, но команды «оружие на плечо» и «оружие к ноге» выполнял безукоризненно, хотя и с пустыми руками. Прослушав первые политические лекции, он принял горячее участие в дискуссии и вовсю громил

империалистов — поджигателей войны. Но когда на свой страх и риск сделал и вывесил в казарме плакат, в котором призывал сложить любое оружие, военный прокурор обвинил его в мятеже. Уважаемый суд был настолько сбит с толку его миролюбивыми речами, что вынес решение подвергнуть его психиатрическому обследованию и после долгого колебания снял с него обвинение в мятеже и направил к нам. Бедржих торжествовал; удивительное дело: он был единственным, кто сам добился черных петлиц, и был счастлив, что носит их. Здесь он чувствовал себя свободным — хотя его свободность проявлялась не в дерзости, как у Гонзы, а напротив — в спокойной дисциплинированности и трудолюбии.

Все остальные солдатики в гораздо большей степени были подвластны опасениям и тоске: тридцатилетний венгр Варга из южной Словакии — далекий от национальных предрассудков, он воевал во время войны в нескольких армиях и прошел через несколько пленов по обеим линиям фронта; рыжий Петрань — его брат — удрал за границу, убив при этом солдата пограничной службы; простак Йозеф, сын богатого крестьянина из лабской деревни (слишком привыкший к голубым просторам, где шныряют жаворонки, он испытывал удушливый ужас от адского подземелья шахт и штолен); двадцатилетний Станя, взбалмошный жижковский [1] щеголь, на которого местный национальный комитет дал убийственную характеристику — надравшись на первомайской демонстрации, он якобы *нарочно* мочился у края тротуара на глазах у ликующих граждан; Павел Пекны, студент юридического факультета, который в февральские дни с кучкой сокурсников принял участие в антикоммунистической демонстрации (в скором времени он понял, что я принадлежал к лагерю тех, кто после Февраля выкинул его с факультета, и был единственным, не скрывавшим своего злорадного удовлетворения, что я теперь загремел туда же, куда и он).

Я мог бы перебрать в памяти и других солдат, что разделили со мной тогдашнюю участь, но хочется держаться самого существенного: больше всех я любил Гонзу. Вспоминаю один из наших первых разговоров; случилось это во время торопливой перекуски в штольне, когда мы оказались рядом, и Гонза, хлопнув меня по колену, сказал: «Ну, глухонемой, ты что, собственно, за птица?» И я, будучи тогда и вправду глухонемым (обращенным в свои вечные мысленные самооправдания), с трудом попытался ему объяснить (ложность и неуместность тех слов я сам тотчас с неприязнью почувствовал), как я сюда попал и почему, по сути дела, не имею ко всему этому никакого отношения. Он сказал мне: «Дурья башка, а мы, по-твоему, имеем отношение?» Я хотел было снова объяснить ему свой взгляд на вещи (подыскивая более естественные слова), но Гонза, проглотив последний кусок, сказал медленно: «Будь ты таким же длинным, как и дурным, так солнце прожгло бы тебе черепушку». В этой фразе весело ухмылялся плебейский дух пригорода, и я неожиданно устыдился того, что не устаю избалованно добиваться утраченных привилегий, тогда как свои убеждения я строил именно на отвращении к привилегиям и к избалованности.

Со временем я очень подружился с Гонзой (он уважал меня за то, что я быстро решал в уме всякие арифметические головоломки, связанные с нашей зарплатой, и несколько раз не позволил нас облапошить); однажды он высмеял меня, что я как дурак провожу увольнительные в казарме, и вытащил меня прошвырнуться с ребятами по городу. Эту прогулку я хорошо помню; нас была тогда большая компания, человек восемь, в том числе Станя, Варга и еще Ченек, недоучившийся студент-прикладник из второго взвода (он потому попал к «черным», что в училище упрямо рисовал кубистские картины; а сейчас ради той или иной выгоды во всех воинских помещениях крупным планом изображал углем гуситских воинов с булавами и цепами). Мы не располагали слишком большим выбором, куда идти: центральные районы Остравы были для

[1] Жижков — район Праги.

нас запрещены, доступны были лишь некоторые ближние кварталы, а в них — лишь некоторые кабачки. Мы дошли до соседнего предместья и несказанно обрадовались: в бывшем спортивном зале «Сокола» [1], куда нам не возбранялось входить, была танцулька. Мы заплатили какие-то гроши за вход и ввалились внутрь. В просторном помещении было много столов и стульев, людей поменьше: с десяток девушек, мужчин примерно тридцать; половина их — солдаты из местной артиллерийской казармы; стоило им увидеть нас, как они тотчас набычились, и мы всей своей шкурой почувствовали, что они оценивают нас и пересчитывают. Мы разместились за длинным пустым столом, заказали бутылку водки, но страшненькая официантка строго объявила нам, что алкоголь в разлив подавать запрещено; тогда Гонза, заказав восемь стаканов лимонаду, взял у каждого по банкноте и уже минуту спустя вернулся с тремя бутылками рома, который затем мы под столом доливали в лимонад. Делали это тайком — знали, что артиллеристы не спускают с нас глаз и только ждут, как бы поймать нас на незаконном распитии алкоголя. Воинские части, надо сказать, испытывали к нам глубокую неприязнь: с одной стороны, они видели в нас некий подозрительный сброд — убийц, преступников и врагов, готовых (в плане тогдашней шпионской литературы) совершить в любое время предумышленное убийство их миролюбивых семейств, с другой (и это было, по-видимому, важнее) — завидовали нам, поскольку у нас водились деньги и мы могли пользоваться всякими благами несравнимо больше, чем они.

В этом-то и была особенность нашего положения: мы не знали ничего, кроме усталости и надсады, каждые две недели нам брили черепушку, чтобы волосы не внушали не положенной нашему брату уверенности в себе, мы были изгоями, не ожидавшими от жизни уже ничего хорошего, но у нас были деньги. Пусть и негусто, но для солдата с его двумя увольнительными в месяц это было такое состояние, что он мог в те немногие часы свободы (в тех немногих дозволенных заведениях) вести себя как крез и тем вознаграждать себя за хроническое бессилие прочих долгих дней.

Пока на эстраде плохонький духовой оркестр играл поочередно то польку, то вальс и на танцевальной площадке кружились две-три пары, мы спокойно оглядывали девушек и пили лимонад, чей спиртной привкус уже сейчас возвышал нас над всеми, сидевшими в зале; мы были в отличном настроении; я чувствовал, как в голову вступает пьянящее ощущение веселого дружелюбия, ощущение компанейства, какого я не испытывал с тех пор, как в последний раз играл с Ярославом и другими товарищами в капелле с цимбалами. А Гонза меж тем разработал план, как из-под носа у артиллеристов увести побольше девушек. План был прекрасен по своей простоте, и мы тут же приступили к его осуществлению. Энергичнее всех взялся за дело Ченек; задавака и комедиант, он исполнял свою роль, к нашему великому удовольствию, самым блистательным образом: пригласив танцевать густо накрашенную черноволосую девицу, подвел ее к нашему столу; велел налить им обоим ромового лимонада и бросил ей со значением: «Ну что ж, по рукам!»; черноволосая одобрительно кивнула и чокнулась. В эту минуту к ним уже подваливал подросток в артиллерийской форме с двумя сержантскими звездочками в петлицах; он остановился возле черноволосой и сказал Ченеку самым что ни на есть грубым тоном: «Позволишь?» — «Само собой, давай, приятель, повоюй»,— ответил Ченек. Пока черноволосая подпрыгивала в идиотском ритме польки с сержантом, Гонза уже вызвал по телефону такси; минут через десять подкатило такси, и Ченек встал у выхода из зала; черноволосая дотанцевала польку, извинилась перед сержантом, сказав, что идет в уборную, а уже минутой позже послышалось, как машина отъезжает.

---

[1] Массовая физкультурная организация, основанная в 1862 году.

После Ченека добился успеха старик Амброз из второй роты — нашел какую-то потрепанную девицу (правда, ее жалкий вид ничуть не мешал артиллеристам крутиться вокруг нее); через десять минут подъехало такси, и Амброз с девицей и с Варгой (утверждавшим, что с ним никакая девушка никуда не поедет) отбыл в условленный трактир на другом конце Остравы, где поджидал Ченек. И еще нашим двоим удалось увезти одну девицу; в зале нас осталось трое: Станя, Гонза и я. Артиллеристы кидали на нас все более злобные взгляды: они начинали постигать связь между нашей поубавившейся численностью и исчезновением трех женщин из их охотничьего угодья. Мы старались прикинуться невинными агнцами, но чувствовали, что в воздухе пахнет дракой. «Остается лишь последнее такси для нашего достойного отъезда»,— сказал я и с грустью уставился на блондинку, с которой мне в самом начале посчастливилось станцевать разок, но тогда я не нашел в себе смелости предложить ей уехать отсюда со мной; надеялся, что сделаю это при следующем танце, но артиллеристы уже так караулили ее, что я больше не рискнул к ней приблизиться. «Ничего не попишешь»,— сказал Гонза и поднялся, чтобы пойти позвонить. Но по мере того, как он проходил по залу, артиллеристы поднимались из-за своих столиков и обступали его.

Драка висела в воздухе, готовая вот-вот вспыхнуть, и мне со Станей не оставалось ничего, как двинуть на защиту товарища. Кучка артиллеристов окружала Гонзу молча, но вдруг среди них объявился пьяный вдрызг прапорщик (должно быть, у него тоже была бутылка под столом) и оборвал зловещее молчание: его отец, затянул он, в первую республику был безработным, а теперь, мол, зло разбирает смотреть, как тут выставляются буржуи с черными петлицами и так нервы треплют, что он того и гляди смажет по морде такому-сякому-эдакому (то бишь Гонзе). Гонза молчал, но когда прапорщик на минуту заткнулся, вежливо спросил, чего приятели-артиллеристы изволят от него. Чтобы вы отсюда уматывали подобру-поздорову, сказали артиллеристы, и Гонза ответил, что именно это мы и намерены сделать, но при условии, если они разрешат ему вызвать такси. В эту минуту, казалось, прапорщика кондрашка хватит: туда твою мать, орал он благим матом, так-перетак, мы вкалываем, носу из казармы не кажем, с нас по три шкуры дерут, за душой ни шиша, а эти тут, капиталисты сраные, диверсанты, говнюки хреновые, на такси разъезжать будут, нет уж, да хоть вот этими самыми руками их удавлю, на такси они отсюда не выедут!

Все были захвачены перебранкой; вокруг ребят в форме сгрудились гражданские и обслуга, боявшаяся скандала. И в эту минуту я узрел свою блондинку; оставшись у стола (безучастная к стычке), она встала и пошла в туалет; я неприметно отделился от толпы, прошмыгнул в прихожую, где был гардероб и туалеты (кроме гардеробщицы, там никого не было), и окликнул ее; нырнув с головой в сложившуюся ситуацию, точно непловец в воду, я плюнул на всякий стыд и приступил к делу; запустил руку в карман, вытащил несколько жеваных сотен и сказал: «Не хотите ли прокатиться с нами? Повеселей проведем время, чем здесь!» Блондинка вылупилась на сотенные, пожала плечами. Я сказал, что подожду ее на улице. Она кивнула, скрылась в туалете, а через минуту вышла уже в плаще; улыбаясь, объявила, что сразу видно — я из другого теста, чем остальные. Я охотно принял комплимент, взял ее под руку и повел на противоположную сторону улицы, за угол, откуда мы стали следить, когда у входа в зал «Сокола» (освещенный единственным фонарем) появятся Гонза и Станя. Блондинка спросила, студент ли я, и, получив подтверждение, поделилась со мной, что вчера в раздевалке на фабрике у нее сперли деньги, причем не ее, а казенные, и что она просто с ума сходит — не ровен час, под суд отдадут; спросила, не могу ли я подкинуть какую сотнягу; я вытащил из кармана две смятые сотенные купюры и дал ей.

Ждали мы недолго — оба приятеля вышли в пилотках и дождевиках. Я свистнул им, но в эту минуту из трактира пулей вылетели три других солдата без дождевиков и без пилоток и кинулись к ним. Слышал я угрожающую интонацию вопросов, но слов не различал, хотя об их смысле догадывался: они искали мою блондинку. Один из них подскочил к Гонзе, и завязалась драка. Я бросился на подмогу. На Стане повис один артиллерист, на Гонзе — двое; они уж было сбили его с ног, но, к счастью, я подбежал вовремя и кулаками стал дубасить одного. Артиллеристы, надо думать, рассчитывали на численный перевес, но с той минуты, как силы наши сравнялись, они ослабили свой первоначальный натиск; когда под Станиным ударом его артиллерист рухнул наземь и застонал, мы, воспользовавшись смятением в их рядах, быстро покинули поле боя.

Блондинка послушно ждала нас за углом. Увидев ее, приятели впали в дикий восторг, кричали, что я «молоток», лезли обнимать меня, и я впервые после столь долгого времени был искренне весел и счастлив. Гонза вытащил из-под плаща полную бутылку рома (непонятно, как ему удалось сохранить ее во время потасовки) и потряс ею в воздухе. Настроение у нас было отличное, одно плохо — идти было некуда: из одного кабака нас вытурили, в другие нам не было хода, в такси взбеленившиеся соперники нам отказали, а на улице наше существование было под угрозой карательной акции, которая еще вполне могла обрушиться на нас. Мы быстро пустились наутек по узкой улочке, недолго шли между домами, затем с одной стороны путь нам преградила стена, с другой — заборы; у забора обрисовывались драбы, рядом с ними какая-то уборочная машина с металлическим сиденьем. «Трон»,— сказал я, и Гонза подсадил блондинку на этот высокий, примерно в метре от земли, стул. Бутылку мы пустили по кругу, пили все четверо, блондинка вскоре развязала язык и пошла с Гонзой на пари: «А сотню не пожалеешь?» Гонза был джентльмен, сунул ей сотню — и у девушки тут же было поднято пальто, задрана юбка, а в следующую минуту она сама сняла трусики. Она взяла меня за руку, притянула к себе, но я так нервничал, что вывернулся и подтолкнул к ней Станю, который без малейшего колебания втиснулся меж ее ног. Вместе они пробыли едва ли секунд двадцать; затем я хотел уступить очередь Гонзе (с одной стороны, я старался вести себя как великодушный хозяин, с другой — все еще волновался), но на сей раз блондинка была решительнее, рванула меня к себе, и когда после подбодряющих прикосновений я смог наконец сблизиться с ней, нежно зашептала мне в ухо: «Я здесь ради тебя, дурачок» — и так завздыхала, что у меня и вправду возникло впечатление, будто со мной нежная, любящая девушка, которую я тоже люблю, а она все вздыхала и вздыхала, и я не отрывался от нее до тех пор, пока вдруг не услышал голос Гонзы, отпустившего какую-то грубость, и не осознал, что это вовсе не девушка, которую люблю; я отпрянул от нее, оборвав нашу близость так внезапно и преждевременно, что блондинка даже испугалась и сказала: «Ты что психуешь?» — но к ней уже прижимался Гонза, и громкие вздохи продолжались.

Вернулись мы тогда в казарму совсем поздно, ко второму часу ночи. А уже в полпятого надо было вставать на воскресную добровольную смену, за которую командир получал премию, а мы зарабатывали наши увольнительные на каждую вторую субботу. Не выспавшиеся, все еще одурманенные винными парами, мы двигались в полутьме штольни точно призраки, но я с удовольствием вспоминал прожитый вечер. Хуже получилось две недели спустя; из-за какой-то передряги Гонзе запретили отпуска, и я отправился в город с двумя парнями из другого взвода, с которыми знаком был весьма отдаленно. Мы шли почти наверняка к одной женщине, прозванной из-за ее непомерной длины Канделябр. Уродина она была каких мало, да ничего не поделаешь — круг женщин, доступных нам, был чрезвычайно ограничен, прежде всего нашими небольшими временными возможностями. Необходимость любой ценой

использовать свободу (столь крохотную и столь редко обретаемую) приводила солдат к тому, что они отдавали предпочтение «определенному» перед «терпимым». С течением времени путем взаимодоверительных изысканий была установлена целая сеть (пусть хилая) таких более или менее определенных (и, конечно же, едва терпимых) женщин и предоставлена во всеобщее пользование.

Канделябр была из этой всеобщей сети; но меня это ничуть не смущало. Когда оба парня прохаживались насчет ее непомерной длины и без конца повторяли хохму, что неплохо было бы найти кирпич и подставить его под ноги, как дело дойдет до главного, эти шуточки (грубоватые и плоские) некоторым образом щекотали меня и поддерживали мою бешеную тягу к женщине; к любой женщине; чем меньше в ней было индивидуального, одушевленного — тем лучше; тем лучше, если это будет *какая угодно* женщина.

Но хоть я и выпил изрядно, моя бешеная тяга к женщине тотчас угасла, как только я увидел девицу по прозвищу Канделябр. Все показалось безвкусным и ненужным, а так как там не было ни Гонзы, ни Стани, никого близкого мне, на следующий день настало ужасающее похмелье, оно, точно яд, разрушило даже приятное воспоминание от эпизода двухнедельной давности, и я поклялся себе никогда больше не возжелать ни девушки на сиденье уборочной машины, ни пьяного Канделябра...

Заговорил ли во мне некий нравственный принцип? Вздор; это было просто отвращение. Но почему отвращение, если еще несколькими часами раньше мной владела неистовая тяга к женщине, причем злобная неистовость моей тяги коренилась именно в том, что программно мне было все равно, кто будет эта женщина? Возможно, я был более чуток, чем другие, и мне опротивели проститутки? Вздор: меня пронзила печаль.

Печаль от ясновидческого осознания, что эта ситуация была не чем-то исключительным, избранным мной из пресыщения, из прихоти, из суетливого желания изведать и пережить все (возвышенное и скотское), а основной, характерной и *обычной* ситуацией моей тогдашней жизни. Что ею был четко ограничен круг моих возможностей, что ею был четко обозначен горизонт моей любовной жизни, какая отныне отводилась мне. Что эта ситуация была выражением не моей свободы (как можно было бы воспринять ее, случись она хотя бы на год раньше), а моей обусловленности, моего ограничения, моего осуждения. И меня охватил страх. Страх перед этим жалким горизонтом, страх перед моей судьбой. Я чувствовал, как моя душа замыкается в самой себе, как отступает перед окружающим, и одновременно ужасался тому, что отступать ей некуда.

7

Эту печаль, порожденную ощущением жалкого любовного горизонта, знали (или по крайней мере неосознанно чувствовали) почти все мы. Бедржих (автор мирных воззваний) защищался от нее раздумчивым погружением в глубины своего нутра, в котором, вероятно, обитал его мистический Бог; в эротической сфере этой религиозной духовности отвечало рукоблудие, которым он занимался с ритуальной систематичностью. Остальные защищались гораздо большим самообманом: разбавляли циничные похождения за девками самым что ни на есть сентиментальным романтизмом; у кого-то осталась дома любовь, которую он здесь сосредоточенными воспоминаниями отполировывал до ярчайшего блеска; кто-то верил в длительную Верность и в преданное Ожидание; кто-то втихомолку убеждал себя, что подгулявшая девица, которую он подцепил в кабаке, прониклась к нему святыми чувствами. К Стане дважды приезжала пражская девушка, с которой он погуливал еще до армии (но которую не считал своей судьбой), и он, растрогавшись вдруг до слез, решил (под стать своему взбалмошному нраву) немедля на ней жениться. Хоть он и говорил, что устраивает свадьбу лишь ради

того, чтобы выиграть два выходных, но я-то знал, что это не более чем деланно-циничная отговорка. Это событие выпало на первые дни марта, когда командир действительно предоставил ему два выходных, и Станя на субботу и воскресенье отбыл в Прагу жениться. Помню это совершенно отчетливо, ибо день Станиной свадьбы стал и для меня днем весьма знаменательным.

Мне была разрешена увольнительная, а так как последняя, проведенная с Канделябром, оставила по себе тяжкие воспоминания, я постарался увильнуть от товарищей и пошел один. Сел я на старый трамвай, ходивший по узкой колее и соединявший отдаленные районы Острав, и положился на его волю. Потом наугад вышел из трамвайчика и наугад же снова сел в трамвай другой линии; вся эта бесконечная островская окраина, где в невероятно диковинном конгломерате смешиваются заводские строения с природой, поле со свалкой, рощицы с отвалами, многоэтажки с деревенскими халупами, необычным образом привлекала меня и волновала; я снова вышел из трамвая и отправился пешком в долгую прогулку: я чуть ли не со страстью впитывал этот странный край и пытался добраться до его сути; я старался обозначить словами то, что дает этому краю, составленному из столь разнородных частей, единство и порядок; я проходил мимо идиллического деревенского домика, увитого плющом, и мне пришла мысль, что он уместен здесь именно *потому,* что совершенно не сочетается ни с обшарпанными многоэтажками, стоявшими вблизи, ни с силуэтами надшахтных копров, труб и печей, создававших его фон; я шел мимо низких временных бараков, которые и сами-то были как бы слободой в слободе, а невдалеке от них стояла вилла хоть грязная и серая, но окруженная садом и железной изгородью; в углу сада росла большая плакучая ива, что смотрелась на этой земле каким-то залетным гостем — и, возможно, именно *потому,* говорил я себе, была здесь уместна. Я был растревожен всеми этими мелкими знаками *непринадлежности,* ибо видел в них не только общий знаменатель края, но прежде всего — образ своей собственной судьбы, своего собственного изгнанничества в этом городе; и, надо признаться, это проецирование моего частного случая на объективность всего города рождало во мне некое смирение; я понимал, что не принадлежу этому краю, так же как не принадлежат ему плакучая ива и домик, увитый плющом, так же как не принадлежат ему короткие узкие улицы, ведущие в пустоту и в никуда, улицы, составленные из домиков, пришедших сюда словно из иного мира, я был здесь чужд всему, так же как были чужды этому краю — краю некогда утешительно сельскому — уродливые кварталы низких временных бараков, и я осознавал, что именно потому, что не принадлежу краю, я должен быть здесь, в этом ужасном городе непринадлежности, в городе, который объял своими неоглядными объятиями все, что ему чуждо.

Немного спустя я оказался на длинной улице Петржковиц, бывшей деревни, составлявшей теперь единое целое с ближними островскими окраинами. Остановился у большого двухэтажного дома, на углу которого по вертикали была прикреплена вывеска: КИНО. Меня поразил вопрос, казалось бы, совершенно несущественный, какой только может прийти в голову глазеющему прохожему: выходит, слово КИНО бывает и без названия кинотеатра? Я огляделся, на доме (что, кстати, ничем на кинотеатр не походил) никакой другой вывески не было. Между этим домом и соседним был примерно двухметровый проход — нечто вроде узкой улочки; я пошел по ней и оказался во дворе; только здесь я обнаружил у здания заднее одноэтажное крыло, а на его стене — застекленные витрины с рекламными афишами и кадрами из фильмов; я подошел к витринам, но и тут не нашел названия кинотеатра; осмотревшись, увидел напротив за сетчатой оградой на соседнем дворе девочку Я спросил ее, как кинотеатр называется; девочка поглядела удивленно и сказала, что не знает. Пришлось смириться с тем, что у заведения нет названия, что в этой островской ссылке даже кинотеатры безымянны.

Вернулся я снова (без всякого умысла) к застекленной витрине, и только тут бросилось в глаза, что фильм, объявленный афишей и двумя фотографиями, советский фильм «Суд чести». Тот самый фильм, героиню которого призывала в свидетели Маркета, решив сыграть в моей жизни благодетельную роль сострадательницы, тот самый фильм, на чью строгую мораль ссылались товарищи, когда вели против меня партийное дело; все это в достаточной мере отвратило меня от фильма — я о нем слышать не мог; и надо же — здесь, в Острове, я и то не избежал его указующего перста... Ну что ж, коль не нравится нам поднятый перст, достаточно повернуться к нему спиной. Я сделал это и пошел со двора снова на улицу Петржковиц.

И тогда я впервые увидел Люцию.

Она шла мне навстречу; входила во двор кинотеатра; почему я не минул ее и не прошел дальше? вызвано ли это было особой замедленностью моей прогулки? или было что-то необычное в запоздало-сумеречном освещении двора, заставившее меня оставаться в нем еще минуту-другую и не выходить на улицу? или причиной тому была внешность Люции? Но ведь внешность эта была совсем заурядной, хотя позднее именно эта *заурядность* трогала и привлекала меня; так чем же объяснить, что Люция поразила меня с первого взгляда и я остановился как вкопанный? Разве таких же девичьих заурядностей я не встречал на островских улицах? Или эта заурядность была так незаурядна? Не знаю. Одно ясно: я продолжал стоять и смотреть вслед девушке. Она подошла медленным, неспешным шагом к витрине и стала рассматривать кадры «Суда чести»; затем неторопливо оторвала от них взгляд и прошла через открытую дверь в маленький зальчик, где находилась касса. Да, теперь понимаю: это, возможно, была та особая Люциина неторопливость, что так заворожила меня, неторопливость, от которой словно исходило покорное сознание, что спешить некуда и напрасно тянуть к чему-то нетерпеливые руки. Да, пожалуй, и вправду именно эта медлительность, исполненная грусти, заставила меня издали наблюдать за девушкой — как она идет к кассе, как вынимает мелочь, покупает билет, заглядывает в зал, а потом снова поворачивается и выходит во двор.

Я не спускал с нее глаз. Она стояла спиной ко мне, устремив взгляд вдаль, куда-то за пределы двора, где огороженные деревянными заборчиками ползли вверх сады и деревенские хатки, вдали окаймленные контурами коричневой каменоломни. (Никогда не смогу забыть этот двор, помню каждую его деталь, помню проволочную изгородь, отделявшую этот двор от соседнего, где на лестнице, ведшей в дом, лупила глазки маленькая девочка; помню, лестницу обрамлял ступенчатый парапет, на котором стояли два пустых цветочных горшка и серый таз; помню закопченное солнце, спускавшееся к горизонту каменоломни).

Было без десяти шесть, то бишь оставалось десять минут до начала сеанса. Люция повернулась и медленно пошла двором на улицу; я шел за ней; за мной остался образ опустошенного островского села, и снова перед глазами возникла городская улица; в пятидесяти шагах отсюда была небольшая площадь, тщательно ухоженная, с несколькими скамейками в маленьком парке, за которым просвечивало псевдоготическое строение из красного кирпича. Я наблюдал за Люцией: она села на скамейку; неторопливость не покидала ее ни на мгновение, я мог бы даже сказать, что и *сидела она неторопливо;* не озиралась, блуждая взглядом по сторонам, сидела, как сидят в ожидании операции или чего-то захватывающего нас настолько, что мы, ничего не замечая вокруг, обращены взором лишь в себя; возможно, по той же причине она и не осознавала, что я расхаживаю около и разглядываю ее.

Часто говорят о любви с первого взгляда; я прекрасно знаю, что любовь сама склонна создавать из себя легенду и задним числом творить миф своих истоков; я, конечно, не хочу утверждать, что здесь шла речь о такой внезапной *любви,* но определенное ясновидение и вправду здесь было: эту эссенцию Люциного существа, или — если быть совер-

шенно точным — эссенцию того, чем Люция стала для меня впоследствии, я понял, почуял, увидел разом и с первого взгляда; Люция принесла мне самое себя, как людям приносят себя *явленные истины.*

Я смотрел на нее; разглядывал деревенский перманент, крошащий волосы в бесформенную массу кудряшек, разглядывал ее коричневое пальтецо, жалкое и поношенное и, пожалуй, чуть коротковатое; разглядывал ее лицо, неброско красивое, красиво неброское; я чувствовал в этой девушке покой, простоту и скромность — ценности, которые были так нужны мне; мне казалось, что мы даже очень близки, что у нас друг для друга (хоть мы и не знакомы) есть таинственный дар непринужденности; мне казалось, что стоит только подойти к девушке и заговорить с ней, и она, поглядев (наконец) мне в лицо, обязательно улыбнется, как если бы, допустим, перед ней неожиданно возник брат, которого она много лет не видела.

Люция подняла голову; взглянула на башенные часы (и это движение запечатлелось в моей памяти; движение девушки, которая не носит часов на руке и автоматически садится лицом к часам), встала и пошла в кино; я хотел присоединиться к ней; смелость у меня бы нашлась, но вдруг не нашлось слов; и хотя душа была преисполнена чувств, в голове не было ни единого слова; я вновь следом за ней дошел до предбанника, где помещалась касса и откуда можно было заглянуть в зал, зиявший пустотой. Пустота зрительного зала чем-то отталкивает; Люция остановилась и смущенно огляделась; в эту мунуту вошли несколько человек и поспешили к кассе; я опередил их и купил билет на ненавистный фильм.

Девушка вошла в зал; я шел за ней; в полупустом зале указанные на билетах места теряли всякий смысл — каждый садился куда хотел; я прошел в тот же ряд, что и Люция, и сел возле. Раздалась визжащая музыка с заигранной пластинки, зал погрузился во тьму, и на экране замелькали рекламы.

Люция должна была понимать, что солдат с черными петлицами не случайно сел рядом — определенно все это время она осознавала, ощущала мое соседство, и, возможно, ощущала тем больше, что я сам был полностью сосредоточен на ней: происходившего на экране я не воспринимал (до чего курьезное мщение: я радовался, что фильм, на который моралисты ссылались так часто, прокручивается передо мной на экране, а мне хоть бы хны).

Фильм кончился, зажегся свет, горстка зрителей поднялась со своих мест. Встала и Люция. Взяла с колен сложенное коричневое пальто и просунула руку в рукав. Я быстро нахлобучил пилотку, чтобы не видно было моего стриженного наголо черепа, и молча помог ей влезть рукой и во второй рукав. Она коротко взглянула на меня и ничего не сказала, пожалуй, лишь слегка кивнула головой, но я не понял, означало ли это движение благодарность или оно было непроизвольным. Мелкими шажками она вышла из ряда, а я, быстро надев свой зеленый плащ (он был длинен и, скорей всего, не к лицу мне), двинулся за ней.

Еще в зале я заговорил с ней. Словно в течение двух часов, пока сидел рядом с ней и думал о ней, я настраивался на ее волны: заговорил с ней так, будто хорошо знал ее; против обыкновения я начал разговор не с остроты, не с парадокса, а совершенно естественно — я и сам был поражен: ведь до последнего времени я всегда спотыкался перед девушками, точно едва брел под тяжестью масок.

Я спросил, где она живет, что делает, часто ли бывает в кино. Сказал, что тружусь на рудниках, что это сущая каторга, что редко удается выйти в город. Она сказала, что работает на фабрике, что живет в общежитии и там уже в одиннадцать надо быть дома, а в кино ходит часто, так как не любит танцев. Я сказал, что охотно пойду с ней в кино, когда у нее найдется свободное время. Она ответила, что предпочитает ходить одна. Я спросил, не потому ли это, что ей грустно в жизни. Она согласилась. Я добавил, что мне тоже невесело.

Ничто не сближает людей быстрее (пусть зачастую только внешне и обманчиво), чем грустное, меланхолическое соучастие; атмосфера спокойного понимания, устраняющая любые опасения и препятствия и одинаково доступная душе утонченной и грубой, образованной и простой,— самый несложный, и притом столь редкостный способ сближения: надо, пожалуй, только отбросить напускное умение «владеть собой», отработанные жесты и мимику и стать естественным; не знаю, как мне удалось (внезапно, без подготовки) достигнуть этого, как могло удасться это мне, бредущему ощупью за своими вымышленными масками; не знаю, но я принял это как нежданный дар и чудодейственное освобождение.

Итак, мы рассказывали о себе самые обыкновенные вещи; наши исповеди были короткими и деловыми. Мы дошли до общежития, постояли недолго; фонарь бросал свет на Люцию, я смотрел на ее коричневое пальтецо и гладил ее: не по лицу, не по волосам, а по обтерханной материи этой трогательной одежонки.

Вспоминаю еще, что фонарь покачивался, что мимо проходили, раздражающе громко смеясь, молодые девушки и открывали дверь общежития, вспоминаю, как я скользнул взглядом вверх по стене дома, где жила Люция, стене серой и голой, с окнами без карнизов; вспоминаю Люциино лицо, которое было (по сравнению с лицами других девушек, каких довелось мне знать в подобных ситуациях) удивительно спокойным, совсем без мимики и походило на лицо ученицы, стоящей у доски и смиренно отвечающей (без строптивости и без лукавства) лишь то, что знает, не думая ни об отметке, ни о похвале.

Мы договорились, что я напишу ей открытку и сообщу, когда снова мне дадут увольнительную и мы сможем увидеться. Мы простились (без поцелуев и объятий), и я удалился. Пройдя несколько шагов, оглянулся: Люция стояла у двери, не открывая ее, и смотрела мне вслед; только сейчас, когда я был далеко, она вырвалась из своей сдержанности и устремила на меня долгий взгляд (до этой минуты робкий). А потом подняла руку — как человек, который никогда не махал рукой и не умеет махать, а только знает, что на прощание машут рукой, и потому неловко отваживается на этот жест. Я остановился и тоже помахал ей; мы смотрели друг на друга издалека, я снова двинулся и снова остановился (Люция все еще махала рукой) — вот так медленно я уходил, пока наконец не свернул за угол, и мы потеряли друг друга из виду.

8

С того вечера все во мне изменилось; я вновь стал обитаем; я не был уже той горестной пустотой, по которой гуляли (как сор по разграбленному жилищу) печали, угрызения и жалобы; обитель нутра моего оказалась вдруг кем-то убранной и заселенной. Часы, висевшие на ее стене с недвижимыми долгие месяцы стрелками, вдруг затикали. Это было знаменательно: время, которое до сих пор текло, словно равнодушная река от ничего к ничему (я же был в паузе!), без отчетливых звуков, без такта, начало вновь приобретать свой очеловеченный облик: начало делиться и отсчитываться. Я стал добиваться увольнительных, и отдельные дни превратились в ступеньки лестницы, по которой я восходил к Люции.

Никогда в жизни я не отдавал никакой другой женщине столько мыслей, столько молчаливой сосредоточенности, как Люции (кстати, у меня уже никогда и не было столько времени). Ни к одной женщине я никогда не испытывал столько благодарности.

Благодарности? За что? Люция прежде всего вырвала меня из круга этого жалкого любовного горизонта, которым мы все были окружены. Конечно, и молодожен Станя определенным способом вырвался из этого круга; дома, в Праге, теперь у него была любимая жена, он мог думать о ней, мог воображать далекое будущее своего супружества, мог утешаться тем, что его любят. Но завидовать ему нельзя было. Актом бракосочетания он привел в движение свою судьбу, но уже в ту минуту,

когда садился в поезд, возвращаясь в Остраву, лишался всякого влияния на нее; и так неделя за неделей, месяц за месяцем в его первоначальную радость примешивалось все больше и больше беспокойства, все больше и больше беспомощной тревоги о том, что происходит в Праге с его собственной жизнью, от которой он был отторгнут и к которой не имел доступа.

Встречей с Люцией я тоже привел свою судьбу в движение, но не терял ее из виду; встречался я с Люцией редко, но все-таки почти регулярно и знал, что она умеет ждать меня две недели и больше и встретить после этого перерыва так, словно мы расстались вчера.

Но Люция освободила меня не только от обычного похмелья, вызванного безотрадностью островских любовных приключений. Хотя к тому времени я понимал, что проиграл борьбу и бессилен как-либо повлиять на свои черные петлицы, хотя понимал и то, что чураться людей, с которыми придется года два, а то и больше жить бок о бок, столь же бессмысленно, как и бессмысленно без устали отстаивать право на свой исходный жизненный путь (его привилегированность я начал осознавать), но все-таки это мое измененное отношение к ситуации было лишь рассудочным, волевым и не могло избавить меня от внутреннего плача над своей «потерянной судьбой». Этот внутренний плач Люция чудодейственно успокоила. Достаточно было только чувствовать возле себя Люцию в теплом сиянии всей ее жизни, где не играли никакой роли ни вопросы космополитизма и интернационализма, ни бдительность и настороженность, ни споры об определении диктатуры пролетариата, ни политика со своей стратегией, тактикой и кадровыми установками.

На поле этих забот (столь преходящих, что их терминология вскоре станет непонятной) я потерпел поражение, но именно к ним тяготел всей душой. Перед различными комиссиями я мог приводить десятки доводов, почему я стал коммунистом, но что больше всего в движении меня завораживало, даже пьянило — это был *руль истории,* в чей близости (истинной или лишь мнимой) я оказался. Мы ведь и в самом деле решали судьбы людей и вещей; и именно в вузах: в профессорской среде мало было тогда коммунистов, и в первые годы вузами управляли почти одни студенты-коммунисты, решавшие вопросы профессорского состава, учебных программ и реформы преподавания. Опьянение, какое мы испытывали, обычно называют опьянением властью, но (при капле доброй воли) я мог бы выбрать и менее строгие слова: мы были испорчены историей; мы были опьянены тем, что вспрыгнули на спину истории и оседлали ее, разумеется, со временем это превратилось по большей части в уродливое стремление к власти, но (так как все людские страсти неоднозначны) в этом таилась (а для нас, молодых, пожалуй, особенно) и вполне идеальная иллюзия, что именно мы открываем ту эпоху человечества, когда человек (любой человек) не окажется ни *вне* истории, ни *под пятой* истории, а будет вершить и творить ее.

Я был убежден, что вне сферы этого исторического руля (которого я опьяненно касался) нет жизни, а есть лишь прозябание, скука, изгнание, Сибирь. И сейчас я вдруг (после полугода Сибири) увидел совершенно новую и неожиданную возможность жизни: передо мной открылись забытые луга вседневности, сокрытые под крылом летящей истории, а на нем стояла бедненькая, жалкая и, однако, достойная любви женщина — Люция.

Что знала Люция о том большом крыле истории? Едва ли когда-нибудь слышала его шелест; понятия не имела об истории; жила *под* нею; не томилась по ней, она была ей чужой; она не знала ничего *о больших преходящих заботах,* она жила заботами *небольшими и вечными.* И я был внезапно освобожден; мне казалось, что она пришла ко мне, чтобы увести меня в свой *серый рай;* и шаг, что представлялся мне еще недавно страшным, шаг, которым я должен был «выйти из истории», стал для меня вдруг шагом облегчения и счастья. Люция робко держала меня за локоть, и я позволил ей увлечь себя...

Люция была моим серым поводырем. А кем была Люция по своим более существенным данным?

Ей было девятнадцать лет, но на самом деле, пожалуй, гораздо больше, как часто случается с женщинами, у которых была нелегкая жизнь и которых из детского возраста со всего маху бросили в возраст зрелости. Она говорила, что родом из Хеба, что окончила девятилетку, а потом обучалась ремеслу. О доме своем рассказывать не любила, а если рассказывала, то лишь потому, что я принуждал ее. Дома жилось ей плохо. «Наши не любили меня»,— говорила она и приводила тому разные доказательства: мать во второй раз вышла замуж; отчим дурно к ней относился; однажды заподозрили, будто она утаила от них какие-то деньги, побили ее. Когда не стало мочи больше терпеть, Люция воспользовалась случаем и уехала в Остраву. Здесь живет уже год; подруги есть, но любит быть одна, подружки ходят на танцы и водят в общежитие кавалеров, а ей не хочется; она серьезная; ей больше нравится ходить в кино.

Да, она так и определила себя: «серьезная» и связывала это качество с походами в кино; в основном любила военные фильмы, в те годы весьма популярные; возможно, потому, что захватывали, а возможно, и потому, что в них сконцентрировано было великое страдание; Люция переполнялась чувствами жалости и печали, которые, как она полагала, приподнимали ее и утверждали в «серьезности», столь ценимой ею в самой себе. Однажды она сообщила мне, что видела «очень прекрасный фильм» — им оказался довженковский «Мичурин»; фильм ужасно нравился ей, и главным образом по трем причинам: там, мол, отлично показано, до чего прекрасна природа; она всегда ужасно любила цветы; а человек, который не любит деревьев, хорошим человеком, по ее мнению, быть не может.

Конечно, неверно было бы думать, что в Люции привлекала меня лишь экзотичность ее простоты; ее простота, недостаточная образованность ничуть не мешали ей понимать меня. Это понимание основывалось не на опыте или знании, не на способности обсудить что-то и посоветовать, а на чутком соучастии, с которым она выслушивала меня.

Всплывает в памяти один летний день: я получил тогда увольнительную раньше, чем Люция освободилась от работы; конечно, я прихватил с собой книжку, сел на каменную оградку и стал читать; с чтением дела обстояли плохо: мало было времени, да и связь с пражскими знакомыми никак не налаживалась; но еще призывником я бросил в свой чемоданчик три книжечки стихов, которые без устали читал, находя в них утешение; это были стихи Франтишека Галаса [1].

Эти книжки сыграли в моей жизни особую роль, особую уже потому, что я не отношусь к большим любителям поэзии, и единственными книжками стихов, которые я полюбил, были они. Стихи попали мне в руки в то время, когда я был уже исключен из партии; именно тогда имя Галаса *снова* стало знаменитым, благо ведущий идеолог [2] тех лет обвинил недавно почившего поэта в упадочничестве, безверии, экзистенциализме и во всем том, что тогда звучало как политическая анафема. (Труд, в котором он подытожил свои взгляды на чешскую поэзию и на Галаса, вышел в те годы массовым тиражом, и его изучали в обязательном порядке на собраниях многих тысяч молодежных кружков.)

Человек подчас в минуту несчастья пытается найти утешение в том, что свою печаль связывает с печалью других; пусть в этом, признаюсь, есть нечто смешное, но я искал стихи Галаса потому, что хотел познакомиться с кем-то, кто был так же, как и я, *отлучен;* я хотел убедиться, действительно ли мой образ мыслей подобен образу мыслей отлученного;

[1] Франтишек Галас (1901—1949) — выдающийся чешский поэт межвоенного периода

[2] Имеется в виду чешский критик-марксист и политический деятель Ладислав Штолл (1902—1981) и его работа «30 лет борьбы за чешскую социалистическую поэзию».

и хотел проверить, не принесет ли мне печаль, какую сей влиятельнейший идеолог объявил болезненной и вредоносной, хотя бы своим созвучием какую-то радость (ибо в моем положении я едва ли мог искать радость в радости). Все три книжки я взял перед отъездом в Остраву у бывшего сокурсника, увлекавшегося литературой, а затем и вовсе упросил его отдать мне их навсегда.

В тот день Люция, встретив меня в условленном месте с книжечкой в руках, спросила, что я читаю. Я показал ей. Она удивилась: «Стишки!» — «Тебе странно, что я читаю стишки?» Она пожала плечами и ответила: «Отчего же», но, думаю, это ей показалось странным — вероятнее всего, стихи в ее представлении сочетались с детскими книжками. Мы бродили диковинным остравским летом, черным, прокопченным летом, над которым вместо белых облаков плыли на длинных канатах вагонетки с углем. Книжка в моей руке непрестанно притягивала Люцию. И потому, когда мы расположились в редкой рощице под Петржвальдом, я открыл ее и спросил: «Тебе интересно?» Она кивнула.

Никому прежде и никому впоследствии я не читал стихов вслух; во мне безотказно действует предохранитель, защищающий меня от того, чтобы излишне раскрываться перед людьми, излишне обнародовать свои чувства, а читать стихи, как мне представляется, это даже не просто говорить о своих чувствах, но говорить о них, стоя на одной ноге; некоторая неестественность самого принципа ритма и рифмы вызывала бы во мне неловкость, доведись предаваться им иначе, как наедине с самим собой.

Но Люция обладала чудодейственной властью (ни у кого другого после Люции ее уже не было) управлять этим предохранителем и избавлять меня от бремени стыда. Я мог позволить себе перед ней все: и искренность, и пафос.

И я стал читать:

Колосок хрупкий тело твое
упало зерно и уже не взойдет
словно хрупкий колос тело твое

Клубок шелка тело твое
жаждой исписано до последней морщинки
словно шелка клубок тело твое

Сожженное небо тело твое
смерть затаившись дремлет во плоти
словно сожженное небо тело твое

Тихое-тихое тело твое
от плача его дрожат мои веки
словно тихое-тихое тело твое

Я обнимал Люцию за плечо (обтянутое тонкой тканью цветастого платьица) и, осязая его пальцами, отдавался потоку внушения, что стихи, которые читаю (эта тягучая литания!), поют именно печаль Люциного тела, тихого, смиренного тела, осужденного к смерти. Я прочел ей и другие стихи и, конечно же, то, что еще по сию пору воскрешает ее образ, кончаясь трехстишьем:

Слова запоздалые не верю вам верю молчанью
они поверх красоты они надо всем
торжество пониманья

И вдруг я почувствовал пальцами, что плечо Люции задрожало, что Люция плачет.

Что растрогало ее до слез? Смысл этих стихов? Или, скорей всего, неназванная печаль, которой веяло от мелодики слов и окраски моего голоса? Или, возможно, ее возвысила торжественная невразумительность стихов, и она растрогалась до слез именно этой *возвышенностью?* Или, быть может, стихи в ней приоткрыли таинственный затвор и хлынула накопленная тяжесть?

Не знаю. Люция обвила меня за шею, словно ребенок, прижала голову к пропитанному потом полотну зеленой формы, облегавшей мою грудь, и плакала, плакала, плакала.

9

Как часто в последние годы самые разные женщины упрекали меня (лишь потому, что я не сумел отблагодарить их за чувства) в заносчивости. Чушь, я вовсе не заносчив, но, откровенно сказать, меня и самого удручает, что со времени моей подлинной зрелости я не смог по-настоящему привязаться ни к одной женщине, ни одну женщину, что и говорить, по-настоящему я не любил. Не уверен, знаю ли я причины такой своей незадачливости, бог весть, быть может, они кроются просто в моих сердечных пороках или — что вероятнее — в обстоятельствах моей биографии; не хочется быть патетичным, но это так: сколь часто воспоминания возвращают меня в зал, в котором сто человек поднимают руки и таким путем отдают приказ сломать мою жизнь; эти сто человек и думать не думали, что однажды наступит пятьдесят шестой год и обстоятельства постепенно изменятся; не предполагая ничего подобного, они рассчитывали на то, что мое изгнанничество будет пожизненным. Вовсе не из болезненной чувствительности, скорей из злорадного упрямства, свойственного размышлениям, я нередко и по-разному варьировал эту ситуацию и представлял, что произошло бы, если бы вместо исключения из партии меня осудили на смерть через повешение. И я всегда, без колебаний, приходил к однозначному выводу: и в этом случае все подняли бы руки, тем более если в речи председательствующего уместность петли на моей шее была бы эмоционально обоснована.

С тех пор, встречая впервые то ли мужчину, то ли женщину, которые вполне могли бы стать моими друзьями или любовницами, я мысленно переношу их в то время и в тот зал и задаюсь вопросом, подняли ли бы они руку: ни один не выдерживал этого экзамена; все так же поднимали руку, как поднимали ее (охотно или неохотно, веря или от страха) мои тогдашние друзья и знакомые. Но согласитесь: тяжко жить с людьми, которые способны послать вас в изгнание или на смерть, тяжко довериться им, тяжко любить их.

Возможно, я проводил слишком жестокий опыт: подвергал людей, с которыми общался, столь безжалостному, хоть и воображаемому экзамену, тогда как, вероятней всего, в действительности они прожили бы рядом со мной достаточно спокойную, обыкновенную жизнь вне добра и зла и никогда не прошли бы проверку реальным залом, где поднимают руки. Возможно, кому-то даже придет на ум, что, проводя подобные опыты, я прежде всего задавался единственной целью: в своем нравственном самолюбовании возвысить себя над окружающими. Нет, обвинять меня в заносчивости и впрямь было бы несправедливо; я сам, разумеется, никогда не поднял бы руки во имя чьей-то гибели, однако сознаю, что моя заслуга в этом весьма сомнительна; права поднимать руку я был лишен довольно рано. Но как бы долго ни убеждал себя, что никогда в подобной ситуации не поднял бы руки, я был слишком честен, чтобы в конце концов не посмеяться над собой: неужто я единственный, кто не поднял бы руки? Единственный справедливый? Да полноте, я не смог обнаружить в себе никакой поруки тому, что был бы лучше других; однако может ли это повлиять на мое отношение к другим? Сознание собственного ничтожества ничуть не примиряет меня с ничтожеством других. С души воротит, когда люди проникаются взаимным чувством братства лишь потому, что обнаружили друг в друге схожую подлость. Избави бог от такого непристойного братства.

Как же случилось, что я тогда мог любить Люцию? Размышления, которым я только что предавался, к счастью, имеют более позднюю дату (в юношеском возрасте я больше страдал, чем размышлял): Люцию я мог принимать еще чистым сердцем и без тени сомнения как дар, дар небес (приветливо-серых небес). Это было счастливое для меня

время, быть может, самое счастливое: я был измучен, изнурен, раздавлен, но в моей душе день ото дня ширился и все больше голубел голубой свет. Смешно: если бы женщины, упрекающие меня в заносчивости и подозревающие, что я всех вокруг числю в дураках, знали Люцию, они посмеялись бы над ней, посчитав глупенькой и не понимая, за что я любил ее. А я любил Люцию так, что и мысли не мог допустить, что когда-нибудь расстанусь с ней; пусть мы с Люцией никогда не говорили об этом, но я сам совершенно серьезно жил надеждой в своем воображении, что однажды настанет день и я женюсь на ней. А если ненароком и приходила мысль о неравном браке, то эта неравность скорее привлекала меня, чем отталкивала.

За те немногие месяцы я был благодарен и тогдашнему командиру; сержанты шпыняли нас как могли, были счастливы найти пылинку в складках нашей одежды, разбрасывали постель, ежели обнаруживали на ней хоть единую складочку,— но командир был порядочным парнем. Чуть постарше нас, он был переведен к «черным» из пехотного полка — говорили, что тем самым его разжаловали. Был он, выходит, пострадавшим, и, видимо, это внутренне примиряло его с нами; конечно, он тоже требовал от солдат порядка, дисциплины, а по временам и воскресной добровольной смены (чтобы перед вышестоящими проявить свою политическую активность), но никогда не гонял нас понапрасну и без лишних сложностей раз в две недели предоставлял нам субботние отпуска в город.

Помнится, тем летом мне удавалось видеться с Люцией даже три раза в месяц.

В дни, когда я бывал без нее, я писал ей; написал ей бессчетное количество писем, открыток и разных записок. Сейчас уже трудно представить себе достаточно ясно, что я писал ей и как. Было бы любопытно прочесть эти письма, но, с другой стороны, хорошо, что прочесть их нельзя: у человека есть великое преимущество — он не может встретиться с самим собой в более молодом издании; боюсь, я вызвал бы сам у себя отвращение и разорвал бы даже это мое повествование, осознав, что свидетельство, которое здесь даю о себе, слишком пропитано моим теперешним взглядом на вещи, моим теперешним опытом. Однако какое же воспоминание не является в то же время (и невольно) преображением старого образа? Какое воспоминание не является единовременной экспозицией двух лиц, этого настоящего и того прошлого? Каким я был в действительности — без посредничества нынешних воспоминаний,— это уже никому никогда не узнать. Впрочем — говоря по существу,— не так уж и важно, какими были мои письма; хотелось лишь отметить, что я написал их Люции очень-очень много, а Люция мне — ни одного.

Трудно было заставить ее написать мне; быть может, я запугал ее своими письмами, быть может, ей казалось, не о чем писать; быть может, она стеснялась своих орфографических ошибок, неумелого почерка, который я знал лишь по ее росписи в паспорте. Увы, не в моих силах было намекнуть ей, что именно ее неумелость и простодушность дороги мне, и не потому, конечно, что я ценил примитивность саму по себе, но она казалась мне знаком Люциниой цельности и давала надежду оставить в ее душе след тем глубже, тем неизгладимей.

За письма Люция испуганно благодарила, а потом призадумалась, чем бы мне отплатить за них; писать мне она не хотела и вместо писем избрала цветы. Впервые это было так: бродили мы по редкой рощице, и Люция вдруг нагнулась к какому-то цветку (да простится мне, что не знаю его названия: на тонком стебле маленькая лиловая чашечка) и подала мне. Это тронуло меня и ничуть не смутило. Но когда в следующую нашу встречу она ждала меня с целым букетом цветов, я слегка оторопел.

Мне было двадцать два, и я судорожно избегал всего, что могло бы бросить на меня тень изнеженности или незрелости; я стеснялся ходить

по улице с цветами, не любил покупать их, а уж получать и подавно. Я растерянно намекнул Люции, что цветы дарят мужчины женщинам, а не женщины мужчинам, но когда я увидел чуть ли не слезы на ее глазах, я поблагодарил ее и взял букет.

Что было делать! С тех пор цветы ждали меня при каждой нашей встрече, и я наконец смирился; и потому, что меня обезоруживала непосредственность этих преподношений, и потому, что я видел, как важен для Люции именно этот способ одаривания; возможно, причина была в том, что Люция страдала от скудости своего языка, от неумения красиво говорить и видела в цветах особую форму речи; и, вероятнее всего, не в смысле неуклюжей символики стародавнего витийства, а в смысле более древнем, более зримом, более инстинктивном, *предъязыковом;* возможно, Люция, будучи всегда скорее замкнутой, чем разговорчивой, неосознанно мечтала о той немой стадии человеческого развития, когда не было слов и когда люди объяснялись с помощью мелких жестов: пальцем указывали на дерево, касались друг друга...

Однако ж — понимал я или не понимал сущность Люциного одаривания — в конце концов оно меня тронуло и разбудило желание тоже что-нибудь подарить ей. У Люции было всего три платья, которые она регулярно меняла, так что наши встречи следовали друг за другом в ритме трехдольного такта. Я любил все эти платьица как раз потому, что они были старенькие, заношенные и не очень изящные. Я их любил так же, как и Люциино коричневое пальто (короткое и потертое на обшлагах), которое я погладил раньше, чем ее лицо. И все же захотелось купить Люции платье, красивое платье, даже много платьев. Деньги у меня были, экономить я не собирался, а транжирить их по кабакам перестал. И вот однажды я повел Люцию в магазин готового платья.

Люция сперва думала, что мы зашли туда просто поглазеть на прилавки, на людей, что рекой текли по лестнице вверх и вниз. На третьем этаже я остановился у длинной вешалки, с которой плотной завесой свисали дамские платья; Люция, увидев, с каким любопытством я разглядываю их, подошла поближе и стала отпускать замечания. «Вот это красивое»,— указала она на одно, на котором были тщательно выведены красные цветочки. Красивых платьев там и впрямь было мало, но все-таки кое-что приличное попадалось; я снял одно платье и позвал обслуживающего продавца: «Девушка могла бы это примерить?» Люция, скорей всего, сопротивлялась бы, но перед человеком посторонним, перед продавцом, она не осмелилась возразить и, даже не успев осознать происходящее, оказалась за ширмой.

Спустя немного я чуть отдернул занавеску и посмотрел на Люцию; хотя в платье, которое она мерила, не было ничего особенного, я просто не поверил своим глазам: его относительно современный покрой неожиданно превратил Люцию в совсем другое существо. «Разрешите взглянуть»,— отозвался за моей спиной продавец и тут же обрушил на Люцию и на платье, что она мерила, поток восторгов. Затем он посмотрел на меня, на мои петлицы и спросил (хотя утвердительный ответ предполагался заранее), из политических ли я. Я кивнул. Он подмигнул, улыбнулся и сказал: «У меня есть кое-что получше; не изволите ли взглянуть?» И в мгновение ока на прилавке появились несколько летних платьев и одно экстравагантное вечернее. Люция надевала их одно за другим, и все ей были к лицу, во всех она была какой-то новой, а в вечернем — и вовсе неузнаваемой.

Узловые повороты в развитии любви не всегда бывают вызваны событиями драматическими, а часто — обстоятельствами на первый взгляд совершенно несущественными. В развитии моей любви к Люции такую роль сыграло платье. До сего времени чем только ни была для меня Люция: ребенком, источником умиления, источником утешения, бальзамом и возможностью уйти от самого себя, она была для меня буквально *всем* — но только не женщиной. Наша любовь в телесном смысле этого слова не переходила границы поцелуев. Впрочем, и способ, каким

целовалась Люция, был детским (я обожал эти долгие, но целомудренные поцелуи сжатыми, сухими губами, что, лаская друг друга, так трогательно пересчитывали нежные бороздки любимого рта).

Короче говоря — до этого времени я испытывал к ней нежность, но ни в коем разе не чувственность; с отсутствием чувственности я так свыкся, что даже не осознавал его; мое отношение к Люции казалось мне таким прекрасным, что и в голову не приходило, что мне чего-то недостает. Все гармонически сливалось воедино: Люция — ее по-монастырски серая одежда — и мои по-монастырски невинные чувства к ней. В тот момент, когда Люция надела новое платье, все уравнение было внезапно нарушено; Люция сразу вырвалась из моих представлений о Люции: я понял, что у нее есть и другие возможности, и другой облик, нежели тот трогательно деревенский. Я вдруг увидел в ней красивую женщину, чьи ноги соблазнительно обрисовывались под ладно скроенной юбкой, чье тело было удивительно пропорционально и чья неприметность бесследно растворялась в платье яркого цвета и красивого фасона. Я был совершенно ошеломлен ее внезапно *явленным телом.*

Люция жила в общежитии, в одной комнате с тремя девушками; посещения разрешались лишь два раза в неделю, причем всего на три часа, от пяти до восьми; посетителю полагалось внизу у дежурной отметиться, сдать удостоверение, а затем заявить и о своем уходе. Кроме того, у всех трех Люцииных сотоварок по комнате были свои кавалеры (по одному или более), и всем хотелось с ними встречаться в интиме общежития, так что девушки вечно ссорились, злились и считали каждую минуту, которую одна отнимала у другой. Все это было до того неприятно, что я никогда даже не пытался навестить Люцию в ее обиталище. Но как-то я узнал, что Люциины сожительницы должны уехать примерно через месяц на трехнедельные работы в деревню. Я объявил Люции, что хочу воспользоваться этим временем и встретиться с ней в общежитии. Она приняла мои слова без радости, погрустнела и заметила, что предпочитает гулять со мной по улицам. Я сказал, что мечтаю побыть с нею там, где никто и ничто не будет мешать нам, и мы сможем думать только друг о друге; и что, кроме того, я хочу знать, как она живет. Люция не умела возражать мне, и я до сих пор помню, как разволновался, когда она наконец согласилась с моим предложением.

10

В Остраве я был почти год, и воинская служба, поначалу невыносимая, стала за это время чем-то будничным и обычным; хотя она была неприятной и изнурительной, но мне все-таки удалось выжить, обрести товарищей и даже испытать счастье; лето для меня было прекрасным (насквозь закопченные деревья казались неописуемо зелеными, когда я глядел на них глазами, только что прозревшими после подземной тьмы), но, как водится, зародыш несчастья сокрыт внутри счастья: горькие события тогдашней осени завязывались именно в этом зелено-черном лете.

Началось со Стани. Женился он в марте, а уже спустя месяц-другой стали доходить до него слухи, что его жена шляется по барам; он совершенно лишился покоя, писал ей письмо за письмом и, надо сказать, получал успокоительные ответы; но вскоре (стояло уже лето) навестила его в Остраве мать; проведя с ней всю субботу, он вернулся в казарму бледным и молчаливым; сперва не хотел ничего говорить — видно, стеснялся, но на второй день открылся Гонзе, а затем и другим, и вскоре об этом узнали все; Станя же, поняв, что знают все, уже сам принялся во всеуслышанье и без умолку говорить о том, что жена его пошла по рукам и что он-де собирается съездить домой и свернуть ей шею. И не мешкая попросил у командира два свободных дня; командир поначалу не решался дать ему увольнительную — слишком уж много поступало на Станю тогда жалоб из шахты и казармы, вызванных его рассеян-

ностью и раздражительностью,— но в конце концов смилостивился и дал. Станя уехал, и с тех пор никто из нас больше не видел его. Что стряслось с ним — знаю уже понаслышке.

Приехал он в Прагу, накинулся на женщину (я называю ее женщиной, хотя ей было всего девятнадцать), и она беззастенчиво (а быть может, даже с удовольствием) все ему выложила; он стал бить ее, она защищалась, он начал душить ее, а под конец стукнул бутылкой по голове; она повалилась на пол и осталась лежать без движения. Станя в мгновение ока отрезвел и в ужасе ударился в бега: неведомо как нашел заброшенную халупку где-то в Рудных горах и жил там, полный страха и ожидания, что его найдут и вздернут за убийство. Нашли его лишь два месяца спустя и судили не за убийство, а за дезертирство. Его жена, оказалось, вскоре после его бегства опамятовалась и кроме шишки на голове никаких телесных повреждений на себе не обнаружила. Пока он сидел в армейской тюрьме, она развелась с ним и вышла замуж за известного пражского актера, на которого хожу смотреть лишь потому, что он напоминает мне о старом товарище, так печально кончившем: после армии он остался работать на руднике; производственная травма лишила его ноги, а неудачная ампутация — жизни.

Эта женщина, которая якобы до сих пор срывает лавры среди богемной публики, довела до лиха не только Станю, но и нас всех. По крайней мере нам так казалось, хотя и нельзя установить, существует ли между скандалом вокруг Станиного исчезновения и министерской комиссией, посетившей вскоре нашу казарму, действительно (как думали все) причинная связь. Но так или этак, наш командир был отозван, и на его место пришел молодой офицер (ему могло быть от силы двадцать пять), и с его приходом все изменилось.

Да, было ему лет двадцать пять, но выглядел он еще моложе, просто мальчишкой, и потому из кожи лез вон, чтобы его поведение было как можно более впечатляющим и снискало ему уважение.

У нас поговаривали, что свои речи он репетирует перед зеркалом и заучивает их наизусть. Кричать он не любил, говорил сухо и с предельным спокойствием давал понять, что всех нас считает преступниками. «Я знаю, что вы предпочли бы меня видеть на веревке,— сказал нам этот ребенок при первой же нашей встрече,— но если кто и будет висеть, так это вы, а не я».

Вскоре дело дошло до конфликтов. В памяти моей сохранилась прежде всего история с Ченеком, возможно, еще потому, что она представлялась нам ужасно смешной. Не могу не рассказать о ней: за год службы в армии Ченек сделал целую прорву крупных настенных рисунков, которые при нашем прошлом командире всегда получали истинное признание. Ченек, как я уже говорил, больше всего любил рисовать Жижку и гуситских воинов; чтобы доставить радость товарищам, он с удовольствием дополнял их изображением обнаженной женщины, которую представлял командиру в качестве символа свободы или символа родины. Не желая отставать от своего предшественника, новый командир тоже решил воспользоваться услугами Ченека и, вызвав его, попросил нарисовать что-нибудь для помещения, в котором проходили политзанятия. Он порекомендовал ему на сей раз оставить всех этих Жижек и «больше направить свое внимание на современность»: в картине должна быть изображена Красная Армия, ее единство с нашим рабочим классом, а также ее значение для победы социализма в Феврале. Ченек сказал: «Есть!» — и принялся за дело; несколько дней подряд он рисовал на полу на больших белых листах бумаги, а затем прикрепил их кнопками по всей стене комнаты. Впервые увидев готовую картину (высотой в полтора метра, шириной не менее восьми), мы буквально онемели: посредине стоял в геройской позе одетый по-зимнему, в меховой ушанке советский солдат с автоматом наперевес, а вокруг него располагались по меньшей мере восемь голых женщин. Две прижимались к солдату с обеих сторон, кокетливо возведя на него глаза, а он обнимал

их за плечи и смачно смеялся; прочие женщины толпились вокруг, протягивая к нему руки, или просто стояли (одна даже лежала) и демонстрировали свои красивые лица.

Ченек встал перед картиной (мы ждали прихода политрука и были одни в комнате) и закатил нам примерно такую речь: «Так, стало быть, ребята, вот эта, что одесную сержанта, это Алена, она вообще была моей первой бабенкой, заполучила меня, когда мне только шестнадцать минуло, женушка офицерская, тут ей самое что ни есть место. Изобразил я ее точно, как она в те годы выглядела, теперь-то, почитай, похужела, но тогда, как говорится, была в теле, небось сами видите, особливо вот тут, в бедрах (он огладил их пальцем). Сзади она куда красивей смотрелась, вот тут я нарисовал ее еще раз (он подошел к краю картины и ткнул пальцем в голую женщину, повернувшуюся к зрителю задом; казалось, она куда-то уходит). Посмотрите на эту королевскую задницу, по размерам она, пожалуй, малость превышает норму, но это именно то, что мы любим. Я был тогда круглым идиотом, вспоминаю, как она обожала, чтобы ее били по этому самому заду, а я в толк никак не мог взять, что за дела такие. Однажды на пасху она все просила да просила, приди, мол, как положено по обычаю, с пучком вербы, вот я, значит, пришел, а она все твердит, хозяюшку побьешь, яичко найдешь, хозяюшку побьешь, крашеное найдешь, ну стал я ее этак символически по юбке хлестать, а она говорит, это разве битье, задери-ка ты хозяюшке юбку да хлобыстни как следует, задрал я это ей юбку, трусики снял и хлещу ее, идиот, вроде бы символически, а она переполнилась злобой и кричит благим матом, ну, ты, недоносок, будешь хлестать как положено! А я, известное дело, дурак дураком был, зато вот эта (он ткнул в женщину по левую руку от сержанта), эта Лойзка, эта у меня была, когда я стал уже взрослым, посмотрите, какие у нее маленькие грудки (показал), длинные ноги (показал) и невозможно красивая мордочка (тоже показал), учились мы с ней на одном курсе. А это наша натурщица, я рисую ее абсолютно по памяти, да и двадцать других ребят тоже могут нарисовать ее по памяти, потому что она всегда стояла посреди класса, и мы учились по ней рисовать человеческое тело, этой ни один из нас пальцем не коснулся, мамочка всегда поджидала ее у дверей класса, а после урока сразу же уводила домой, эта представала перед нами, да простит ее господь бог, лишь во всем своем целомудрии; вот так, друзья мои. Зато вот эта (он показал на женщину, которая возлежала на каком-то стилизованном канапе) ну и стерва была, господа, подойдите поближе (мы подошли), видите точечку на животике? Это ожог от сигареты, и сделала его, она сама рассказывала, одна ревнивая бабенка, с которой они любовь крутили, так как сия дамочка, господа, горазда была на оба дела, и секс у нее был чисто гармоника, в этот секс все на свете бы влезло, туда и мы бы все влезли, все как есть до единого и со всеми нашими женами, с нашими девушками, и с нашими деточками, и всеми родичами...»

Ченек, по всей видимости, приближался к самым блестящим пассажам своего объяснения, но тут вошел в комнату политрук и нам пришлось сесть. Политрук, привыкший к рисункам Ченека со времен нашего бывшего командира, не уделил новой картине никакого внимания и приступил к чтению вслух брошюры, в которой ярко освещались различия между армией социалистической и капиталистической. В нас все еще продолжал звучать рассказ Ченека, и мы отдавались тихим грезам, когда в комнату вдруг заявился мальчик-командир. Пришел, должно быть, проконтролировать занятия, но прежде чем выслушать отчет политрука и отдать нам команду снова занять места, ошарашенно уставился на картину; уже не дав возможности политруку продолжать чтение, он налетел на Ченека и потребовал немедля объяснить ему, что означает эта картина. Ченек вскочил, встал перед картиной и начал: картина в форме аллегории выражает значение Красной Армии для борьбы нашего народа; вот здесь изображена (он указал на сержанта)

Красная Армия; справа, плечом к плечу с ней, символически изображен (он указал на офицерскую женушку) рабочий класс, а здесь, по другую сторону (он указал на сокурсницу),— символ февраля месяца. Затем (он перечислил дам) символ свободы, символ победы, а эта — символ равенства; здесь (он кивнул на офицерскую жену, выставившую свою задницу) наглядно изображено, как буржуазия уходит со сцены истории.

Ченек кончил, а командир объявил, что картина не что иное, как оскорбление Красной Армии и должна быть незамедлительно снята; а против Ченека он, дескать, примет необходимые меры. Я спросил (вполголоса) почему. Командир услышал и поинтересовался, какие у меня возражения. Я встал и сказал, что картина мне нравится. Командир ответил, что он этому охотно верит, потому что картина — для онанистов. Я сказал, что Мысльбек [1] тоже изображал свободу в виде обнаженной женщины, а Алеш [2] нарисовал реку Изер даже в виде трех обнаженных женщин; что так делали художники всех времен.

Мальчик-командир неуверенно посмотрел на меня и повторил приказ немедля снять картину. Но, видимо, нам все же удалось сбить его с толку — Ченека он не наказал; однако сильно невзлюбил его, а заодно и меня; Ченек в скором времени получил дисциплинарное взыскание, а немного спустя — и я.

Было это так: однажды наш взвод работал в глухом углу казарменного двора, орудуя кирками и лопатами; нерадивый младший сержант охранял нас не слишком строго, и мы, частенько опираясь на свой инструмент, болтали и даже не заметили, что неподалеку наблюдает за нами мальчик-командир. Мы увидели его в ту самую минуту, когда раздался его резкий голос: «Солдат Ян, ко мне!» Я, бодро подхватив свою лопату, встал перед ним навытяжку. «Вы так представляете себе работу?» — спросил он. Не помню точно, что я ответил ему, но ничего дерзкого в моем ответе не было — да и разве могло мне прийти в голову отравлять себе и без того нелегкую жизнь в казарме и попусту настраивать против себя человека, имевшего надо мной неограниченную власть. Однако после моего ничего не значащего и скорее даже растерянного ответа у него ожесточился взгляд, и он, шагнув ко мне, молниеносно схватил меня за руку и перекинул через спину отлично усвоенным приемом джиу-джитсу. Затем, присев на корточки, стал удерживать меня на земле (я не противился, разве что удивлялся). «Хватит?» — спросил он громко (так, чтобы стоявшие вдалеке тоже слышали); я ответил «хватит». Тогда он скомандовал мне встать и тут же перед построившимся взводом объявил: «Даю солдату Яну два дня губы. И не потому, что он нахамил мне. Его хамство, как вы изволили видеть, я пресек своими руками. Даю ему два дня губы потому, что он отлынивал от работы, и с вами, если что, разделаюсь таким же манером». И, повернувшись, он франтоватой походкой удалился.

Тогда я не мог испытывать к нему ничего другого, кроме ненависти, а ненависть отбрасывает слишком резкий свет, лишающий предмета пластичности. Я видел в командире лишь мстительную и коварную крысу, однако сегодня вспоминаю его в основном как человека, который был молод и любил играть. Молодые люди не повинны в том, что любят играть; не готовые к жизни, они поставлены ею в готовый мир и должны действовать в нем как *готовые* личности. Поэтому они поспешно хватаются за общепринятые формы, примеры и образцы, которые их устраивают и им к лицу,— и играют.

И наш командир был таков: не готовый к жизни, он был поставлен лицом к лицу с войском, которого совсем не понимал; он умел справиться с ситуацией лишь потому, что нашел для себя в прочитанном и услышанном подходящую, отработанную маску: хладнокровный герой детек-

[1] Йозеф Вацлав Мысльбек (1848—1922) — чешский скульптор.
[2] Миколаш Алеш (1852—1913) — чешский живописец и график.

тивных романов, молодой человек с железными нервами, укрощающий банду преступников, никакого пафоса, одно ледяное спокойствие, броская, сухая шутка, самонадеянность и вера в силу собственных мышц. Чем больше он осознавал свою мальчикообразную внешность, тем фанатичнее он отдавался роли железного супермена, тем настойчивее демонстрировал его перед нами.

Но разве я впервые столкнулся с таким моложавым актером? Когда меня допрашивали в комитете по поводу открытки, мне было чуть за двадцать, а моим следователям — от силы на год-два больше. Они были тоже прежде всего *мальчишки,* прикрывавшие свои незрелые лица маской, что представлялась им самой значительной маской аскетически сурового революционера. А Маркета? Разве она не надумала играть роль спасительницы, роль, позаимствованную из дурного фильма-однодневки?

А тот же Земанек, ни с того ни с сего преисполнившийся сентиментальным пафосом высокой нравственности? Не было ли это ролью? А я сам? Разве не было у меня даже нескольких ролей, меж которыми я суматошно метался, покуда меня, мечущегося, не зацапали?

Молодость страшна: это сцена, по какой ходят на высоких котурнах и во всевозможных костюмах дети (якобы невинные!) и произносят заученные слова, которые понимают лишь наполовину, но которым фанатически преданы. И страшна история, ибо столь часто становится игровой площадкой для несовершеннолетних; площадкой для игр юного Нерона, площадкой для игр юного Наполеона, площадкой для игр фанатичных орд детей, чьи заимствованные страсти и примитивные роли вдруг превращаются в реальность катастрофически реальную.

Когда я думаю об этом, в голове опрокидывается вся шкала ценностей: я проникаюсь глубокой ненавистью к молодости и, напротив,— каким-то парадоксальным сочувствием к преступникам истории, в чьей преступности улавливаю лишь ужасную неправоспособность несовершеннолетия.

А уж как начинаю перебирать в памяти всех несовершеннолетних, с кем довелось иметь дело, сразу же перед глазами встает Алексей; и он играл свою великую роль, которая превышала его разум и опыт. У него было что-то общее с командиром: он тоже выглядел моложе своего возраста; но его моложавость (в отличие от командирской) была неприглядна: тшедушное тельце, близорукие глаза под толстыми стеклами очков, угреватая (вечно ювенильная) кожа. Как призывник, он сперва был приписан к пехотному офицерскому училищу, а затем внезапно лишен звания и переведен к нам. Начиналось время знаменитых политических процессов, и во многих залах (партийных, судебных, полицейских) приводились в постоянное движение поднятые вверх руки, лишавшие обвиняемых доверия, чести и свободы; Алексей был сыном видного партийного функционера, недавно арестованного.

Он появился однажды в нашем отделении, и отвели ему Станину опустевшую койку. Он смотрел на нас так же, как смотрел и я на своих новых товарищей первое время; был он поэтому замкнут, и ребята, узнав, что он член партии (из партии его пока еще не исключили), старались в его присутствии не болтать лишнего.

Вскоре, обнаружив во мне бывшего члена партии, он сделался со мной чуть откровеннее; сообщил мне, что любой ценой должен выдержать великое испытание, уготованное ему жизнью, и навсегда остаться верным партии. Затем прочел мне стихотворение, которое написал (правда, до этого говорил, что никогда не писал стихов), узнав, что должен быть переведен к нам. Там было такое четверостишие:

Если угодно, товарищи,
клеймите позором, плюйте в душу мою.
И, опозоренный и оплеванный всеми, товарищи,
с вами навеки я верным останусь в строю.

Я понимал его, ведь и сам год назад испытывал подобные чувства. Однако сейчас воспринимал все куда менее болезненно: поводырь во вседневность, Люция увела меня из тех мест, где так отчаянно страдали Алексеи.

11

Все то время, пока мальчик-командир заводил новые порядки в нашей части, я все больше думал о том, удастся ли мне получить увольнительную; Люциины сотоварки отправились на работу в деревню. Я уже месяц не высовывал носа из казармы; командир отлично запомнил мое лицо и фамилию, а в армии хуже этого ничего не бывает. Теперь он всячески давал мне понять, что каждый час моей жизни зависит от его изволения. А с отпусками теперь вообще дело было швах; еще в самом начале он объявил, что их сподобятся лишь те, кто регулярно участвует в воскресных добровольных сменах; и потому мы участвовали в них все; жалкой была наша жизнь: в течение всего месяца у нас не было ни единого дня вне штольни, а уж если кто-то получал на субботу увольнительную, причем до двух ночи, то в воскресную смену являлся на шахту заспанным и работал, точно сомнамбула.

Я тоже стал ходить в воскресную смену, хотя и это не давало никакой гарантии заработать выходной; заслуга воскресной смены могла быть запросто перечеркнута плохо застланной постелью или любым другим прегрешением. Однако упоение властью проявляется не только в жестокости, но и (пусть реже) в милосердии. Мальчик-командир получил большое удовольствие, когда после нескольких недель смог проявить великодушие: наконец за два дня до возвращения Люциных подружек соизволил дать мне увольнительную. У меня колотилось сердце, пока в проходной общежития очкастая старушенция записывала мое имя, а затем разрешила подняться по лестнице на пятый этаж, где я постучал в дверь в конце длинного коридора. Дверь открылась, но Люция спряталась за ней, и я увидел перед собой комнату, которая на первый взгляд вовсе не походила на комнату в общежитии; мне показалось, что я очутился в помещении, подготовленном для какого-то церковного торжества: на столе сиял золотой букет георгинов, у окна высились два больших фикуса, и повсюду (на столе, на кровати, на полу, за картинками) были рассыпаны или засунуты зеленые веточки (аспарагуса, как я выяснил впоследствии), словно ожидался приезд Иисуса Христа на осленке.

Я привлек Люцию к себе (она все еще пряталась от меня за открытой дверью) и поцеловал. Она была в черном вечернем платье и туфельках на высоких каблуках, которые я купил ей в тот же день, что и платье. Словно жрица стояла она посреди всей этой торжественной зелени.

Мы закрыли за собой дверь, и лишь тогда я понял, что нахожусь на самом деле в обыкновенной комнате общежития и что под этим зеленым покровом нет ничего, кроме четырех железных кроватей, четырех обшарпанных ночных столиков, стола и трех стульев. Но это никак не могло притупить ощущение блаженства, крепнувшее во мне с той минуты, как Люция открыла дверь: на несколько часов я снова был отпущен на волю после целого месяца казармы; и не только это: впервые, спустя целый год, я снова оказался в *маленьком помещении;* меня обдало пьянящее дыхание интимности, и сила этого дыхания едва не свалила меня с ног.

При всех предыдущих прогулках с Люцией открытость пространства постоянно сочеталась во мне с казармой и с моей тамошней судьбой; вездесущий, струящийся воздух невидимыми путами привязывал меня к воротам, на которых была надпись «Служим народу», мне казалось, что нигде нет такого места, где я мог бы хоть на мгновение перестать «служить народу»; целый год я не был в маленькой жилой комнате.

И вдруг весь мир совершенно изменился: на три часа я почувствовал себя абсолютно свободным; я мог, например, без опасений скинуть с себя (вопреки всем армейским предписаниям) не только пилотку и ремень, но гимнастерку, брюки, сапоги, все-все, а захочется, так мог это истоптать на полу; я мог делать все, что мне вздумается, и никто ниоткуда не мог подсмотреть за мной; кроме того, в комнате стояло блаженное тепло, и тепло вместе с этой свободой вступали в голову, как горячее спиртное; я притянул к себе Люцию, обнял ее, стал целовать, потом поднял и отнес на убранную зеленью постель. Ветки на постели (покрытой дешевым серым одеялом) волновали мое воображение. Я не мог объяснить их себе иначе чем символы: мне пришло в голову (и я еще больше растрогался), что в Люциной простоте неосознанно резонируют древнейшие народные обычаи: в торжественной обрядности хочется ей проститься со своим девичеством.

Лишь спустя время я осознал, что Люция, пусть и отвечает на мои поцелуи и объятия, сохраняет в них явную сдержанность. Хоть она и целовала меня жадно, губы ее оставались стиснутыми; хоть и прижималась ко мне всем телом, но когда я проник рукой под юбку, желая ощутить кожу ее ног, она вывернулась от меня. Я понял, что мой порыв, которому я хотел отдаться в дурманящей слепоте вместе с ней, не находит отклика; помню, как в ту минуту (а прошло разве что минут пять после моего появления в Люциной комнате) я почувствовал на глазах слезы жалости.

Мы сели рядом (подминая под себя убогие веточки) и стали о чем-то говорить. Спустя недолгое время (разговор не клеился) я снова попытался обнять Люцию, но она снова воспротивилась; я стал с ней бороться, но вскоре понял, что это вовсе не прекрасная любовная борьба, а борьба, превращающая вдруг наши трогательно-нежные отношения во что-то омерзительное. Люция защищалась по-настоящему, яростно, почти с отчаянием, это была взаправдашняя борьба, а никоим образом не любовная игра, и потому я быстро спасовал.

Я пытался было убедить Люцию словами; я разговорился: вероятно, доказывал, что люблю ее, а любовь — это значит отдаваться друг другу всей душой и телом; в этом не было, конечно, ничего оригинального (да и цель моя нисколько не была оригинальной); однако, несмотря на всю банальность, эта аргументация была неопровержима; Люция и не пыталась опровергнуть ее. Она больше молчала и лишь изредка роняла: «Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя» или: «Только не сегодня, только не сегодня...» — и старалась (как трогательно неловка она была в этом) перевести разговор на другие темы.

Я опять пошел в наступление: ты же не из тех девушек, что доведут человека, а потом поднимут на смех, ты же не бесчувственная, не злая... и я снова обнял ее, и снова затеялась короткая и печальная борьба, которая (снова) наполнила меня чувством омерзения, ибо была жестокой и без малейшего следа любви; словно Люция забывала в эти минуты, что с нею здесь я, словно я превращался в кого-то совершенно чужого.

Я снова прекратил свои домогательства, и вдруг мне померещилось, что я понимаю, почему Люция отвергла меня; господи, как я не понял этого сразу? Ведь Люция ребенок, ведь она, возможно, боится любви; она невинна, ей страшно, страшно по неведению; я тут же решил действовать иначе: в моем поведении не должно быть такого упорства, которое, верно, пугает ее, надо быть нежным, мягким, чтобы телесная близость ничем не отличалась от наших ласк, чтобы была лишь продолжением нашей нежности. Итак, я перестал домогаться Люции и стал нежно ласкать ее. Целовал, гладил (длилось это ужасно долго, и мне вдруг сделалось не по себе, ведь эта любовная канитель была лишь хитрой уловкой и *средством*), нежничал с ней (притворствуя и играя), пытаясь при этом незаметно положить ее навзничь. У меня даже получилось; я ласкал ее грудь (кстати, Люция никогда тому не препятствовала); говорил ей, что хочу быть нежным ко всему ее телу, потому что ее тело —

это тоже она, а я хочу быть нежным к ней ко всей, без остатка; мне даже удалось каким-то образом задрать ей юбку и поцеловать сантиметров на десять—двадцать выше колен; но дальше я не продвинулся; когда захотел приблизиться к самому лону Люции, она испуганно оттолкнула меня и вскочила с кровати. Поглядев на нее, я увидел на ее лице какое-то судорожное выражение, какого никогда прежде не замечал у нее.

Люция, Люция, ты стыдишься света? Ты хочешь, чтоб было темно? — спрашивал я, и она, цепляясь за мои вопросы, как за спасительную лесенку, поддакивала, что стыдится света. Я подошел к окну и хотел опустить жалюзи, но Люция сказала: «Нет, не делай этого! Не опускай!» — «Почему?» — спросил я. «Боюсь»,— сказала она. «Чего ты боишься, темноты или света?» — переспросил я. Она молчала, а потом расплакалась.

Ее сопротивление меня совсем не умиляло, напротив, казалось бессмысленным, обидным, несправедливым, мучительным, я не понимал его. Я спрашивал Люцию, сопротивляется ли она мне потому, что она девушка, или потому, что боится боли, какую я могу причинить ей. На каждый подобный вопрос она послушно кивала, видя в нем оправдывающий ее довод. Я объяснял ей, что это прекрасно, что она девушка и все познает именно со мной, с тем, кто по-настоящему любит ее. «Разве ты не хочешь стать моей женщиной до последней своей клеточки?» Она сказала, что да, что она очень хочет этого. Я снова обнял ее, и снова она воспротивилась мне. Я едва превозмогал злобу. «Почему ты сопротивляешься?» Она сказала: «Ну, прошу тебя, потом, да, я хочу, но только потом, в другой раз, не сегодня».— «Но почему?» Она ответила: «Прошу тебя, не сегодня»,— «А когда? Ты же сама знаешь, что сегодня последняя возможность побыть нам вместе одним, послезавтра приезжают твои соседки. Где мы сможем побыть одни?» — «Ну уж ты что-нибудь придумаешь»,— сказала она. «Хорошо,— согласился я.— Придумаю что-нибудь, но обещай мне, что ты пойдешь туда со мной, хотя едва ли там будет такая же приятная комнатка, как эта».— «Не важно,— сказала она.— Не важно, пусть это будет где угодно».— «Хорошо, но обещай мне, что там ты станешь моей женщиной, что не будешь упрямиться».— «Да»,— сказала она. «Обещаешь?» — «Да».

Я понял тогда, что обещание — это единственное, чего могу в тот день добиться от Люции. Этого было мало, но хоть что-то. Я подавил неудовольствие, и оставшееся время прошло за разговорами.

Уходя, я стряхнул с формы соринки аспарагуса, погладил Люцию по лицу и сказал, что не буду ни о чем другом думать, кроме как о нашей будущей встрече (и я не лгал).

12

Как-то раз в дождливый осенний день (немного погодя после моей встречи с Люцией) мы строем возвращались со смены в казарму; в промоинах дороги стояли глубокие лужи; заляпанные грязью, измученные, промокшие, мы мечтали об отдыхе. Уже месяц большинство из нас не имело ни одного свободного воскресенья. Но сразу же после обеда мальчик-командир, построив нас, сообщил, что при дневном осмотре нашей казармы обнаружил непорядки. Затем отдал приказ сержантам погонять нас в хвост и в гриву на два часа больше положенного.

Поскольку мы были солдатами без оружия, наше строевое и военное обучение обретало особо бессмысленный характер; у него не было никакой иной цели, кроме одной — обесценить время нашего существования. Припоминаю, как однажды мальчик-командир заставил нас перетаскивать тяжелые бревна из одного конца казармы в другой, а на следующий день снова на прежнее место — и таким таскáнием бревен мы занимались десять дней подряд. К подобным упражнениям сводилось, собственно, все, что мы делали на казарменном дворе после смены. На этот раз, правда, мы таскали уже не бревна, а свои усталые тела; поворачивали их кругом и направо, бросали на землю, снова поднимали, гоняли взад-

вперед и волочили по земле. После трех часов стройподготовки объявился командир и приказал сержантам отвести нас на физзарядку.

Позади барака была небольшая площадка, где можно было не только играть в футбол, но заниматься гимнастикой и бегать. Сержанты решили устроить с нами эстафетный забег; в роте нас было девять команд по десять человек — иными словами, девять десятичленных эстафет. Сержантам хотелось не только погонять нас как следует, но и доказать, что мы не чета им и нам нечего с ними тягаться — ведь в основном это были ребята от восемнадцати до двадцати со всеми своими мальчишескими замашками; против нас они поставили свою собственную эстафету, в десятку которой вошли младшие сержанты и ефрейторы.

Прошло немало времени, пока они объяснили нам свой план и пока мы взяли его в толк: первая десятка бегунов должна была бежать с одного конца площадки к другому. Там против них будет стоять уже наготове другая десятка, которая побежит туда, откуда выбежала первая, а тем временем подготовится третья десятка, и так поочередно пробегутся все девять наших команд. Сержанты разделили нас и разослали в противоположные концы площадки.

После смены и строевой подготовки мы были на исходе сил и при мысли, что придется еще бегать, пришли в бешенство; вдруг меня осенила весьма примитивная идея: всем надо бежать очень медленно! Я поделился своим планом с двумя-тремя дружками, и он тут же, передаваясь из уст в уста, пустил корни — вскоре вся изнуренная масса солдатиков сотрясалась довольным затаенным смехом.

Наконец мы все заняли свои места, приготовившись к началу соревнования, которое по самой сути своей было полной бессмыслицей: при том, что нам предстояло бежать в форме и тяжелых башмаках, на старте мы должны были опуститься на колено; при том, что нам предстояло передавать эстафету самым невообразимым образом (принимающий ее бегун двигался *навстречу* нам), в руке мы держали настоящие эстафетные палочки, и сигнал к старту был дан нам выстрелом из настоящего пистолета. Ефрейтор на десятой дорожке (первый бегун сержантской команды) понесся на всех парах, тогда как мы поднялись с земли (я был в первом ряду бегунов) и медленно затрусили вперед; продвинувшись метров на двадцать, мы стали давиться от смеха; ефрейтор уже приближался к противоположной стороне площадки, в то время как мы неестественно ровным строем все еще трюхали неподалеку от старта, и, отпыхиваясь, изображали невероятную натугу; солдаты, столпившиеся на обоих концах площадки, начали во все горло подбадривать нас: «Давай жми, давай жми...» На середине площадки мы миновали второго бегуна сержантской команды, который бежал уже навстречу нам и направлялся к черте, откуда мы взяли старт. Наконец мы дотрусили до конца площадки и передали эстафету, но тут уже с противоположной стороны за нашими спинами выбежал с палочкой третий сержант.

Вспоминаю сейчас об этой эстафете как о последнем великом смотре моих «черных» товарищей. Ребята оказались на редкость изобретательны: Гонза на бегу припадал на одну ногу, все яростно подбадривали его, и он действительно геройски доковылял и передал эстафету (под бурные аплодисменты) даже на два шага впереди остальных. Цыган Матлош в течение соревнования раз восемь падал на землю. Ченек бежал, поднимая колени к самому подбородку (это наверняка изматывало его гораздо больше, чем припусти он на самой большой скорости). Никто из них не предал игры: ни вышколенный и покорный автор мирных воззваний Бедржих, трусивший серьезно и достойно в медленном темпе вместе с остальными, ни деревенский Йозеф, ни Павел Пекны, не любивший меня, ни старик Амброз, бежавший неловко выпрямившись и заложив руки за спину, ни рыжий Петрань, что визжал пронзительным голосом, ни венгр Варга, на бегу кричавший «ура-а!», никто из них не испортил этой великолепной и нехитрой инсценировки, которая заставила нас, стоявших поблизости, покатываться со смеху.

Затем мы увидели, как от бараков к площадке подходит мальчик-командир. Один из младших сержантов двинулся навстречу ему доложить о происходящем. Командир, выслушав его, отошел к краю площадки — наблюдать за нашим соревнованием. Сержанты (их эстафета уже давно победно добежала до цели) встревожились и стали кричать нам: «Живей! Пошевеливайтесь! Жмите!» — но их подбадривания совершенно потонули в наших мощных поощрительных выкриках. Сержанты, совсем растерявшись, призадумались, не прервать ли вообще соревнования; они шныряли друг к другу, советовались между собой, искоса посматривали на командира, но командир, даже не кинув взгляда в их сторону, холодно следил за соревнованием.

Наконец настал черед последней шеренги наших бегунов; в ней был Алексей; мне не терпелось посмотреть, как он побежит, и я не ошибся в своем ожидании; намереваясь завалить нашу игру, он рванул изо всей мочи вперед и уже метров через двадцать опередил остальных по меньшей мере на пять. Но потом произошло нечто удивительное: его скорость убавилась и опережение продолжало оставаться тем же; я вмиг понял, что Алексей не может испортить нашу игру, даже если бы и хотел: ведь это был щуплый паренек, которого сразу же после двух дней работы поневоле пришлось перевести на более легкую — в чем только душа держалась! В минуту, когда я понял это, вдруг подумалось, что именно его бег венчает всю нашу потеху; Алексей надсаживался что есть силы, а при этом был всего лишь в каких-то пяти шагах от ребят, которые смеха ради семенили за ним в том же темпе; сержанты и командир несомненно считали, что резкий старт, который взял Алексей, такая же комедия, как и деланная хромота Гонзы, и падения Матлоша, и наши подначивания. Алексей бежал со сжатыми кулаками на той же скорости, что и ребята за ним, которые лишь изображали великое усердие и оттого демонстративно пыхтели. Один Алексей чувствовал *настоящую* боль в паху и с таким невероятным усилием преодолевал ее, что по лицу его стекал *настоящий* пот; когда все они достигли середины площадки, Алексей еще сбавил темп и шеренга медленно бегущих озорников мало-помалу стала его догонять; в тридцати метрах от цели они опередили его; а в двадцати от цели он и вовсе перестал бежать и весь оставшийся путь прошел прихрамывающей походкой, держа руку с левой стороны паха.

Потом командир приказал нам построиться. Спросил, почему мы бежали так медленно. «Мы были усталые, товарищ капитан». Он велел поднять руку всем тем, кто был усталым. Мы подняли руку. Я не спускал глаз с Алексея (он стоял в строю передо мной); он был единственный, кто не поднял руки. Но командир не заметил его. Он сказал: «Что ж, хорошо, все, значит».— «Нет»,— отозвался голос. «Кто не был усталым?» Алексей сказал: «Я». «Вы не были усталым? — взглянул на него командир.— Как же получилось, что вы не были усталым?» — «Потому что я коммунист»,— ответил Алексей. В ответ на эти слова рота загудела утробным смехом. «Так это вы, кто пришел к цели последним?» — спросил командир. «Да, я!» — ответил Алексей. «И вы не были усталым»,— сказал командир. «Нет»,— заявил Алексей. «Если вы не были усталым, значит, вы умышленно саботировали занятия. Даю вам две недели губы за попытку к бунту. Вы все были усталые, выходит, у вас есть оправдание. Поскольку ваша выработка на рудниках ни черта не стоит, устаете вы, вероятно, на прогулках. В интересах вашего здоровья в роте запрещаются отпуска на два месяца».

До того, как уйти на губу, Алексей решил поговорить со мной. Он упрекнул меня, что я веду себя не как коммунист, и спросил, сверля меня строгим взглядом, за социализм ли я или нет. Я ответил ему, что я за социализм, но что здесь, в казарме среди «черных», это абсолютно не важно, так как здесь иное деление, чем за пределами казармы: на одной стороне здесь те, кто выпустил из рук свою судьбу, а на другой — те, кто зажал ее в кулаке и делает с ней что вздумается. Но Алексей

не согласился со мной: граница между социализмом и реакцией проходит, сказал он, повсюду; наша казарма — не что иное, как средство, которым мы защищаемся от врагов социализма. Я спросил, как, по его мнению, мальчик-командир защищает социализм от врагов, если именно его, Алексея, посылает на две недели на губу и обращается с людьми так, чтобы превратить их в самых что ни на есть заклятых врагов социализма. Алексей признался, что командир ему не нравится. Но когда я сказал ему, что проходи разделяющая черта между социализмом и реакцией и в казарме, то он, Алексей, вообще никогда не был бы здесь, он резко ответил мне, что ему по всем статьям положено быть здесь. «Мой отец был арестован за шпионаж. Понимаешь, что это? Как может партия доверять мне? Партия *обязана* не доверять мне!»

Потом поговорил я и с Гонзой — пожаловался (думая о Люции), что теперь не выйти нам из казармы целых два месяца. «Болван,— сказал он мне,— чего сдрейфил? Теперь будем прогуливаться еще чаще, чем раньше».

Веселый саботаж эстафетного бега усилил в моих товарищах чувство солидарности и пробудил в них необыкновенную предприимчивость. Гонза создал небольшой комитет, который начал быстро изыскивать возможности тайных отлучек из казармы. В течение двух дней все было подготовлено; учредили секретный фонд для подкупа; дали барашка в бумажке двум сержантам в общежитии; в самом конце казармы нашли подходящее место, где подрезали в ограде проволоку. В том месте располагался медпункт, а первые домики деревни отстояли от ограды всего метров на пять, не более; в ближайшем домике жил горняк, которого мы знали по шахте; ребята договорились с ним, что он будет оставлять свою калитку незапертой; таким образом солдат должен был незаметно прошмыгнуть к ограде, затем быстро пролезть через лазейку и пробежать эти пять метров; как только он оказывался за калиткой домика, он был уже вне опасности: пройдя по дому насквозь, он попадал на другую сторону окраинной улицы.

Уход из казармы был сравнительно безопасным, однако нельзя было и злоупотреблять им; уйди из казармы в один день слишком много солдат, их отсутствие было бы с легкостью обнаружено; поэтому созданный по воле Гонзы комитет должен был регулировать отлучки и определять их очередность.

К сожалению, прежде чем дошла до меня очередь, вся затея Гонзы потерпела крах. Командир ночью лично осмотрел общежитие и обнаружил, что три солдата отсутствуют. Он накинулся на сержанта (дежурного по комнате), не доложившего об отсутствии солдат, и, словно метя не в бровь, а в глаз, спросил его, сколько он за это получил. Сержант, подумав, что командиру все известно, даже не попытался отпираться. К командиру был вызван Гонза, и сержант при очной ставке подтвердил, что получал от него деньги.

Мальчик-командир объявил нам шах и мат. Сержанта, Гонзу и трех солдат, которые той ночью были в самоволке, отправил в военную прокуратуру. (Я даже проститься не успел со своим самым близким товарищем, все свершилось мгновенно, в течение одного утра, когда мы были в смене; лишь многим позже я узнал, что все понесли наказание, Гонзу осудили на год лишения свободы.) Построившейся роте командир объявил, что время запрещенных отпусков продлевается еще на два месяца и вводится режим дисциплинарной роты. Более того, он распорядился поставить две караульные вышки по углам лагеря, прожекторы и двух конвойных, которые бы со своими овчарками охраняли казарму.

Удар командира был столь внезапен и столь успешен, что у нас у всех создалось впечатление, что предприятие Гонзы кто-то выдал. Нельзя сказать, что среди «черных» наушничество расцветало бы каким-то особо пышным цветом; все мы дружно презирали его, однако знали, что оно постоянно присутствует, как некая возможность, ибо является самым действенным средством, предлагаемым нам для улучше-

ния наших условий: попасть вовремя домой, получить приличную характеристику и хоть как-то спасти свое будущее. Мы старались удержаться (подавляющим большинством) от этой подлейшей подлости, но не могли удержаться от того, чтобы слишком легко не подозревать в ней других.

И на этот раз подозрение незамедлительно дало ростки и, мигом превратившись в ощущение массовой уверенности (хотя, конечно, налет командира можно было объяснить не только наушничеством), с неоспоримой определенностью пало на Алексея. Он отбывал тогда последние дни губы; само собой, ежедневно ходил с нами в смену и на шахте был все время при нас; поэтому все считали, что у него была полная возможность прослышать что-то («своими фискальскими ушами») о Гонзовой затее.

С несчастным очкариком-студентом творились теперь ужасные вещи: старшой (один из нас) снова стал отводить ему самые тяжелые участки работы; то и дело у него исчезал инструмент, и ему приходилось отстегивать за него из своей зарплаты; он без конца выслушивал намеки и оскорбления и выносил множество мелких гадостей; на деревянной стене, к которой была приставлена его койка, кто-то большими черными буквами (коломазью) намалевал: ОСТОРОЖНО, КРЫСА!

Как-то вечером, вскоре после того, как Гонзу с остальными тремя виновниками увели под конвоем, я заглянул в комнату нашего отделения; она была пуста, и только Алексей, склонившись над своей койкой, заправлял ее. Я спросил, почему он это делает. Он ответил, ребята по нескольку раз на дню расшвыривают его постель. Я сказал, все убеждены, что это он заложил Гонзу. Он возражал, едва не плача; говорил, что ни о чем не знал и вообще никогда бы никого не закладывал. «Почему ты утверждаешь, что никогда бы не закладывал? — спросил я.— Тебя считают союзником командира. Из этого логически вытекает, что ты и заложить можешь».— «Нет, я не союзник командира! Командир саботажник!» — крикнул он, и голос у него сорвался. А потом он изложил мне свою точку зрения, к которой пришел, сидя на губе и имея там возможность подолгу размышлять в уединении: части «черных» солдат партия создала для людей, которым до поры до времени не может доверить оружие, но которых хочет перевоспитать. Классовый враг, однако, не дремлет и во что бы то ни стало намерен помешать процессу перевоспитания; он стремится к тому, чтобы в «черных» солдатах постоянно разжигалась яростная ненависть к коммунизму и они были бы резервом контрреволюции. И что мальчик-командир своим обращением с солдатами пробуждает в них ярость — это тоже, дескать, одно из звеньев вражеского заговора. Трудно даже себе представить, сказал он, куда только не пролезли враги партии. Командир — наверняка вражеский агент. И еще добавил, что, осознавая свой долг, написал о деятельности командира подробный отчет. Я удивился: «Что? Что ты написал? И куда ты это послал?» Он ответил, что жалобу на командира направил в партийную инстанцию.

Вышли мы из барака вместе. Он спросил, не боюсь ли я показываться в его обществе народу. Я сказал ему, что он болван, коли задает такой вопрос, и болван вдвойне, коли думает, что его письмо дойдет до адресата. Он ответил, что он коммунист и при всех обстоятельствах должен поступать так, чтобы не было потом мучительно стыдно. И снова он напомнил мне, что я тоже коммунист (пусть и исключенный из партии) и что должен был бы вести себя иначе, чем веду себя: «Мы, как коммунисты, ответственны за все, что здесь происходит». Мне стало смешно; я сказал ему, что ответственность немыслима без свободы. Он же ответил, что чувствует себя достаточно свободным для того, чтобы поступать как коммунист; он должен доказать, и он докажет, что он коммунист. Когда Алексей произносил это, у него дрожал подбородок; еще сегодня, спустя годы, вспоминаю эту минуту и осознаю гораздо яснее, чем тогда, что Алексею было немногим больше двадцати, что это

был всего лишь мальчик, юноша и его судьба болталась на нем, как костюм богатыря на коротышке.

Помню, вскоре после моего разговора с Алексеем Ченек спросил меня (в точном соответствии с Алексеевыми опасениями), зачем я, дескать, разговариваю с этой крысой. Я ответил ему, что Алексей идиот, но вовсе не крыса, и добавил, что Алексей сообщил мне о своей жалобе на командира. На Ченека это не произвело ровно никакого впечатления. «Что он идиот — не уверен,— сказал он,— но что крыса — знаю наверняка. Кто может принародно откреститься от родного папани, тот крыса». Я не понял его; он удивился моему неведению; сам политрук показывал им старую, многомесячной давности газету, где напечатано было заявление Алексея: он-де отрекается от своего отца, который предал и оплевал самое святое на свете, что только есть у его сына.

В тот день на караульной вышке (недавно поставленной) впервые появились прожекторы и осветили потемневший военный лагерь; вдоль проволочной ограды ходил конвоир с овчаркой. На меня навалилась страшная тоска: я остался без Люции и знал, что не увижу ее целых два месяца. В тот же вечер я написал ей длинное письмо; писал, что долго не увижу ее, что нам запрещено выходить из казармы и как жалко, что она отвергла то, о чем я так мечтал и что в воспоминаниях помогло бы мне пережить эти томительные недели. Письмо я бросил в ящик, а на следующий день после обеда мы упражнялись в непременных «кругом», «шагом марш» и «ложись».

Исполнял я все эти команды совершенно автоматически и почти не замечал ни подававшего их сержанта, ни своих марширующих и падающих на землю товарищей; не обращал я внимания и на окружающее: с трех сторон бараки, а с одной — проволочное ограждение, за которым тянулось шоссе. Время от времени вдоль проволоки кто-то проходил, время от времени кто-то останавливался (по большей части дети, одни или с родителями, объяснявшими им, что за проволокой солдаты и что у них учения). Все это превратилось для меня в неживую кулису, в декорацию (все происходящее за проволокой было декорацией), поэтому я кинул взгляд на изгородь, лишь когда кто-то вполголоса крикнул в ту сторону: «Чего глазеешь, киска?»

Лишь тогда я увидел ее. Это была Люция. Она стояла у ограды в коричневом пальтеце, стареньком и поношенном (конечно, при наших летних покупках мы забыли, что лето кончится и придут холода), и в черных вечерних туфельках на высоких каблуках (мой подарок), которые так не вязались с ветхостью пальтеца. Она стояла неподвижно у проволочной ограды и смотрела на нас. Солдаты чем дальше, тем заинтересованней комментировали ее на удивление терпеливый вид, вкладывая в свои реплики все сексуальное отчаяние людей, содержащихся в насильственном целибате. Сержант тоже заметил рассеянность солдат, вскоре понял и ее причину; должно быть, в нем вспыхнула злость на свою собственную беспомощность: он не мог отогнать от проволоки девушку; за пределами проволочного ограждения была империя относительной свободы, куда не долетали его команды. Он лишь приказал солдатам прекратить всякие реплики и, повысив голос, ускорил темп обучения.

Люция временами прохаживалась вдоль ограды, временами совсем скрывалась из глаз, а потом вдруг снова возвращалась к месту, откуда было видно ее. Строевая подготовка кончилась, но я так и не смог подойти к ней — нам приказано было идти на политзанятие, где мы долго выслушивали фразы о лагере мира и о лагере империализма; лишь час спустя мне удалось выскочить во двор (уже смеркалось) и поглядеть, по-прежнему ли Люция за оградой; она была еще там, и я побежал к ней.

Она убеждала меня не сердиться на нее, говорила, что любит меня, ее мучит, что я грущу из-за нее. Я сказал, что не знаю, когда мы сможем увидеться. Она ответила, что это не имеет значения, она будет

ходить ко мне сюда. (Мимо прошли солдаты и отпустили какую-то пошлость.) Я спросил, не помешает ли ей, если солдаты будут что-то кричать в ее адрес. Она сказала, не помешает, потому что она любит меня. Она просунула мне сквозь проволоку стебель розы (раздалась труба: нас звали на построение); мы поцеловались в глазок проволочной ограды.

13

Люция приходила к казарменной ограде почти изо дня в день, пока я работал в утреннюю смену и, стало быть, все остальное время проводил в казарме; что ни день я получал букетик (однажды при осмотре чемоданчика сержант вывалил все на пол) и обменивался с Люцией одной-двумя фразами (фразами абсолютно банальными, нам в общем-то не о чем было говорить; мы не обменивались мыслями или новостями, а лишь уверяли друг друга в единственной многажды высказанной правде); к тому же я не переставал почти ежедневно писать ей; это было время нашей самой пламенной любви. Прожекторы на караульной вышке, собаки, лающие под вечер, щеголеватый мальчик, который всем этим командовал, не занимали слишком много места в моих мыслях, которые в основном сосредоточивались на появлении Люции.

И надо сказать, я был очень счастлив внутри казармы, охраняемой собаками, и внутри штольни, где всем телом налегал на тряский отбойный молоток. Я был счастлив и уверен в себе, ибо в Люции было мое богатство, каким не обладал никто из моих товарищей, да и никто из командиров; я был любим, любим на глазах у всех, любим демонстративно. Пусть Люция и не являла идеал женщины для моих товарищей, пусть ее любовь выражалась довольно странно, как они считали, но все-таки это была любовь женщины, и это вызывало удивление, ностальгию и зависть.

Чем дольше мы были отрезаны от мира и от женщин, тем больше говорилось о женщинах, во всех подробностях, во всех деталях. Вспоминались родинки, рисовались (карандашом на бумаге, киркой на глине, пальцем на песке) линии их грудей и зада; шли споры о том, какой зад вспоминаемых и отсутствующих женщин имеет самую желанную форму; точно воспроизводились выражения, сопутствующие соитию; все это варьировалось в новых и новых повторах и всякий раз дополнялось последующими нюансами. И, конечно же, товарищи приставали ко мне с вопросами и с тем большим любопытством ждали моих ответов, что девушку, о которой я буду говорить, видели теперь ежедневно и, стало быть, могли хорошо представить ее и увязать эту зримую девичью внешность с моими рассказами. Трудно было отказать в этом товарищам, а мне ничего не оставалось, как расписывать нашу близость; я рассказывал о Люциной наготе, которой никогда не видал, о любовной страсти, которой никогда не испытывал, и передо мной вставал вдруг тайный и детальный образ ее тихой неги.

Как все было, когда я любил ее впервые?

Рассказывая, я видел это как самую реальную реальность; это было в общежитии, в ее комнатке; она разделась передо мною покорно, преданно и все-таки с некоторым насилием над собой, она же была девушкой из деревни, а я первый мужчина, который видел ее обнаженной. И меня до безумия возбуждала именно эта преданность, смешанная со стыдом; когда я подошел к ней, она съежилась и закрыла руками лоно.

Почему она все время носит черные туфли на высоких каблуках?

Я сказал, что купил их ей затем, чтобы она ходила в них передо мною обнаженная; она стеснялась, но исполняла все мои желания; я всегда оставался как можно дольше одетым, а она ходила нагая в этих туфлях (мне страшно нравилось, что она обнажена, а я одет!), подходила к шкафу, где было вино, и, нагая, наливала мне...

Итак, когда Люция приходила к ограде, на нее смотрел не только я, но вместе со мной ее пожирали глазами по меньшей мере с десяток

моих друзей, которые досконально знали, как Люция любит, что при этом говорит, как вздыхает, и всегда многозначительно отмечали, что она опять в черных туфельках на высоких каблуках, и в их воображении рисовалось, как она обнаженная ходит в них по маленькой комнатке.

Любой из моих товарищей мог вспоминать о той или иной женщине и таким образом делиться ею с другими, и только я единственный мог кроме рассказов предоставить им возможность и *смотреть* на эту женщину; лишь моя женщина была реальной, живой и настоящей. Товарищеская солидарность, которая принудила меня детально вырисовывать образ Люциной наготы и ее умения любить, привела к тому, что моя мечта о Люции болезненно сконкретизировалась. Пошлости товарищей, комментирующих Люциины приходы, меня нимало не возмущали; никто из них тем самым не отнимал у меня Люции (к тому же, ото всех и от меня ее охраняла проволочная ограда и собаки); напротив, все отдавали ее мне: все заостряли для меня ее будоражащий образ, все творили его вместе со мной и сообщали ему с ума сводящую соблазнительность; я сдался на волю товарищей, и мы все вместе сдались мечте о Люции. Подходя к Люции, отделенной проволокой, я чувствовал, что весь дрожу; я даже говорить не мог от наваждения; невозможно было понять, что я встречался с нею полгода как робкий студент и совсем не видел в ней женщины; я готов был отдать все за единое обладание ею.

Тем самым я не хочу сказать, что мое отношение к ней стало грубее, проще, что в нем поубавилось нежности. Нет, я бы сказал, это был единственный раз в моей жизни, когда я переживал *тотальное томление по женщине,* в котором ожило все, что есть во мне: душа и тело, вожделение и нега, тоска и безумная жизнеспособность, жажда грубости и жажда утешения, жажда мига наслаждения и вечного обладания. Я весь был взбудоражен, весь напряжен, весь сосредоточен и вспоминаю эти минуты теперь, в возрасте линяющей мечты, как о потерянном рае (диковинный рай, который обходит конвойный с собакой и в котором рявкает приказы младший сержант).

Я решил сделать все возможное, чтобы встретиться с Люцией вне казармы; я помнил ее обещание, что в следующий раз она «не будет упрямиться» и встретится со мной, где я захочу. Она не раз подтвердила это и при наших коротких разговорах сквозь проволоку. Значит, надо было только отважиться на рисковое дело.

Я вмиг все продумал. После Гонзы у нас остался план побегов, который командир не раскрыл. Проволока все еще была незаметно надрезана, и договор с горняком, жившим напротив казармы, пока не был расторгнут, достаточно было разве его обновить. Казарма, надо сказать, охранялась образцово, и отлучка посреди бела дня была совершенно немыслима. С наступлением темноты казарму обходил патруль с собаками, светили прожекторы, однако все это было заведено скорее ради эффекта и удовольствия командира, чем из чьего-то подозрения, что мы можем пуститься в бега; раскрытый побег угрожал военным судом, и рисковать этим было слишком опасно. Именно потому я решил, что побег, пожалуй, мне удастся.

Речь шла лишь о том, чтобы найти для себя и Люции подходящее пристанище, которое по возможности было бы не слишком далеко от казармы. Горняки из ближайшей округи большей частью работали на том же руднике, что и мы, и с одним из них (пятидесятилетним вдовцом) вскоре я сумел договориться (стоило это сотни три по тогдашним деньгам), что он предоставит мне квартиру. Дом, где он жил (двухэтажный серый), был виден из казармы; я показал его Люции от ограды и изложил свой план; она не обрадовалась; предупредила, что ради нее я не должен подвергать себя опасности, и согласилась лишь потому, что не умела возражать.

Затем настал условленный день. Начался он довольно странно. Сразу же по возвращении со смены мальчик-командир отдал приказ построиться и произнес перед нами свою очередную речь. Обычно он пугал нас войной, которая того и гляди вспыхнет, и еще тем, как наше государство расправится с реакционерами (под ними он разумел прежде всего нас). На сей раз он обогатил свое выступление новыми мыслями: классовый враг проник прямо в коммунистическую партию; но пусть помнят шпионы и предатели, что со скрытыми врагами расправа будет во сто крат беспощаднее, чем с теми, кто не скрывает своих взглядов, ибо скрытый враг — паршивое сучье племя. «И один из них находится среди нас»,— заключил мальчик-командир и вызвал из строя мальчика Алексея. Затем извлек из кармана какие-то листки и сунул их ему под нос. «Тебе знакомо это послание?» — «Знакомо»,— ответил Алексей. «Пес паршивый! И вдобавок предатель и фискал. Однако собака лает, ветер носит». И перед глазами Алексея письмо разорвал.

«У меня для тебя еще одно письмо,— сказал он чуть погодя и подал Алексею открытый конверт: — Читай вслух!» Алексей вытащил из конверта бумагу, пробежал глазами — и не произнес ни слова. «Читай!» — повторил командир. Алексей молчал. «Будешь читать или нет?» — спросил командир снова, но поскольку Алексей продолжал молчать, приказал: «Ложись!» Алексей упал на грязную землю. Мальчик-командир с минуту постоял над ним, и мы все думали, что теперь ничего не может последовать, кроме как «встать», «ложись», «встать», «ложись», и что Алексей будет вынужден падать и вставать, падать и вставать. Но командир, так и не отдав больше команды, отвернулся от Алексея и стал медленно обходить первую шеренгу солдат, окидывая взглядом их одежду; за две-три минуты он дошел до конца шеренги, а затем снова неторопливо вернулся к лежащему солдату. «Ну, теперь читай»,— сказал он, и действительно Алексей приподнял над землей заляпанный грязью подбородок, вытянул перед собой руку, в которой все это время сжимал письмо, и, лежа на животе, стал читать: «Сим уведомляем, что пятнадцатого сентября тысяча девятьсот пятьдесят первого года вы были исключены из Коммунистической партии Чехословакии. От имени областного комитета...» Командир отослал Алексея назад в отделение, передал нас младшему сержанту, и началась строевая.

После строевой были политзанятия, а около половины седьмого уже стемнело. Люция показалась у ограды; я подошел к ней, она лишь кивнула, мол, все в порядке, и удалилась. После ужина сыграли зорю, и мы отправились спать. На своей койке я ждал минуты, когда уснет младший сержант — старшой по нашей комнате. Затем обул «поллитровки» и как был, в длинных белых подштанниках и ночной рубахе, вышел из комнаты. Прошел по коридору и оказался во дворе; в моем ночном одеянии меня изрядно пробирал холод. Место, где я собирался пролезть, находилось за медпунктом, и это было весьма кстати: попадись мне кто по пути, я сказал бы, что мне плохо и я иду к врачу. Но мне никто не попался; я обошел медпункт и спрятался в тень от его стены; прожектор лениво бросал свет на одно и то же место (караульный на вышке, видимо, относился к своим обязанностям не слишком серьезно), и участок двора, по которому мне предстояло пройти, утопал во тьме; я стоял, прижавшись к стене медпункта; теперь важно было одно: не наткнуться на конвойного с овчаркой, всю ночь шагавшего вокруг ограды; стояла тишина (опасная тишина, мешавшая мне ориентироваться); я обождал минут десять, пока не услышал лай собаки; он доносился откуда-то сзади, с другой стороны казармы. Тогда я отпрянул от стены и побежал (метров пять) к проволоке, которая после Гонзовой обработки чуть отставала от земли. Я пригнулся и подлез; теперь, не колеблясь, надо было сделать еще пять шагов; и вот я уже у деревянного заборчика шахтерского жилища; все в полном порядке, калитка была открыта, и я очутился в маленьком дворике одноэтажного домика, окно которого (с опущенными жалюзи) еще светилось. Я постучал в него,

в двери тотчас показался дюжий мужик и громким голосом пригласил меня войти. (Я, откровенно сказать, испугался этой громкости, памятуя, что всего лишь в пяти метрах от казармы).

Дверь вела прямо в комнату; я остановился на пороге, несколько смутившись: в комнате вокруг стола (на нем стояла открытая бутылка) сидели мужичков пять и попивали; увидев меня в исподнем, они дружно расхохотались; посчитав, верно, что в ночной рубахе мне холодно, с ходу налили рюмку; я пригубил: разбавленный спирт; под их понукания рюмку выпил залпом, закашлялся; это снова вызвало дружный смех, и мне предложили сесть; стали расспрашивать, как мне удался «переход через границу», и снова, уставившись на мое смешное одеяние, залились смехом, называя меня «подштанниками в бегах». В основном это были шахтеры в возрасте от тридцати до сорока, видимо собиравшиеся здесь довольно часто; они пили, но пьяны не были; после первоначального изумления (не без доли испуга) я вскоре почувствовал, как в их беззаботном присутствии избавляюсь от ощущения подавленности. Я дал налить себе еще рюмку этого необыкновенно крепкого и едкого питья. Хозяин дома тем временем вышел в соседнюю комнату и тут же вернулся с темным мужским костюмом. «Хорош будет?» — спросил он. Шахтер сантиметров на десять был выше меня и к тому же намного толще, но я сказал: «*Должен* быть хорош». Я надел брюки на подштанники, да вот горе: они падали, если не придерживать их в талии рукой. «Есть у кого пояс?» — спросил мой благодетель. Пояса ни у кого не было. «Ну хоть веревку»,— сказал я. Веревка нашлась, и вопрос с брюками кое-как был улажен. Я надел пиджак, и ребята решили, что я похож (почему — не совсем ясно) на Чарли Чаплина, недостает мне только котелка и тросточки. И чтоб уж сполна их порадовать, я встал пятками вместе, носками врозь; темные брюки собирались гармошкой над жестким подъемом башмаков-«поллитровок». Дяденьки были в восторге: заявили, что сегодня ни одна женщина не устоит передо мной и исполнит всякое мое желание. Налили мне третью рюмку спирта и выпроводили на улицу. Хозяин уверил меня, что я могу постучать в окно в любой час ночи, как только мне понадобится переодеться.

Я вышел в темную, с редкими фонарями окраинную улицу. Прошло минут десять, пока я обогнул стороной всю казарму и оказался на той улице, где ждала меня Люция. Чтобы попасть туда, надо было миновать освещенные ворота нашей казармы; стало немного не по себе, но как выяснилось — совершенно напрасно: гражданская одежда настолько защищала меня, что солдат, стоявший у ворот, и бровью не повел; и так без всяких препятствий я достиг условленного дома. Открыл наружную дверь (ее освещал одинокий уличный фонарь) и пошел по памяти (в этом доме я никогда не был, но помнил все по описаниям шахтера): лестница влево, второй этаж, первая дверь против лестницы. Я постучал. Раздался звук ключа в замке, открыла Люция.

Я обнял ее (она пришла сюда около шести, перед уходом хозяина в ночную смену, и с тех пор ждала меня); спросила, пил ли я; я ответил «да» и рассказал, как сюда попал. Она пожаловалась, что все время дрожала, как бы со мной ничего не случилось. (Тут я заметил, она и вправду дрожит.) Рассказал я и о том, как бесконечно тосковал по ней; я держал ее в объятиях и чувствовал, что чем дальше, тем больше она дрожит «Что с тобой?» — спросил я. «Ничего»,— ответила. «Почему ты дрожишь?» — «Я боялась за тебя»,— сказала она и легко выскользнула из моих объятий.

Я огляделся вокруг. Маленькая комнатка со скудной меблировкой: стол, стул, кровать (застланная грязноватым постельным бельем); над кроватью висела иконка; у противоположной стены шкаф, на нем банки с консервированными фруктами (единственная более или менее интимная вещь в комнате), а сверху с потолка свисала одинокая лампочка без абажура, она неприятно била в глаза и резко освещала мою фи-

гуру, печальную комичность которой я болезненно осознал в ту минуту: огромный пиджак, подвязанные веревкой брюки, из-под них торчат черные носы «поллитровок», и всю эту картину венчает мой свежевыбритый череп, сияющий, должно быть, в свете лампочки, как бледная луна.

«Люция, бога ради прости, что я так дико выгляжу»,— сказал я и вновь стал объяснять необходимость своего переодевания. Люция уверяла меня, что это вовсе не имеет значения, но я (во власти пьяной безоглядности) заявил, что не могу стоять перед ней в таком виде, и немедля сбросил с себя пиджак и брюки; однако под ними были ночная рубаха и уродливые армейские длинные подштанники — одеяние куда более комичное, чем то, что еще минуту назад прикрывало его. Я подошел к выключателю, погасил свет, но и потемки не спасли меня — сквозь окно в комнату пробивался луч уличного фонаря. Стыд быть смешным был сильнее стыда наготы, и я, быстро скинув рубаху и кальсоны, предстал перед Люцией в чем мать родила. Я обнял ее. (Снова почувствовал, что она дрожит.) Попросил ее раздеться, сбросить с себя все, что нас разделяет. Я гладил ее тело и вновь и вновь повторял свою просьбу, но Люция сказала, чтоб я подождал немножко, что она не может, что так сразу она не может, не может так быстро.

Я взял ее за руку, и мы сели на кровать. Я положил голову ей на колени, на миг успокоился и вдруг осознал всю нелепость своей наготы (чуть освещаемой грязным светом деревенского фонаря); поразила мысль, что все вышло совсем наоборот, чем мечталось: не одетого мужчину обслуживает голая девушка, а голый мужчина лежит на коленях одетой женщины; я казался себе снятым с креста нагим Христом на руках скорбящей Марии, и в то же время меня пугал этот образ: я же пришел сюда не за утешением и состраданием, а ради совершенно другого; и я опять начал домогаться Люции, целовал ее лицо, платье, пытаясь незаметно расстегнуть его.

Но ничего не получилось, Люция снова ускользнула от меня. Вконец опустошенный, я утратил свой начальный пыл, свое доверчивое нетерпение, исчерпал вдруг все слова и ласки. Я по-прежнему лежал на кровати голый, распростертый и неподвижный, а Люция сидела рядом и гладила меня шершавыми руками по лицу. И во мне росли неудовольствие и гнев: я мысленно припоминал Люции все опасности, которым подвергал себя, чтобы встретиться с ней сегодня; припоминал ей (опять же мысленно) всевозможные наказания, которыми грозил мне сегодняшний побег. Но это были лишь поверхностные укоры (поэтому — пусть молча — я и поверял их Люции). Истинный источник гнева был гораздо глубже (я постыдился бы открыть его): я думал о своей убогости, о печальной убогости незадачливой молодости, убогости бесконечных недель без утоления любовной жажды, об унижающей бесконечности неисполненных желаний; вспоминалось мое напрасное домогание Маркеты, уродство блондинки, восседавшей на жнейке, и вот снова — столь же напрасное домогание Люции. И хотелось мне в голос завыть: почему во всем я должен быть взрослым, как взрослый судим, исключен, объявлен троцкистом, как взрослый послан на рудники, но почему же в любви я не вправе быть взрослым и вынужден глотать все унижения незрелости? Я ненавидел Люцию, ненавидел ее тем сильнее, что знал: она любит меня, и потому ее сопротивление было еще бессмысленнее, непонятнее, ненужнее и доводило меня до бешенства. И так после получасового упорного молчания я атаковал ее снова.

Я повалил ее; употребив всю свою силу, задрал ей юбку, расстегнул бюстгальтер, просунул руку к оголенной груди, но Люция сопротивлялась чем дольше, тем яростнее и (захваченная, как и я, слепой силой) наконец одолела меня, вскочила с кровати и отступила к шкафу.

«Почему ты упираешься?» — крикнул я ей. Она не ответила, разве бубнила, чтоб я не сердился, но толком ничего не могла объяснить, не вымолвила ничего вразумительного. «Почему ты упираешься? Ты что, не знаешь, что я люблю тебя? Ты ненормальная!» — орал я. «Так вы-

гони меня»,— сказала она, все еще прижимаясь к шкафу. «Вот и выгоню, честное слово, выгоню, потому что не любишь меня, потому что делаешь из меня идиота!» Я крикнул, что ставлю ей ультиматум: или она будет моя, или я никогда не захочу ее видеть.

Я опять подошел к ней и обнял. На этот раз она не сопротивлялась, а лежала в моих объятиях, словно неживая. «Что ты носишься со своей невинностью, для кого ты ее бережешь?» Она молчала. «Чего ты молчишь?» — «Ты не любишь меня»,— сказала она. «Я тебя не люблю?» — «Не любишь. Я думала, ты любишь меня...» Она расплакалась.

Я опустился перед ней на колени; целовал ей ноги, умолял. А она плакала и говорила, что я не люблю ее.

Вдруг меня охватило безотчетное бешенство. Мне казалось, какая-то сверхъестественная сила стоит поперек дороги и всякий раз вырывает у меня из рук то, ради чего я хочу жить, о чем мечтаю, что мне принадлежит, что это та самая сила, которая отняла у меня партию, и товарищей, и университет, которая каждый раз все отнимает и каждый раз ни за что ни про что, без всякого повода. И теперь эта сверхъестественная, противоборствующая сила воплотилась в Люции. Люция стала орудием этой нечеловеческой силы, и я ненавидел ее; я ударил ее по лицу — мне казалось, это не Люция, а именно та вражья мощь; я кричал, что ненавижу ее, не хочу ее видеть, что уже никогда не захочу ее видеть, уже никогда в жизни не захочу ее видеть.

Я бросил ей в руки ее коричневое пальтецо (оно было перекинуто через стул) и крикнул: уходи!

Она надела пальто и ушла.

А я лег на кровать. Душа моя была совсем пуста, хотелось вернуть Люцию, я ведь тосковал по ней уже тогда, когда гнал от себя, потому что знал: в тысячу раз лучше быть с Люцией одетой и строптивой, чем быть без Люции, так как быть без Люции значит быть в полном одиночестве.

Я понимал это и все-таки не позвал ее назад.

Я долго лежал на кровати в чужой, снятой на время комнате, ибо не мог представить себе, как я встречусь в таком расположении духа с людьми как появлюсь в домике у казармы, как стану шутить с горняками и отвечать на их веселые бесстыдные вопросы.

Наконец (уже поздно ночью) я поднялся и пошел. Напротив дома, который я покидал, горел фонарь. Я обогнул казарму, постучал в окно домика (оно уже не светилось), подождал минуты три, снял костюм в присутствии зевающего хозяина, ответил нечто неопределенное на его вопрос об удаче моего предприятия и поплелся (опять в ночной рубахе и подштанниках) к казарме. Я был в полном отчаянии, и мне на все было плевать. Я не думал ни о патруле с собакой, ни о том, куда направлен прожектор. Я пролез сквозь проволоку и спокойно пошел в сторону своего барака. Достиг как раз стены медпункта, когда услышал: «Стой!» Я остановился. Меня осветили фонариком. Раздалось ворчанье собаки. «Что вы тут делаете?»

«Блюю, товарищ сержант»,— ответил я, опираясь рукой о стену.

«Ну валяй, валяй!» — сказал сержант и продолжил с собакой свой обход.

14

До своей койки в ту ночь я добрался без осложнений. Младший сержант уже дрыхнул, но уснуть мне так и не удалось, поэтому я обрадовался, когда резкий голос дневального (ревущего: «Подъем!») завершил эту отвратительную ночь. Я сунул ноги в башмаки и побежал в умывалку плеснуть на себя холодной освежающей воды. Вернувшись, увидел у Алексеевой койки скучившихся и приглушенно хихикавших полуодетых ребят. Мне сразу стало ясно, в чем дело. Алексей (он лежал на животе, голова в подушке, прикрыт одеялом) спал как убитый. Мне сразу вспомнился Франта Петрашек из третьего взвода, который од-

нажды утром в ярости на своего командира изображал такой непробудный сон, что его тормошили поочередно трое старших, и все без толку; в конце концов пришлось вынести его вместе с койкой во двор, и только когда на него направили струю из брандспойта, он стал лениво протирать глаза. Однако в случае с Алексеем не приходилось думать о каком-либо протесте: его крепкий сон мог быть вызван разве что физической слабостью. Из коридора в комнату вошел младший сержант (старший по комнате) с огромной кастрюлей воды; вокруг него теснилось несколько наших солдат, которые, по-видимому, и посоветовали ему прибегнуть к этой старинной идиотской шутке, столь вдохновляющей унтерские мозги всех времен и всех режимов.

В ту минуту меня возмутило это трогательное единодушие между рядовыми и сержантом (в иное время столь презираемым); возмутило меня, что общая ненависть к Алексею стерла вдруг все старые счеты между ними. Вчерашними словами командира об Алексеевом фискальстве они, по-видимому, объяснили свои собственные подозрения и почувствовали в себе внезапный наплыв горячего согласия с командирской жестокостью. Впрочем, разве не намного удобнее ненавидеть вместе с сильным коммунистом слабака, чем вместе со слабаком — сильного? В голову мне ударила слепящая ярость ко всем этим людям, к этой способности тупо верить каждому оговору, к этой их дежурной жестокости, которую они стремятся подкрепить непоколебимой уверенностью в себе,— и я, опередив младшего сержанта и его сподручных, подошел к койке и громко сказал: «Алексей, вставай, болван!»

Вдруг кто-то скрутил мне сзади руки и заставил опуститься на колени. Я оглянулся: Павел Пекны. «Ты чего суешься, большевистская морда?» — зашипел он. Я вырвался и отвесил ему оплеуху. Казалось, не миновать было драки, но ребята попытались утихомирить нас — боялись, как бы Алексей не проснулся раньше времени. Впрочем, младший сержант с кастрюлей был уже наготове. Он встал над Алексеем, рявкнул «Подъем!» — и одновременно вылил на него всю кастрюлю воды — литров десять по меньшей мере.

И случилось невероятное: Алексей по-прежнему оставался лежать. Младший сержант смешался на минуту, затем взревел: «Солдат! Встать!» — но солдат не двигался. Младший сержант, нагнувшись, потряс его (одеяло было мокрым, промокла и койка с простыней, и со всего капало на пол). Ему удалось перевернуть Алексея навзничь — и тут мы увидели его лицо: запавшее, бледное, неподвижное.

Младший сержант крикнул: «Врача!» Никто не шелохнулся, все смотрели на Алексея в промокшей насквозь ночной рубахе, и младший сержант, снова выкрикнув «Врача!», указал на какого-то солдата, который тут же выбежал из комнаты. (Алексей лежал неподвижно и казался еще меньше и болезненней, чем раньше, и гораздо младше, почти ребенком, только губы были не по-детски крепко сжаты, и капала с него вода. Кто-то сказал: «Дождь идет...»)

Затем пришел врач, взял Алексея за запястье и сказал: «Ну, все ясно». Снял с него мокрое одеяло, и Алексей оказался перед нами во всей своей (малой) длине, в вымокших длинных белых кальсонах, из которых торчали белые ступни. Врач, оглядевшись вокруг, взял с тумбочки два тюбика; осмотрел их (были пусты) и сказал: «Этого хватило бы на двоих». И, сорвав с соседней койки простыню, прикрыл Алексея.

Вся эта история задержала нас — завтракать пришлось уже на ходу; через три четверти часа предстояло спускаться в подземелье. Потом был конец смены, и снова строевая, и снова занятия, и обязательное пение, и уборка, и отход ко сну, и я все думал о том, что с нами нет Стани, нет и моего лучшего друга Гонзы (я никогда больше не видел его, слышал только, после армейской службы он перебежал через границу в Австрию) и что Алексея тоже нет; он отдавался своей великой роли слепо и мужественно и не был виноват в том, что его вдруг поки-

нули силы и он не сумел продолжать игру, не сумел, «опозоренный и оплеванный», покорно и терпеливо оставаться в строю; Алексей не был моим товарищем, он был чужд мне ожесточенностью своей веры, но судьбой был ближе всех; казалось, в свою смерть он вложил и скрытый укор, нацеленный прямо в меня, словно хотел дать понять, что человеку, исторгнутому партией из своих рядов, уже не для чего жить. И я вдруг почувствовал себя виновным, что не любил его — сейчас он безвозвратно ушел от нас, а я никогда ничего не сделал для него, хотя и был здесь единственным, кто мог бы немного облегчить его участь.

Но потерял я не только Алексея и невозвратную возможность защитить человека; сейчас, спустя годы, понимаю, что утратил я тогда и теплое душевное чувство единения с моими «черными» товарищами, а с ним и последний шанс воскресить свою затравленную веру в людей. Я усомнился в ценности нашей солидарности, которая была вызвана — под давлением обстоятельств — инстинктом самосохранения, загоняющим нас в дружную стаю. Я стал сознавать, что наш «черный» коллектив так же способен затравить одного человека (послать его в изгнание или на смерть), как и коллектив людей, единодушно поднимавших руки, как, должно быть, и любой человеческий коллектив.

В те дни на душе было так, словно над ней промчались ветры пустыни; и в этой пустыне из пустынь мучительно хотелось позвать Люцию. Я вдруг перестал понимать, почему столь невменяемо желал ее тела; теперь она казалась мне не женщиной во плоти, а прозрачным столпом тепла, который движется по империи бескрайнего холода и, изгнанный, удаляется от меня.

А потом настал следующий день, и я после смены, на строевых занятиях не спускал глаз с ограды — ждал, не придет ли она; но за все это время у проволоки остановилась разве что одна тетка, показывавшая нас своему замурзанному ребенку. И потому вечером я написал письмо, длинное и жалостное,— просил Люцию снова прийти, писал, что должен ее видеть, что уже ничего от нее не хочу, лишь бы только она была, лишь бы я мог ее видеть и знать, что она со мной, что она есть, что она действительно есть...

Точно в насмешку в эти дни потеплело, небо было голубое, стоял чудесный октябрь. Листва на деревьях играла всеми цветами, и природа (жалкая островская природа) справляла свое расставание с осенью в шальном экстазе.

Я не мог не считать это насмешкой: на мои отчаянные письма не приходило ни одного ответа, а у проволочной ограды останавливались (под вызывающим солнцем) лишь бесконечно чужие люди. Недели через две одно из моих писем пришло назад; на нем был перечеркнут адрес и чернильным карандашом приписано: адресат выбыл.

Меня обуял ужас Тысячекратно со времени последней моей встречи с Люцией я повторял про себя все, что сказал ей тогда и что она сказала мне, я стократ проклинал себя и оправдывался, стократ уверял себя, что оттолкнул Люцию навсегда, и стократ говорил себе, что Люция все-таки поймет меня и простит. Но приписка на конверте звучала приговором.

Не совладав со своим беспокойством, на следующий день я совершил еще один безумный поступок Называю его «безумным», хотя он ничуть не был опаснее моего недавнего побега из казармы,— атрибут безумия придала ему задним числом скорее его неудача, чем рискованность. Я знал, что Гонзе, когда у него завелась одна болгарка, муж которой до обеда бывал на службе, не раз удавалось навестить ее. Я последовал его примеру: утром пришел со всеми в смену, взял жетон, лампу, измазал лицо сажей и незаметно исчез; сбегал в Люциино общежитие и, распросив вахтершу, узнал, что недели две назад Люция ушла оттуда с чемоданчиком, в который собрала все свои пожитки, а куда, мол, пошла — кто знает, никому ничего не сказала. Я испугался: не случилось ли что с ней? Вахтерша, поглядев на меня, махнула рукой:

«Да бог с вами, эти работницы из деревни завсегда так делают. Приходят, уходят и никому ничего не докладывают». Я заехал на ее фабрику, спросил в кадрах; но и там ничего больше не знали. Потом я блуждал по Остраве и вернулся к шахте только к концу смены, чтобы затеряться среди товарищей, поднявшихся на поверхность; но, очевидно, что-то ускользнуло от меня из Гонзовой методы подобных самоволок, на мне все и провалилось. Через две недели я стоял перед военным трибуналом и получил десять месяцев отсидки за дезертирство.

Да, здесь, в минуту, когда я потерял Люцию, и началась, собственно, полоса безнадежности и пустоты, чьим прообразом стал для меня хмурый окраинный ландшафт родного города, в который я сейчас ненадолго приехал. Да, с той минуты все и началось. В течение тех десяти месяцев, что я сидел в тюрьме, умерла мама, и я не смог быть даже на похоронах. Потом вернулся в Остраву к «черным» и служил целый год. Тогда я подписал заявление, что после армии останусь еще на три года работать под землей — ходили слухи, что те, кто не подпишет, останутся в казарме на год-два дольше. Итак, уже после дембеля я оттрубил еще три года на рудниках.

Ни вспоминать, ни говорить об этом не люблю, и, кстати, мне противно, когда нынче похваляются своей судьбой те, кто, подобно мне, были тогда изгнаны движением, в которое верили. Да, конечно, когда-то и я героизировал свою изгнанническую судьбу, но то была ложная гордость. Со временем я сам себе безжалостно напомнил: к «черным» я попал не потому, что был мужествен, что боролся, отстаивал свою идею в противовес иным идеям, нет, моему падению не предшествовала героическая драма, я был скорей объектом, нежели субъектом всей своей истории, и мне тут (если не считать достоинством страдания, тоску или даже тщетность) вовсе нечем хвастать.

Люция? Ах да, целых пятнадцать лет я не видел ее и долго ничего не знал о ней. Лишь после возвращения из армии услышал, что она, похоже, где-то в Западной Чехии. Но я ее уже не разыскивал.

IV

1

Я вижу дорогу, что вьется полем. Вижу дорожную глину, изрытую узкими колесами деревенских телег. А вдоль дороги вижу межи, травяные межи так зелены, что трудно совладать с собой и не погладить ладонью их шелковистый скат.

Поле широко окрест в мелких полосах, нет, это вовсе не объединенное кооперативное поле. Как же так? Разве это не нынешняя земля, по которой я иду? Тогда что это за земля?

Иду дальше, и передо мной вырастает на меже куст шиповника. Он осыпан маленькими дикими розочками. И я останавливаюсь, я счастлив. Сажусь под куст, в траву, минутой позже растягиваюсь на спине. Чувствую, как спина касается травянистой земли. Ощупываю ее спиной. Держу ее на своей спине и прошу, пусть не боится быть тяжелой и налегать на меня всей своей громадой.

Вдруг слышу топот копыт Вдали подымается облачко пыли. Оно приближается, становится сквозным и редеет. Из него выныривают всадники. На конях сидят молодцы в белой форме. Но чем ближе они подъезжают, тем отчетливее небрежность их формы. Какие курточки застегнуты, и на них горят золотые пуговицы, какие распахнуты, а иные молодцы в одних рубахах. У кого на голове шапки, а кто простоволос. О нет, это не войско, это дезертиры, беглецы, разбойники! Да это же *наша* конница! Я встал с земли, глядя на подъезжавших всадников. Первый из них обнажил саблю и поднял ее вверх. Конница остановилась.

Молодец с саблей наголо склонился к шее лошади и посмотрел на меня.

«Да, это я»,— говорю.

«Король! — удивленно восклицает молодец.— Узнаю тебя!»

Я опускаю голову, я счастлив, что они знают меня. Они ездят здесь уже столько столетий и знают меня.

«Как поживаешь, король?» — спрашивает молодец.

«Страшно мне, други мои»,— говорю.

«За тобой гонятся?»

«Нет, но это хуже погони. Что-то против меня затевается. Не узнаю людей вокруг себя. Вхожу в дом, а внутри другая комната, и жена другая, и все другое. Мне кажется, я ошибся, выбегаю из дому, но снаружи это и впрямь мой дом! Снаружи мой, а изнутри чужой. И так повсюду, куда ни двинусь. Творится что-то, чего страшусь, други мои!»

Молодец спрашивает меня: «Не забыл ли ты еще, как ездить верхом?» Только тут я заметил, что рядом с его конем стоит еще один, оседланный, но без всадника. Молодец указал на него. Я сунул ногу в стремя и вскочил. Конь дернулся, но я уже сижу крепко и с наслаждением сжимаю коленями его спину. Всадник вытаскивает из кармана алый платок и подает мне: «Обвяжи лицо, чтобы не узнали тебя». Я обвязал лицо и враз ослеп. «Конь понесет тебя»,— слышу голос молодца.

Вся конница двинулась на рысях. По обеим сторонам я слышал гарцующих ездоков. Я касался икрами их икр и различал отфыркивание их коней. Около часу мы ехали так, бок о бок. Потом остановились. Тот же мужской голос снова обратился ко мне: «Мы на месте, король!»

«Где мы?» — спрашиваю я.

«Разве ты не слышишь, как шумит великая река? Мы стоим на берегу Дуная. Здесь тебе ничего не грозит, король».

«Да,— говорю,— чувствую, что здесь мне ничего не грозит. Я хотел бы снять платок».

«Нельзя, король, пока еще нельзя. Тебе не нужны глаза. Они бы только обманывали тебя».

«Я хочу видеть Дунай, это моя река, моя матушка-река, я хочу видеть ее!»

«Не нужны тебе глаза, король. Я расскажу тебе обо всем. Так будет лучше. Вокруг нас неоглядная равнина. Пастбища. Там-сям кустарник, а кое-где торчат деревянные жерди, коромысла колодцев. Но мы на травянистом берегу. Чуть поодаль трава кончается и переходит в песок, у реки ведь песчаное дно. А теперь можешь спешиться, король».

Мы сошли с коней и уселись на землю.

«Ребятки сейчас разложат костер,—слышу я голос молодца,— солнце уже сливается с далеким горизонтом, и вскоре похолодает».

«Я хотел бы видеть Власту»,— говорю вдруг.

«Увидишь».

«Где она?»

«Недалеко отсюда. Поедешь к ней. Твой конь домчит тебя к ней».

Я вскочил и стал просить, пусть позволят мне ехать к ней тотчас. Но мужская рука легла мне на плечо и пригнула к земле. «Сядь, король. Прежде отдохни и поешь. А тем временем я поведаю тебе о ней».

«Скажи, где она?»

«В часе езды отсюда стоит деревянный домик под соломенной крышей. И обнесен он деревянным частоколом».

«Да, да,— поддакиваю я и чувствую на сердце счастливую тяжесть,— все из дерева. Так и должно быть. Не хочу, чтобы в этом домике был хоть один-единственный металлический гвоздик».

«Да,— продолжает голос,— частокол из деревянных жердей, обработанных так легко, что видна изначальная форма веток».

«Все деревянные вещи похожи на кошку или собаку,— говорю я.— Это скорее твари, нежели вещи. Я люблю деревянный мир. Только в нем я чувствую себя вольготно».

«За изгородью растут подсолнухи, ноготки и георгины, и еще растет там старая яблоня. На пороге дома стоит сейчас Власта».

«Как она одета?»

«На ней льняная юбка, слегка замаранная, потому что она воротилась из хлева. В руке — деревянный ушат. Босая. Но она прекрасна, потому что молода».

«Она бедная,— говорю я,— она бедная девочка».

«Да, но притом она королева. А раз она королева, она должна быть сокрыта. Тебе и то нельзя к ней, чтобы не выдать ее. Разве только под покровом. Тебя приведет к ней твой конь».

Рассказ молодца был так прекрасен, что меня охватило сладкое томленье. Я лежал на травянистой лужайке, слышал голос, затем голос стих. И доносился лишь шум воды и треск костра. Было так сказочно, что я боялся открыть глаза. Но что делать! Я знал: пришла пора их открыть.

2

Подо мной лежит матрас на полированном дереве. Полированное дерево я не люблю. И такие гнутые металлические подпорки, на которых стоит тахта, тоже не люблю. Надо мной с потолка свисает розовый стеклянный шар с тремя белыми полосами вокруг. И этот шар не люблю. И сервант напротив не по мне — за его стеклом выставлено столько всякой ненужной утвари. Из дерева здесь только черная фисгармония в углу. Одну ее и люблю в этой комнате. Осталась после отца. Отец год назад умер.

Я встал с тахты, но не чувствовал себя отдохнувшим. Была пятница, перевалило за полдень, ровно через два дня воскресная «Конница королей» [1]. Все висело на мне. Ведь все, что касается фольклора, вечно взваливают на меня. Две недели кряду я не спал: ворох обязанностей, всяческие поиски, пререкания, хлопот полон рот.

Тут вошла в комнату Власта. Пожалуй, неплохо бы ей пополнеть. Полные женщины бывают добродушными. Власта худа, и на ее лице уже полно мелких морщинок. Спросила, не забыл ли я по дороге с работы зайти в прачечную за бельем. Я, конечно, забыл. «Другого я и не ждала»,— сказала она и поинтересовалась, буду ли я наконец сегодня вечером дома. Пришлось сказать, что не буду. В городе собрание. В райисполкоме. «Ты же обещал позаниматься сегодня с Владимиром». Я пожал плечами. «А кто будет на этом собрании?» Я стал перечислять участников, но Власта прервала меня: «И Ганзликова?» «Ага»,— сказал я. Власта сделала обиженный вид. Дело труба. У Ганзликовой дурная репутация. Ходили слухи, что она спит с кем попало. Власта была далека от подозрений, что у меня может быть что-то с Ганзликовой, но упоминание о ней постоянно выводило ее из себя. Она презирала собрания, в которых участвовала Ганзликова. Это всегда было яблоком раздора — и потому я предпочел поскорей улизнуть из дому.

На собрании обсуждали последние приготовления к «Коннице королей». Но толку — чуть. Нынче национальный комитет каждую копейку экономит на фольклорных празднествах, а еще несколько лет назад отваливал на них большие деньги. Теперь уже нам приходится ему подбрасывать. Союз молодежи уже ничем не прельщает людей, вот и решили поручить ему организацию «Конницы», авось станет попритягательней! Когда-то выручкой от «Конницы королей» поддерживали менее прибыльные фольклорные начинания, а на сей раз вся она пойдет Союзу молодежи — пусть, мол, распоряжается ею по своему усмотрению. Обратились в полицию с просьбой на время «Конницы» перекрыть шоссе. Да не тут-

[1] «Конница королей» — стародавний обрядовый объезд поля, совершаемый на Троицу. Сохраняется и поныне.

то было — в последний день получили отказ: нельзя, мол, ради «Конницы королей» прерывать движение. Но что станется с «Конницей», если лошади всполошатся посреди машин? Да, забот невпроворот.

Ушел я с собрания лишь около восьми. На площади вдруг узрел Людвика. Он шел по противоположному тротуару навстречу мне. Я, честно сказать, оробел. Что ему тут понадобилось? Я перехватил его взгляд — он на мгновение задержался на мне и скользнул в сторону. Людвик сделал вид, что не видит меня. Подумать только, два старинных товарища. Восемь лет за одной партой. А делает вид, что не видит меня!

Людвик, это была первая трещина в моей жизни. Теперь уж помаленьку привыкаю, что жизнь моя не очень прочный дом. Я был недавно в Праге и зашел в один из тех маленьких театриков, которые, как грибы, возникали в шестидесятые годы и быстро завоевывали популярность, молодые люди создавали их в студенческом духе. Играли пьеску с не бог весть каким захватывающим содержанием, но зато с остроумными песенками и неплохим джазом. Вдруг джазисты ни с того ни с сего напялили шляпы с пером, какие носят у нас к национальному костюму, и стали подражать капелле с цимбалами. Визжали, ухали, копировали наши танцевальные жесты, в особенности наше типичное вскидывание руки вверх... Продолжалось это, видимо, несколько минут, но зрители чуть не валились со смеху. Я не верил своим глазам. Еще лет пять назад никто бы и не посмел делать из нас посмешище. Да и никто бы не смеялся над этим. А теперь мы смешны. Как же получилось, что мы вдруг стали смешны?

Да и Владимир — туда же. В последние недели с ним вовсе нет сладу. Райком порекомендовал Союзу молодежи выбрать его в этом году «королем». С незапамятных времен избрание «королем» — знак особого почета его отцу. И в нынешнем году сподобился этого я. В лице моего сына хотели отблагодарить меня за все, что я сделал здесь для народного искусства. Но Владимир взбрыкнул, стал отговариваться чем мог. И тем, что хочет в воскресенье ехать в Брно на мотогонки, и даже тем, что боится лошадей. А под конец вообще сказал, что не хочет быть «королем», раз это спущено сверху. И что терпеть не может протекций.

Сколько невыносимо горьких минут я пережил из-за этого. Он словно хотел исключить из своей жизни все, что могло бы напоминать ему о моей. Отказывался, к примеру, ходить в детский ансамбль песни и танца, что я организовал при нашем ансамбле. Он уже тогда находил отговорки: у него, дескать, нет музыкальных способностей. Хотя он вполне сносно играл на гитаре и с товарищами пел американские шлягеры.

Владимиру, конечно, всего пятнадцать. И он любит меня. Чуткий мальчик. Недавно мы говорили с ним, и, я надеюсь, он понял меня.

3

Наш разговор помню хорошо. Я сидел на вращающемся стульчике у фисгармонии, опираясь локтем о закрытую крышку, а Владимир — напротив, на тахте. Фисгармония — любимейший мой инструмент. С детства я слышал ее, отец играл на ней ежедневно. В основном народные песни в простой гармонизации. Я словно слышал далекое журчание родников. Если бы Владимир захотел понять меня, если бы он захотел понять...

У всех народов есть свое народное искусство. Но большинство из них могут легко отстранить его от своей культуры. Мы — нет. Для любого западноевропейского народа, по меньшей мере со средневековья, характерно достаточно непрерывное культурное развитие. Дебюсси может опираться на музыку рококо — Куперена и Рамо, Куперен и Рамо — на средневековых трубадуров. Макс Регер может опираться на Баха, Бах — на старых немецких полифонистов. Томас Манн может уверенно протянуть руку через столетия средневековому Фаусту.

Чешский народ в семнадцатом и восемнадцатом веках почти перестал существовать. В девятнадцатом столетии он, собственно, родился во второй раз и выглядел ребенком среди старых европейских народов. Хотя и было у него свое давнее прошлое, своя большая культура, но та была

отделена от него пропастью в двести лет, на протяжении которых по-чешски не говорили ни дворяне, ни даже горожане. Чешская речь из городов отступила в деревню и стала принадлежностью лишь необразованного люда. Но и тогда она продолжала творить свою культуру. Культуру скромную и от взоров Европы совсем сокрытую. Культуру песен, сказок, звуковых обрядов, пословиц и поговорок. И все это стало узеньким мостком через двухсотлетнюю пропасть.

Единый мостик, единые мостки. Единственный тоненький ствол непрерывной традиции. И те, что на пороге девятнадцатого столетия стали творить новую чешскую литературу и музыку, прививали их ростки именно на этом деревце. Поэтому первые чешские поэты и музыканты так часто собирали сказки и песни. Поэтому их первые поэтические и музыкальные опыты часто были лишь парафразой народной поэзии и народной мелодии.

Если бы ты понял это, Владимир. Твой отец вовсе не сумасбродный фанат фольклора. Но даже если в какой-то мере это и так, сквозь его фанатизм прозревается глубина веков. В народном искусстве он слышит, как струятся соки, без которых бы чешская культура высохла. В звуки этих струй он влюблен.

Эта влюбленность началась в войну. Нам хотели доказать, что у нас нет права на существование, что мы — говорящие на славянском языке немцы. Мы должны были убедить себя, что мы существовали и существуем. Мы все тогда паломничали к источникам. Ad fontes. И даже самые заядлые модернисты. Галас и Голан [1], Мартину [2] и Эмиль Филла [3]. Они все покорно отправлялись в странствование к истокам народного искусства.

Тогда настал и мой черед. Я играл в небольшом студенческом джазе на контрабасе. Отец не уставал муштровать меня в музыке, и я играл на всех смычковых инструментах. Однажды пришел к нам доктор Блага, председатель Моравского кружка. Предложил возродить капеллу с цимбалами. Это, дескать, наш патриотический долг: доказать, что мы славяне, что у нас есть своя старая народная культура.

Можно ли было тогда отказаться? Я принял предложение и стал играть в капелле на скрипке.

Мы пробудили народные песни от смертельного сна. Как известно, в девятнадцатом веке патриоты в самую пору переместили народное искусство в песенники. Цивилизация стала быстро оттеснять фольклор. Но уже на рубеже столетий начали зарождаться этнографические кружки, ставившие целью вернуть народное искусство из песенников обратно в жизнь. Сперва в городах. Затем в деревне. И особенно в нашем крае. Устраивались народные празднества, «Конницы королей», плодились народные ансамбли. Усилий было несказанно много, но толку чуть. Фольклористам не удавалось возродить народное искусство с той же быстротой, с какой цивилизация сумела разрушить его. Однако война влила в нас новые силы.

Когда идет речь о жизни или смерти — в этом тоже есть свой смысл. Человек прозревает ядро там, где до этого видел лишь непроницаемую скорлупу. Шла война, на карту была поставлена жизнь народа. Мы слушали народные песни и осознавали вдруг, что они и есть сущая суть народа. Я посвятил им жизнь. Вместе с ними я сливаюсь с потоком, который течет в самых глубинах. Я волна этого потока. Я волна и река одновременно. И для меня это благо.

Во время войны мы все воспринимали острее. Шел последний год оккупации, в нашей деревне мы организовали «Конницу королей». В городе была казарма, и на тротуарах среди зрителей толпились и немецкие офицеры. Наша «Конница королей» превратилась в демонстрацию. Кавалькада пестро одетых юношей с саблями наголо. Неодолимая чеш-

[1] Владимир Голан (1905—1980) — чешский поэт.
[2] Богуслав Мартину (1890—1959) — чешский композитор.
[3] Эмиль Филла (1882—1953) — чешский живописец.

ская конница. Послание из глубин вековой истории. Все чехи именно так и воспринимали «Конницу» — глаза их горели от гордости. Мне было тогда пятнадцать, и меня выбрали королем. Я ехал с закрытым лицом между двумя пажами. И тем необыкновенно гордился. И отец мой гордился, знал, что выбрали меня королем в его честь. Он был деревенский учитель, патриот, и все дружно любили его.

Я верю, Владимир, что все в жизни имеет свой смысл. Верю, что судьбы людские связаны воедино узами мудрости. Вижу некое знамение в том, что в нынешнем году королем избран ты. Я горд, как и двадцать лет назад. И даже больше, чем тогда. Потому что в твоем лице хотят почтить меня. А я ценю эту почесть, зачем кривить душой? Я хочу передать тебе мое королевство. И хочу, чтобы ты принял его.

Надеюсь, он понял меня. Обещал, что согласится быть королем. Что поедет с «Конницей».

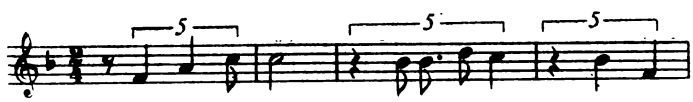
4

Если бы он захотел понять, как это увлекательно. Не могу представить себе ничего более интересного. Ничего более захватывающего.

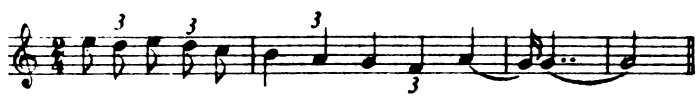
Приведу хотя бы такой пример. Музыковеды долгое время утверждали, что европейские народные песни ведут свое происхождение от барокко. В замковых капеллах играли и пели деревенские музыканты, а затем переносили музыкальность замковой культуры в народную жизнь. Отсюда делался вывод, что народная песня вообще не может считаться оригинальным художественным проявлением. Она якобы не восходит к подлинно фольклорной музыке.

Народные песни на территории Чехии действительно родственны профессиональной барочной музыке. Однако что возникло раньше? Курица или яйцо? Не понимаю, почему именно народную песню надо считать должником.

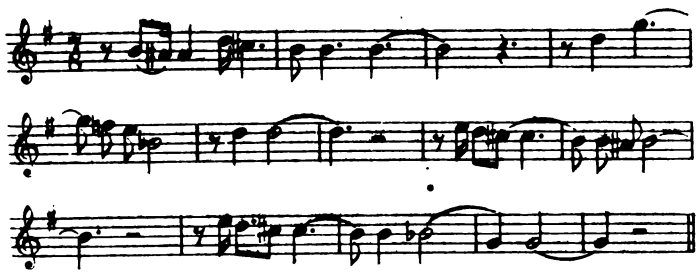
Но как бы ни было в Чехии, песни, которые поются в Южной Моравии, даже при самом большом желании нельзя возводить к профессиональной, нефольклорной музыке. Это было нам ясно с самого начала. Хотя бы с точки зрения тональности. Авторская барочная музыка написана в мажоре и миноре. Но наши песни поются в тональностях, какие замковым капеллам даже не снились! Ну хотя бы в лидийском ладу с увеличенной квартой. Она всегда вызывает во мне тоску по стародавним пасторальным идиллиям. Я вижу языческого бога и слышу его свирель. Вот, например:



Барочная и классическая музыка фанатично почитали упорядоченность большой септимы. Путь к тонике они знали лишь через непременный вводный тон. Малая септима, которая восходит к тонике большой секундой, их отпугивала. А я в наших народных песнях люблю именно эту малую септиму, звучит ли она в эолийском, дорийском или лидийском ладу. За ее меланхоличность и задумчивость. И за то, как отчаянно она отказывается спешить к основному звуку, которым все обрывается, и песня и жизнь:



Но все эти песни в тональностях столь своеобразных, что их нельзя определить ни одной из так называемых церковных тональностей. Стою перед ними в невыразимом восторге.



Моравские песни по своей тональности необычайно разнообразны. Их строй бывает загадочным. Начинаются они минорно, кончаются мажорно, колеблясь между несколькими тональностями. Часто, когда приходится гармонизировать их, я вообще не могу понять их тональность. И насколько они многозначны тонально, настолько многозначны и ритмически. Особенно нетанцевальные, протяжные, Барток называл их «разговорными». Их ритмы вообще нельзя запечатлеть в нашей нотной системе. Или можно сказать иначе: с точки зрения нашей нотной системы все народные певцы поют свои песни ритмически неточно и плохо.

Как это объяснить? Леош Яначек [1] утверждал, что эта сложность и неуловимость ритма вызваны различными, сиюминутными настроениями певца. И это ритмическое своеобразие, говорил он, зависит от того, где поется, когда поется и в каком настроении поется песня. Народный певец реагирует на разноцветье цветов, на погоду и просторы края.

Но не слишком ли поэтично сие объяснение? Еще на первом курсе университета профессор ознакомил нас со своим экспериментом. Он предложил спеть нескольким народным исполнителям, независимо друг от друга, одну и ту же ритмически неуловимую песню. Пользуясь точными электронными приборами, он установил, что все певцы поют совершенно одинаково.

Стало быть, нельзя сказать, что ритмическая сложность песни вызвана неточностью, несовершенством или настроением певца. У нее свои таинственные законы. В определенном типе моравской танцевальной песни вторая половина такта, например, всегда на долю секунды дольше, чем первая. Но как в нотах запечатлеть эту ритмическую сложность? В основу метрической системы нефольклорной музыки положена симметрия. Целая нота делится на две половинки, половинная — на две четвертные, такт делится на две, на три, на четыре одинаковых доли. Но что делать с тактом, который делится на две неодинаково длинные доли? Сейчас для нас особо крепкий орешек — как вообще записать нотными знаками исконный ритм моравских песен.

Но есть орешек и покрепче — откуда все-таки взялась эта сложная ритмика? Один исследователь выступил с теорией, что протяжные песни первоначально исполнялись при верховой езде. В их удивительном ритме остались запечатленными, утверждает он, шаг лошади и движение всадника. Другие считали более вероятным усматривать прамодель этих песен в медленном, раскачивающемся шаге, которым вечерами прогуливались молодые люди по деревне. А третьи — в медленном ритме, в каком сельчане косят траву...

Это все, возможно, лишь предположения. Но одно несомненно: наши песни нельзя возводить к барочной музыке. Чешские, пожалуй, можно. Пожалуй. Наши — определенно нельзя. Хотя наша страна состоит из трех земель: из Чехии, Моравии и Словакии, граница народной культуры делит ее на две половины: на Чехию с Западной Моравией и на Сло-

[1] Леош Яначек (1854—1928) — чешский композитор.

вакию с Восточной Моравией, моей родиной. В Чехии был более высокий уровень цивилизации, более тесная связь городов с деревней, а сельчан с замком. На востоке тоже были замки. Но деревня своей примитивностью была отгорожена от них гораздо больше.

Селяне здесь не ходили играть ни в какие замковые капеллы. Кстати, здесь, в культурном поясе Угрии, функции замковых капелл выполняли цыгане.

Но они не играли дворянам и баронам менуэты и сарабанды итальянской школы. Они играли свои чардаши и думки, а это были народные песни, лишь несколько преобразованные сентиментальной и орнаментальной цыганской интерпретацией.

В этих условиях у нас смогли сохраниться народные песни даже с самых стародавних времен. Здесь и объяснение тому, отчего они так безгранично разнообразны. Они возникали на разных этапах своей долгой, неторопливой истории. И потому, когда стоишь лицом к лицу с целостной нашей музыкальной культурой, невольно приходит на ум сравнение с танцующей перед тобой женщиной из «Тысячи и одной ночи», что постепенно сбрасывает с себя один убор за другим.

Вот первый убор. Он из набивной ткани с тривиальным узором. Это самые молодые песни, возникшие в последние пятьдесят, семьдесят лет. Они пришли к нам с Запада, из Чехии. Приносили их духовые оркестры. Учителя в школе учили наших детей петь их. По большей части это мажорные песни обычного западноевропейского характера, лишь немного приспособленные к нашей ритмике.

А вот второй убор. Этот уже намного пестрее. Это песни венгерского происхождения. Они сопровождали проникновение венгерского языка в словацкие области Угрии. Цыганские капеллы распространяли их в девятнадцатом веке по всей стране. Кто не знает их?

Чардаши и «вертуньки» с типичным синкопическим ритмом в каденции.

А сбрасывает танцовщица и этот убор, обнаруживается следующий. Вот он. Это уже песни здешнего славянского населения восемнадцатого и семнадцатого столетий.

Но еще прекраснее четвертый убор. Это старинные песни. Их возраст восходит аж к четырнадцатому веку. Тогда забредали в наш край по хребтам Карпат с востока и юго-востока валахи. Пастухи. Их пастушьи и разбойные песни ничего не ведают об аккордах и гармониях. Они лишь по мелодике воспринимаются в системах архаических тональностей. Свирели и фуяры придали особое своеобразие их мелодике.

А когда спадает и этот убор, под ним уже ничего не остается. Танцовщица танцует совершенно нагая. Это самые древние песни. Их возникновение уходит корнями к давним языческим временам. Они основаны на самой древней системе музыкального мышления. На системе четырех звуков, системе тетрахорда. Сеножатные песни. Уборочные песни. Песни, тесно связанные с обрядами патриархальной деревни.

Бела Барток указывал, что в этом древнейшем пласте невозможно различить песни словацкие, южноморавские, мадьярские и хорватские. Когда мысленно воображаешь сию географическую область, перед глазами встает великая славянская держава девятого столетия, держава Великоморавская. Ее границы были разрушены тысячелетие назад, и все-таки в том древнейшем пласте народных песен они и поныне остались четко очерченными!

Народная песня или народный обряд — это тоннель под историей, в котором сохранилось много из того, что на поверхности давно сметено войнами, революциями и беспощадной цивилизацией. Сквозь этот тоннель мой взгляд устремляется далеко назад. Я вижу Ростислава и Святоплука, первых моравских князей. Вижу древний славянский мир.

Но к чему без устали говорить лишь о славянском мире? Тому времени свойственна была и своя международность! Мы ломали голову над одним загадочным текстом народной песни. В ней поется о хмеле в ка-

кой-то неясной связи с возом и козой. Кто-то влез на козу, кто-то едет на возу. И на все лады расхваливается хмель, который якобы дев превращает в невест. Даже народные певцы, что пели песню, не понимали текста. Лишь инерция старинной традиции сохранила в песне сочетание слов, которое уже давно утратило вразумительность. В конце концов нашлось единственно возможное объяснение: древнегреческие празднества Дионисии. Сатир на козле и бог, держащий тирс, увитый хмелем.

Античность! Нельзя было в это даже поверить! Но потом, уже в университете, я изучал историю музыкального мышления. Музыкальная структура наших древнейших народных песен действительно сходна с музыкальной структурой античной музыки. Лидийский, фригийский и дорийский тетрахорд. Понимание гаммы как нисходящей системы, считающей основным звуком верхний, а отнюдь не нижний звук, который становится основным лишь в том случае, когда музыка начинает мыслить гармонически. Таким образом, наши древнейшие песни относятся к той же эпохе музыкального мышления, что и песни, исполняемые в Древней Греции. В них сохраняется для нас время античности!

Моравский живописец Упрка пригласил в начале века в Моравию скульптора Родена. Он показал ему «Конницу королей». Роден якобы пришел в полнейший восторг от этой красоты и воскликнул: это же Эллада! О скульптурах Родена здесь никто не имеет никакого понятия, но это изречение знает каждый. Все видят в нем лишь выражение восторга. Но мне-то ясно, что у этого изречения есть вполне точный смысл!

5

Сегодня за ужином меня без конца преследовал взгляд Людвика, скользнувший в сторону. И я невольно еще больше потянулся к Владе. И вдруг испугался, не упустил ли я его. Удалось ли мне хоть раз вовлечь его в свой мир. После ужина Власта осталась на кухне, а мы с Владимиром пошли в комнату. Я попытался рассказать ему о песнях. Это же так интересно, так увлекательно. Но у меня почему-то не получилось. Я, пожалуй, выглядел ментором. И боялся, что навожу на Владю скуку. Влада, конечно, сидел и молчал и, похоже, слушал. Он добрый. Он был ко мне всегда добр. Но знаю ли я, что творится в его голове?

Когда я уже изрядно намучил его своими речами, в комнату заглянула Власта и сказала, что пора спать. Что поделаешь — она душа дома, его календарь, его часы. Не будем ей перечить. Ладно, сынок, покойной тебе ночи.

Я оставил его в комнате, в той самой с фисгармонией. Он спит там на тахте, что с никелированными ножками. Я сплю рядом в спальне на супружеской кровати. Вместе с Властой. Спать пока не пойду. Не усну. Долго буду ворочаться и бояться разбудить Власту. Пройдусь-ка еще по саду. Теплая ночь, высеялись звезды. Сад у нашего старого одноэтажного дома, в котором живем, полон стародавних деревенских ароматов. Под грушей — скамейка. Делал ее еще дед — отец моего отца. Она из толстого, слегка отесанного дерева. Из двух досок и четырех кольев.

Чертов Людвик. Надо было ему именно сегодня заявиться! Боюсь, это дурной знак. Мой старинный товарищ!

Как раз на этой скамейке мы часто сиживали еще мальчишками. Я любил его. С первого же класса гимназии, как только познакомился с ним. Мы все и мизинца его не стоили, но он никогда не задавался. Школу и учителей в грош не ставил и все делал наперекор правилам.

Почему мы с ним так подружились? Наверняка это перст судьбы. Мы оба наполовину осиротели. У меня умерла в родах мама, а у Людвика, когда ему было тринадцать, отца угнали в концлагерь, и он уже никогда больше не видел его.

Почему немцы упекли старого Яна, так никто до конца и не знал. Иные с усмешкой утверждали, что на его совести были какие-то гешефты и спекуляция. Работал десятником в бригаде каменщиков в одной немецкой фирме, и ему удавалось разными махинациями доставать лиш-

вие продуктовые карточки. Людвик говорил, будто он отдавал их одной еврейской семье, что голодала. Кто знает. Те евреи уже никогда не вернутся, чтобы подтвердить это.

Людвик был старшим сыном. А в те годы и единственным — младший братик умер. После ареста отца они с матерью остались одни. Жили в страшной нужде. Гимназия влетала в копеечку. Похоже было, Людвику придется бросить школу. Но в час двенадцатый пришло спасение. У отца Людвика была сестра, которая еще задолго до войны составила выгодную партию с богатым здешним строителем. После этого с братом-каменщиком почти не встречалась. Но когда брата арестовали, ее патриотическое сердце дрогнуло, и она, договорившись с невесткой, взяла Людвика под свою опеку. Ее единственная дочь была чуть ли не придурковатой, и Людвик своими талантами всегда возбуждал в ней зависть. Однако она и ее муж стали не только оказывать племяннику денежную поддержку, но и ежедневно приглашать его в дом. На обеды и ужины. Его представляли городскому бомонду, что собирался у них. Людвику приходилось без конца выражать им свою благодарность, ибо от их поддержки зависела его учеба.

При этом он любил их, как собака палку. Фамилия их была Коутецкие, ставшая с тех пор у нас нарицательной для всех спесивцев. Строитель Коутецкий был меценатом. Скупал множество картин у пейзажистов нашего края. У тех, у кого было имя. Но это были халтурщики — не приведи господь. Пани Коутецкая останавливалась перед картиной, рассказывал Людвик, и восторженно вздыхала: «О, какая перспектива!» Они судили о картине исключительно по тому, как на ней изображалась перспектива.

На невестку Коутецкая смотрела свысока. Она не могла простить брату, что тот не сделал хорошей партии. И даже после его ареста не изменила к ней отношения. Пушечное жерло своей благотворительности она нацелила исключительно на одного Людвика. Видела в нем продолжателя своего рода и мечтала усыновить его. Существование невестки рассматривала как досадную помеху. Ни разу даже не пригласила ее к себе в дом. Людвик, видя это, скрежетал зубами. Он был привязан к матери. И часто еле сдерживал себя. Но мать всякий раз слезно умоляла его быть разумным и выказывать Коутецким благодарность.

Тем охотнее Людвик ходил к нам. Мы были словно двойняшки. Отец любил его едва ли не больше меня. Гордился, что Людвик взахлеб глотает его библиотеку и знает каждую книжку. Когда я стал принимать участие в студенческом джазе, Людвик захотел быть там со мной. Купил в комиссионке дешевый кларнет и за короткий срок научился вполне пристойно играть. Играли мы в джазе вместе, а когда к нам явился доктор Блага и воззвал к нашему патриотизму, мы вместе пошли в капеллу с цимбалами.

В конце войны выходила замуж дочь Коутецких. И мадам Коутецкая решила устроить свадьбу со всей пышностью: пусть за женихом и невестой будет пять пар подружек и дружек. Обязала быть дружкой и Людвика и определила его в пару с одиннадцатилетней дочкой местного аптекаря. Людвик тогда потерял всякое чувство юмора. Злился, что должен разыгрывать шута в балагане этой чванливой свадьбы. Он хотел, чтобы его считали взрослым, и сгорал от стыда, когда ему пришлось подставить руку одиннадцатилетнему заморышу. Бесился, что Коутецкие демонстрируют его как свидетельство своей благотворительности. Кипел от ярости, что вынужден при обряде целовать обслюнявленный крест. Вечером он улизнул со свадебного пиршества и прибежал к нам в задний зал трактира. Мы играли, попивали и потешались над ним. Он разозлился и объявил, что ненавидит мещан. Потом проклял церковный обряд, сказал, что плюет на церковь и что порвет с ней.

Тогда мы не восприняли его слов серьезно, но вскоре после войны Людвик действительно так и сделал. И Коутецких тем самым смертельно оскорбил. Но ему это было только на руку. Он с радостью распро-

щался с ними. Начал неведомо почему симпатизировать коммунистам. Ходил на лекции, которые они устраивали. Покупал книжки, которые они издавали. Наш край был сплошь католический, а гимназия — в особенности. Людвиковы коммунистические взгляды мы не очень-то разделяли. И все-таки готовы были простить ему их, как некоторую занятную экстравагантность. Мы признавали его превосходство.

В сорок седьмом нам вручили аттестаты об окончании гимназии. Тем же днем Людвик в ознаменование своей зрелости подал в районный комитет заявление о приеме в партию. А осенью мы разбрелись по свету. Людвик поехал учиться в Прагу. Я — в Брно. Мы оба оставили дома двух одиноких родителей. Людвик — мать, я — отца. Брно от нас, к счастью,— не более двух часов поездом. Я ездил на субботу и воскресенье домой. К отцу и в капеллу. Но Людвика после окончания гимназии я целый год не видал.

6

Да, это был именно сорок восьмой год. Вся жизнь пошла кувырком.

Когда на каникулах к нам в кружок пришел Людвик, мы слегка растерялись. Среди нас не было коммунистов. В февральском перевороте мы видели наступление диктатуры. Людвик принес кларнет, но он не понадобился ему. Всю ночь напролет мы проговорили.

Тогда ли начался разлад между нами? Думаю, нет. В ту ночь Людвик, пожалуй, целиком завладел моими мыслями. Он, по возможности, уклонялся от споров о политике и говорил о нашем кружке. Говорил, что мы должны осмыслить нашу работу с большим размахом, чем прежде. Какой толк, дескать, лишь воскрешать утраченное прошлое. Кто оглядывается назад, кончает как Лотова жена.

Так что же нам теперь делать? — забрасывали мы его вопросами.

Разумеется, отвечал он, как зеницу ока надо беречь наследие народного искусства, но этого недостаточно. Настало новое время. Для нашей работы открываются широкие горизонты. Наш долг — вытеснить из всеобщей музыкальной культуры повседневности пустые песенки и шлягеры, все те кичи, которыми мещане кормили народ. Им на смену должно прийти настоящее, подлинное искусство народа, которое составит основу современного стиля жизни и современного искусства. Занятно! Однако то, что Людвик говорил, было расхожими выдумками самых консервативных моравских патриотов. Те всегда бунтовали против безбожной испорченности городской культуры. В мелодиях чарльстона им слышалась сатанинская свирель. Но что с того! Тем понятнее звучали для нас слова Людвика.

Впрочем, его дальнейшие рассуждения казались уже оригинальнее. Он повел речь о джазе. Джаз вырос из народной негритянской музыки и завладел всем западным миром. Оставим, говорил он, в стороне факт, что джаз постепенно стал коммерческим делом. Для нас он может служить вдохновляющим доказательством, что народная музыка обладает чудодейственной силой, что из нее может вырасти всеобщий музыкальный стиль эпохи. Мы слушали Людвика, и к нашему восторгу постепенно примешивалась неприязнь. Отталкивала нас его уверенность. Он держался точно так же, как и все тогдашние коммунисты. Словно заключил тайный договор с самим будущим и правомочен был действовать от его имени. Он вызывал у нас антипатию, пожалуй, еще и потому, что стал вдруг не таким, каким мы его знали. Для нас он всегда был корешем и зубоскалом. Сейчас же он говорил с пафосом и не стыдился своей высокопарности. И, конечно, отталкивал нас еще и тем, что так естественно, без всяких колебаний, связывал судьбу нашей капеллы с судьбой коммунистической партии, хотя никто из нас в ней не состоял.

Но, с другой стороны, его слова нас и привлекали. Идеи его отвечали нашим самым сокровенным мечтам. И неожиданно придавали нашему делу поистине историческую значимость. Они слишком льстили нашей любви к моравской песне, чтобы мы могли их отвергнуть. А лич-

но я вдвойне не мог. Я любил Людвика. Но любил и отца, который посылал к черту всех коммунистов. Людвиковы слова перекидывали через эту пропасть мост.

Я называю его про себя Крысоловом. Именно так и было. Стоило ему заиграть на флейте, как мы сразу к нему валом валили. Там, где его идеи были слишком расплывчаты, мы кидались ему на помощь. Вспоминаю и свои собственные рассуждения. Я говорил о европейской музыке, о том, как она развивалась со времен барокко. После импрессионизма она уже устала сама от себя, у нее не стало живительных соков ни для сонат и симфоний, ни для шлягеров. Поэтому такое чудодейственное влияние оказал на нее джаз. Из его тысячелетних корней она начала жадно вбирать в себя свежие соки. Джаз заворожил не только европейские кабачки и танцевальные залы. Он заворожил и Стравинского, Онеггера, Мийо, Мартину — их сочинения жадно вбирали его ритмы. Однако не так-то все просто! В то же время, а точнее еще десятилетием раньше, в жилы европейской музыки влила свою свежую, неусталую кровь и восточноевропейская народная музыка. И в ней черпали вдохновение молодой Стравинский, Яначек, Барток и Энеску! Таким образом, уже само развитие европейской музыки уравновесило влияние восточноевропейской музыки и джаза. Их вклад в формирование современной серьезной музыки двадцатого века был равноценным. Лишь с музыкой широких слоев дело обстояло иначе. На нее народная музыка Восточной Европы почти не оказала влияния. Здесь безраздельно властвовал джаз. И, стало быть, этим и определяется наша задача. Hic Rhodus, hic salta. Здесь Родос, здесь и прыгай.

Да, это так, соглашался он с нами. В корнях нашей народной музыки сокрыта такая же сила, что и в корнях джаза. У джаза своя, совершенно особая мелодика, в которой постоянно ощутима исконная шестизвуковая гамма старинных негритянских песен. Но и наша народная песня имеет своеобразную мелодику, тонально даже более богатую. У джаза оригинальная ритмика, чья фантастическая сложность выросла на тысячелетней культуре африканских барабанщиков и тамтамистов. Но и наша музыка ритмически невероятно самобытна. Наконец, джаз рождается на принципах импровизации. Но и поразительная сыгранность народных музыкантов, ничего не ведающих о нотах, основывается на импровизации.

Лишь одно разнит нас с джазом. Джаз быстро развивается и меняется. Его стиль в движении. Ведь как крута дорога от нью-орлеанской полифонии через hot джаз, свинг, к cool джазу и далее. Нью-орлеанскому джазу даже не снились гармонии, какие использует современный джаз. Наша народная музыка — это спящая принцесса из прошлых веков истории. Наша задача — разбудить ее. Она должна слиться с современной жизнью и развиваться вместе с ней. Развиваться так же энергично, как джаз: оставаясь самой собой, не утрачивая своей мелодики и ритмики, она должна вступать во все новые и новые стилевые фазы. И говорить о нашем двадцатом столетии. Стать его музыкальным зеркалом. Нелегко, конечно. Это огромная задача. Это задача, которую можно выполнить лишь при социализме.

Что у нее общего с социализмом? — возражали мы.

Он объяснил нам. Старая деревня жила коллективной жизнью. Общие обряды сопровождали весь деревенский год.

Народное искусство жило исключительно внутри этих обрядов, и ни в чем другом. Романтики воображали, что девушку на покосе охватывало вдохновение и из нее ключом била песня, как источник из скалы. Но народная песня возникает иначе, чем художественное стихотворение. Поэт творит, чтобы выразить самого себя, свою исключительность и неповторимость. Народной песней человек не отделял себя от других, а напротив, сливался с остальными. Народная песня возникала как сталактит. Капля за каплей обрастала она новыми мотивами и новыми вариантами. Ее передавали от поколения к поколению, и каждый, кто ее

пел, придавал ей что-то новое. У каждой песни было много творцов, и все они скромно терялись в тени своего творения. Ни одна народная песня не существовала сама по себе. У каждой была определенная функция. Были песни, что пелись на свадьбах, песни, что пелись на дожинки, на масленицу, песни рождественские, песни покосные, плясовые и похоронные. Даже любовные песни не существовали вне определенных привычных обрядов. Вечерние деревенские гулянки, пение под окнами девушек, сватовство — все это имело свой коллективный ритуал, и в этом ритуале песни занимали свое раз и навсегда установленное место.

Капитализм разрушил старую, коллективную жизнь. И тем самым народное искусство утратило свою почву, смысл своего бытования, свою функцию. Тщетны были бы попытки возродить его, покуда существуют такие общественные условия, в каких живут люди, разобщенные между собой, сами по себе. Но социализм освободит человека от ига одиночества. Люди будут жить в новой коллективности. Они будут связаны единым общественным интересом. Их личная жизнь сольется с общественной. Они вновь объединятся десятками общих обрядов, создадут свои новые коллективные традиции, а некоторые позаимствуют из прошлого. Дожинки, масленицы, плясовые забавы, трудовые обычаи. Возникнут и новые: Первое мая, митинги, праздники Освобождения, собрания. Здесь всюду найдет свое место народное искусство. Здесь оно будет развиваться, меняться и обновляться. Можем ли мы это понять наконец?

Перед моими глазами всплывал день, когда у деревьев на наших улицах стояли привязанные войсковые лошади. За несколько дней до этого Красная Армия отбила наш город. Мы надели праздничные национальные костюмы и пошли играть в парк. Потягивая вино, играли без устали много часов подряд. Русские солдаты вторили нам своими песнями. И я говорил себе тогда, что настает новая эра. Эра славян. Мы такие же наследники античности, как романские и германские народы. Но в отличие от них мы проспали и продремали много столетий. Зато выспались. И сейчас мы бодрые. Настал наш черед!

Это ощущение снова сейчас возвращалось ко мне. Я непрестанно думал о наших истоках. У джаза — корни в Африке, а ствол в Америке. Наша музыка уходит живыми корнями в музыкальность европейской античности. Мы хранители старого и драгоценного дара. Мысли выстраивались абсолютно логично, цепляясь одна за другую. Славяне приносят революцию. С нею — новую коллективность и новое братство. С нею — новое искусство, которое будет жить в людях так, как когда-то старые деревенские песни. Миссия, которую возложила на нас история, на нас, юношей у цимбал, была поистине невероятной и поистине закономерной.

А вскоре оказалось, что невероятное начинает и в самом деле сбываться. Никто никогда не сделал для нашего народного искусства столько, сколько коммунистическая власть. Огромные суммы ассигновала она на организацию новых ансамблей. Народная музыка, скрипка и цимбалы ежедневно звучали по радио. Моравские и словацкие народные песни наводнили институты, праздники Первомая, молодежные гулянья и эстрады. Джаз не только совершенно исчез из обихода нашей страны, но стал символом западного капитализма и его упадка. Молодежь перестала танцевать танго и буги-вуги и на своих увеселениях и праздниках, обнимая друг друга за плечи, водила по кругу хороводы. Коммунистическая партия делала все, чтобы создать новый стиль жизни. Такой, как в Советском Союзе. Она опиралась на знаменитое сталинское определение нового искусства: народное по форме, социалистическое по содержанию. А народную форму не могло придать нашей музыке, танцу, поэзии ничто другое, кроме народного искусства.

Наша капелла плыла по вздутым волнам этой политики. Вскоре она стала известна по всей стране. Пополнилась певцами и танцорами и превратилась в мощный ансамбль, который давал концерты на сотнях эстрад дома и ежегодно выезжал за границу. И пели мы не только по старинке о Яничке, что убил свою милую, но и новые песни, которые

создавали в ансамбле сами. Вот хотя бы о том, как «живется хорошо там, где нету пана», или песню о Сталине, о вспаханных межах, о дожинках на кооперативном поле. Наша песня уже перестала быть лишь воспоминанием о старых временах. Она жила. Она принадлежала новейшей истории. Она сопровождала ее.

Коммунистическая партия горячо нас поддерживала. И потому наши политические оговорки быстро таяли. Я сам вступил в партию сразу же в начале сорок девятого. Да и остальные товарищи из нашего ансамбля последовали моему примеру.

7

Но мы с ним всегда оставались друзьями. Когда же впервые между нами пролегла тень?

Конечно, я знаю. Отлично знаю. Случилось это на моей свадьбе.

Я учился в Брно в высшем музыкальном училище по классу скрипки и в университете слушал лекции по музыковедению. На третьем году пребывания в Брно вдруг почувствовал себя ужасно как-то неуютно. Отцу дома жилось все хуже и хуже. Он перенес инсульт. К счастью, выкарабкался, но с этого времени вынужден был очень следить за своим здоровьем. Меня непрестанно мучила мысль, что он дома один и, случись с ним беда, не сможет даже послать мне телеграмму. Каждую субботу я возвращался домой со страхом, а в понедельник утром уезжал в Брно в еще большей тревоге. Однажды стало совсем невмоготу. Промучился я весь понедельник, во вторник разнервничался еще больше, а в среду бросил все пожитки в чемодан, расплатился с квартирной хозяйкой и сказал, что уже не вернусь.

До сих пор вспоминаю, как я тогда шел с вокзала домой. В нашу деревню, примыкающую к городу, путь лежит через поле. Стояла осень, время близилось к сумеркам. Дул ветер, и на полях мальчишки запускали в небо на длиннющих бечевках бумажных змеев. Когда-то отец мне тоже сделал такого змея. А потом ходил со мной в поле, подбрасывал змея в воздух и пускался бежать, чтобы ветер надул бумажное тело и вознес кверху. Меня это не очень увлекало. Папу — больше. Именно это воспоминание и растрогало меня тогда, и я убыстрил шаг. Вдруг пронзила мысль, что отец посылал змея в небеса к маме.

Странно, но с малолетства по сию пору я представляю себе маму на небесах. Нет, я не верую ни в бога, ни в жизнь вечную — ни во что такое. То, о чем я говорю, не вера. Это образы. И эти образы обступают меня и заселяют мое одиночество. Надо ли от них отказываться? Без них я осиротел бы. Власта упрекает меня, что я фантазер, что вижу вещи не такими, какие они на самом деле. Нет, я вижу вещи такими, какие они есть, но кроме видимых вещей вижу еще и невидимые. Фантастические образы не просто так существуют на свете. У них своя причина, почему они с нами. Среди нас они дома. И наоборот. Они-то и превращают наши дома в пенаты.

О маме я узнал, когда ее уже давно не было в живых. Поэтому я никогда не плакал по ней. Скорее я всегда радовался тому, что мама молода и красива и что она на небесах. У других детей не было такой молодой матери, какой была моя.

Я люблю представлять себе, как святой Петр сидит на табуретке у окошка, из которого видна внизу земля. Мама часто приходит к нему. Петр всегда делает добро ей, потому что она красива. И дает в окошко поглядеть. И мама видит нас. Меня и отца.

Мамино лицо никогда не бывало печальным. Напротив. Когда она смотрела на нас из окошка в Петровых вратах, то очень часто улыбалась нам. Кто живет в вечности, не мучится печалью. Он терпелив. Он знает, что жизнь человеческая длится мгновение и что встреча близка. Но когда я бывал в Брно и оставлял отца одного, мне казалось, что мамино лицо печально и укоризненно. А я хотел жить с мамой в ладу.

Я торопился, стало быть, домой и видел, как бумажные змеи взмывали в воздух и плыли к небесам. Я был счастлив. Я не жалел ничего из того, что покидаю. Конечно, я любил свою скрипку. Любил я и теорию музыки. Но к карьере я не стремился. И самый яркий жизненный путь не заменит радости возвращенья домой, где ты снова окружен тем, что обретаешь при рождении: горизонтом родного пейзажа, задушевностью знакомых стен, мамой, отцом. Возвращался я домой с великим облегчением.

Когда я сообщил отцу, что в Брно уже не вернусь, он не на шутку рассердился. Не хотел, чтобы ради него я калечил себе жизнь. Пришлось сказать ему, что из училища меня выгнали за неуспеваемость. В конце концов он поверил и разозлился еще пуще прежнего. Но меня это не очень огорчало. Впрочем, вернулся я домой не бездельничать. Я продолжал играть первую скрипку в нашем ансамбле. В музыкальной школе нашел место учителя по классу скрипки. Словом, вернулся в мир, который люблю.

В этом мире была и Властоčка. Она жила в соседней деревне, что стала сейчас — как и моя деревня — уже окраиной нашего города. Танцевала у нас в ансамбле. Я познакомился с ней, еще когда учился в Брно, и рад был, что по возвращении могу чуть не каждый день с ней видеться. Но настоящая влюбленность пришла чуть позже — причем внезапно, когда однажды на репетиции она вдруг упала и сломала ногу. На руках я нес ее в вызванную машину «скорой помощи» и чувствовал ее слабенькое тельце. И тогда вдруг с удивлением осознал, что во мне-то самом метр девяносто росту и сто килограммов весу — впору дубы валить,— а она легонькая и несчастная. Я задыхался от сострадания, и мне было так благостно, что я молил, чтобы эта минута длилась как можно дольше. Чтобы осталась навечно. Чтобы пропитала все, что суждено нам впереди.

Это была минута провидческая. Во Властином страдальческом облике я вдруг увидел другой, гораздо более знакомый. Как же так, почему мне это давно не пришло в голову? Власта ведь была «бедная девчоночка», образ стольких народных песен! Бедная девчоночка, у которой нет на свете ничего, кроме чистоты, бедная девчоночка, всеми обиженная, бедная девчоночка в стареньком платьице, бедная девчоночка — сиротинушка.

В прямом смысле слова, конечно, было не так. У Властоčки были родители, притом совсем не бедные. И как раз потому, что это были крестьяне зажиточные, новое время стало прижимать их к стенке. Властоčка зачастую приходила в ансамбль в слезах. От родителей требовали высоких поставок. Ее отца объявили кулаком. Реквизировали у него трактор и другие сельскохозяйственные машины. Угрожали арестом. Я жалел ее и утешал себя мыслями, что буду беречь ее. Бедную девчоночку.

С тех пор как я стал воспринимать Власту освященной словом из народной песни, мне казалось, будто я вновь переживаю любовь, тысячу раз пережитую. Будто играю по каким-то старинным нотам. Будто они пропевают мне народные песни. Отданный этому поющему потоку, я мечтал о свадьбе и ждал ее с нетерпением.

За два дня до свадьбы неожиданно приехал Людвик. Я восторженно встретил его. И тут же сообщил ему великую новость относительно моей свадьбы и попросил, как самого дорогого товарища, быть на ней свидетелем. Он пообещал мне. И прищел.

Мои друзья из ансамбля устроили мне истинно моравскую свадьбу. Ранним утром все явились к нам с капеллой и в национальных костюмах. Наш цимбалист, пятидесятилетний Вондрачек, был старшим дружкой. Ему выпала роль посаженого отца. Сперва папа мой угостил

гостей сливянкой, хлебом и шпиком. Затем посаженый отец кивнул всем, чтобы утихли, и звучным голосом возгласил:

Высокочтимые парубки и дéвицы,
судари и сударушки!
Я вас затем в покои пригласил,
что здешний молодец желанье изъявил,
чтоб поспешили вы в дом отца Власты Нетагаевой с ним вместе,
поелику дочь его, девицу благородную, он взял себе в невесты...

Посаженый отец, старший дружка,— голова, душа, распорядитель всего обряда. Так уж повелось издревле. Так было на протяжении тысячи лет. Жених никогда не был субъектом свадьбы. Был ее объектом. Не он женился. Его женили. Свадьбой опутывали его, и он уже плыл по воле ее мощных волн.

Не он действовал и не он говорил. За него действовал и говорил посаженый отец. Да и посаженый отец не был действующим лицом обряда. Им была многовековая традиция, что подхватывала одного человека за другим и вовлекала его в свой благостный поток. В этом потоке один уподоблялся другому и становился человечеством.

Вот мы и отправились под началом посаженого отца в соседнюю деревню. Шли полем, и товарищи играли на ходу. Перед Власточкиным домом нас уже поджидали, одетые в национальные костюмы, люди со стороны невесты. Посаженый отец запричитал:

Мы путники усталые.
Хотим учтиво вас просить
сей дом почтенный нам дозволить посетить,
чтоб жажду-голод малость утолить.

Из толпы, стоявшей у ворот, выступил пожилой человек в национальном костюме. «Коль вы люди добрые, милости просим». И зазвал нас в дом. Мы молча ввалились в сени. Были мы, как представил нас посаженый отец, всего лишь усталыми путниками и спервоначалу не выдавали своего истинного умысла. Старик в национальном костюме, выступавший от невестиной стороны, обратился к нам: «Коли что у вас на сердце лежит, сказывайте».

И тут посаженый отец стал говорить, сперва туманно и со всякими околичностями, а старик в национальном костюме таким же манером отвечал ему. Лишь после долгих недомолвок посаженый отец открыл, зачем мы пришли.

В ответ на это старик преподнес ему такой вопрос:

Ты поведай, милый дружка,
для чего жених преславный эту славную девицу
хочет повести к венцу?
Цвет иль плод взойдет к концу?

И посаженый отец ответствовал:

Хорошо всем ведомо, что цвет цветет
в красе да милоте, вот и сердце утешается.
Но цвет опадает,
плод созревает.
Невесту, стало быть, не ради цвета, а
ради плода берем, потому как от плода прок бывает.

Еще с минуту они вот так перекликались, пока невестин заступник не заключил: «А теперь-ка невесту призовем, пускай скажет, согласна она или нет».

Он ушел в соседнюю комнату, но вскоре воротился, ведя за руку женщину в национальном костюме. Была она худой, долговязой, костлявой, а лицо — закрыто платком: «Вот она, невеста».

Но посаженый отец завертел головой, и мы все громким гулом выразили свое несогласие. Старик поуговаривал нас недолго и под конец увел замаскированную женщину назад. И лишь потом привел к нам Власту. Она была в черных сапожках, красном переднике и ярком

лифе. На голове был веночек. Она показалась мне красивой. Старик вложил ее руку в мою.

Потом повернулся к невестиной матери и крикнул жалостливым голосом: «Ой, матушка!»

Невеста при этих словах вырвала свою руку из моей, опустилась на колени перед матерью и склонила голову. Старик продолжал:

Матушка родная, простите меня, буде в чем вас обидела!
Матушка родимая, Христом-богом прошу, отпустите мой грех,
буде в чем вас обидела!
Матушка, свет вы мой, пятью господними ранами заклинаю вас,
простите меня, буде в чем вас обидела!

Мы были лишь немыми актерами, подставленными под давно напетый текст. А текст был красивый, захватывающий, и все это было правдой. Потом заиграла музыка, и мы пошли в город. Свадебный обряд был в ратуше, там тоже играла музыка. Потом был обед. После обеда отправились мы в «Моравскую избу», где играли и танцевали.

Вечером подружки сняли с Властиной головы розмариновый веночек и торжественно отдали мне. Из распущенных волос заплели ей косу, обвили ее вокруг головы и на голову надели чепец. Этот обряд символизировал прощание с девичеством. Власта, конечно, уже давно не была девушкой. А значит, не имела права и на веночек — символ невинности. Но для меня это было не важно. В каком-то высшем смысле, куда более обязательном, она лишалась девичества именно и исключительно сейчас, когда подружки отдавали мне ее веночек.

Бог мой, почему же воспоминание о розмариновом веночке умиляет меня больше, чем наша взаправдашняя первая близость, чем настоящая Властичкина девическая кровь? Не знаю почему, но это так. В песнях, что пели женщины, этот веночек уплывал по воде, а волны расплетали на нем алые ленты. Мне хотелось плакать. Я был пьян. Я видел перед глазами, как плывет этот венок, как ручей отдает его речке, речка — реке, река — Дунаю, Дунай — морю. Я видел перед глазами венок во всей его невозвратности. И хотелось плакать именно из-за этой невозвратности. Чтобы человеку стать человеком, надо пройти сквозь эту невозвратность в полном сознании. Испить ее до дна. Жульничать тут не приходится. Нельзя делать вид, что не видишь ее. Но современный человек жульничает. Он стремится, минуя все подводные камни, на даровщину пройти от жизни к смерти. Человек простонародья честнее. Он опускается на самое дно каждого знаменательного события. Когда Властичка окровянила полотенце, какое я подложил под нее, я не думал, что встречаюсь с невозвратностью. Но на свадьбе я не мог от нее увернуться. Женщины пели песни о разлуке. «Ты постой, постой, извозчик молодой, дай проститься с матушкой родной. Ты постой, постой, не стегай хлыстом, дай проститься с родненьким отцом. Ты постой, постой, не гони ты лошадей, здесь сестрица моя, не расстанусь я с ней. Прощайте, подруженьки мои, уж меня от вас везут, к вам дорожки зарастут».

Пришла ночь, и свадебные гости проводили нас к нашему дому. Там все остановились, и Властичкины подружки стали наказывать, чтоб на новом месте никто не обидел *девчоночку бедную,* разнесчастную, она дома в любви жила — так пускай и тут будет всякому мила.

Я открыл ворота. Власта остановилась на пороге и еще раз повернулась к гостям, столпившимся перед домом. Тут кто-то из них запел еще одну, последнюю песню:

На крыльце стояла,
красою сияла,
что ала розочка.
С крыльца соступила,
красу погубила
моя ухажерочка..

За нами закрылась дверь, мы остались одни. Властичке было двадцать, мне немногим более. Но я думал о том, что она перешагнула по-

рог и что с этой магической минуты будет опадать ее красота, как листья с дерева. Я видел в ней это будущее опаданье. Начавшееся опаданье. И именно потому бесконечно любил ее. Думал я о том, что не только цвет, но в это мгновенье присутствует в ней уже и будущее мгновенье плода. Я ощущал во всем этом непоколебимый порядок, с которым сливаюсь и который разделяю. Думал в эту минуту и о Владимире — его я еще не мог знать и образ его не предугадывал, и все-таки я думал о нем и смотрел сквозь него дальше — в дали его детей. Мы улеглись с Властой на высоко постланную постель, и казалось нам, что сама мудрая бесконечность человеческого племени заключила нас в свои мягкие объятия.

8

Чем задел меня на свадьбе Людвик? В общем-то ничем. Был он странный, сомкнутые, точно замерзшие губы. Когда после обеда стали играть и танцевать, друзья предложили ему кларнет. Чтоб он тоже играл. Он отказался. А вскоре и вовсе ушел. К счастью, я был изрядно под градусом и не обратил на это особого внимания. Но на следующее утро я понял, что его уход оставил на вчерашнем дне махонькое пятнышко. Алкоголь, который растекался у меня по крови, увеличивал это пятнышко до приличных размеров. А еще больше, чем алкоголь,— Власта. Она никогда не любила Людвика. Жены инстинктивно делят товарищей мужа на безвредных и опасных. Людвика Власта зачислила во вторую категорию и не могла нарадоваться, что он живет в Праге.

Когда я сообщил ей, что Людвик будет свидетелем, она даже сникла. А уж на следующий день с особенным удовольствием тыкала мне в глаза его вчерашним поведением. У него, говорила она, был такой вид, будто все ему докучают. Он спесивый, упрямый, нос так дерет — едва небо не проткнет.

Еще в тот же день вечером Людвик сам зашел к нам. Принес Власте кой-какие подарки и извинился. Надеется, мол, что мы простили его, вчера он был не в своей тарелке. Рассказал нам, что произошло с ним. Вылетел из партии и из университета. Ума, дескать, не приложит, что будет с ним дальше.

Я ушам своим не поверил, не знал, что сказать. Впрочем, Людвик и не хотел, чтобы жалели его, и быстро свернул разговор на другую тему. Нашему ансамблю через две недели предстояло отправиться в большое заграничное турне. Мы, деревенские, ужасно этому радовались. Людвик слышал об этом и стал расспрашивать о нашей поездке. Я знал, Людвик с самого детства мечтал о загранице, но теперь уж вряд ли когда туда попадет. Людей с политическим пятном в те годы, да и много позже за границу не пускали. Я чувствовал, мы с ним уже по разные стороны баррикады, и предпочитал замять наш разговор о поездке. Говорить о ней — значило бы освещать внезапно разверзшуюся пропасть между нашими судьбами. Мне хотелось покрыть тьмой эту пропасть, и я боялся каждого слова, которое могло бы высветить ее. Но я не находил ни одного, какое бы не выхватывало ее из тьмы. Любая фраза, хоть как-то затрагивавшая нашу жизнь, убеждала нас, что у каждого теперь свой путь. Что судьба определила нам разные возможности, разное будущее. Что нас уносит в противоположные стороны. Я пытался говорить о чем-то будничном и маловажном, из чего бы не выпирала так наша разобщенность. Но получилось еще хуже. Никчемность разговора была мучительна, и беседа наша скоро зашла в тупик. Людвик быстро простился и ушел.

Вскоре он поступил на временную работу, где-то за пределами нашего города, а я с ансамблем уехал за границу. С тех пор не видал его несколько лет. В армию я послал ему одно или два письма, но всякий раз после их отправки во мне оставалось ощущение такой же неудовлетворенности, как и после нашего последнего разговора. Я так и не сумел быть до конца чистосердечным с Людвиком после его паде-

ния. Стеснялся, что моя жизнь сложилась удачливо. Мне казалось невыносимым с высоты своего благополучия утешать его словами одобрения или сочувствия. Я предпочитал делать вид, что между нами ничего не изменилось. В письмах сообщал ему, чем мы занимаемся, что нового в ансамбле, какой у нас появился цимбалист и какие произошли события. Я изображал, будто мой мир все еще остается нашим общим миром. И постоянно чувствовал гнусный привкус притворства.

Однажды отец получил извещение о смерти матушки Людвика. Никто из нас вообще не знал, что она была больна. Когда исчез из моего поля зрения Людвик, вместе с ним исчезла и она. Сейчас я держал извещение о смерти в руках и думал о своем невнимании к людям, которые отошли на обочину моей жизни. Моей успешной жизни. Я чувствовал себя виноватым, хотя ни в чем, собственно, не провинился. А потом заметил странную вещь, которая меня напугала. Под извещением о смерти за всех родственников подписались лишь супруги Коутецкие. О Людвике — ни звука.

Наступил день похорон. Я с самого утра нервничал, что встречусь с Людвиком. Но Людвик не приехал. За гробом шла горстка людей. Я спросил Коутецких, где Людвик. Они пожали плечами и сказали — не знают. Похоронная процессия остановилась у просторного склепа с тяжелым мраморным камнем и белой скульптурой ангела.

У богатой семьи строителя отобрали все — жила она теперь на маленькую пенсию. И остался у нее лишь этот большой фамильный склеп с белым ангелом. Я все это знал, но не мог понять, почему гроб опускают именно туда.

Лишь поздней мне стало известно, что Людвик был тогда в тюрьме. Его матушка была единственной, кто знал об этом. Но никому ни слова. В полном одиночестве она страдала своим тяжким недугом, который в конце концов довел ее до больницы, а там и до могилы.

Когда она умерла, в Коутецких снова разгорелось пламя родственной любви. Они приняли мертвое тело нелюбимой невестки и объявили ее своей родней. Наконец-то отомстили неблагодарному племяннику. Отняли у него мать. Придавили ее тяжелым мраморным камнем, над которым высится белый ангел с кудрявыми волосами и ветвью. Этот ангел долго мне потом вспоминался. Кудрявый ангел с лживой оливковой ветвью. Он возносился над разоренной жизнью товарища, у которого украли даже тела покойных родителей. Ангел разбоя.

9

Власта не любит никаких экстравагантностей. Сидеть ни с того ни с сего ночью в садике для нее — экстравагантность. Я услыхал резкий стук в оконное стекло. За стеклом темнела строгая тень женской фигуры в ночной рубашке. Я покорен. Не умею противиться более слабым. А коль во мне метр девяносто и я одной рукой поднимаю мешок весом в центнер, до сих пор мне не довелось найти в жизни никого, кому бы я мог оказать сопротивление.

И так я вошел в дом и лег рядом с Властой. Чтобы не молчать, я обмолвился о том, что встретил нынче Людвика. «Ну и что?» — сказала она с подчеркнутым равнодушием. Ничего не попишешь. Презирает его, на дух не переносит. Впрочем, жаловаться ей не на что. Со дня нашей свадьбы случилось ей лишь однажды увидеться с ним, в пятьдесят шестом. А тогда я не мог даже от самого себя скрыть пропасть, которая нас разделяла.

За спиной у Людвика уже были армия, тюрьма и несколько лет работы на рудниках. Он хлопотал в Праге о своем восстановлении на факультете и в наш город приехал, чтоб покончить с кой-какими полицейскими формальностями. Я опять волновался перед нашей встречей. Но встретился я не со сломленным нытиком. Напротив, Людвик был другим, чем я знал его прежде. В нем появилась какая-то грубость, жестокость, но было больше спокойствия. Ничего, что бы взывало к состра-

данию. Мне казалось, что мы легко преодолеем пропасть, которой я так боялся. Чтобы побыстрей восстановить прерванную нить, я позвал его на репетицию нашей капеллы. Хотелось верить, что это все еще и его капелла. Какое имеет значение, что у нас другой цимбалист, другая вторая скрипка, другой кларнетист и что из старой компании остался я один. Время бежит, и эти перемены не могут сбить нас с толку. Важно то, что мы вписаны и в этот мимолетный час.

Людвик сел на стул возле цимбалиста и молча слушал, как мы репетируем. Сперва мы играли наши самые любимые песни, те, что играли еще в гимназии. Потом какие-то новые, которые отыскали в глухих подгорных селах. Наконец наступил черед песням, на которые мы делаем самую большую ставку. Это уже не подлинно народные песни, а песни, что мы сами создали в ансамбле в народном духе. Это были песни о межах, которые надобно распахать, чтобы из множества мелких полюшек сотворить одно просторное кооперативное поле, песни о бедняках, что уже не гнут, как рабы, спины, а стали хозяевами своей земли, песенка о трактористе, которому улыбается счастье.

Музыку всех этих песен нельзя было отличить от исконно народной, но слова подчас были злободневнее, чем передовицы. Среди них мы особенно дорожили песней о Фучике, герое, который во время оккупации был замучен нацистами и о котором «люди песню сложили».

Людвик сидел на стуле и смотрел, как руки цимбалиста бегают палочками по струнам. В маленькую рюмку он то и дело подливал себе вина из бутыли. Я наблюдал за ним поверх кобылки своей скрипки. Он был задумчив и ни разу не поднял на меня глаз.

В помещение одна за другой стали заходить наши жены, что означало: репетиция скоро кончится. Я позвал Людвика к себе. Власта собрала нам кой-какой ужин, а сама пошла спать, оставив нас вдвоем. Людвик говорил о чем угодно. Но я чувствовал, что он так словоохотлив лишь потому, что не хочет говорить о том, о чем хочу говорить я. Но разве я мог не поделиться со своим лучшим товарищем тем, что было самым большим нашим общим достоянием? И посему я оборвал его ничего не значащую болтовню. Что ты скажешь о наших песнях? Людвик без колебаний ответил, что ему понравилось. Но я не дал ему отделаться дежурной любезностью. Я продолжал расспрашивать: что он скажет о тех новых песнях, которые мы обнаружили в глухих деревнях? А как ему показались те, что мы сами сложили?

Людвику не хотелось вступать в дискуссию. Но исподволь я втягивал его в нее, покуда он наконец не разговорился. Те немногие старые народные песни, сказал он, и вправду прекрасны. Но в остальном наш репертуар ему не по душе. Мы слишком подстраиваемся под общепринятый вкус. И, конечно, тут нечему удивляться. Мы выступаем перед самой широкой публикой и хотим нравиться. Но таким образом стираем с наших песен все, что есть в них своеобразного. Мы стираем их неподражаемый ритм и приспосабливаем к традиционной ритмике. Мы выбираем песни из самого молодого хронологического слоя, всевозможные чардаши и «вертуньки», как наиболее доступные и популярные.

Я возражал. Мы пока еще в начале пути. Мы хотим, чтобы народная песня распространилась как можно шире. И потому приходится отчасти приспосабливать ее к усредненному вкусу. Самое же главное, что мы уже создали *современный* фольклор, новые народные песни, которые говорят о нашей нынешней жизни.

Он не согласился. Как раз эти новые песни больше всего и резали ему слух. Какая, дескать, убогая подделка! И какая фальшь!

До сих пор мне делается грустно, когда я вспоминаю об этом. Кто предрекал нам, что кончим, как жена Лотова, если будем лишь оглядываться назад? Кто фантазировал о том, что из народной музыки взойдет новый стиль эпохи? Кто призывал нас привести народную музыку в движение и заставить ее шагать бок о бок с современной историей?

Это была утопия, сказал Людвик.

Как утопия?! Вот они, эти песни! Они существуют!

Он посмеялся надо мной. Да, в ансамбле вы поете их. Но покажи мне хоть одного человека вне ансамбля, который бы их пел! Покажи мне хоть единственного мужика, который бы сам в свое удовольствие пел эти ваши песенки о кооперативах! Ведь его бы всего перекосило — до того они неестественны и фальшивы! Ваш текст-агитка отстает от этой псевдонародной музыки, как плохо пришитый воротник от рубахи! Псевдоморавская песенка о Фучике! Какая чушь! Пражский журналист! Что общего у него с Моравией?

Я возражал, что Фучик принадлежит всем и что, пожалуй, мы тоже имеем право спеть о нем по-нашему.

Да разве вы поете о нем по-нашему? Вы поете по рецепту «агитпропа», а не по-нашему! Вспомни текст этой песни! Да почему вообще песня о Фучике? Разве один он боролся в подполье? Одного его мучили?

Но он самый знаменитый из всех!

Безусловно! Пропагандистский аппарат хочет навести порядок в галерее мертвых героев. А среди героев он хочет иметь главного героя, чтобы как следует экипировать его в плане агитации и пропаганды.

К чему эти издевки? У каждой эпохи есть свои символы!

Допустим, но как раз это и интересно, кто стал символом! Сотни людей были тогда не менее мужественны, но они забыты. Погибли и знаменитые. Политики, писатели, ученые, художники. Погибли, но не стали символами. Их фотографии не висят на стенах секретариатов и школ. А у них за плечами нередко великое произведение. Но именно это произведение стоит костью в горле. Его трудно обработать, подстричь, вычеркнуть неугодное. Произведение и есть камень преткновения в пропагандистской галерее героев.

«Репортажа с петлей на шее» не написал никто из них!

Вот именно! Что делать с героем, который молчит? Что делать с героем, который не использует последние минуты жизни для театрального действа! Для педагогической лекции! А вот Фучик, хотя далеко не был известным, счел бесконечно важным поведать миру о том, что он думает, чувствует, переживает, что завещает и советует человечеству. Он писал это на маленьких клочках бумаги и рисковал жизнями других людей, которые тайно проносили его записочки из тюрьмы и прятали. Как высоко, должно быть, он ценил свои собственные мысли и чувства! Как высоко ставил сам себя!

Этого я уже не смог вынести. Выходит, Фучик был просто самовлюбленным, самодовольным себялюбцем?

Но Людвик уже закусил удила — не остановишь. Нет, самодовольство, на его взгляд, не было тем главным, что заставляло его писать. Главным была слабость. Потому как быть мужественным в одиночку, без свидетелей, без награды единодушной поддержки, лишь наедине с собой, для этого требуется великая гордость и сила. Фучику нужна была поддержка публики. И в уединении камеры он создал себе — пусть мнимую — публику. Ему необходимо было быть замеченным! Черпать силы в аплодисментах! Пусть в мнимых аплодисментах! Превратить тюрьму в сцену и облегчить свою судьбу тем, что он не только проживал ее, но и выставлял напоказ и играл! Что купался в красоте своих слов и жестов!

Я был готов принять печаль Людвика. И его горечь. Но эту злобу, эту ироническую ненависть я не предполагал в нем. Чем оскорбил его замученный Фучик? Достоинство человека вижу в верности. Знаю, Людвик был несправедливо наказан. Но тем хуже! Тогда перемена в его взглядах имеет уж слишком прозрачную мотивировку. Разве человек может полностью изменить свои жизненные устои лишь на том основании, что был обижен?

Все это я высказал Людвику прямо в глаза. А потом вновь произошло нечто неожиданное. Людвик уже не ответил мне. Словно спала с него эта гневливая горячечность. Он смотрел на меня испытующе, а потом совсем тихим и спокойным голосом сказал, чтобы я не сердился.

Что, возможно, он ошибается. Сказал он это так странно и холодно, что я прекрасно понял, говорит он неискренно. Но мне не хотелось завершить наш разговор на такой фальшивой ноте. Как я ни огорчался, но по-прежнему следовал своему изначальному желанию: найти у Людвика понимание и воскресить нашу старую дружбу. И как бы круто мы ни встретились, я все-таки надеялся, что где-то в конце долгого нашего спора мы найдем кусочек общей территории, где нам когда-то бывало хорошо вдвоем и где мы снова сможем с ним поселиться. Но напрасно я пытался продолжить разговор. Людвик извинился, что хватил через край, что его снова куда-то занесло. Просил забыть, о чем он говорил.

Забыть? Почему ж надо забыть о нашем серьезном разговоре? Не лучше ли продолжить его? И только на следующий день до меня дошел истинный смысл этой просьбы. Людвик ночевал у нас и завтракал. После завтрака у нас оставалось еще полчасика перекинуться словом. Он рассказывал, какие усилия ему приходится прилагать, чтобы получить разрешение закончить на факультете последние два курса. Каким пожизненным клеймом стало для него исключение из партии. Как ему нигде не доверяют. Что лишь благодаря помощи нескольких друзей, которые знают его еще с дофевральских времен, он, кажется, снова будет допущен к занятиям. Говорил он и о других своих знакомых, которые в том же положении, что и он. Говорил, как следят за ними и как тщательно фиксируется каждое их слово. Как опрашиваются люди из их окружения и как часто иное ревностное или злонамеренное свидетельство может надолго испортить им жизнь. Затем он снова свернул разговор на что-то несущественное, а когда мы прощались, сказал, что рад был повидать меня, и снова попросил забыть о том, о чем вчера говорил мне.

Связь этой просьбы с упоминанием о судьбах его знакомых была слишком ясна. Она оглушила меня. Людвик перестал говорить со мной, потому что боялся! Боялся, что наш разговор станет кому-то известен! Боялся, что я донесу на него! Боялся меня! Это было ужасно. И неожиданно. Пропасть, которая разделяла нас, была глубже, чем я думал. Была так глубока, что не позволяла нам даже выговориться до конца.

10

Власта уже спит. Время от времени похрапывает, бедняжка. У нас все уже спят. А я лежу такой большой и сильный и думаю о своем бессилии. Уже в ту последнюю встречу я особенно остро ощутил его. А до этого доверчиво полагал, что все в моей власти. Людвик ведь никогда не сделал мне зла. Почему же при всем моем желании я не мог снова с ним сблизиться?

Оказалось, сие от меня не зависит. Ни наше отчуждение, ни наше сближение. Тогда я надеялся, что время все рассудит. А оно все текло и текло. С момента нашей последней встречи прошло девять лет. Людвик меж тем доучился, получил отличное место, стал серьезным ученым в интересующей его области. Я издали слежу за его судьбой. Слежу с любовью. Не могу считать Людвика ни своим врагом, ни человеком чужим. Это мой друг, но друг заколдованный. Словно в нем повторяется сюжет сказки, где невеста принца обращена в змею или лягушку. В сказках всегда побеждает верное терпенье принца.

Однако время пока не может рассеять колдовских чар. Я не раз узнавал, что мой друг наведывался в наш город. А ко мне так и не зашел. Сегодня я встретил его, но он увернулся от меня. Чертов Людвик.

Все началось с тех пор, как мы в последний раз виделись и говорили. Год от году я все сильней чувствовал, как вокруг меня сгущается одиночество, а внутри меня прорастает тоска. Чем дальше, тем больше скапливалось усталости, и чем дальше, тем меньше становилось радости и успехов. Ансамбль ежегодно выезжал в свои заграничные турне, но приглашений все убавлялось, а нынче нас уже почти никуда не зовут. Работаем без устали, причем все напряженнее, но вокруг нас установилась ти-

шина. Стою в опустелом зале. И кажется мне, что именно Людвик наслал на меня это одиночество. Ибо на одиночество человека обрекают не враги, а товарищи.

С тех пор я стал чаще выходить на дорогу посреди мелких полосок земли. На дорогу, где на меже растет одинокий шиповник. Там я встречаюсь с последними верными друзьями. Там дезертир со своими молодцами. Там бродячий музыкант. И там же за горизонтом — деревянный домишко, а в нем Власта — бедная девчоночка.

Дезертир называет меня королем и обещает в любое время взять под свою защиту. Стоит мне только прийти к кусту шиповника. Там мы, дескать, всегда отыщем друг друга.

Как просто обрести покой в мире фантазий. Но я всегда тщился жить в обоих мирах одновременно и ни одного не покидать ради другого. Я не вправе покинуть реальный мир, хотя в нем всегда терплю поражения. Кто знает, может, вполне достаточно, если мне удастся осуществить то единственное. То последнее:

Вручить свою жизнь как послание, ясное и понятное одному-единственному человеку, который примет его и передаст дальше. До этого я не имею права уйти с дезертиром к Дунаю.

Этот человек, о котором я думаю,— моя единая надежда после всех поражений. Сейчас он отделен от меня стеной и спит. Послезавтра он сядет на гнедого коня. Лицо у него будет закрыто лентами. Его будут называть королем. Поди ко мне, сынок. Я засыпаю. Тебя будут называть моим именем. Я буду спать. Хочу во сне видеть тебя верхом.

(Окончание следует)

КАМИЛО ХОСЕ СЕЛА

Миниатюры

■

Перевод с испанского Н. ТРАУБЕРГ

Мой сосед Жоан Миро

I

Рожковое дерево зовется Жоаном, я вижу его из окна, крепкий корень в земле, сосет соки, а на ветках живет удод по имени Жоан. Воздух зовется Жоаном и сам того не знает.

Ящерка зовется Жоаном, она бежит по стене, серая, как земля, которую сушит солнце, и, как звезда со звездою, сливается с голой, обожженной землей. Море зовется Жоаном и того не знает.

Бродячий пес зовется Жоаном, он ловит бабочек, а не кроликов (никак не пойму, улыбаются ли бабочки, и никак не проверю). По утрам, когда проснется солнце, он является ко мне, чтобы пройтись до самых сосен. Бирюки, одинокие волки, боятся сосняка, ибо за каждым стволом, розово-желтым, как глина, может стоять охотник, чье ружье заряжено особой пулей, которая бьет наповал. Жизнь зовется Жоаном и того не знает.

Сосед мой Жоан Миро преломляет хлеб с жестянщиком и с погонщиком (погонщиков теперь нету), с рудокопом и каменотесом (каменотесов теперь трое), с гончаром и с маляром, когда они слушают пение радужной птицы, живущей на рожковом дереве (оно зовется Жоаном), и беседуют взглядом, жестом, а то и однострунным звуком. Смерть не зовется никак.

II

Сосед мой Жоан Миро пишет, стоя на земле, и сила входит в него через ступни, как любовь, или жар, или холод. Это сила живописи, а живопись движется и мерно, и рывками. Вот женщина идет по дорожке, о чем-то мечтая; вот звезда убегает от себя самой, и небо коротко ей, как рубище нищего; вот мальчик положил на спинку жука (мальчик станет со временем важным и богатым, а жук лежит брюшком вверх и никак не перевернется).

А сосед мой Жоан Миро (я вижу его из окна, он похож на заросли в поле, он так же дышит), сосед мой Миро скребет и гладит, и ласкает, и обижает струп земли, и понемногу рождается картина, и все понемногу растет и крепнет, как живая тварь (бизон или воробей), как растение (ромашка или смоковница), ничего не зная, ибо мудрость — не знание, а инерция, непостижимая и прекрасная: петух поет, голубь летает, девочка двенадцати лет позволяет смотреть на себя синеглазому страннику со струящейся бородой и сомнительными бумагами, червяк выпол-

Работы Жоана Миро см. на обложке журнала.

зает подышать дождем, одинокая кошка ищет еды на помойке, и, скажу напоследок, в картине бьется жизнь.

Да, сосед мой Жоан Миро — откровение в образе дерева, с чувствами дерева о тысяче образов и миллионе чувств. Говорят, скоро у него выставка. Не знаю, так ли это; можно ли выставить землю и сердце?

III

Мы никогда не видимся с моим соседом, мы работаем, он — с землей, на земле, для земли, землею. Планета зовется Землею, ибо она из земли, из этой постоянно преобразуемой вечности. За шесть столетий до Христа Парменид (или Эмпедокл) говорил о непрестанно крутящемся шаре. Сосед мой Жоан Миро знает, что картина вертится вместе с Землей, в такт Земле, непрестанно. Земля — сама жизнь, больше чем жизнь. Гарсиа Лорка (поэт, который слился с землей, когда крылья его души подбила пуля) считал, что Земля — это потерянный рай.

Жоан Миро, или Зов земли

— Здесь я посеял горох. В Монтроче, у моего отца, тоже сеяли горох. Его можно есть. Цветет он беленьким, нежным. Внука моего зовут Давид, вы еще с ним познакомитесь.

Сон Абринес стоит на склоне горы, между Каламайором, где вода светла, зелена и прозрачна, и Женовой, где зелен, темен и прозрачен сосновый лес.

— Еще я посадил лук. Луковицы — как предметы. В Монтроче, у моего отца, тоже сажали лук. Его можно есть, он очень полезный. И то сказать, он из земли. Писать надо, стоя на земле, чтобы через ступни вливалась сила. Когда прозябнешь — встанешь на циновку, это все равно, она тоже из земли. Если в мастерской линолеум, там писать нельзя; писать надо, стоя на земле.

У Жоана Миро голубые прозрачные глаза, а щеки так свежи, словно кожа у него прозрачная.

— Здесь будут рожки. В Монтроче, у отца, тоже росли рожки. Когда они в листьях, от них исходит сила, бьет наповал. Когда листья опадут, она тоже исходит. Рожки вылезают из земли, как зверьки. На закате солнца лучше всего, и купы рожковых деревьев какие-то призрачные... И при луне. Ах, луна, луна! Я больше всего люблю, когда она убудет на четверть. И когда молодой месяц — на четверть, я тоже люблю. Полная луна светит мягко и тихо, она парит в желто-алом небе, над этими горами, а сбоку от нее — звездочка. Так бывает минут пять-десять, но свет совсем бархатный, нет, шелковый.

Жоан Миро в светлых штанах, темном свитере, в красных замшевых туфлях, без носков.

— Ногам не холодно?

— Нет.

По водам Каламайора плывет неизвестный парусник.

— Нравится?

— Да. Загадочный такой, красивый. Прекрасный, как наши ноги. Бывает, гуляешь у воды и видишь след на песке, на земле... Осенью в Монтроче, на пустом берегу, следы овец и следы людей похожи на созвездие.

Жоан Миро еще не работает в мастерской, исполненной мудрого лада и равномерного света; в мастерской, которую, по образу его и мерке, создал каталонец Жосе Луис Серт, декан архитектурного факультета в Гарварде, ученик Гропиуса.

— Работать толком я начну, когда кончу стены в ЮНЕСКО. Мне кажется, это будет новая манера. Надо сильно подправить то, что я начал здесь, на Мальорке, двадцать лет назад. Кончился какой-то цикл, у всего свой цикл — у звезд, у картин, у насекомых. Меня зовет земля. Сами увидите — Таррагона, Мальорка. Надо подчистить рисунок. И стирать, стирать. То, что сотрешь, обретает волшебную силу... на том, что стер, очень хорошо писать. Меньше чем за год я уничтожил примерно сто эскизов. Для ЮНЕСКО я делаю две керамические стены, пятнадцать метров и семь с половиной — на три. Под открытым небом — это еще сложней. Дикая затея, из всех керамистов их может сделать только Льоренс Артигас. Глина — большая загадка. Она загадочней живописи. Мне интересна борьба человека с землей и с огнем. Чем больше борешься, тем лучше выходит. Очень это по-испански: кто кого, огонь или я?

Жоан Миро оживился, и руки его летают, точно птицы.

— Руки прекрасно придуманы. Линии ладони, строение кисти... Рука — словно веточка, упавшая на землю. В голове все какая-то чушь. Эта память, например,— очень опасная штука. Правда, снаружи голова ничего, пластично, красиво... Но вот рука — почти как душа. Воля важнее памяти, память очень опасна и важнее разума. Вот инстинкт, чутье — это да! Когда чутье слабеет, тут уж нужна память. Она творит только мертвое. Это и в живописи видно. Живопись сделала свое дело, когда оно у нее было. Потом стали рисовать для себя, от себя... такой, знаете ли, выброс личности. Теперь живопись снова обращается к другим, так-то лучше.

— А художники?

— По-моему, это мелкие люди. Только и знают что ремесло. Люди низшего порядка, да. Я больше люблю поэтов. Вот они — иное дело. Конечно, и художники не все... Для Эль Греко или для Гойи важна не только пластика. Сейчас я больше всего люблю Сурбарана. И фламандцев. В Солане много истинного. И в Пикассо. Пикассо я очень люблю, это особый мир. Он — как Испания, именно, как Испания, в ней много непонятного и неподвластного сужденью... Или как минералы, да, минералы, мир вечно нового. Как земля, вот... Старый-старый. Я очень люблю ходить в геологический музей. Я люблю все, что из земли. Все, что видишь прямо, как оно есть. Вот в Северной Америке чего нет, того нет, воздух там непрозрачен. Радуга прекрасна по рисунку, о цвете и не говорю. Все вокруг нее меняется. Я очень люблю огонь. Созвездия... Двадцать лет назад я их писал. Теперь снова возьмусь за эти полотна и эскизы. Потом пошли искусственные спутники. Светлячки в поле... И вода... Я очень люблю воду. Какие рисунки, какие линии, след от насекомого, от лодки, от рыбы, круги от камушка... Смотреть и смотреть, бесконечный мир... Как материя, как сама земля. Материя прекрасна, великолепна, я ее очень люблю. Шутка сказать — материя! А внутри — дух. Без духа ничего не сделаешь, дух — это тайна, суть, животворящая искра, природа. Вот, скульптура на пленэре. Здесь, на Мальорке, я хочу заняться монументальной скульптурой, поставлю среди деревьев, на берегу у скал.

В окна Жоана Миро видны земля Мальорки, деревья Мальорки — миндаль, апельсин, лавр, дуб, сосна; камни Мальорки, на берегу, у моря.

— Это Сес Ильетес. Кололи камень для собора и, развлечения ради, высекли два алтаря прямо в скале. Очень красивые, очень, а никто их не знает... Это, видите ли, не для американских туристов.

В окна Жоана Миро озабоченно и бесшумно заглядывает на миг тень какого-то насекомого.

— Они — как знаки. Насекомые — знаменья земли. Столько в них тайны, усики, все... И птицы тоже. Звери на удивление красивы. А лошади...

Тому, кто слушает, иногда хочется кофе.

— Вот что, Миро, вы мне кофейку не сделаете? С удовольствием бы выпил.

— Да, да, я и сам, собственно... Подождите минутку, попрошу. Семья...

Жоан Миро бежит вниз по лестнице как юноша. Когда он приходит снова, он улыбается:

— Сейчас сварят. Нет, трудно с семьей, как вы думаете? Кто их разберет... Никогда не знаешь, чего ждать — и рассердят, и утешат. Сейчас позовут пить кофе, вот увидите. Я тоже люблю выпить кофе, так, иногда. Вы много едите?

— Скорее много. А вы?

— Нет. Я — мало. Сдерживаюсь, знаете. Я очень люблю поесть, но сдерживаюсь. Хорошая стряпня — как искусство... Я веду строгую жизнь, а то мне бывает плохо. Хорошая еда — излишество, изыск, ну, словно накладываешь слой на слой краски или земли. И с выпивкой так же. Точно так. Сам я пью немного, никогда не напивался... Нет, я пьяных не сужу — его дело, его право. Если он порядочный человек — выпил, и прекрасно. Плохо, если он непорядочный. Вот тогда плохо. Мужчина глуп, да, очень глуп. И нелеп, и туп, смотреть страшно. Что они только творят! Мужчина — самолюбивый и самодовольный осел.

— А женщина?

— Ну, женщина — дело иное! Когда мы молоды, она поражает нас, завораживает, а после — дает равновесие. Женщины очень уравновешенны... Прекрасное создание. Да, женщина прекрасна, как зверь, как скульптура, камень, цветок, дерево. Цветы хороши, но я больше люблю деревья. Рожковое дерево нравится мне больше, чем все цветы на свете. В Монтроче, у отца, росли рожковые деревья... Женщина исполнена ритма, она — как земля с самолета, ритм и ритм. Когда летишь, ритм земли очень хорошо виден. Когда гуляешь, видишь крестьянина, камень, пятно какое-нибудь... в них тоже много ритма. Из поезда или из машины ничего не видать, все убегает: охотник, рыболов... Вы охотитесь?

— Нет, что вы!

— Очень рад. Я охотников не сужу, каждому свое. Охота на крупную дичь — благородное дело, борьба, пиф-паф — и пожалуйста, кабан или там лев. А вот кроликов убивать — низко, просто смешно. На днях я видел, какой-то иностранец ходит, птиц стреляет. Ну, смешно! Рыба — другое дело. Удить пристало поэтам. Удишь — и глядишь, как радуги дробятся в воде. Удить — хорошо, это не спорт. От спорта человек звереет. С социальной точки зрения, на мой взгляд, спорт — наркотик. Или бумажный цветок. Какие дураки прославленные футболисты!

Столовая у Миро — большая и светлая. В одном углу висит мобиль Кальдера, загадочный, как дерево в листьях. Кофе у Миро — горячий и крепкий. На стенах — картины Леже, Брака, Кандинского. Кофе Жоана Миро благоухает и бодрит.

— Хворосту не хотите?

— Нет, спасибо, и так хорошо.

— Мой внук ест хворост, сколько ни дай, вот увидите. Ему два года, зовут его Давид, вы еще с ним познакомитесь. Я очень люблю детей. Улыбаются, знаете, смеются. Кричат, говорят что-то такое, не поймешь...

Столовая у Миро — веселая и просторная. Под стеклом сверкает терракота Льоренса Артигаса, рядом — деревенские горшки.

— Все настоящее, все — из земли. Как быки — быки настоящие, я их очень люблю. Чем я старше, тем они мне интересней...

Тому, кто слушает, иногда приходят в голову глупости, какие-то детские шалости, делать ему нечего.

— Вот что, Миро, как вам преступники?

— Некоторых я очень уважаю, умное убийство — штука нелегкая, да.

— А герои?

— Нет, этих — нет. Посмотришь вблизи — истинные ничтожества.
— А святые?
— Ну, это вопрос серьезный...

Земля, на которой стоит Сон Абринес, между Каламайором, где зелены и прозрачны воды, и Женовой, где прозрачен и зелен лес,— уступчата, и уступы ее мягки, учтивы, старинны, освящены веками, хорошо продуманы. Мастерская Жоана Миро стоит рядом с домом, но она пониже. В мастерскую Жоана Миро ведет лесенка, с перилами, чтобы Давид не скатился. Дом Жоана Миро, приветливый и уютный, строил здешний архитектор Энрике Жункоса. В прекрасно спланированной мастерской громоздятся неоконченные работы, полотна, картон, бумага, камни, мешки, кусок котла, которых еще не раз коснутся руки, терпение и талант Миро.

— Да, работы много. Вот, прибираю; меньше чем за год я уничтожил сотню эскизов. Надо быть смелым и не привязываться к вещам... Надо прикипеть к земле... Париж я очень люблю, его не обойдешь... Мадрид, музей Прадо, эта самая испанская трезвость, Сурбаран — да, хорошо, даже прекрасно. Однако надо прикипеть к земле. Родился я в Барселоне. И знаете, я там чужой. В больших городах жить нельзя. Здешний свет — вот, глядите! Здешний, мальорканский свет — истинное чудо. Пейзаж тут так себе, ничего особенного. А вот свет — как стихи. Знаете, восточные миниатюры, когда смотришь словно сквозь дымку... Так и тут. Я не случайно поселился здесь и работаю. Земля зовет, из Таррагоны — на Мальорку. Или с Мальорки в Таррагону, это все равно. Монтроч и Пальма... Я полюбил эти места года в два-три, когда меня возили на святки к бабушке Жосефе и дедушке Жоану, их фамилия Ферра. Средиземное море. Я не мог бы жить там, откуда не видно моря. То есть Средиземного, не всякого. Вы — с Атлантики. Это хорошо. Атлантический океан и другие моря хороши, но тут — дело другое. А Каталония... Какой разум, какая пластика! Для меня очень много значит Монтроч. Мальорка — это стихи, это свет... Пока я не уравновешу Монтроч и Мальорку, для меня не настанет зрелость. Значит, еще не настала.

Жоан Миро говорит напоследок тускло и как-то утомленно:

— Пойдемте к дочке, хорошо? Она живет вон там, повыше. Я вам покажу одну мою старую работу. И с внуком познакомлю, ему уже два года.

Старая работа Миро — очень точный и тонкий эстамп, изображающий Монтроч, можно сказать — рентгенограмма Монтроча. Дача — 1919.

— Это Монтроч?
— Да.

Давид неразумен. Он напустил лужу и, чем стыдиться или каяться, сияет победной улыбкой.

— Это мой внук.
— Ах, вон что!..

Жоан Миро внезапно замолкает.

Зов земли
(Новый вариант двадцать лет спустя)

Жоан Миро глядит на светлую точку, которую никто не видит. Он ее видит и знает, что это — спинной мозг мира, или косточка плода, где обитает сияющая суть жизни.

— Лет двадцать — двадцать пять тому назад мы говорили, что в листке рожкового дерева что-то бьется и стонет, тук-тук, тук и тук, словно бьется сердце, словно стонет сердце, словно смеется сердце, словно всякая вещь на свете гневно и дивно восстала, чтобы обернуться зерном

в запутанном звездном строе, в этом хаосе, чей численный смысл знает только Бог.

— Ты видишь все звезды?

— Нет. Но все они умещаются в моей ладони.

Сон Абринес стоит, где стоял — на склоне, между Каламайором и Женовой. И Жоан Миро, обремененный веками, тщетно пытающийся сбросить их груз, тоже живет, как жил, укрощая время и пребывая там, где он говорил мне лет двадцать—двадцать пять назад, что луковицы лезут из земли, а писать надо, стоя на земле, чтобы через ступни вливалась сила.

— Помнишь, Жоан, твой отец сеял горох в Монтроче? Цветы у гороха нежные, легкие, невесомые, изысканные и загадочные. Почти никто не понимает, как поэтичен их тоненький вой.

— Они воют как волки?

— Очень может быть. Или как девицы, которых казнят до рассвета.

— Когда распустится первый бутон на верхней ветке смоковницы, мы спасены. Смерть рассеянна, словно тот, кто по забывчивости швырнул фальшивую монету. Смерть хватает тебя, пока еще зелен первый бутон смоковницы и не умолкла первая лягушка.

— Да, и глаза, конечно. Но вот никто не хочет их закрыть, на минуту...

Жоан Миро подтягивает носки и продолжает беседу. Сейчас зима, и он в носках.

— Жизнь идет, дети растут, взрослеют, а старухи улетают в воздух с края света, верхом на помеле.

— И это — живопись, узор души, летящей, словно быстрая бабочка. Тебе страшно смотреть на парусник?

— Нет. Хотя иногда я думаю, что надо бы испугаться, потому что парусник может унести тебя в другую страну, на другой материк, на звезду...

— Навряд ли.

Жоан Миро с любопытством смотрит на меня.

— А что, плохо выгляжу?

— Нет.

Жоан Миро улыбается, как бы прося прощенья, что меня напугал.

— Керамика — большая загадка, потому что загадки — огонь и глина. И вода загадка, и воздух, и луг, и цвет.

— И человеческая нога о пяти пальцах. И следы.

— Да. Керамика сродни страсти, может — это сама страсть. Я больше люблю керамику, чем живопись. Шутка сказать — борьба человека с землей и с огнем! Помнишь, я тогда говорил? Это совсем по-испански, огонь или я, кто кого. Всмотрись в морщины, у глаз и у губ, всмотрись в отдыхающие руки, в руки работающие, в линии ладони. Глина это все отразит, огонь — укрепит. Словно рожковое дерево борется с тобой, бьется. Чутье и воля, заметь, не разум и не память. Словно борется зеленое дерево, его не удержишь. Хочешь вина?

— Хочу.

— Оно тоже из земли. Вино — сама земля, сок земли. Надо быть милосердным и смиренным. Земля может гордиться, человек — нет. Человек меньше земли, куда ему, она его побеждает. Он ее топчет, она его жрет, иначе нельзя, таков закон. Видишь, этот жук никак не поймет, почему тут стекло, а не воздух? Смотри, он — сорвавшаяся звезда, а костяка у него нет, внутри он мягкий, вроде масла. У картины нет ни начала, ни конца, она срывается с мольберта и бьется о стекло, как жук. Картина — сродни ремеслу, картина и жизнь — сродни ремеслу... похожи на радугу между горами... все — из воды, из земли, из игры, из воздуха... Ни ты, ни я не виноваты, что слепые этого не видят... может, и хотят да не умеют... слепорожденный далеко не сразу узнает, что он слеп... многие так и умирают от старости...

Жоан Миро встает, приносит вино и бокал.

— Наливай сам... Вино — как земля, ни конца у него, ни начала... У картины тоже... Она и до, и после... некоторые художники сумели это увидеть... Сурбаран, да, Сурбарана я люблю, у Сурбарана только правда, даже пустые места. Ты ведь знаешь, лет двадцать — двадцать пять назад я снова принялся за звезды, которым было лет двадцать пять. Художник должен изучать след камушка на воде, след птицы в воздухе, след солнца, катящегося в море среди сосен и лавров. Теперь очень много крыш, много стен, больше, чем раньше. Живопись — это мир...

— Хочешь цитату из Теренция, вот, записано?

— Хочу.

— Я человек, и все, что связано с человеком, касается меня.

— Молодец. Я бы и сам так сказал.

— Знаю, потому и прочел.

— А я не знал.

— Вот, потому я тебе и сказал. Догадываться — не хуже, чем знать.

Жоан Миро скрещивает ноги и сидит отрешенно, как будто дремлет.

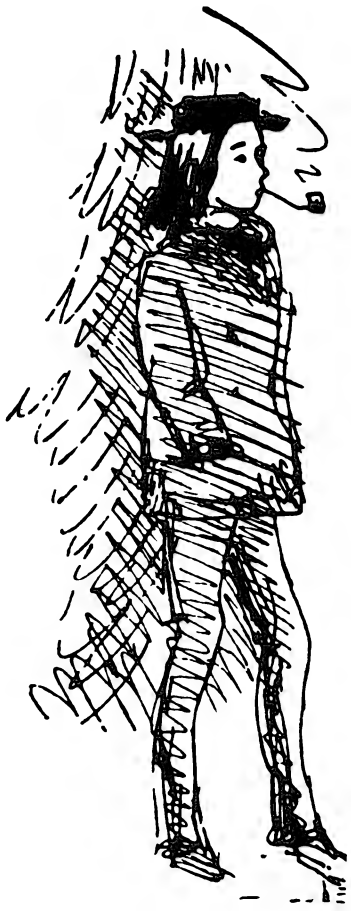
— Дух — это природа, тут и думать нечего. Хорошо бы уставить весь остров большими скульптурами... Жаль, не знаю, боятся люди или нет... Да, огромные такие скульптуры, среди деревьев и скал, а сзади — море. Ты знаешь, я всегда хотел врасти корнями в землю и чувствовать, что корни есть у всего на свете... Жизнь и смерть приходят через корень... В том-то и тайна... А иногда молния ударяет в самый верхний, самый слабый, самый молодой листок... Это несправедливо.

— Да.

Сквозь стекла окна слышен глухой шум снующих людей.

— Странные они, люди, ездят туда-сюда, все больше и больше... Конечно, отпуск, но ведь и сами не знают, куда податься, чем заняться... Чаще всего никуда и не едут. Женщина сильнее мужчины, и в ней больше цельности, меры, она может создать мужчину, вообще человека, а мужчина ничего не создаст, ни мужчины, ни женщины, даже смешно... Какой-то ритм нарушен, а женщина всегда его отыщет, не знаю уж почему... Женщина — как пейзаж, да нет, она пейзаж. А вот мужчина — домашнее животное, и очень нудное к тому же... Мужчина создает учреждения, а потом их свергает, заметь, и еще надсадно хохочет.

■



Литературное наследие

АРТЮР РЕМБО

Новонайденные переводы Федора Сологуба

С французского

Преждевременные «озарения» Федора Сологуба

В первом достаточно полном издании произведений Артюра Рембо на русском языке — в серии «Литературные памятники» в 1982 году — впервые достойное место заняли и переводы Федора Сологуба. Не прошла, по-видимому, незамеченной и публикация М. И. Дикман в 1975 году (в томе «Стихотворения» Сологуба в Большой серии «Библиотеки поэта»), его нескольких не издававшихся ранее переводов из «Последних стихотворений» Рембо. Любителям поэзии, возможно, попадали также в руки сборники «Стрелец» за 1915 и 1916 годы, где было опубликовано несколько «Озарений» французского поэта в сологубовских переводах. Однако, как показала работа в личном архиве Федора Сологуба, хранящемся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, множество его переводов из Рембо (а также из Малларме и Верлена) до сих пор остаются неизвестными читателю.

В архиве сохранились осуществленные Сологубом в 1905—1908 годах переводы почти всех «Последних стихотворений» А. Рембо, подстрочники многих стихов предыдущего периода, а также переводы тех «Озарений», которые не увидели свет в сборнике «Стрелец». Таким образом, в отличие от других «старших» символистов, или не придавших произведениям Рембо особого значения, или выполнивших, подобно Брюсову и Анненскому, лишь несколько переводов, Сологуб попытался максимально широко освоить его творчество. Если другие первые русские переводчики Рембо обращались в основном к ранним стихам, более привычным по поэтике, в поисках русского эквивалента которых можно было в какой-то мере опираться на уже существующую традицию воссоздания на русском языке лирики Верлена и парнасцев, то Сологуб перевел наиболее «темные» стихи Рембо. Тем самым уже в 1990-е годы Сологуб попытался сделать достоянием русской литературы те произведения Рембо, в которых с полным основанием видят истоки многих течений поэзии Франции XX века.

Вероятно, Сологубу была близка «романсовая» («Я прощался с миром, сочиняя что-то вроде романсов»,— писал о своих «Последних стихотворениях» Рембо в книге «Одно лето в аду»), музыкальная их основа. «Я не знаю никого среди современных русских поэтов,— писал Лев Шестов,— чьи стихи были бы ближе к музыке, чем стихи Сологуба. Даже тогда, когда он рассказывает самые ужасные вещи — про палача, про воющую собаку,— стихи его полны таинственной и захватывающей мелодии» [1]. Переводы Сологуба словно иллюстрируют мысль Пастернака о

[1] «Речь», 1909, 24 мая, с. 56.

о том, что музыка слова не в его звучности, а в соотношении между звучанием и значением. Именно музыка стиха составляет, на мой взгляд, главное достоинство переводов Сологуба.

Бесспорно, что собственные эстетические искания Сологуба никак не пересекались с теми, которыми был одержим Рембо в «Последних стихотворениях» и «Озарениях». Помимо тяги к «преодолению трудностей» не последнюю роль, по-видимому, играло и стремление обогатить отечественную литературу русским эквивалентом столь яркого и плодотворного в поэзии Франции жанра, как «стихотворение в прозе», сохранив при этом, по возможности, все его специфические французские особенности. В «Озарениях» Рембо французское стихотворение в прозе окончательно порывает с повествовательными и описательными «опорами» и окончательно обретает «чистоту собственного лирического смыслоизлучения» (С. Великовский). «Он достигает неведомого,— писал Рембо о себе Полю Демени,— и пусть, обезумев, он забудет смысл своих видений,— он их видел». Подобно самому поэту, переводчик «Озарений» ищет эффекта неведомого. Минимально организуя текст в стилистическом, синтаксическом и логическом отношении, он минимально же интерпретирует его, минимально вторгается в него и трансформирует его. В сологубовских версиях «Озарений» налицо известный элемент буквалистичности, обратной стороны его попыток избежать гладкописи и расшифровки и добиться таким образом наибольшей выразительности. И все же необычный для русского порядок и сочетание слов в этих его переводах; попытка — вслед за Рембо — воссоздать поэзию, в которой, «как в инструментальной музыке, смысл порождается в неменьшей степени звучанием, чем определенным (рассудочно определяемым) значением входящих в произведение языковых семантических единиц — слов, фраз, не столько их связью, сколько их соположением» [1]; искусная фонетическая организация текста — все это вместе создавало достаточно близкий оригиналу поэтический эффект.

Однако замечательный опыт оказался в какой-то мере «преждевременным», поскольку не только русская поэтическая традиция, но и культура Франции на рубеже веков не была еще готова осмыслить значение открытий, совершенных Артюром Рембо. Должна была наступить новая литературная эпоха, когда эстетические искания этого «путника в башмаках, подбитых ветром» (Верлен), намного опередившего свое время, наконец стали находить в авангардистских кругах Европы своего читателя. Не случайно и сологубовские версии «Озарений» появились впервые лишь в 1915 году в сборнике футуристов «Стрелец», издаваемом Бурлюком. Своими переводами из Рембо Сологуб прокладывал дорогу русскому авангардизму, экспериментам футуристов, а в какой-то мере и обэриутов. Такие особенности авангардистских течений 20-х годов, как «автоматическое письмо», сюрреалистическая «надреальность», «поток сознания», во многом восходили к эстетическим открытиям Артюра Рембо.

Каждое поэтическое поколение заново открывает великих инонациональных поэтов, вне зависимости от того, были ли удачными в прошлом попытки воссоздания их стихов на родном языке, признаны ли эти попытки шедеврами переводческого искусства и стали ли они достоянием воспринимающей литературы. Федор Сологуб был первооткрывателем. Прошли десятилетия, и для русских поэтов лирика Рембо стала как бы поэтической «дверью», миновать которую они не считали возможным. Как магнит, Рембо и в наши дни притягивает к себе поэтов, создающих все новые версии его стихов. И все же существует одна закономерность, подтверждений которой немало в истории русской поэзии. Обращение крупного поэта к творчеству писателя-современника наделяет его переводческие опыты достоинствами не только уникальными и неоспоримыми, но во многом неповторимыми и недостижимыми. Эти достоинства дороги нам в переводах Жуковского или Тютчева, А. К. Толстого, Бальмонта или Анненского. Эти же достоинства, вне зависимости от достижений его последователей, находим мы и в переводах Федора Сологуба из Рембо.

ВСЕВОЛОД БАГНО

---

[1] Н. И. Балашов. Рембо и связь двух веков поэзии. В кн.: А. Рембо. Стихи. М., «Наука», 1982, с. 264.

[Из «Последних стихотворений»]

Золотой век

Чей-то голос поет,
— Серафим непорочный! —
Обо мне речь идет,
Объяснение точно:

Миллионы задач,
Только их разветвленья
Все приводят к тому ж:
Мрак ума, опьяненье.

Ты пойми этот вздор,
В нем веселье такое;
Вся вода и вся флора:
Для тебя в них — родное!

Снова голос поет,
— Серафим непорочный!—
Обо мне речь идет,
Объяснение точно;

Очень быстро поет,
Не сестра ли дыханий?
Как немецкий поэт,
Но с огнем пожеланий:

Удивляешься нам?
Говоришь: мир порочен?
Но живи! и огням
Брось несчастие ночи...

О, красивый дворец!
Светом миги объяты.
Из каких ты времен?
Как природа богата
Родовитого брата?

Я пою для меня!
Сестры многие,— дня
Не народной забавой,
Целомудренной славой
Окружите меня.

Брюссель

Июль. Бульвар Регента

Амарантовые гряды вплють
До приятного Зевесова дворца.
— Знаю,— это Ты в зеленый плющ
Примешал сахарскую голубизну!

Как на солнце сль и кущи роз
И лиана растворили здесь свою игру,
Клетка маленькой вдовы... Какие
Стаи птиц, о йа, ио, иа, ио!..

— Страсти старые, домашний сон!
В баловницу из киоска кто влюблен,
За спиною роз внизу балкон,
Тенистый балкон Джульетты.

— Ах, Джульетта,— вроде Генриеты,
Чары милых станций на путях,
В глуби холмов, как в плодовых садах,
Где черти голубые в облаках!

Вот холм, где бурным майским веткам
Гитара вторила у девушки ирландской,
Затем в столовой гвинеянской
Щебет детский и по птичьим клеткам.

Окно князей внушит воспоминанье
Об яде слизняков и хризантем,
Здесь дремлющих на солнце. И затем
Чудесно слишком! Сохраним молчанье.

Бульвар без шума, без торговли,
Немой, комедий, драм сплетенье,
Сцен бесконечное соединенье,
Тебя узнав, любуются в молчаньи.

[Из «Озарений»]

Парад

Повесы очень солидные. Некоторые воспользовались вашими мирами. Без нужды, и мало торопясь пустить в ход свои блестящие способности и свою изощренность в ваших совестях. Какие зрелые люди! Глаза тупые, как у летней ночи, красные и черные, трехцветные, сталь, исколотая золотыми звездами; вид бесформенный, клейменый, бледный, сожженный, резвая хрипота! Жестокая походка мишуры! Есть несколько молодых,— как они посмотрят на Херувима? — наделенные ужасающими голосами и некоторыми опасными средствами. Их посылают узнавать оборотную сторону города, закутанных в отвратительную роскошь.

О, самый ярый Рай бешеной гримасы! Нет сравнения с вашими факирами и с другими сценичными шутовствами. В костюмах импровизированных, со вкусом дурного сна, они играют жалобы, трагедии воров и полу-богов, остроумных, какими история или религия никогда не были. Китайцы, готтентоты, цыганы, глупцы, гиены, Молохи, старые безумия, зловещие демоны, они перемешивают народные, материнские шутки со звериными позами и ласками. Они передавали бы новые пьесы и песни «добрых девушек». Как хорошие жонглеры, они преобразуют место и лица и пользуются магическими комедиями. Глаза горят, кровь поет, кости расширяются, слезы и красные сети струятся. Их насмешка или их ужас длится одну минуту или целые месяцы.

У меня одного ключ этого дикого парада.

Being Beauteous

Перед снегом большое Существо красоты. Свист смерти и круги глухой музыки заставляют подыматься, расширяться и дрожать, как призрак, это обожаемое тело; багровые и черные раны зияют на вос-

хитительной плоти. Чистые цвета жизни темнеют, пляшут и истончаются вокруг видения. И дрожь возникает и укоряет, и вкус,— взбешенный этими эффектами, обремененными смертными свистами и хриплою музыкою, которую мир, далеко отставший от нас, мечет на нашу матерькрасоту,— то отступает, то поднимается. О! наши кости опять одеты новым влюбленным телом.

О, лицо в пепле, щит из гривы, хрустальные руки! орудие, которым я должен убить себя сквозь смешение деревьев и легких веяний.

Отход

Довольно видел. Видение встречалось во всех аспектах.

Довольно имел. Ропоты городов, вечером, и на солнце, и всегда.

Довольно знал. Приговоры жизни.— О, Ропоты и Видения!

Отход к новой страсти и к новому шуму!

Разуму

Один удар твоего пальца по барабану разряжает все звуки и начинает новую гармонию.

Один твой шаг, это — поднятие новых людей и их выступление.

Ты отвернешься: новая любовь! Ты взглянешь: новая любовь!

«Перемени жребии наши, истрепли бичи, начиная временем», поют тебе эти дети. «Воздвигни где-нибудь сущность наших удач и наших желаний», просят тебя.

Приходящая из безвременности, ты уйдешь в беспредельность.

Рабочие

О, это теплое февральское утро! Несносный Юг вызвал опять наши воспоминания о нелепой убогости, о нашей молодой бедности.

Генрика была в бумажной юбке с белыми и коричневыми клетками, которую носили, вероятно, в прошлом столетии, в чепчике с лентами и в шелковом платочке. Это было куда грустнее, чем траур. Мы гуляли в предместьи. Было пасмурно, и этот южный ветер возбуждал все противные запахи опустошенных садов и высушенных лугов.

Это не должно было утомлять мою жену наравне со мною. В углублении, оставленном наводнением прошлого месяца, на довольно высокой тропинке, она мне показала очень маленьких рыбок.

Город своим дымом и своими ремесленными шумами преследовал нас долго по дороге. О иной мир, жилище, благословленное небом, и тени! Юг напоминал мне злосчастные происшествия моего детства, мои летние отчаяния, ужасное количество силы и науки, которое всегда удалялось судьбою от меня. Нет! Мы не проведем лета в этой скупой стране, где мы будем всегда только помолвленные сироты. Я не хочу, чтобы эта затверделая рука влекла милое изображение.

Хрустально-серые небеса. Странный рисунок мостов, эти прямые, те изогнутые, другие нисходящие, косящие на угол к первым; и эти фигуры, возобновляющиеся в других освещенных обходах канала, но все такие длинные и легкие, что берега, обремененные куполами, наклоняются и уменьшаются. Некоторые из этих мостов еще обременены развалинами. Другие поддерживают мачты, сигналы, хрупкие парапеты. Минорные аккорды скрещиваются и стремятся; веревки подымаются по крутым берегам. Виднеется красный жилет, может быть, другие костюмы и музыкальные инструменты. Не народные ли это мотивы, не кусочки ли городских концертов, не остатки ли публичных гимнов? Вода серая и голубая, широкая, как морской залив. Белый луч, падая с высоты неба, уничтожил эту комедию.

Колеи

Направо летняя заря будит листья, и туманы, и шумы в этом углу парка, а налево на склонах в фиолетовой тени тысячи быстрых колей сырой дороги. Шествие чародейств! В самом деле: колесницы, нагруженные животными из золоченого дерева, пестрыми парусами и мачтами, запряженные скачущими в галоп двадцатью лошадьми крапчатой масти, взятыми из цирка, и дети и мужчины на своих весьма удивительных животных,— двадцать экипажей, заторможенные, украшенные флагами и цветами, как Колесницы древних или Колесницы Сказок, наполненные детьми, увенчанными для загородной пасторали.— Даже и гробы под ночью балдахинов, воздвигающих эбеновые перья, бегущих рысью больших голубых и черных кобыл.

Города

Официальный акрополь среди самых колоссальных концепций современного варварства; невозможно выразить тусклый день, произведенный небом, неизменно серым, царственный блеск зданий, и вечный снег земли... Воспроизвели, во вкусе странной огромности, все классические чудеса архитектуры, и я присутствую на выставках живописи в помещениях в двадцать раз более обширных, чем Гэмптон Корт. Какая живопись! Некий норвежский Навуходоносор построил лестницы министерств; подчиненные, которых я мог видеть, более горды, чем Бренн, и я дрожал при виде инженеров и стражи колоссов. Группировкою построек в скверах, на дверях и на закрытых террасах привели в упоение кучеров. Парки представляют первобытную природу, обработанную дивным искусством, верхний отдел имеет части необъяснимые: рукав моря, без кораблей, катит свой покров из голубой изморози между набережными, нагруженными канделябрами-великанами. Короткий мост ведет к воротам прямо под куполом Святой Часовни. Этот купол — стальная артистическая окова приблизительно в пятнадцать тысяч фут в диаметре.

С некоторых точек, с медных мостиков, с платформ, с лестниц, окружающих рынки и столбы, я мог судить о глубине города! Это чудо, о котором я не мог дать себе отчета: каковы поверхности других кварталов, выше или ниже акрополя? Для иностранца наших времен узнать невозможно. Торговый квартал — цирк одного стиля, с галереями на аркадах. Не видно лавок, но снег на шоссе истоптан; несколько набобов, редкие, как гуляющие в воскресное утро в Лондоне, направляются к алмазному дилижансу. Несколько диванов красного бархата: подают любимые напитки, цена которых колеблется от восьмисот до восьми тысяч рупий. На мысль искать театры в этом цирке я отвечаю, что лавки долж-

ны содержать довольно темные драмы. Я думаю, что есть полиция; но закон должен быть так странен, что я отказываюсь составить понятие о здешних авантюристах.

Предместье, столь же элегантное, как прекрасная улица в Париже, приятно светлым видом, демократический элемент насчитывает сколько-то сотен душ. Там еще дома не теснятся; предместье причудливо теряется в деревне, в «Графстве», наполняющем вечный восток лесами и чудесными плантациями, где дикие господа охотятся за своими хрониками при сотворенном свете.

Вечери

I

Это — освещенный отдых, без лихорадки, без усталости, на кровати или на лугу.

Это — друг, ни ревностный, ни слабый. Друг.

Это — возлюбленная, ни огорчающая, ни огорченная. Возлюбленная.

Воздух и мир, данные без исканий. Жизнь.

— Это разве было?

— И сон освежает.

II

Освещение возвращается к дереву здания. Оба конца зала, какие-нибудь украшения, гармонические подъемы соединяются. Стена против бодрствующего — психологическая последовательность разрезов, фриз, атмосферических полос и геологических приключений.— Сон глубокий и скорый сентиментальными группами с существами всех характеров среди всех наружностей.

III

Лампы и ковры вечери производят шум волн, ночь, вдоль раковины и вокруг поленницы.

Море вечери, такое, как грудь Амелии.

Обои, до половины вышины, рощи кружев, окрашенные изумрудом, куда бросаются горлицы вечери...

Доска черного очага, реальные солнца взморий: al магические колодцы; единственный вид зари, этот раз.

Мистическое

На скате волны ангелы развеяли свои льняные одежды в зелень изумруда и стали.

Пламенные луга взбежали до вершины холма. Налево тук перевала истоптан всеми убийствами и всеми битвами, и там все зловещие

шумы прядут свои изломы. Направо за перевалом линия восходов и преуспеяний.

И в то время, как полоса на верху картины составлена вертящимся и пляшущим ропотом морских раковин и людских ночей.

Кротость раскрывает цветы звезд и с неба, и отовсюду нисходит, словно кошница, к волне, прямо перед нами, и тогда бездна там внизу цветет и голубеет.

Заря

Я обнял летнюю зарю.

Еще все было неподвижно перед чертогом. Вода была мертва. Толпы теней не покидали лесной дороги. Я шел, будя бодрые и прохладные дыхания; и алмазы смотрели, и крылья поднимались бесшумно.

Первое приключение,— на тропинке, уже наполненной свежим и бледным сиянием, цветок сказал мне свое имя.

Я засмеялся каскаду, который струился за елями: по серебристой вершине я узнал богиню.

Тогда я поднял один за другим покрывала. В аллее, размахивая руками. На равнине, где я возвестил о ней петуху. В большом городе она убегала между колокольнями и куполами; и, стремясь, как нищий, по мраморной набережной, я гнался за нею.

На верху дороги, недалеко от лаврового леса, я ее окружил собранными покрывалами и почувствовал немного ее безмерное тело. Заря и дитя упали к подножию леса.

Проснулся,— был полдень.

Цветы

С золотой ступеньки,— среди шелковых шнурков, серого газа, зеленого бархата и хрустальных дисков, чернеющих как бронза на солнце,— я вижу, как распускается дигиталис на ковре серебряных филигран, глаз и волос.

Куски желтого золота, разбросанные на агатах, столбы из красного дерева, поддерживающие изумрудный купол, букеты из белого атласа и тонкие рубиновые прутья окружают водяную розу.

Вот такие, как бог с огромными голубыми глазами и с белоснежными формами, море и небо влекут на мраморные террасы толпы молодых и сильных роз.

Метрополитен

От пролива индиго до морей Оссиана, на розовом и оранжевом песке, омытом винного цвета небом, только что поднялись и скрестились хрустальные бульвары, буйно обитаемые молодыми, бедными семьями, которые питаются у зеленщиков. Ничего богатого.— Город.

Из смолистой пустыни бегут прямо, отступая с покровами тумана, расставленными ступень за ступенью в ужасные полосы на небе, кото-

рое перегибается, пятится и спускается, составленное из наиболее зловещего, черного дыма, который может быть сделанным только океаном в трауре, каски, колеса, барки, спины.— Битва!

Подыми голову: этот деревянный мост, на арках; эти последние огороды; эти раскрашенные маски под фонарем, иссеченным холодной ночью; глупая ундина в шумящем платье, в конце реки; эти светящиеся черепа в гороховых насаждениях,— и другие фантасмагории.— Деревня.

Эти дороги, огражденные решетками и стенами, содержащие елеели свои рощицы, и жестокие цветы, которые назовешь сердцами и сестрами, камка, осужденная навеки за бессилие,— владения феерических аристократий за-рейнских, японских, гуаранских, способных еще принять музыку древних,— есть гостиницы, которые никогда больше не открываются; — есть принцессы, и если ты не очень обременен, изучение светил.— Небо.

Утром, когда с Нею вы спорили среди блистания снега, эти зеленые губы, эти льды, эти черные знамена и эти голубые лучи, и эти багряные ароматы полярного солнца.— Твоя сила.

Варвар

После всех дней и времен года, и существ, и стран,

Шатер кровью пронизанной плоти на шелку морей и северных цветов (их уже нет).

Отзвуки древних фанфар героизма,— которые все еще стремятся к власти над нашим сердцем и над нашим разумом,— вдали от древних убийц,—

О! шатер кровью пронизанной плоти на шелку морей и северных цветов (их уже нет).

Наслаждения!

Пламя, льющееся под ураганами инея.— Наслаждения! — Эти огни под развеянным по ветру дождем диамантов, пролитым земным сердцем, вечно сгорающим для нас.— О мир!

(Вдали от старых убежищ и старых страстей, которые слышишь и чувствуешь.)

Пламя и пена. Музыка, водоворот бездн и брызги льдин до звезд.

О наслаждения, о мир, о музыка! И там формы, капли пота, волосы, очи, взвеянное. И белые, горячие слезы,— о наслаждения! — и женский голос, проникающий в глубь вулканов и арктических пещер...— Шатер...

Публикация ВСЕВОЛОДА БАГНО.
Строфика, орфография и пунктуация воспроизводятся по рукописи (ф. 289, оп. 1, е/х 44).

ИЗ «КРАТКОЙ НОБЕЛЕВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

Вспомним: обычно энциклопедиями называют справочные научные издания по тем или иным отраслям знаний. Как правило, энциклопедии создаются в виде словаря, хотя и не всегда. Но это сейчас. А ранее энциклопедиями именовали и успешные циклы лекций, которые помогали привести в систему обозрение различных отраслей знаний. Так и говорили: «Сегодня профессор преподнес нам отличную энциклопедию!».

Что касается «Краткой Нобелевской энциклопедии», произвольные фрагменты из которой мы предлагаем читателям, надеясь дать представление о типе этого издания,— то она не претендует на объемное освещение творчества всех нобелевских лауреатов в области литературы. Именно в таком смысле энциклопедия является краткой. Это скорее сборник эссеистических статей, подкрепленных кратким справочным материалом о нобелевских лауреатах, который дает возможность представить себе, как развивались симпатии и антипатии Нобелевского комитета. А были в его истории четко обозначенные, хотя и условные — скандинавские, германские, французские и американские,— периоды, зачастую диктуемые субъективными пристрастиями членов комитета, что вызывало раздражение. Но жизнь есть жизнь, и в Нобелевском комитете она своя, как везде и во всем — субъективные пристрастия тоже явления объективного мира. Все это, вольно или невольно, отражено в «Краткой Нобелевской энциклопедии».

В некоторых случаях, если произведения лауреатов мало переводились на русский язык или же не переводились совсем, энциклопедия дает возможность познакомиться с образцами их творчества.

Сегодня, когда, несмотря на дефицит бумаги, на книжном рынке возникает столько новых журналов, справочных изданий, наивно думать, что не будет предпринято несколько попыток выпустить Нобелевскую энциклопедию. Действительно, разные издательства сейчас стремятся познакомить читающую публику с различными неизвестными материалами, расширяющими наши сведения об институте Нобелевских премий. Но, полагаем, в этом ряду изданий «Краткая Нобелевская энциклопедия» не затеряется именно благодаря тому, что построена на сочетании эссеистики и прямого справочного материала (что создает неожиданный эффект) и типологически представляет собой неклассическое издание.

Не потому ли подзаголовок ее — «Нобелевские лауреаты глазами русских»?

Среди авторов статей энциклопедии — Сергей Аверинцев, Андрей Битов, Михаил Гаспаров, Фазиль Искандер, Николай Митрофанов, Дмитрий Лихачев, Юрий Любимов...

Книга подготовлена силами Ассоциации творческой интеллигенции «Мир культуры». Одним из основателей и коллективных членов ее является журнал «Иностранная литература». «Мир культуры» объединяет многих деятелей отечественной и зарубежной культуры, представителей церкви и науки. Президент Ассоциации — писатель Николай Самвелян.

«Краткая Нобелевская энциклопедия» должна вскоре выйти в свет.

МОММЗЕН Теодор (1817—1903) — немецкий историк античности, политический деятель. Главный труд — «Римская история».

В 1902 году Нобелевский комитет расширил понятие премии по литературе, включив в него и исторические исследования. Премия была присуждена Теодору Моммзену, как «величайшему среди живущих художников-историков», с особой ссылкой на его монументальную «Римскую историю».

Клио, муза истории

Мы привыкли, что наука история не имеет ничего общего с литературой. История — сухой предмет, она занимается выведением отвлеченных закономерностей жизни общества, она аргументирует не доводами, а фактами, она проверяет надежность фактов кропотливой сверкой источников, она обращается к рассудку читателей, а не к воображению и чувству.

Но так было не всегда. Не будем даже говорить о Греции и Риме, тревожа тень Геродота, «отца истории». Там не было беллетристики с вымышленными сюжетами, как у нас (а какая была, та не ценилась), и кто хотел читать красивую прозу, читал ораторов, кто умную — брал философов, а кто интересную — предпочитал историков: Клио, покровительница истории,— одна из девяти муз. Но так думали не только в древности. Еще Пушкин считал лучшей русской художественной прозой «Историю» Карамзина, англичане включают в обзоры своей литературы XIX века историка Маколея, а французы — историка Ренана.

Когда Шведская академия наук присудила Нобелевскую литературную премию историку Теодору Моммзену, она, вероятно, хотела, чтобы премии по литературе и впредь охватывали все гуманитарные науки. Этого не случилось, Моммзен остался в литературном списке единственным ученым. Но остался по праву.

Книга, сделавшая Моммзена знаменитым, вышла в 1854—1856 годах. Это была «Римская история», три толстых тома, посвященных римской республике (история империи осталась ненаписанной). Первый том был сделан ярко, но содержание его оказалось достаточно традиционным. Второй назывался «Революция», и это уже было ново. Моммзен и его читатели только что пережили революцию 1848 года, многие были деятельными ее участниками — в том числе сам Моммзен, за свою либеральную публицистику привлекавшийся к суду и поплатившийся профессурой. Этот жизненный опыт, проецированный на историю, многое осветил в ней по-новому.

То, что Моммзен назвал «римской революцией», обычно называлось «гражданскими войнами в Риме»: была твердая государственная власть, на нее замахнулись братья Гракхи, последовали (с анархическими перерывами) три междоусобных войны, заканчивавшиеся тремя диктатурами,— между Марием и Суллой, между Помпеем и Цезарем, между Антонием и Октавианом,— и последний победитель, Октавиан Август, положил начало новому режиму, империи. На этом бурном фоне рисовались могучие образы, отношение к которым было задано еще древними писателями: к одним — безоговорочно отрицательное, как к кровавому Сулле и порочному Катилине; к другим — восторженное, как к поборнику республики Цицерону и Катону Младшему, который предпочел покончить с собой, чем пережить республику; к третьим — двойственное, как к Цезарю, и гениальному, и тираническому.

Моммзен перевернул эти оценки. Он впервые взглянул на римских героев глазами не моралиста, а политика. Истинно великий человек не станет служить делу реакционному, а стало быть, неправому. Республика же, само название которой гипнотизировало столько поколений, в эту пору существования Рима была уже реакционной. В столице у власти стояла сенатская олигархия, жадные и тщеславные потомки когда-то великих родов, а в провинциях управление представляло собой хорошо налаженный грабеж. Вывести государство из этого застоя мог лишь военный монарх, опирающийся на народ. Таким стал Цезарь. Моммзен восхищается Цезарем безоговорочно и как человеком, и как политиком: он правильно понял цель и поставил ей на службу свой гений. Сулла и Гай Гракх оказываются предшественниками Цезаря и превращаются из отрицательных фигур в положительные, но с упреком за то, что Сулла все-таки встал на защиту старой олигархии, а Гракх был слишком неразборчив в средствах, борясь с ней. А Цицерон и Катон превращаются в политические ничтожества из-за близорукости, привязавшей их к реакционной республике,— Катон с оговоркой о его нравственном достоинстве, а Цицерон без всяких оговорок.

Но поменять оценки мало: нужно еще и убедить читателя в том, что новые оценки вернее. Образы, рисуемые Моммзеном, были сложнее и противоречивее, чем у древних историков,— например, тот же Катон. Но Моммзен очертил их так, что они стали не менее яркими, чем у тех, а это было нелегко. На читающую Европу эти характеристики произвели неизгладимое впечатление. Потомство умерило его идеализацию Цезаря, отменило приговор Цицерону, но Катона, Гая Гракха и даже Помпея мы, порой сами не признаваясь себе, представляем еще «по Моммзену» — а прошло уже почти полтораста лет. В советских учебниках древней истории часто цитируется письмо К. Маркса Ф. Энгельсу (17 февраля 1861 г.) с пренебрежительной оценкой полководческих талантов Помпея. Эта характеристика несправедлива, но Марксу не принадлежит: она в точности повторяет Моммзена.

«Абсолютная монархия — большое несчастье для народа, но абсолютная олигархия — еще худшее зло»,— писал Моммзен (в главе о Гае Гракхе). Это суждение было подсказано ему немецкой современностью. В 1848 году стоял вопрос о ликвидации остатков феодализма и об объединении Германии. Попытки республиканского движения обернулись пустой говорильней — отсюда неприязнь Моммзена к Цицерону. Оставалась надежда на объединение вокруг прусской монархии — отсюда идеальный образ Цезаря, как бы положительный урок ис-

торий, который Моммзен преподает объединителям Германии. Вильгельм I и Бисмарк объединили Германию, но не оправдали демократических надежд — и четвертый том «Римской истории», где Моммзену пришлось бы показывать судьбу «дела Цезаря» в руках его преемников, остается ненаписанным. В объединенной Германии Моммзен становится депутатом рейхстага и примыкает к оппозиции. В вопросах внешней политики он националист (уроженец окраинного Шлезвига, он помнит свой край под чужой властью Дании), в 1870 году он среди других немецких интеллигентов требует от правительства бомбардировки Парижа. Но в вопросах внутренних он либерал: выступает против антисемитизма, против колониализма, против обскурантизма, за союз с социал-демократами. Он критиковал правительство так резко, что в старости, как в молодости, был привлечен к суду — и триумфально оправдан. Большинство политиков к старости правеют, Моммзен левел.

Его упрекали в «модернизации» римской истории. Это так. Борьба социальных групп в Риме приобретает у него черты партийной борьбы консерваторов и демократов, два высших римских сословия — это «знать лордов и знать Сити», Сулла — «политический Дон Жуан», Помпей — «старшина-строевик», Катон — «Дон Кихот». Он писал: «Много можно сказать насчет модернизаторского тона в моей «Истории». Но я хотел свести древних с того фантастического пьедестала, на котором они являются публике, в реальный мир, где любят и ненавидят, пилят и строят, фантазируют и мошенничают. Поэтому консул и должен стать бургомистром. Может быть, я хватил через край, но намерение мое законно». Да, законно: современность, знакомясь с древностью, попеременно ищет в ней то черты, схожие с собой (чтобы ее можно было понять), то черты, отличные от себя (чтобы ее интересно было понимать). В наше время в центре внимания — непохожее, специфическое, архаическое в римской культуре; но это лишь потому, что сто лет назад Моммзен дал нам почувствовать противоположное. Гёте говорил: «Всемирную историю время от времени нужно переписывать заново». Моммзен хорошо это помнил.

Странно, что прославившая его «Римская история» была написана почти случайно. В 1849 году Моммзен преподавал в Лейпциге. «Со мной случилась обычная детская болезнь начинающих профессоров,— вспоминал он.— Нужно было прочитать перед образованной публикой доклад о чем угодно, к немалой тягости для обеих сторон. Я сделал доклад о Гракхах; публика приняла его как положено и разошлась с самым смутным понятием о знаменитых братьях». Но среди слушателей были двое издателей, и они предложили Моммзену написать очерк римской истории для их серии. «Это было неожиданно, потому что я о таком сроду не думал. Но в те годы все шло колесом, каждый брался за все, и если профессору в шутку говорили: хотите быть министром религиозных дел? — он обычно отвечал: да. Вот и я ответил: да...» И через пять лет (заполненных преподаванием и работой над исследованиями по частным вопросам) вышел первый том исполинski разросшейся «Римской истории».

Для молодого ученого эта заказная работа определила программу всей жизни. Крупнейший историк XIX века, он даже не был историком по образованию: он был юрист, специалист по римскому праву (и это помогло ему по-новому увидеть ход борьбы за власть в Риме). Но задание побудило его свести в своем сознании все гуманитарные знания, нужные для того, чтобы создать цельный образ Рима, и он оказался ученым-универсалом. Образ этот представал ему прежде всего в политических, то есть правовых, очертаниях («Римское государственное право»), рисовать его приходилось не только по античным писателям (том филологических работ), но прежде всего по подлинным документам, сохранившимся в надписях («Собрание латинских надписей»), для понимания их нужна была лингвистика (работы об италийских диалектах), для ориентировки в них — прояснение сбивчивого римского времяисчисления («Римская хронология»), подспорьем в счете лет были выпуски римских монет («Римское монетное дело») и так далее. Все сгасталось в единую огромную и сложную систему знаний, и в каждом уголке этой системы Моммзен был полновластным хозяином. Он один работал, как целая академия, и с его трудами (особенно с «Римским государственным правом») исторической науке до сих пор приходится считаться.

В европейской науке об античности авторитет его был непререкаем — не из-за «Римской истории», конечно, а из-за всей этой громады исследований, написанных специалистом для специалистов. Но Моммзен этим не обольщался. Сверстник последних романтиков (он был на три года моложе Лермонтова), разделявший с ними восторг перед сильной личностью вроде Цезаря, он никогда сам себя не считал сильной личностью. Слишком велика была цель его жизни — универсальное знание о древности. Умевший удивлять учеников и друзей резкой нетрадиционностью суждений, которую мог себе позволить только он, в завещании Моммзен просил не писать о его жизни: «При всех видимых моих успехах я не добился в жизни того, что нужно. Внешние обстоятельства заставили меня быть среди историков и филологов, хотя и мое образование, и, вероятно, мои способности к этим наукам были недостаточны, и чувство малости сделаниого мною не покидало меня всю жизнь... Кроме того, всем самым внутренним и, может быть, лучшим, что во мне есть, я хотел быть гражданином; а в народе, к которому я принадлежу, можно быть лишь служащим... Пусть читают мои книги, пока они нужны; а каким я был или должен был быть, это людей не касается».

М. ГАСПАРОВ

Т. МОММЗЕН

Катон Младший

...Этот человек, наделенный лучшими стремлениями и редким самоотвержением, был одним из самых причудливых и безотрадных явлений этой эпохи политических гротесков. Честный, твердый, серьезный в желаниях и поступках, приверженный к отечеству и его исконным порядкам, а при этом тугодум, не знавший страстей ни чувственных, ни моральных, он мог бы, пожалуй, стать недурным государственным счетоводом. К несчастью, он рано подпал под власть фразы, и частью под влиянием модных стоических софизмов с их отвлеченной пустотой и бессмысленной отрешенностью, частью же подражая своему прадеду (Катону Старшему, деятелю эпохи Пунических войн), повторить которого он считал своей задачей, он стал вышагивать среди многогрешной столицы как образец гражданина и зерцало добродетели, бранил, подобно старому Катону, свое время, передвигался не верхом, а пешком, не брал процентов, отвергал знаки военного отличия и, чтоб возродить доброе старое время, по примеру царя Ромула ходил без рубахи. Странной карикатурой на своего предка, старого крестьянина, которого гнев и ненависть делали оратором, который отлично владел и мечом, и плугом и со своим ограниченным, но здравым и свежим рассудком всегда проникал в суть дела, являлся этот молодой бесстрастный ученый с книгой в руке и со школьной мудростью на устах, этот философ, ничего не понимавший ни в военном, ни в ином ремесле и витавший в облаках отвлеченной морали.

Тем не менее он достиг нравственного, а тем самым и политического значения. В то жалкое и трусливое время его мужество и добродетельное воздержание импонировали толпе — он имел даже подражателей: нашлись люди (видимо, ему под стать), копировавшие этот живой философский шаблон и в свою очередь извращавшие его. На том же держалось и его политическое влияние. Так как он был единственным видным консерватором, обладавшим если не умом и талантом, то хоть мужеством и честностью, и всегда был готов рисковать собой где нужно и где не нужно, то вскоре стал признанным лидером партии знати, хотя ни возраст, ни звание, ни дар не давали ему права на это. Там, где упорство одного человека могло решить дело, он добивался успеха, и в частных вопросах, особенно финансовых, его вмешательство часто было разумно. Он никогда не пропускал заседания сената, и его казначейская служба стала событием; до конца жизни он до мелочей проверял государственный бюджет и, конечно, из-за этого был в вечной войне с откупщиками налогов. Но качеств государственного деятеля у него не было начисто. Он был не способен даже понять политическую задачу или охватить политические отношения в целом; вся тактика его состояла в том, чтобы выступать против всего, что — действительно или только по его мнению — отклонялось от морально-политического катехизиса аристократии, вследствие чего он, разумеется, так же часто действовал на руку своим противникам, как и единомышленникам. Дон Кихот аристократии, он доказал своей личностью и деятельностью, что если аристократия еще и существовала, то аристократическая политика уже была лишь химерою.

...В смерти Катона гораздо больше благородства и смысла, чем в его жизни. Катон меньше всего может быть назван великим человеком; но при всей недальновидности, извращенности, пустой докучливости и фальшивых фразах, которые сделали его для современников и потомков идеалом тупого республиканизма и любимцем всех, кто им спекулирует, он все-таки был единственным, кто сумел во время этой агонии с честью и отвагой быть поборником великого, но обреченного строя. Катон играл более крупную историческую роль, чем многие люди, далеко превосходившие его, потому что перед незатейливой истиной даже самая умная ложь чувствует себя глубоко бессильной и потому еще, что все величие и доблесть людской природы держатся в конце концов не умом, а честностью. Глубокое и трагическое значение его гибели еще сильнее оттого, что он был безумцем: Дон Кихот безумец, и потому его образ трагичен. Потрясает то, что на мировой сцене, где толклись столько великих и мудрых мужей, эпилог был предназначен глупцу. Но он погиб недаром. Это был ужасающий по силе протест республики против монархии в час, когда со сцены сходил последний республиканец и являлся первый монарх: то был протест — и он разорвал, как паутину, всю мнимую законность, которой Цезарь облек свою монархию, и обличил во всей его лицемерной лживости тот лозунг примирения партий, под которым возникла новая власть... И величайшим почетом было то, что только для Катона Цезарь отступил от презрительной мягкости, с которой привык обращаться со своими противниками, и преследовал Катона даже за гробом той энергичной ненавистью, какую испытывают практические политики к тем столь же опасным, сколь недосягаемым врагам, которые восстают на них в области идеалов.

Перевод с немецкого И. МАСЮКОВА
под редакцией М. ГАСПАРОВА

Йейтс Уильям Батлер (1865—1939) — ирландский поэт и драматург. Сборник стихов и поэм («Ветер в камышах», «В семи лесах», «Дикие лебеди в Куле», «Ответственность» и другие), пьесы «Кэтлин, дочь Улиэна», «Под знаменем Единорога», «У порога короля», книга «Автобиографии»[1].

В 1923 году Нобелевской премией по литературе был награжден Уильям Батлер Йейтс «за вдохновенную поэзию, которая в высокохудожественной форме отражает дух целого народа».

Особо было отмечено Шведской академией, что творчество Йейтса синтезировало теософию, оккультизм, символизм, ирландский фольклор.

Человек солнечный и лунный

Заезжий человек, молодой венский литератор Стефан Цвейг познакомился с У. Б. Йейтсом в Лондоне в начале века. Был «вечер поэзии: пригласили узкий круг избранных... в небольшой комнате кое-кто сидел на табуретках или даже на полу. Наконец, Йейтс зажег возле черного (или покрытого черным) пюпитра две огромные, в руку толщиной, алтарные свечи и приступил к чтению. Весь остальной свет в комнате потушили, так что энергичная голова в черных локонах рельефно обрисовывалась мерцанием свечей. Йейтс читал медленно, мелодичным густым голосом, нигде не впадая в декламацию, каждая рифма получала свой полный металлический вес. Было красиво. Было и впрямь торжественно. Мешала только претенциозность оформления: черное монашеское одеяние, придававшее Йейтсу сходство со священником, мерцание толстых восковых свечей, от которых разносился немного пряный аромат,— из-за этого литературное наслаждение... было скорее славословием стиху, нежели обыкновениым чтением...».

Лет через двадцать этому У. Б. Йейтсу присуждена была Нобелевская премия. То был либеральный жест со стороны шведских академиков. За год до этого Ирландия стала самостоятельным государством, освободившись из-под власти Англии; вся Европа ей сочувствовала. Премию присудили лучшему поэту Ирландии.

Он был уже не такой, каким его запомнил Цвейг. Ранние стихи его просты и в то же время туманны, полны намеков на загадочный ирландский фольклор; они вписывались в тогдашний модный стиль модерн: зыбкие облики, сомнамбулические чувства. Теперь они стали резче, грубее, но их странность и сложность от этого сделались лишь заметнее. «Простота через напряженность»,— определял Йейтс направление исканий того типа творцов, к которому причислял себя. Фольклорные образы остались, но слишком явно были нагружены таким новым смыслом, который не снился никакому фольклору. Из национального поэта Йейтс стал общечеловеческим. Изменился и его образ жизни. Поэтические собрания, похожие на богослужение, больше не устраивались. «Йейтс жил в Западной Ирландии в старинной квадратной норманнской башне; от нее— заглавие его лучшего сборника стихов. (Русский читатель вспомнит волошинский «дом Поэта».) Это тоже был знак протеста против современности и массовой культуры, но гораздо более решительный и гневный.

Йейтс заслужил Нобелевскую премию в глазах всей Европы — заслужил своими стихами. Но стать полномочным представителем Ирландии в европейской культуре он вряд ли годился. Он был слишком личен и противоречив. Эти противоречия, между которыми напрягается его творчество, можно пересчитывать одно за другим.

Во-первых, это был ирландский поэт, писавший по-английски. Это было общей драмой всей новой ирландской культуры: кореннои ирландский язык, кельтский, практически вымер, возродить его не удалось. Ирландия, покоренная Англией, несколько веков боролась за свою национальность и самобытность, но в главном — в языке — она остается филиалом английской культуры. Англичане считают Йейтса своим поэтом и имеют на то полное право. Йейтс был деятелем «кельтского возрождения», начавшегося в Ирландии на исходе XIX века, но Стефан Цвейг познакомился с ним не в Дублине, а в Лондоне. Ирландское наследие он воспринимал английской мыслью и на английском языке. Уже это толкало его к ощущению, что все слова условны, все образы символичны.

Во-вторых, среди англоязычных ирландцев он был не католиком, а протестантом, принадлежал не к официозам, а к свободомыслящим. Первая его пьеса — «Графиня Кэтлин» («Кэтлин, дочь Улиэна») — о том, как некогда графиня продала душу дьяволам, чтобы на эти деньги накормить свой голодающий народ. Это была национальная легенда, и пьеса посвящалась актрисе Мод Гонн (в которую Йейтс был влюблен полжизни), неистовой ноборнице ирландской свободы, — но сюжет был дерзок, и католическая Ирландия отвстила на него благонамеренным скандалом. В поздние, сенаторские свои годы Йейтс объявлял себя продолжателем не ирландских свободоборцев древнего и нового времени, а английских просветителей из Ирландии XVIII века — сатирика Свифта, философа Беркли, оратора Берка,— это тоже была не самая популярная программа для тех лет. Уже это толкало его к ощущению одиночества и противостояния всем, даже ближним, а стало быть — неминуемой непонятности своего языка, которую нужно преодолеть.

В-третьих, среди деятелей ирландского Освобождения он был не борцом, а мечтателем, не политиком, а эстетом — и это в годы, решавшие судьбу Ирландии. Общественность ему претила. Изображая свой душевный склад, Йейтс писал: «...такие люди почти всегда — деятели партий, толпы, пропаганды... и ненавидят партии, толпу, пропаганду». Совесть заставляла его бороться с собой, в молодости он выступал в дублинском «Современном клубе», в старости — в сенате; не случайно заглавие сборника стихов — «Ответственность». Но когда в пасхальный понедельник 1916 года в Дублине вспыхнуло восстание против англичан,

[1] «ИЛ» печатала стихи Йейтса в № 11 за 1980 г. и в № 1 за 1986 г. *(Прим. ред.)*

жестоко подавленное, то во главе его стояли близкие его знакомые, а для него оно оказалось неожиданностью. Он написал стихотворение «Пасха 1916 г.» с рефреном «Рождается грозная красота» и спрашивал в нем себя: как могли стать героями эти обычные люди — вздорная аристократка, преподаватель, литературный критик, непутевый военный? Духом он чувствовал себя выше их, а делом оказался ниже. Это душевное раздвоение означало, что Йейтсу трудно было найти общий язык не только с окружающими, но и с самим собой.

В-четвертых, среди мечтателей эстетского символизма Йейтс оказался точно так же душевно расколот на мистика и рационалиста. Он был мистиком по душевной склонности, но не по природным данным: искал непосредственного слияния души с мировым целым, но не мог его достичь. Эту недостаточность чувства он пытался возместить напряжением ума: смолоду увлекался теософией, занимался оккультными науками, изучал каббалу, Платона с Плотином и индийскую мудрость. Он написал «Видение» — ювелирно детализированную книгу откровения о Великом Колесе двадцати восьми воплощений (по числу лунных фаз и карт таро), через которые проходят мировая история, национальная душа и человеческая душа с ее двумя ликами и четырьмя началами. Но это откровение было явлено не ему: это молодая жена его из любви к мужу стала талантливым медиумом, и это под ее диктовку и с ее автоматического письма собирал Йейтс образы, из которых возводил самоосмысляющую постройку. Образы — потому что откровение не может быть иначе как через символы; Йейтс сам терялся в наплыве этих образов, пока голоса не сказали ему: «Мы явились дать метафоры для твоих стихов».

Не потерять, а найти себя в стольких противоречиях Йейтсу помог театр. В Нобелевской речи он сказал, что рядом с ним должны бы стоять его покровительница Августа Грегори, организатор ирландского национального театра, и его друг — драматург Джон Синг. В деятельности «ирландского возрождения» театр представлял собой как бы равнодействующую между той элитарной лирикой, с которой начинал Йейтс, и массовой политической пропагандой, которой он чуждался. Театр — место, где актер должен себя одновременно чувствовать и слившимся со своей ролью, и отдельным от нее. По этому образцу Йейтс рисует и отношения человека с самим собой. Каждый из нас представляет собой две маски (не «лицо» и «маску», а именно две равноценные маски): «солнечного человека» и «лунного человека», объективного и субъективного, носителя морального долга и эстетического чувства. Каждому из нас ближе один лик, чем другой, то больше, то меньше; каждому приходится искать место в поле тяготения между тем и другим. Таких мест может быть несколько. В сборнике «Ветер в камышах» от голоса Йейтса отделяются голоса его двойников: Айдха, Ханраэна, Михаила Робартеса; первый — чистый «огонь вдохновения», второй — смятенный «огонь, развеваемый воздухом», третий — волхвующий «огонь, отраженный в воде». Эти (и другие) лирические «я» возникают в стихах Йейтса вновь и вновь.

При таком самоощущении главное дело поэта и актера оказывается одно и то же: не столько выразить то, что дано ему от природы, сколько стать таким, каким не дано от природы. Йейтса упрекали в том, что он без конца переделывает свои старые стихи, он отвечал: «Это я переделываю самого себя». Он писал: «Мне доставляют удовольствие только те стихи, в которых мне кажется, что я нашел что-то твердое и холодное — такую интонацию образа, которая прямо противоположна всему тому, каков я в повседневной жизни и какова моя страна». Чем более старым и больным становится Йейтс, тем упорнее он перековывает себя из мечтателя-волхва в героя-богатыря. Почти тридцать лет томившийся безответной любовью к Мод Гонн, теперь он сбрасывает это бремя, прославляет плотскую страсть в небывало смелых иносказаниях, а в шестьдесят девять лет заставляет сделать себе операцию омоложения — пересадку семенных желез. Пафос своих поздних стихов он называет «трагической радостью», рай для него — «непрерывный бой», вечный повтор оборотов Великого Колеса истории больше его не удручает: «Все в мире рушится и зиждется вновь, / И кто зиждет вновь, тот бодр и тот рад». Изнанка яростной любви — яростная ненависть: смысл современности для него — «цивилизация, очищаемая нашей ненавистью». Ненависть в сочетании с национализмом опасна: нищая и озлобленная Ирландия была хорошей почвой для фашистских настроений, и старый Йейтс часто бывал к ним очень близок. Но источник и здесь был тот же, что в годы его декадентской молодости, — вражда к ничтожеству мещанского мира. Как выразился один критик, «самое современное в Йейтсе — его ненависть к современности».

Брось хладный взор
На жизнь, на смерть —
И дальше, вскачь! —

так кончается одно из последних его стихотворений. Эти слова высечены на могиле Йейтса.

Отсюда и энергия поздних его стихов. У человека, так организовавшего себя, она — от ума, а не от наития. Самые страстные свои произведения он сперва набрасывал прозой, а потом с мучительным напряжением перелагал в стихи. «Личная мифология» была для него неисчерпаемым источником образов-символов. Писатели прошлых веков считали, что чем больше в стихотворении красивых слов и оборотов, тем оно поэтичнее. XX век отбросил эти украшения: «Песня, скинь их — / Дерзновенней / Быть нагой», — писал Йейтс. Зато поэтичным стало каждое даже некрасивое слово, символом — каждое повторяющееся слово: «солнце», «месяц», «башня», «маска», «дерево», «источник»... Эти шесть образов сам Йейтс назвал своими главными; а дальше этот ряд можно продолжать до бесконечности. Слова становятся многозначными иероглифами, комбинации которых дают новый и новый смысл. Самый смелый из авангардистов следующего поколения, Эзра Паунд, ставший строить английские стихи по законам китайской иероглифики, в молодости был секретарем у Йейтса.

Но диалектика не имеет конца. Чем больше силы чувствует в себе старый Йейтс, тем больше он мечтает о покое завершенности.

Символ этого покоя для него — Византия: здесь, по его мистической хронологии, высшая точка последнего двухтысячелетнего цикла истории, здесь религия, искусство и быт сходятся для него воедино, здесь взыскуемое единство всего сущего внятнее всего и для немногих, и для многих. Здесь для Йейтса жизнь очищается смертью, страсть перегорает в огне, дельфин (символ плоти) возносит седока (символ души) из мира времени в мир вечности, где вместо смертных птиц поет бессмертная птица, кованная из золота,— та, которая, по преданию, красовалась в тронном зале византийских императоров. Стихотворение «Плавание в Византию» рисует эту картину извне, стихотворение «Византия» — изнутри. А две песни — начальная и заключительная — из драмы о воскресении Христа говорят о кругообороте истории (события античного, Дионисова, цикла — плавание аргонавтов, война «Илиады» — служат прообразами событий современного, Христова, цикла) и о повторении жертвенной судьбы Диониса и Христа в жизни каждого из нас. В прилагаемых переводах рифмы и ритм подлинников не переданы.

М. ГАСПАРОВ

Из стихов У. Б. ЙЕЙТСА

Плавание в Византию

1 Нет обители тем, кто стар.
Молодые любятся, им поют
В смертных рощах смертные хоры птиц;
Брызжут в заводях форель и лосось;
Птица, рыба, всякая плоть
Зачинается, живет и умрет,
Не внимая за музыкою чувств
Нестареющим памятностям ума.

2 Старый человек — ничто,
Как дырявая рвань на шесте,
Если не всплеснется его душа
Всхлопом рук и песней из смертных дыр.
А чтобы запеть, нужно знать
Памятности величий своих —
И поэтому приплыл мой корабль
В Византию, город святынь.

3 Вы, премудрые в Божием огне
Золотой мозаики на стене,
Низойдите, обстаньте мой круг,
Научите душу мою запеть,
Отымите сердце мое,
Жаждущее, но вбитое в смерть
И не знающее, что оно есть,
Ибо вечность — тоже ведь ремесло.

4 Никогда я не воплощусь
Ни в единую природную тварь,
А лишь в золото и эмаль
Греческих златокузнецов,
Веселивших сонных царей,—
Или буду с выкованных ветвей
Петь вельможам Византии о том,
Что прошло, что проходит и что пройдет.

Византия

1 Отступают нечистые лики дня,
Засыпает пьяная солдатня;
Колокольный звон
Отстраняет гул и отгулы ночи;
И соборный купол из-под звезд и луны
Свысока глядит
На все, что мы, и на все, что в нас,
На всю злость и гной наших сложностей.

2 Проплывает образ, лик или тень —
Больше тень, чем образ, и лик, чем тень;
С мумии, как с веретена,
В петли троп развивается пелена;
Рот, иссохший и бездыханный,
Бездыханные созывает рты.
Это — смерть-в-жизни,
это — жизнь-в-смерти,
Это сверхчеловечность. Я говорю ей:
привет.

3 Чудо, птица или золотая игрушка —
Больше чудо, чем птица или игрушка,—
В звездном свете, на золотой ветви
Может крикнуть, как преисподний петел,
Или может сквозь горечь луны
Вечным металлом с презрительной
вышины
Всматриваться в перья и лепестки,
Во всю кровь и гной наших сложностей.

4 В полночь по палатам скользят
Пламена из поленьев, огнив и молний —
Пламена, зачатые пламенами,
Чтобы души, исчадья крови,
В них оставили злость нашей сложности,
Избылись в пляске,
В бредовом предсмертии,
В предсмертии пламени, бессильного
опалить.

5 Дух за духом, все ввысь, верхом
На дельфине, который весь кровь и гной!
Златокузнецы императора
Преграждают потопы. Плит, пляшущего
Мраморного пола дробят
Горькую ярость наших сложностей,
Эти образы, чреватые образами, это море
В рубцах дельфинов, в муках колоколов.

Две песни из пьесы «Воскресение»

I

Умирая святой Дионис,
И я видел: подошла к нему Дева,
Из груди его вырвала сердце
И взяла его, бьющееся, в ладонь,
И ушла с ним прочь,
И все музы запели песнь
Про весну и Великий Год,
Словно смерть Господня — игра.

Новый встанет и падет Илион,
Новый род вскормит детский крик,
Новый Арго с расписной кормой
Устремится на вздорный блеск.

Ужасом цепенел Рим,
Рассыпая мир и войну
В час, когда воззвали из вещей тьмы
Ярая Дева и над ней — звезда.

II

Померкла людская мысль,
И из жалости он вошел
В галилейскую толкотню.
В свете вавилонских звезд
Безликая наплывала тьма.
Запах крови Христовых ран
Сделал тщетным спартанский строй
И Платонов всеприемлющий ум.

Все, чем рад человек,
Живет лишь миг или день.
Наслажденье прогоняет любовь,
Во взмахе кисти умирают мечты;
Крик герольда — славе конец,
Шаг солдата — силе конец;
И в ночных выгорают пламенах
Смоляные человечьи сердца.

Перевод с английского М. ГАСПАРОВА

ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон Леонард Спенсер (1874—1965) — английский государственный деятель, автор книг историко-мемуарного жанра.

В 1953 году Нобелевская премия по литературе была присуждена Уинстону Черчиллю «за страстные речи, суть которых — человеческая отвага, за мастерство исторического и биографического описания, а также за блестящие ораторские выступления в защиту высших человеческих ценностей».

При презентации было отмечено, что «его хочется изобразить как Цезаря, который одновременно обладает даром Цицерона».

Сэр Уинстон Черчилль и его время

Это время ушло. А сэр Уинстон Черчилль остался. Так бывает? Иногда.

Когда-то, давным-давно, в школе, нам предложили изложить на бумаге все, что мы думаем об Англии. Об Англии мы, естественно, ничего не думали. Не тревожила она наше воображение, не рождала желания не спать ночами, представляя себе белые скалы Дувра или же бледную улыбку Елизаветы Великой. Но задание выполнять надо было. И я написал, что Англия известна миру тем, что она тот самый остров, на котором живет королева.

— Какая еще королева? — допрашивала меня через день учительница Мария Флегонтовна, стуча скрученной в трубочку тетрадкой о край черного крашеного стола. Остров — да! А королева — зачем? Какая такая королева?

— Английская.

— Ах, английская? Очень мило! Ты — хулиган и безобразник! Отстраняешься от занятий на три дня.

Так я впервые пострадал за королеву, но остался верен ей, что иной раз приходилось даже скрывать, поскольку монархи были не в почете, а эпоха исповедовала не просто республиканские устремления, а какие-то мистико-охлократические. Мы поклонялись портретам, значкам, символам, лозунгам, воззваниям и бесчисленному количеству планов. Какие тут могли быть королевы? И для чего бы они вдруг возникали не только в жизни, но и в нашем затуманенном сознании?

Мы были очень несчастны, но не понимали этого. «Несчастье есть счастье! — радостно кричали мы.— А счастье есть несчастье!» И были довольны. И нами были довольны.

Сейчас, по прошествии многих лет, понимаю, что в чем-то я все же был неправ. Королева, конечно, первая леди этого замечательного острова. Но населяет его не одна королева. Правильнее было бы сказать, что в Англии живут королева и ее подданные. А среди подданных во все времена были люди весьма значительные. Ну, хотя бы те же Фрэнсис Бэкон и Уильям Шекспир, Исаак Ньютон и пират Дрейк. Наконец, футболист сэр Стэнли Метьюз (он за свои спортивные успехи получил место в палате лордов), в пятьдесят лет сыгравший свой последний матч за сборную страны. Сэр Стэнли Метьюз был великим спортсменом и эталонным джентльменом. Он никогда не устраивал на поле спектаклей — не прыгал на одной ноге, не катался, как собака перед дождем, по траве, в надежде выклянчить штрафной удар. Он вообще никогда ничего не клянчил, ибо был лордом и спортсменом и не желал плебействовать. Когда после ухода из сборной страны сэра Стэнли Метьюза его постоянный партнер, напористый Бобби Чарльтон, получил навесной мяч с фланга и забил головой гол, он вместо радости как-то сник и погрустнел. В перерыве репортеры спросили его: в чем дело? «Все нормально! — ответил Бобби.— Но сэр Стэнли, с которым я играл много лет, никогда не разрешал себе небрежно навесить мяч, чтобы он именно шнуровкой попал мне на голову!»

В общем, сэр Стэнли был легендой и гордостью Англии. Не каждый футболист был таким лордом. И не каждый лорд был таким футболистом, хотя все лорды в свободное от хлопот по созданию империи время в футбол играть пытались обязательно. Футбол — это в Англии всегда было очень серьезно.

Может быть, именно о Стэнли пели в некогда популярной оперетте «Одиннадцать неизвестных» такие слова:

Сияю в лондонском тумане
Я,
Все обращают на меня внимани —
Е,
И кричат мне триста мисс:
«Стэнли, браво! Стэнли, бис!»

«Про сэра Стэнли все понятно,— скажете вы.— Ну, а при чем здесь другой сэр — Уинстон Черчилль?» А при том, что жил он в Англии, в той стране, где быть немного странным — вполне нормально. В Англии непохожесть не преследуют. Иной раз даже немного возносят, не разрешив, впрочем, себе создать кумира. С кумирами в Англии все ясно: если какой-то кумирствующий и приблизился бы к острову, его тут же попро-

силы бы отплыть подальше. Англичане себя очень уважают и первобытного идолопоклонничества не терпят.

Итак, об Англии. Впрочем, до недавних пор что мы могли о ней сказать? То, что она находится где-то за Ла-Маншем, но не доплывая до Камеруна, и что она заселена овцами, чартистами, а также рядовыми джентльменами и леди. Ну, может быть, и еще что-нибудь забавное могли бы сказать об этом милом острове. Но о Черчилле знали мало.

Правда, сразу после войны город Ростов-на-Дону восторгался пятью машинами «скорой помощи», которые подарила ростовчанам, как утверждали, «мадам Черчилль», хотя всем известно, что «мадам» живут во Франции, а в Англии — только «леди». Машины были красивые, с рулями с правой стороны, поскольку туманная Англия исповедовала вверхтормашные правила уличного движения.

У англичан всегда и все было наоборот. В отличие от России они создавали не сухопутную империю, а почему-то морскую, которую, кстати, позднее было легче демонтировать. Может быть, именно из-за различия взглядов на империи они всегда относились к нам с легким подозрением. Мы им, естественно, платили тем же. Но мы — это иное, нам все как бы разрешено и положено. А им-то зачем?

В Англии многое не так, как у всех. И лучшее тому подтверждение — жизнь Уинстона Черчилля. Еще в пору, когда он был вовсе не сэром, а обыкновенным журналистом, он отправился на англо-бурскую войну. Война была крайне непопулярна. Буров все жалели и сочувствовали им, поскольку этот маленький народ смело решил схватиться с большой и непобедимой Британией. Помогать бурам помчались многие добровольцы. Среди них и русские, в частности — Гучков. Англичане были колонизаторами. «...Ну, а буры? — поинтересовался Черчилль.— Буры — не колонизаторы, что ли? Не они ли угнетают коренных африканцев? Если не они, то кто же? Значит, речь идет о схватке между двумя колонизаторами, из которых один посильнее, а другой послабее. Мы — посильнее. Вот и всех-то дел».

Неудобным для очень многих было мышленне Уинстона Черчилля. А Черчилль и не старался быть удобным. Всегда его по жизни влекла одна, но пламенная страсть — принести пользу Англии. А это означало, что ничьи личные, частные и даже коллективные мнения его не интересовали. Служение большой идее не терпит суетливости и сиюминутности.

Когда Англия, как всем казалось, была уже на краю бездны и со дня на день можно было ждать немецкого вторжения, именно Черчилль отказался пойти на переговоры с Гитлером, хотя это вовсе не было бы прямой капитуляцией, а скорее ловким ходом, умелой игрой, которая не удалась Сталину в эпоху «пакта Риббентропа—Молотова». Черчилль не был провинциалом, он был тонким и умным политиком. Гитлер был ему абсолютно понятен. И Черчилль знал, что сам он дальновиднее Гитлера. Понимал он также, что Британская империя хоть и безбрежна, но не вечна. Англия же — остров маленький. А маленький остров непобедим лишь в случае, если его населяют большие люди. Это Сталин и Рузвельт, имея за спиной державы и пространства, могли позволить себе ошибки и просчеты. Черчиллю же права на ошибку не было дано.

Сталин и Гитлер, как всякие мелкие и суетные натуры, были склонны к эффектным жестам, театральной многозначительности и напыщенности. Черчилль мыслил стремительно и практично. Эффект его интересовал меньше всего. Он вообще не давал себе труда «нравиться».

Гитлера и Сталина вполне можно было поменять местами. Сделайте такой мысленный эксперимент — он окажется удачным. Ну, а Черчилль мог представлять лишь Англию (правда, все еще именующую себя Британской империей) и никакую другую страну.

Он был подвижен, динамичен, гибок, но всегда предсказуем. И любил ритуалы. Где бы Черчилль ни находился, в строго определенное время он принимал ванну: фаянсовые, эмалированные, всяческие ванны — в стационарных условиях, брезентовые раскладные — в походе Ванне и сигаре он не изменял никогда. Над ним посмеивались. Он этого не замечал или делал вид, что не замечает. И вновь аналогия: Гитлер тоже принимал ванну, ритуально, но натужно. Температуру воды трижды проверяли, прежде чем он опускал в ванну свое унылое тело.

В чем-то Черчилль был похож на ежа из веселого мультфильма, который «профилем вперед» вечно бежит куда-то по своим очень важным делам. Иногда, правда, оглядывался окрест, с удивлением замечал дежурную реальность и наносил миру какое-нибудь хитрое, непрямое оскорбление. Например, однажды сказал: «В России живут мужественные люди, если они зимой на улицах едят мороженое». Его министр иностранных дел сэр Антони Иден — красавец, денди, мечта всех дам за тридцать — любил балет, дарил артисткам цветы (сочетание белого цвета и алого, что означало уважение с намеком на лирический оттенок отношений), а сам премьер-министр, если верить легенде, однажды все расставил по местам. «Драма,— сказал он,— это когда на сцене говорят и плачут, опера — когда поют и плачут, балет — когда танцуют и плачут».

Черчилль решился взять на себя инициативу во взаимоотношениях со Сталиным. Позиция его чрезвычайно проста: тоталитарные режимы должны быть обрушены. Начинать надо с Гитлера, поскольку он динамичен и стремителен, а следовательно, и более опасен. Расправившись с Гитлером, а в деле этом желанны любые союзники, надо разобраться и со Сталиным. Такая четкость в глазах склонных к «барочному» типу мышления политиков граничила с примитивизмом.

Впрочем, в своих посланиях И. Сталину премьер-министр Военного кабинета Великобритании не забыл написать: «Не могу не выразить вновь восхищение британского народа великолепной борьбой русских армий и русского народа против нацистских преступников... Мы все здесь очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое и мужественное сопротивление совершенно неспровоцированному вторжению нацистов... Мы сделаем все, чтобы помочь вам, поскольку это позволяет время,

географические условия и наши растущие ресурсы...»

Это — летом 1941 года. А 9 мая 1945 года Черчилль пишет: «Я шлю вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков с вашей земли и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее человечества. Здесь, в нашем островном отечестве, мы сегодня очень часто думаем о вас, и мы шлем вам из глубины наших сердец пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, чтобы после всех жертв и страданий в той мрачной долине, через которую мы вместе прошли, мы теперь, связанные верной дружбой и взаимными симпатиями, могли бы идти дальше под сияющим солнцем победоносного мира».

Так писать мог лишь публицист со стажем, с удовольствием вслушивающийся в звук своего голоса, в собственные трели и интонации.

Сэр Уинстон Черчилль всех понял и всех перехитрил. Но он не смог в полной мере воспользоваться теми преимуществами, которые давали ему ум и проницательность: Британская империя была уже не на взлете, а на грани распада. Но он, честный солдат, отчаянный боец, служил идее до конца, как стойкий оловянный солдатик, который готов расплавиться и превратиться в капельку олова, но ни при каких обстоятельствах не покинет пост, куда поставили его Провидение и он сам себя.

Таков он и в книге своих мемуаров: хитер и прямолинеен, циничен и романтичен, упрям и гибок. Все это одновременно. Так ведут себя или действующие философы, или же дети. Как можно судить, ребенком Черчилль если и был, то очень недолго. А философию сэр Уинстон терпеть не мог, хотя пытался порою убедить всех в обратном. Но это так, для видимости. На самом деле уважал он лишь практику.

Мне кажется, что литературный стиль и уровень художественности статей и мемуаров прозы Черчилля (которую можно назвать еще и «раздумьями», но весьма энергичными, граничащими с публицистикой) не могли быть отмечены Нобелевской премией. Они — явление другого, более скромного ряда. Тогда за что же дали премию? Думаю, за образ автора. Именно он ошеломляющ и незабвенен.

Что же касается королевы, с которой начался разговор, то с нею все ясно: «Боже, храни королеву!»

Н. САМВЕЛЯН

ЗАКС Нелли (1891—1970) — немецкая поэтесса (ФРГ). Сборники стихов «В жилищах смерти», «И никто не знает дальше», «Омрачение звезд», «Бегство и преображение», «Поездка в беспыльность», «Пылающая загадка», «Поздние стихотворения», «Части ночи», драмы.

В 1966 году Нобелевская премия была присуждена Нелли Закс: «в знак признания выдающихся лирических и драматургических произведений, где с трогающей душу силой раскрываются судьбы Израиля».

Шведская академия отмечала, что Нелли Закс «из второстепенной немецкой поэтессы, писавшей о природе, выросла в поэта, обретшего мощный голос, который достиг сердец людей во всем мире эхом еврейского мистицизма, протестующего против страданий своего народа».

Писать стихи после Освенцима

«Страшные переживания, которые привели меня как человека на край смерти и сумасшествия, выучили меня писать. Если бы я не умела писать, я не выжила бы» — такое признание мы находим в письме Нелли Закс к молодой исследовательнице ее творчества.

Это отнюдь не мелодрама, не игра в трагизм. Здесь каждое слово приходится принимать совершенно буквально. Путь Нелли Закс в поэзии — особый. Поражает уже сам по себе факт необычно позднего расцвета: поэтесса, родившаяся в 1891 году, в один год с Иоганнесом Бехером, Иваном Голлем, Осипом Мандельштамом, сверстница поколения экспрессионистов, стала новым именем немецкой поэзии послевоенного периода. Ее первые настоящие стихи, которые она могла наконец признать своими, были написаны, когда ей было за пятьдесят; вдохновение пришло к ней в 40-е годы, слава — в 60-е. Исток ее творчества — переживание беды, личной, семейной и всеобщей беды, скорбь о замученных в годы гитлеризма. Это придает ее слову редкую прямоту.

Между тем ее жизнь начиналась как буржуазная идиллия: мечтательная, ушедшая в себя девица играла с ручной ланью на вилле своего отца, берлинского фабриканта еврейского происхождения. Крайняя впечатлительность гнала ее от людей; даже благополучие, окружавшее ее, оборачивалось для нее тем, что она впоследствии назовет «кровоточащей бойней детского страха». Круг ее чтения составляли преимущественно немецкие романтики, а также старые мудрецы Индии и Европы — от «Бхагавадгиты» до Франциска Ассизского, Майстера Экхарта и Якоба Бёме. Что до современной ей немецкой литературы, то ее Нелли Закс фактически не знала. Своего старшего друга она нашла в шведской литературе: это была Сельма Лагерлёф, переписка с которой велась на протяжении десятилетий. Вне всякой связи с литературной жизнью экспрессионистских лет возникает тихое словесное рукоделие мечтательной барышни...

Затем пришел 1933 год, как исполиение самых страшных снов. Отец Нелли Закс к этому времени умер, она осталась с престарелой матерью, и две беспомощные женщины, в мгновение ока лишившиеся материальной обеспеченности, не изыскали возможностей уехать из Германии, где их ждали каждодневные оскорбления. Болезненно чувствительные, словно обнаженные, нервы писательницы подверглись воздействию такой реальности, которая ломала куда более выносливых людей.

Мы изранены до того,
Что нам кажется смертью,
Если улица вслед нам бросает
недоброе слово.

Человек, несчастливую любовь к которому Нелли Закс пронесла через всю свою жизнь, сгинул в одном из лагерей смерти (это — «мертвый жених», образ которого проходит в ряде стихотворений). Ее самое ожидала та же участь. В последнее мгновение она была спасена от физической гибели вмешательством той же Сельмы Лагерлёф, пустившей в ход все свое влияние. В мае 1940 года Нелли Закс вместе с матерью разрешено было вылететь в Стокгольм (пожалевший их чиновник конфиденциально предупредил, что, если они отправятся по железной дороге, младшую забе́рут прямо из поезда на границе). Вся остальная родня погибла. Еще десять лет единственным близким человеком оставалась мать; затем умерла и она. Вплоть до своей кончины (12 мая 1970 г.) Нелли Закс жила в той же стокгольмской квартире, куда ее забросила судьба,— одинокая, старая женщина в чужом городе, потерявшая друзей, родных, родину, обожженная страшным опытом, поставленная на самую грань безумия.

Но словно взамен всего утраченного ее голос приобрел неожиданную силу. От неуверенной, необязательной красивости ее прежних литературных опытов не остается и следа; ее сменяет оплаченная страданиями весомость каждого слова и образа, сосредоточенное чувство внутренней правоты. Можно вспомнить по контрасту изречение философа-эссеиста и музыкального теоретика Т. Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихов». В этой сентенции, приобретшей большую известность, выразило себя не слишком глубокое и не слишком великодушное представление как о страдании, так и о стихах; вся поздняя поэзия Нелли Закс (в единстве с древней общечеловеческой традицией «плача» об общей беде) опровергает Адорно. Для нее, Нелли Закс, именно после Освенцима нельзя было не писать стихов; в очень личном, но и в сверхличном плане стихи были единственной альтернативой неосмысленному, непроясненному, бессловесному страданию, а потому — безумию. Ценой ее собственной боли и гибели ее друзей был добыт какой-то опыт, какое-то знание о предельных возможностях зла, но и добра, и если бы этот опыт остался не закрепленным в «знаках на песке» (заглавие одного из поэтических сборников Закс), это было бы новой бедой в придачу ко всем прежним бедам, виной перед памятью погибших. Стихи здесь — последнее средство самозащиты против жестокой бессмыслицы. Отсюда их необходимость — главное их преимущество. Писательница до последних месяцев жизни не могла перестать работать: это от нее уже не зависело.

Первый послевоенный сборник стихов Нелли Закс «В жилищах смерти» был напечатан в 1947 году восточноберлинским издательством «Ауфбау» (тогда советская зона оккупации). За ним последовали публикации в Амстердаме, Луиде, с 1956 года — в ФРГ. Некоторое время они оставались незамеченными. Лишь в начале 60-х годов к писательнице, стоявшей предельно далеко от того, что называют литературной жизнью, пришла наконец ее «беззвучная слава» (выражение Ханса Магнуса Энценсбергера). Ее произведения переводят на различные языки Европы[1]. Длинный ряд литературных премий завершился Нобелевской премией, врученной Нелли Закс в день ее 75-летия.

Известность не принесла больному, старому человеку ничего, кроме нервного кризиса, воскресившего старые страхи: ей мерещилось, что она снова в западне, в руках ловцов. Не следует искать в этом приступе весьма понятной немощи больше смысла, чем в нем есть; с другой стороны, однако, в сравнении с крайней серьезностью истоков и задач поэзии Нелли Закс литературный успех и в самом деле представляется некоей подменой. Человек пытался силами своего слова раскрыть, передать другим свой опыт боли, поставить перед глазами предостерегающие образы палачества и страдания — и видит, что его слово стало всего-навсего «литературным событием», а предостережение едва ли кому-нибудь внятно.

Ибо вся зрелая поэзия Нелли Закс живет на редкость непосредственной связью с ее выстраданным опытом, объективируя этот опыт, очищая его от всего слишком случайного, личного, непросветленно-нервного, но заботясь о том, чтобы не утратить непреложности, присущей ему именно как опыту. Какие-то отклонения от сосредоточенности на главной теме появляются разве что в наиболее поздних стихах писательницы, и это довольно понятно — нельзя же тридцать лет подряд вести один и тот же плач на одной и той же ноте; но это уже было связано со спадом творческих сил, с расслаблением логики образов. Разумеется, и возраст Нелли Закс брал свое, кладя конец поразительно позднему расцвету. Но факт остается фактом: ее творчество тем ярче, чем оно ближе по времени к болевой точке годов массовых депортаций. Вероятно, она и останется в истории литературы прежде всего как автор уже упоминавшегося лирического сборника «В жилищах смерти», других сборников 40-х и 50-х годов — «Омрачение звезд», «И никто не знает дальше», «Бегство и преображение», а также мистериальной драмы «Эли», возникшей еще в 1943—1944 годах. Все эти произведения образуют как бы единый и написанный на одном дыхании реквием — очень цельное выражение и последовательно вникающее прочувствование и продумывание опыта жертв исторического зла.

Речь идет именно об опыте жертв. Такого персонажа, как герой, там нет. Персонажей, собственно, только два — палач и жертва, и у каждого из них есть своя разработанная геральдика метафор, наполняющая до отказа словесно-образное пространство стихотворений: палач — это «охотник» из какого-то дочеловеческого мира, «рыболов», «садовник смерти», «соглядатай», подкрадывающиеся в тишине «шаги», «руки» и «пальцы», созданные для дарения и творящие злодейство; жертва — это трепещущие

[1] Блестящие переводы на русский язык еще в 60-е годы подготовил В. Микушевич. Однако по непостижимому недомыслию книгу его переводов не стали печатать ввиду расторжения в 1967 году дипломатических отношений с Израилем (хотя Н. Закс в жизни своей никогда не была израильской подданной). *(Прим. авт.)*.

«жабры» вытаскиваемой из вод и разрываемой «рыбы», зрячий, но уязвимый «глаз», поющая, но ранимая «гортань» соловья, его же способные к полету, но хрупкие «крылья». Эти сквозные символы переходят из одного стихотворения Нелли Закс в другое. Как характерно, что «руки» и «пальцы», эти эмблемы человеческой активности, сопрягаются только с палачеством, между тем как невинность предстает в каждой из этих метафор страдательной и по сути своей обреченной — глаз ослепят, гортань удушат, крылья сломают, жабры будут смертно томиться без воды! «В этом ночном мире,— пытается Нелли Закс отгадать какую-то страшную загадку,— в котором, как кажется, всегда царит тайное равновесие, невинность всегда становится жертвой». Поэтому особую силу приобретают образы страдания животных — так сказать, чистого страдания, без вины, без выхода в мысли и слове, голой боли в себе. Рядом с изгнанной Геновефой, средневековым символом оклеветанной невиности, и еврейским символом Шехины, страждущего присутствия в мире Бога, в том же ряду, что эти образы, но и за ними, глубже них, возникает третий образ, созданный фантазией Нелли Закс:

...И святая Звериная Мать
со зрячими ранами в голове,
которые не исцелит
память о Боге.
В ее радужке все охотники
разожгли
желтые костры страха...

И человек в момент вполне безвинного страдания обретает трогательное и возвышающее сходство с животным — печать жертвенности. Еврейский мальчик Эли из одноименной драмы убит немецким солдатом в миг, когда он дует в дудочку, закидывая голову назад:

как олени, как лани
перед тем, как из родника напиться.

О гибели «мертвого жениха» Нелли Закс размышляет так: перед тем как его убить, с его ног сорвали обувь, которая была сделана из кожи теленка, некогда живой, потом освежеванной, выделанной, продубленной, так что его агония повторила агонию теленка и слилась с ней.

Но телячья кожа,
которую лизал когда-то
теплый материнский язык коровы,
прежде чем ее содрали,—
ее содрали еще раз
с твоих ног —
о мой любимый!

Для того чтобы с такой сосредоточенной пристальностью смотреть на катастрофу, болезненно и безжалостно задевшую человека в самой писательнице, чтобы настолько отрешиться от жалости к себе самой и увидеть все в перспективе даже не всечеловеческой, а всеприродной, космической солидарности страждущих, нужна немалая душевная сила. У Нелли Закс, столь беспомощной в жизни, этой особой силы, просыпающейся как раз в слабейшем, было в избытке; и ее поэзия, очень страдательная и жертвенная, менее всего неврастенична. Выражение силы — великодушие. Дело никогда не сводилось для нее к самодовольно-своекорыстной, хотя бы и оправданной обстоятельствами жалобе: вот что «они» делают с «нами» (скажем, «немцы» — с «евреями», или, соответственно, «мещане» — с «поэтами» и тому подобное). Речь идет о другом, речь идет о сути: вот что делают с человеком исказившие в себе назначение человека. Вспомним образ рук, созданных для щедрости и служащих скаредному ремеслу убийства.

С. АВЕРИНЦЕВ

Из стихов НЕЛЛИ ЗАКС

Пусть гонимые не станут гонителями

Шаги —
В каких пещерах созвучий
Вы таитесь до срока,
Чтоб однажды ушам возвестить
Подступившую смерть? —
Шаги —
Не птичий полет, не утробы жертв,
Не потеющий кровью Марс
Возвещает нам рок —
Только шаги —

Шаги —
Древнее действо об убийце и жертве,
О ловце и ловитве,
О гонителе и гонимом —

Шаги —
Они делают время разрывом,
Они нас обступают волчьими харями,
В крови они беженцу гасят
Его бегство —

Шаги —
Они числят время вскриками, вздохами,
Кровь подступает, готовая хлынуть,—
Смертный пот по часам они копят —

Шаги палачей
Над шагами жертв,
Секундная стрелка по кругу Земли —
Какою черной Луною движима? —

В музыке сфер
Где фальшивит их тон? —

Перевод с немецкого ***С. АВЕРИНЦЕВА***

Критика

Вне жанра

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА

ПЛАГИАТ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Замечу с самого начала, что плагиат — вечный спутник литературы, и для наглядности приведу два примера, разделенных двумя тысячелетиями, хотя имевших место в одном и том же городе, Риме — древнем и нынешнем.

Однажды Вергилий, проходя мимо дворца императора Августа, написал на воротах лестное для хозяина двустишие, но подписи не поставил — то ли из забывчивости, то ли по бескорыстию. Этим и воспользовался посредственный поэт Батил, выдал себя за автора верноподданнического двустишия и получил щедрую награду от императора.

Вергилий оказался в довольно затруднительном положении — как изобличить литературного вора и доказать свое авторство? Он вновь пришел к императорскому дворцу и под украденным у него двустишием приписал: «Hos ego versiculos feci, tulit alter honores», что в переводе с латыни означает: стишки-то сочинил я, а почести за них достались другому. Но сетования, даже выраженные поэтически, еще не доказательство, тем более в «вечном городе» все както уверились, что панегирик императору принадлежит Батилу. Какое же доказательство своего авторства предъявил Вергилий? Это было доказательство-загадка. На тех же дворцовых воротах, под панегириком и ламентацией, Вергилий написал еще полустишие, которому суждено было стать поговоркой: sic vos non vobis. Как ни бился Батил, он не мог ни разгадать смысла этих слов, ни дополнить их. Это сделал сам Вергилий, и притом в четырех вариантах, доказав свое авторство, а заодно и поэтическое превосходство над соперником:

Эти стихи написал я, а почет снискал другой:
Так вы не для себя вьете гнезда, птицы,
Так вы не для себя приносите шерсть, овцы,
Так вы не для себя мед собираете, пчелы,
Так вы не для себя плуг тащите, волы.

(Перевод С. Шервинского)

И вот спустя два тысячелетия в Риме разразился новый скандал по поводу присвоения чужой литературной собственности. На этот раз, правда, все было наоборот — знаменитый присвоил себе труд безвестного, хотя и с согласия последнего. Еще можно если не простить, то понять, когда менее талантливый присваивает себе труд более талантливого, но когда наоборот? Видный, а по мнению соотечественников — великий итальянский поэт и литературный критик, лауреат Нобелевской премии Эудженио Монтале счел морально и творчески приемлемым публиковать под своим именем статьи, написанные за него другим литератором, американцем Генри Ферстом. Это посмертное разоблачение выдающегося автора вызвало после публикации колоссальный литературный скандал в Италии. Никто не сомневался, что свои стихи Монтале писал сам. Что же касается его обширной прозаической продукции — рецензий, статей и эссе (начиная с 1950 года они появлялись регулярно в самой престижной, как тогда, так и теперь, итальянской газете «Коррьере делла сера»), то здесь уже все под сомнением, здесь авторство Монтале в лучшем случае двусмысленно, в худшем — бесспорно связано не с ним, а с Ферстом, большим любителем и знатоком итальянской (и не только итальянской) литературы и активным сотрудником итальянских газет и журналов — под своим собственным именем.

Как всегда бывает в таких неловких ситуациях, писатели, издатели, редакторы и журналисты сосредоточились не на поступке Монтале, а на выяснении границ и прав авторской собственности. Приводили, среди прочих, пример другого нобелевского лауреата — Луиджи Пиранделло, чьи последние

романы были частично написаны его сыном Стефано Ланди. Сюда, в этот сиятельный список нобелевских лауреатов с плагиаторскими наклонностями, включили заодно и Михаила Шолохова, хотя и на гипотетических основаниях, так как авторство «Тихого Дона» подвергалось сомнению скорее по политическим причинам — антипатии определенных литературных кругов к официальному советскому писателю с реакционными к тому же политическими взглядами. Найден был даже «настоящий» автор «Тихого Дона» — донской писатель Федор Крюков, все же прямых доказательств плагиаторства Шолохова до сих пор не обнаружено.

Однако литературный плагиат не является исключительной привилегией нобелевских лауреатов, а практикуется повсеместно и на протяжении многих столетий писателями ничем не премированными, хотя и не менее оттого известными. Например, Александр Дюма-отец, хоть и знаменит своей исключительной плодовитостью — рекорд в 277 романов, но и он не удержался и опубликовал под своим именем роман «Китобои», слегка подредактированную им рукопись судового врача Майнара. Или Жорж Санд, вставившая в одну из своих пьес целый диалог, написанный Александром Дюма-сыном. Коли речь зашла о Франции XIX века, то вот остроумное наблюдение Генриха Гейне над тамошней «республикой литературы»:

«Во французской литературе царит в настоящее время квалифицированное плагиаторство. Здесь один гений запускает руку в карман другого, и таким образом между ними образуется известная общность. При подобном таланте мыслекрадства, где один стащил у другого мысль прежде, чем тот ее додумал до конца, ум становится всеобщим достоянием. В république des lettres существует общность умственных достояний».

Есть, однако, существенная разница между «общностью умственных достояний» и откровенным плагиатом, когда литературного вора ловят на месте преступления, как это случилось у дворца императора Августа, если верить биографу Вергилия Тиберию Донату. Кстати, Вергилий, уличивший Батила в литературном воровстве, сам находился под сильнейшим влиянием Гомера, а по мнению Сэмюэла Джонсона, эссеиста, поэта, лексикографа, составившего двухтомный «Словарь английского языка», был его чересчур ревностным имитатором. Полагая сущностью подлинной поэзии новаторство, Джонсон умалял на этом основании Вергилия, зато явно преувеличивал значение эпической поэмы «Потерянный рай», ставя Мильтона — за самобытность — выше всех других поэтов со времен Гомера. Суровый к подражателям, Джонсон был и вовсе нетерпим к плагиаторам — в своем «Словаре английского языка» он так определяет плагиатора: «Вор в литературе; тот, кто крадет чужие мысли или сочинения». Список литературных клептоманов воистину бесконечен — безвестный Батил не первый плагиатор, а его знаменитый земляк Монтале не последний. Известно, что Платон, владевший весьма скудными средствами, приобрел тем не менее книгу о пифагорейской школе за неимоверную в его времена сумму — десять тысяч динариев. Про преданию, Платон потратился так вовсе не из книголюбия, а по более меркантильным причинам: его злоречивый современник Тимон считал, что именно оттуда позаимствовал Платон свой знаменитый диалог «Тимей». Свое антиплатоновское сочинение Тимон озаглавил «Косоглазый» и в нем писал:

«И ты, Платон, ученым быть желая, на множество серебряных монет выменял маленькую книжицу. По этой книжице, боюсь, и научился ты писать».

За давностью лет нет возможности проверить это обвинение Платону, но остаются недоказанными и одновременно неопровергнутыми обвинения в плагиате из более близких нам времен. Являются ли плагиатом итальянские очерки Стендаля, как утверждали его современники, либо искусными компиляциями, как склонны думать нынешние исследователи его творчества? Был даже случай, когда обвинение в плагиате послужило мощным толчком к созданию прозаического шедевра — я говорю о «Четвертой прозе» О. Мандельштама. Действительно ли повинен Мандельштам в присвоении перевода «Уленшпигеля», выполненного А. Г. Горнфельдом, либо виною тому небрежность издательства, опустившего имя автора прежнего перевода и не указавшего, что работа Мандельштама сводилась только к его стилистической обработке? Так или иначе, именно с обвинения в плагиате началась травля поэта, закончившаяся спустя десять лет его гибелью, и именно ответом на эту начальную травлю и была «Четвертая проза».

Наряду с общественным осуждением плагиата, в последнее время все чаще встречаются публикации с его оправданием (теоретическим) и даже апологетикой — как, к примеру, у популярного американского критика Гарольда Блума: «В конце концов, плагиат есть скорее благочестивое, благоговейное деяние: оно вызвано нашим преклонением перед текстом... Если оригинал полон творческой мощи и красоты, тогда наша моральная или правовая реакция на плагиат явно неуместна. Библия и Шекспир, а сегодня также Фрейд, приобретают над нами власть именно потому, что их оригинальность слишком велика для интерпретации и усвоения... Когда мы до глубины души подавлены великостью, когда неимоверная сложность истощает наши познавательные способности, единственная наша защита — это плагиат, плагиат под маской идолопоклонства».

Гарольд Блум, правда, оговаривает с самого начала, что объектом плагиата должны быть только великие писатели. В качестве негативного примера он приводит «наших пишущих психоаналитиков. Когда они крадут друг у друга, они просто «снижают» свою и без того упавшую валюту еще больше, и в этом есть что-то безусловно аморальное, поскольку их обесцененная валюта вытесняет бесценную и обеспеченную. Но когда они выступают страстными поклонниками великого Фрейда и попросту имитируют его — только тогда их деятельность нравственно безупречна. Поэтому вопрос о плагиате в литературном контексте должен всегда стоять так: каково качество украденного текста?»

Здесь вступает в силу известный оксюморон Эмерсона «оригинал не оригина-

лен» — в бесконечной литературной перспективе он звучит как аксиома и не нуждается в доказательствах. Чем глубже и больше мы читаем, тем больше начинаем понимать, что все великие книги кивают друг на друга, полны намеков, ссылок и цитат, иногда сознательных и намеренных, но чаще — без всякого умысла. В «Сфере Паскаля» Борхес рассказывает о кочующей из века в век, от одного сочинителя к другому и находимой читателем у царя Соломона и Коперника, у Николая Кузанского, Бруно и Паскаля одной и той же метафоре, хотя и в различных вариантах. Вот один из них: «Природа — это бесконечная сфера, центр которой повсюду, а окружность нигде». Метафора эта так удивительна и так таинственна, что аналитический рассказ, посвященный ее вспышкам в столетиях, читается как захватывающий детектив.

Сам Борхес, этот писатель-библиофил, с его фантастической эрудицией и сквозной цитатностью, никогда не беспокоился выяснением источников — он присваивал чужие мысли, но еще чаще приписывал свои собственные классикам и знаменитостям, доведя до виртуозности прием ложной атрибуции: «Мне уже шестьдесят лет, и в моем возрасте найти что-либо схожее с моими мыслями или отличающееся не так уж важно сравнительно с тем, что считаешь истиной»,— признается Борхес. Было бы удивительно, если бы писатель с такой творческой установкой не попытался вскрыть глубинную, гносеологическую природу плагиата. Он это сделал в превосходной комической побасенке «Пьер Менар, автор «Дон Кихота», где убеждает читателя, что воспроизведение одного и того же текста, но в иную эпоху (например, через триста лет, как в рассказе Борхеса) изменяет его содержание и эстетические свойства, хотя Менар старательно, слово в слово, копирует знаменитый роман Сервантеса. Для сравнения «Дон Кихота» Менара и «Дон Кихота» Сервантеса Борхес приводит две идентичные фразы из обоих «Дон Кихотов» и настаивает на их принципиальном различии. Читатель оказывается в литературном «зазеркалье», где тождество есть различие, а значит, и никакой плагиат невозможен.

Поразительно, что из широкого ассортимента мировой классики Борхес выбрал для своего метафизического оправдания и даже апофеоза плагиата роман писателя, как никто другой пострадавшего от литературного воровства и фальсификации. Сервантес писал 59-ю главу второй части «Дон Кихота», когда узнал о появлении подложной второй части, которая на целый год опередила издание его собственного сочинения. Кто бы ни стоял за этой, несомненно талантливой литературной подделкой — агенты инквизиции, разъяренной первым томом «Дон Кихота», хваткий литературный пройдоха или Лопе де Вега, которого подозревал сам Сервантес, но ее появление тягостно отразилось на писателе и, по мнению биографов, ускорило его смерть.

Этот сдвоенный пример «Дон Кихота» — в парадоксальной трактовке Борхеса и в реальной истории присвоения идеи, сюжета и героев романа анонимным плагиатором — наглядно вскрывает сложную природу плагиата. Однако перед тем как заняться его психологической изнанкой, необходимо выяснить, когда и почему возникла идея плагиата, наносящего всесторонний и материальный ущерб оригинальному автору.

В самой этимологии слова «плагиат» заложена драма опустошительного набега плагиатора на суверенную авторскую территорию. Латинское «plagiary» означает «похититель ребенка или раба». Однако к концу XVII века плагиатом считали уже не похищение любимого человека или ценной вещи, но исключительно кражу чужого сочинения. Как видим, сама концепция плагиата возникла довольно поздно — одновременно с идеей оригинального авторства. До изобретения в середине XV века печатного станка, когда книги существовали в рукописной форме, литературный плагиат был насущно необходим. Он оказался едва ли не единственным средством тиражирования книги, которая только тогда расходилась среди читателей, когда списывалась с оригинала — чаще всего без упоминания имени автора. Тогдашний автор просто не мог позволить себе роскошь ревнивого отношения к собственным словам, ибо не будь они украдены — они бы так и остались непрочитанными. Вот почему вплоть до конца XVII века писатели не слишком дорожили привязкой своего имени к своим сочинениям. Скажем так: подлинник тогда не имел охранной грамоты.

Как пример здесь неизбежен Шекспир. Он брал сюжеты и характеры для своих пьес где только ему заблагорассудится, редко ссылался на источники, также мало беспокоился об охране собственного авторства: любой современник мог напечатать его сочинения — разумеется, не платя никаких авторских гонораров Шекспиру.

Более подробную характеристику средневековой и раннеренессансной ситуации с авторским правом мы находим у Хуана Луиса Вивеса, соратника Эразма Роттердамского и Томаса Мора:

«Бывали люди, которые надписывали книгу именем великого сочинителя для придания ей авторитета; другие, поскольку в старину многие книги издавались без имени автора, следовали первой же легкомысленной догадке и присуждали ее той или иной знаменитости; третьи, не умея опознать название, ничтоже сумняшеся изменяли его и относили к любому приглянувшемуся автору; существовали и переписчики, которые ставили в заглавии любое пришедшее в голову имя. И все принимается без различия, все окружается не меньшим уважением и доверием, чем настоящие и подлинные сочинения».

Однако даже в те времена безотчетного авторства нашлось несколько писателей, чрезвычайно озабоченных охраной своих авторских прав. В английской литературе XVI века это Томас Черчьярд. Большую часть своей долгой жизни он провел в ожесточенной борьбе с литературными соперниками, уличая их в воровстве у него и требуя сатисфакции. Единственный из английских писателей своей эпохи, он проявлял такую, по мнению современников, «безумную крайность» в отстаивании собственных сочинений.

Чтобы понять, насколько оригинальна и крайне неуместна была позиция Черчьярда во времена, когда писатели поворовывали или, мягко говоря, заимствовали друг у дру-

га запросто, по обычаю и по привычке, достаточно сравнить его обостренные собственнические инстинкты с родовым восприятием искусства писателем, гораздо более известным и жившим к тому же на два с лишком столетия позже — Иоганном Вольфгангом Гёте. Со свойственным ему культурным универсализмом и с ощущением, что он живет в эпоху широчайшего распространения культуры, Гёте не очень ценил и понимал самостийную оригинальность. Он считал, что скопленные веками литературные достижения проникают восприимчивого писателя как воздух и он уже не в состоянии отличить свое от усвоенного чужого. В разговорах с Эккерманом Гёте очень часто и горячо высказывает мысли, подобные вот этой: «Много говорят об оригинальности, но что это означает? Как только мы рождаемся, мир начинает влиять на нас, и так до конца нашей жизни. Что же мы можем назвать своим собственным, кроме энергии, силы, желания? Если бы я мог указать все то, чем я обязан великим предшественникам и современникам, то по исключении всего этого у меня осталось бы очень немного». Разумеется, это упоительное ощущение всей мировой литературы как богатейшего своего наследства, из которого «мы черпаем и усваиваем себе все, что можем, и все, что нам подходит», не имеет ничего общего с расчетливым плагиатом, но технически с ним иногда совпадает. Гёте присуще архаическое, коммунальное ощущение литературной собственности, в произведениях писателей наследственные, крупные, родовые черты литературы ему дороже, чем индивидуальные или особливо-личные. Он мало различает между заимствованием, подражанием и — плагиатом. Во всяком случае, он не улавливает здесь тонких дистинкций, которые так важны были, скажем, для князя Вяземского, испытывающего авторскую гордость за свои слова «не побирающиеся у соседей». И даже малоизвестный Томас Черчьярд мог бы уличить Гёте в литературной краже, когда тот свободно черпал (любимое слово у Гёте) из всей сокровищницы мировой литературы, доставшейся ему в законное наследство:

«Но лорд Байрон велик, только когда он творит... Ему бы здесь следовало энергичней дать отпор. Все, что у меня,— мое! — должен был бы он сказать,— а взял ли я это из жизни или из книги — не все ли равно? Вопрос лишь в том, хорошо ли это у меня вышло!.. Мой Мефистофель поет песню, взятую у Шекспира,— и почему бы ему этого не делать? Почему мне нужно было бы мучиться и выдумывать свою, когда шекспировская как раз подходит и говорит именно то, что нужно. И поэтому если даже пролог моего «Фауста» имеет сходство с книгой Иова, то это опять-таки очень хорошо, и меня за это нужно хвалить, а не порицать».

Здесь стоит уточнить, что родственное, сыновнее отношение Гёте к культурным ценностям «всех времен и народов» было уже нетипичным для его времени, было уже слишком оригинальным отклонением от нормы. У Гёте оно исходило из его патетической натурфилософии, согласно которой культура есть совокупность даров непрерывно творящей природы, вложенных в «избранников божества» — писателей, художников, музыкантов,— то есть общее природное достояние. В эпоху Гёте понятие плагиата уже вошло в домашний обиход литературы.

С окончательным оформлением идеи литературного подлинника и оригинального авторства возникла их зловещая тень — плагиат. Томас Маллон, один из современных специалистов по плагиату (а таковые тоже имеются), в книге «Украденные слова» приводит внушительный список закоренелых, или, скажем, профессиональных, плагиаторов, среди которых чуть ли не на первом месте славные имена Лоренса Стерна, Сэмюэла Колриджа, Стендаля и Генри Лонгфелло. Где-то посредине этой книги, зажатый в плотном кольце литературных злоумышленников прошлых столетий и новейшего времени, читатель начинает сомневаться, найдется ли хоть один писатель в истории мировой литературы, не испытавший жгучего соблазна «кражи слов» у собрата по профессии. И до сих пор понятие плагиата очень расплывчато и колебательно, плагиатор не всегда формально отделен от эклектика, компилятора, эпигона или подражателя. В конце концов, человек есть имитационное животное, а писатель, как заметил Сол Беллоу, есть «читатель, пустившийся в подражание».

Самое интересное и информационно ценное в исследованиях о плагиате, однако,— вовсе не забавные анекдоты из практики литературных клептоманов, а психологический анализ плагиата как мании, как навязчивой идеи, которая влечет своего носителя к литературному самоубийству. Эту несколько неожиданную характеристику литературного вора как самоистребительного маньяка придется принять и самому упирающемуся читателю, потому что современные исследователи плагиата чрезвычайно убедительны именно в своем психоаналитическом зондировании мотивировок плагиатора, располагая к тому же богатейшим материалом для аргументации. Так, выясняется, что факты меркантильного и злонамеренного плагиата имеют только косвенное отношение к этой литературной психопатии.

Истинный плагиатор, оказывается, действует импульсивно, из безудержного желания, подчиняясь неодолимому порыву. Классическим примером такого литературного психоза является импульсивное и бесцельное присвоение чужих произведений Сэмюэлом Колриджем, известным английским поэтом, критиком и философом, крупнейшим представителем «озерной школы». Казалось бы, у него не было никакой нужды вставлять целые отрывки из Шеллинга и Шлегеля в свою знаменитую «Литературную биографию» под видом собственного сочинения: он вполне мог обойтись без этих, к тому же так легко изобличаемых заимствований. Более того, он имел обыкновение громогласно обвинять писателей в том самом преступлении, которое сам систематически совершал. Именно цепная реакция психопатических поступков Колриджа и представляет, по мнению многих исследователей, образчик психологии плагиатора.

К тому же, в своих собственных сочинениях он проявляет такой недюжинный ори-

гинальный талант, что потребность в плагиате представляется невероятной, по крайней мере его читателям. Затем Колридж выказывает явную неприязнь к плагиаторским замашкам у других писателей и страстное отрицание подобной слабости у себя. И наконец, его плагиат настолько вопиющ и текстуально нагляден, не говоря уже о том, что совсем ненужен, что можно только удивляться — а не является ли желание публичного разоблачения частью его первоначального замысла? Этот извращенный деструктивизм, эта потаенная мечта быть пойманным на месте преступления, острое, хотя и неосознанное желание уличения и наказания и являются, согласно упомянутому уже Маллону, типическими чертами плагиатора. В русской литературе таким чистопородным плагиатором был, вероятно, некий Ногтев, опубликовавший под своим именем повесть Пушкина «Пиковая дама» — спустя полвека после ее появления.

Из международного списка «клинических случаев» плагиата упомянем напоследок английского романиста и драматурга конца XIX века Чарльза Рида, «человека просто не ведающего, что такое литературная честность», по словам удрученного его неутомимым плагиаторством писателя Антони Троллопа.

Опять же, как и в случае Колриджа, у Чарльза Рида не было, казалось бы, никаких оснований и реальной нужды обращаться к плагиату. Он сам был довольно плодовитый и популярный у современников писатель; в частности, его комедия «Маски и лица» и роман из эпохи Возрождения «Монастырь и очаг» принесли ему громкую известность. Мало того, всю свою деятельную жизнь он яростно боролся за охрану международного авторского права и призывал литературную общественность клеймить позором нарушителей авторской собственности. Тем не менее он перевел малоизвестный, остросюжетный и крепко сбитый французский роман и затем опубликовал его под своим именем. Обратите внимание: это один из ловких и частых приемов плагиаторства — выдать перевод за собственный текст. Современников Чарльза Рида сильно смущало также, что он приступал к роману, предварительно скопив большое число газетных вырезок, которые потом механически переносил в текст. Оправдываясь, Чарльз Рид настаивал на особом жанре своих книг, которые именовал «романами установленного факта». Мнения потомков о нем разошлись: одни считают его закоренелым плагиатором, другие — основоположником документального романа.

В любом случае наперекор расхожему представлению об умышленном, в корыстных целях, плагиате возникает парадоксально привлекательный образ плагиатора как психопата, замышляющего против себя и склонного к литературному мазохизму,— образ, вызывающий даже и жалость, и сострадание. О том, насколько эта страсть всепоглощающая, свидетельствуют те, кому ее удалось преодолеть. Грэм Грин, еще будучи начинающим писателем, почувствовал сам, что в его ранних романах мощно и зримо присутствует Конрад, а потому в профилактических целях решил держаться подальше от любимого романиста. А Фрейд на протяжении всей жизни отказывал себе в роскоши и удовольствии чтения Ницше — опасаясь, что этот философ слишком уж близок к ходу его собственного мышления.

И Фрейд, и Грин — оба сознательно избегали посторонних воздействий, оберегая пуще глаза собственную оригинальность и творческую независимость. То есть поступали обратно привычному жесту плагиатора, жнущему там, где не сеял. Какой ощутимый урон наносит плагиатор оригинальному автору? И в чем он выражается? И существуют ли реальные меры по ограждению автора от посягательств на его литературную собственность? Эти вопросы возникают всякий раз, когда литературная общественность сталкивается с внезапным явлением плагиата. Возьмем англо-русский пример: писателя, который пишет по-английски, но как плагиатор — самый известный за последнее десятилетие — специализируется на русском материале, а потому в связанные с ним скандалы оказались вовлечены как русские авторы — Пушкин, Ахматова, Анатолий Кузнецов, так и крупнейшие специалисты по русской литературе и ее переводчики.

Речь пойдет о британском авторе Д. М. Томасе, для которого плагиат, как остроумно заметил английский критик, является творческой манерой. Чуть ли не каждое его произведение — будь то сборник стихов, переводы, комментарии либо роман — с какой-то фатальной неизбежностью вызывает скандал, связанный с присвоением литературной собственности. Самый громкий и с необычайно широким международным резонансом скандал разразился в связи с собственническими притязаниями Томаса на чужой роман: в свой роман-бестселлер «Белый отель» он ловко вмонтировал две с половиной главы из книги Анатолия Кузнецова «Бабий Яр».

Моральная изнанка этого и без того малопривлекательного случая заключалась в том, что прямое и косвенное, многостраничное и по отдельным эпизодам заимствование было совершено Томасом из романа русского писателя-невозвращенца, который умер за два года до выхода «Белого отеля» и уже не мог защитить себя от такого беззастенчивого литературного грабежа. Томас оказался в роли Крошки Цахеса, которого, как читатель помнит, хвалили за чужие достоинства. Рецензенты «Белого отеля», даже те, что отрицательно отнеслись к роману, отмечали тем не менее, что впервые так удивительно достоверно, с «таким мучительным лаконизмом и почти документальной резкостью ужасающих оттенков и деталей, которые невозможно ни помнить, ни забыть», изображена в книге трагедия Бабьего Яра, не подозревая даже, что все эти похвалы относятся к роману Анатолия Кузнецова.

Две главы, привлекшие алчное внимание Томаса, являются уникальным свидетельством двух реальных людей — подлинным человеческим документом, не годным, по законам не только этики, но и эстетики, для использования дословно в чужом сочинении под именами вымышленных героев. Одна глава «Приказ» — воспоминания двенадцатилетнего Анатолия Кузнецова о том, как немцы оккупировали Киев и приступили к массовому уничтожению евреев в Бабьем Яре (кроме этой главы, присвоенной Тома-

сом почти полностью, он также прихватил немало из предыдущей главы «Крещатик»). Другая, полностью заимствованная им глава — персональное свидетельство реальной женщины, Дины Мироновны Проничевой; ей чудом удалось выбраться из-под трупов Бабьего Яра, чудом выжить — единственной, как считал Кузнецов, из 70 тысяч евреев, расстрелянных здесь в сентябре 1941 года, и дать за них свои показания. Кузнецов сообщает, что ему стоило невероятных усилий убедить Дину Мироновну рассказать свою историю, которую он записал «слово в слово, не добавляя ничего от себя», и эту же точно историю, я повторяю — личную историю реальной женщины и одновременно свидетельское показание, обладающее исторической ценностью, почти так же «слово в слово» рассказывает Д. М. Томас о своей вымышленной героине, страдающей острыми неврозами, истерическими вспышками, истерзанной сексуально-брутальными снами и порнографическими фантазиями и бывшей, по модной раскладке сюжета, пациенткой самого Фрейда.

Кстати, именно Кузнецов привел к Бабьему Яру Евгения Евтушенко, и тот, находясь под сильнейшим впечатлением от увиденного и еще больше от услышанного, написал свое самое знаменитое на Западе стихотворение, опередив Кузнецова, чей роман в конце концов был напечатан в «Юности» со значительными цензурными сокращениями. Издавая полную версию за границей, Кузнецов настоял, чтобы вычеркнутые цензурой места были набраны жирным шрифтом. Этот роман был для него делом совести, чести и принципа — делом его жизни. Скорее всего, Томас не решился бы на свой беззастенчивый плагиат, будь Анатолий Кузнецов еще жив,— обкрадывать мертвых легче, чем живых.

Именно на примере Томаса становится очевидным, что плагиат — преступление без наказания. Тем более такой грубый и в то же время изощренный плагиат, как в «Белом отеле», где на «копирайтной» странице Томас выражал «благодарность издателям книги Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» за разрешение использовать в пятой части материалы из нее, особенно рассказ Дины Проничевой».

На самом деле на обороте титульного листа — так называемой «копирайтной» странице, которая носит исключительно юридический характер,— авторы обычно выражают благодарность другим издателям за разрешение привести цитату из изданного у них произведения — со ссылкой на автора и в кавычках. Никаких цитат, никаких ссылок, а тем более кавычек у Томаса нет, а есть обширное постраничное и даже «поглавное» заимствование из романа Анатолия Кузнецова. Достаточно беглого сличения этих страниц, чтобы убедиться в очевидном, стопроцентном плагиате, на который Томас не получил никакого разрешения от издательств и получить ни от кого не мог, ибо то, что он совершил, является противозаконным с точки зрения международного авторского права. Однако благодаря ловким манипуляциям с «копирайтной» страницей Томас избежал ответственности.

«Дело» Томаса было передано, так сказать, на суд литературной общественности. Лондонская «Таймс» на страницах своего воскресного литературного приложения провела даже специальный международный симпозиум на тему плагиата, что само по себе событие экстраординарное. Разноплеменные участники этого симпозиума пришли к единодушному выводу, что «столь откровенный плагиат, такое умышленное использование и коммерческая эксплуатация чужой интеллектуальной собственности встречаются все-таки редко; более частый случай — когда один автор безотчетно присваивает что-либо или ненароком заимствует у другого».

Одна только лондонская «Таймс» напечатала двенадцать статей, осуждающих Д. М. Томаса за литературное воровство, да еще такого размаха. Его критики приводили многочисленные английские сравнения, я приведу русское — для наглядности. Пусть читатель представит какие-нибудь знаменитые эпизоды — скажем, убийство старухи-процентщицы Раскольниковым либо подслушанные князем Андреем восторженные откровения Наташи Ростовой лунной ночью у окна,— слово в слово воспроизведенные кем-нибудь из современных авторов в собственном романе с благодарностью издателям «Войны и мира» либо «Преступления и наказания» за «использование материала». Томаса подвела «ловкость рук» — кража с благодарностью оказалась еще хуже, чем без.

Однако несмотря на скандал репутация Томаса все-таки пострадала не так сильно, как было ущемлено авторство Кузнецова. Ибо не будем забывать, что в литературной краже наличествуют две стороны: плагиатор и пострадавший от него оригинальный автор, чьи произведения литературный вор выдавал за свои либо использовал без ссылки на автора. В первом случае плагиат нагляден, он, так сказать, бросается в глаза, и справедливость обычно восстанавливается простейшим актом возвращения авторства к его оригинальному источнику. Если, например, поэт Василий Журавлев счел возможным опубликовать под своим именем[1] стихотворение Анны Ахматовой «Перед весной бывают дни такие...», это не значит, что авторство стиха механически переходит от Ахматовой к Журавлеву.

Сложнее и уязвимее — для подлинного автора — обстоит дело с плагиатом не столь откровенно грубым, а — изобретательным, ловким, почти творческим присвоением, как в случае с Томасом. Поскольку его книга с обширными заимствованиями из Кузнецова не была ни текстуально изменена, ни изъята из обращения, ни хотя бы снабжена объяснительным вкладышем, за уникальным отрывком о Бабьем Яре до сих пор парадоксально сохраняется двойное авторство.

И этот случай коллективной собственности (автора и его плагиатора) на литературную либо научную работу отнюдь не единственный, он даже не так уж и редок. Когда плагиатор совершает налет на суверенную авторскую территорию, в накладе, как правило, остается оригинальный автор. Здесь лучший пример — профессор Техасского технологического института Джеймс Соколоу. Многие годы и совершенно безнаказанно он крал из сочинений других авторов материалы, концепции и целые главы

[1] «Октябрь», 1965, № 4. *(Прим. авт.)*

для своих статей, рефератов и книг. Он настолько вошел во вкус этой игровой клептомании, что в 1980 году задумал предложить под видом своей новой книги «Эрос и модернизм» докторскую диссертацию другого ученого. Пойманный с поличным в своем Техасе, он гневно обвиняет всех и каждого в пристрастном к нему отношении, переезжает в Нью-Йорк, где успешно и в более престижном, чем университетское, издательстве публикует свою книжку, на самом деле принадлежащую другому, хотя и без такой скандальной репутации, ученому. Это уже случай не двойного, а перевернутого или уворованного авторства: тень (плагиатор) захватила все права и обличье своего господина (оригинального автора).

Либо — это уже из последних новостей с нью-йоркского литературного фронта — Джекоб Эпштейн, блестяще дебютировавший в 1987 году романом «Дикий овес», который, при ближайшем текстуальном разборе, оказался подозрительно схожим с романом Мартина Эмиса «Письма Рейчел». Любопытно и знаменательно, что публикация романа Эмиса в 1974 году отнюдь не сопровождалась тем фейерверком критических похвал и прорицаний, какие выпали на долю его уворованной версии, напечатанной под именем Эпштейна. Может быть, все дело в том, что плагиатор, как и эпигон, усовершенствует оригинал?

Таким образом, плагиат был и остается неизбежным спутником литературы. И всякий раз, сталкиваясь с фактом откровенного плагиата, литературная общественность впадает в некую прострацию и замешательство и втайне предпочитает, чтобы литературный подлог остался на личной совести плагиатора. Дефиниция наказания в этой специфической области посягательства на чужую собственность, по сути, не разработана, «преступник» отпускается на все четыре стороны с небольшим изъяном для репутации либо, наоборот, со скандальной, пусть и отрицательной, славой, которую он еще может использовать впрок. В этих скользких и щекотливых ситуациях справедливость торжествует редко, что связано, между прочим, и с уклончивой природой самого понятия, всегда возвращающего нас к парадоксу Эмерсона: если оригиналы не оригинальны, то что есть оригинальность? В конце концов некий первопоэт написал все стихи, и некий перворассказчик поведал все истории; все остальные, во времени, писатели были только их безотчетными и машинальными плагиаторами.

Однако эта Эмерсонова гипербола, хотя и намекает на истину, оставляет читателя неудовлетворенным. В утешение надо признать, что в литературной ситуации XX века плагиат — непопулярное занятие у авторов и не представляет серьезной угрозы писательскому делу. Более того — плагиат не совпадает с творческим честолюбием талантливого автора, уверенного, что может написать роман лучше, чем Троллоп или Джейн Остин, детектив лучше Яна Флеминга и стихи лучше Лонгфелло или Вордсворта, как и все остальное,— оригинальнее и несомненно лучше.

Публицистика

Русский писатель в эмиграции: Нью-Йорк, Париж...

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ

В джунглях американского издательского бизнеса

Возможно, этот очерк — одна из последних более или менее пространных вещей Сергея Довлатова. Он передал мне его в мае, совсем незадолго, как, к несчастью, оказалось, до смерти.

Ничто не обещало конца, да и вообще само понятие смерти совершенно не совмещалось с этим человеком. Во-первых, его было много, настолько много, что, казалось, сбить с ног невозможно. Я и сам сложением как будто не тщедушен, но когда мы встретились впервые — было это года два назад,— ощутил чуть ли не физическую неполноценность. Во-вторых, рядом с ним было надежно, неодиноко и как-то на редкость легко, хотя рубаху-парня Сергей напоминал менее всего и вообще избегал всяческой фамильярности.

И наконец, в Довлатове не было ни грана фальши, он был бесконечно естествен, что сразу же видно и из его книг. А они словно выросли прямо из устной речи. Рассказчиком он был потрясающим. Но об этом лучше вспомнят другие — те, кто знал его ближе и лучше. А я хочу сказать, что именно эта естественность мешает поверить в то, что Довлатова нет больше. Оно конечно — и смерть входит в порядок вещей. Но это вообще. А Сергей Довлатов слишком принадлежал жизни.

В последний раз мы говорили о возможности поездки домой. Сергей ссылался на разного рода трудности, главным образом технического свойства, но мне казалось, что не нынче, так завтра мы увидимся в Москве.

Теперь уж не увидимся.

Говорят, что пустота, образующаяся после ухода писателя, заполняется его книгами. Наверное. Но я точно знаю — пустота, образующаяся после ухода человека, не заполняется ничем.

Н. АНАСТАСЬЕВ

Те же и «Мадонна» Боттичелли

Апрель 1980 года. Я сижу на террасе дешевого ресторана в Манхэттене. Жду свою переводчицу Энн Фридмен.

Познакомил нас Иосиф Бродский. Точнее, организовал нашу встречу. Мы договорились, что я буду ждать ее на углу Лексингтон и Сорок шестой.

Энн предупредила:

— У меня в руках будет коричневая сумочка.

— А меня часто путают с небоскребом «Утюг».

Я пришел около семи. Заказал стакан пепси-колы. Вынул сигареты.

Мимо двигалась нескончаемая толпа. В ней явно преобладали молодые женщины с коричневыми сумочками. Хорошо, меня заранее предупредили, что Энн Фридмен красавица. Иосиф сказал: «Похожа на «Мадонну» Боттичелли».

Мировую живопись я знаю слабо. Точнее говоря, не знаю совершенно. Но имя Боттичелли, естественно, слышал. Ассоциаций не вызывает. Так мне казалось.

И вдруг я ее узнал, причем безошибочно, сразу. Настолько, что окликнул. Наверное, Боттичелли скромно таился в моем подсознании. И когда потребовалось, благополучно выплыл.

Действительно Мадонна. Приветливая улыбка, ясный взгляд. Казалось бы, ну что особенного? А в жизни это попадается так редко.

Затем состоялся примерно такой диалог:

— Хэлло! Я Энн Фридмен.

— Очень приятно. Я тоже...

Видно, я здорово растерялся. Неужели все это происходит со мной — Америка, литература, юная блондинка?! Около тридцати долларов в кармане. Точнее, двадцать восемь пятьдесят...

Мы шли по Сороковой улице. Я распахнул дверь полутемного бара. Приблизился к стойке:

— Джин энд тоник.

— Сколько?

— Четыре двойных!

— Вы кого-то ждете? — поинтересовался бармен.

— Да,— ответила моя новая знакомая,— скоро явится вся баскетбольная комаида.

Я выпил, заказал еще.

Энн Фридмен молчала. Хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Наша бы давно уже высказалась:

— Закусывай. А то совсем хорош!

Кстати, в американском баре и закусывать-то нечем.

Молчит и улыбается.

Надо ли говорить о том, что я сразу решил жениться? Забыв обо всем на свете. В том числе и о любимой жене. Что может быть естественнее и разумнее — жениться на собственной переводчице?!

На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги у меня, скажем, быстро кончаются, одиночество — никогда.

А девушка все молчала. Пока я не спросил о чем-то. Пока не сказал чего-то лишнего. Бывает, знаете ли, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь. Лишний миллиметр — и центр тяжести уже где-то позади. Еще секунда — и окунешься в пустоту. Тут важно сразу же остановиться. И я остановился. Но еще раньше прозвучало и имя — Стивен. Стивен Диксон — муж или жених. Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо и совершенно детская, почти младенческая улыбка. (Как это они все друг друга находят?!)

Ладно, думаю. Ограничимся совместной творческой работой. Не так обидно, если блондинка исчезает с хорошим человеком.

Мы — соавторы

Родители Энн Фридмен — польские евреи. Отец два года провел в советском лагере. Более или менее свободно говорит по-русски. Но с акцентом, разумеется. Однако вот что удивительно: когда Грегори переходит на лагерную «феню», акцент без следа исчезает. И матом он ругается без всякого акцента. По-моему, тут есть над чем задуматься.

Энн Фридмен родилась уже в Нью-Йорке. Занималась на славистском отделении. Написала потрясающую диссертацию о Чехове.

И вот ей рекомендовали заняться моими сочинениями. Энн позвонила, и я выслал ей тяжелую бандероль. Затем она надолго исчезла. Месяца через два позвонила снова и говорит:

— Скоро будет готов черновой вариант. Я пришлю вам копию.

— Зачем? Я же не читаю по-английски.

— Разве вас не интересует перевод? Вы сможете показать его знакомым.

(Как будто мои знакомые — Хемингуэй и Фолкнер.)

Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Вряд ли перевод окажется хорошим. Ведь герои моих рассказов — зеки, фарцовщики, спившаяся богема. Все они разговаривают на диком жаргоне. Большую часть всего этого даже моя жена не понимает. Так что же говорить о молодой интеллигентной американке? Как, например, можно перевести такое выражение — «Игруля с Бомбиловки»? Или — «Фиговатый конь породы»? И так далее.

И вообще, молодая блондинка, к тому же хорошая переводчица — это слишком. Так не бывает.

Энн Фридмен сдержанно прибавила:

— Мне кажется, перевод хороший.

Я думал, что ослышался. Нет, именно так и сказала — «перевод хороший». То есть небрежно похвалила собственную работу.

Впоследствии я убедился — так принято. Скромность в Америке не является первоочередной добродетелью. А ложная скромность — тем более. Даже в анкетах при трудоустройстве есть графа: «Как вы оцениваете собственные профессиональные качества?»

Энн Фридмен сказала — перевод хороший. И перевод действительно оказался хорошим. Мои друзья, прекрасно знающие английский, говорили:

— Читая ее переводы, мы слышим твой голос.

Я у Бродского спросил по телефону:

— Вы мой рассказ читали?

— Читал.

— А перевод читали?

— Читал.

— Ну и как?

— Перевод замечательный.

Затем он то ли уточнил, то ли исправился:

— Адекватный.

Позже я буду дружить с очаровательной неглупой Лайзой Такер. Которая также изъявит желание заняться моими рассказами. И я спрошу ее:

— Вы что-то уже переводили с русского?

— Да,— ответит Лайза,— я перевела стихи Цветаевой.

И добавит:

— В моих переводах они звучат лучше, чем в оригинале.

Вот этого я уже перенести не смогу. И дружба наша, к сожалению, прервется.

Я сказал Энн Фридмен:

— Мы должны обсудить некоторые финансовые проблемы. Платить вам я не в состоянии.

— Да, знаю. Мне говорили.

— Если хотите, будем соавторами. В случае успеха гонорары делим пополам.

Предложение было нахальное. Какие уж там гонорары! Если даже Набоков был вынужден преподавать.

Энн согласилась. Кстати, это был единственный трезвый и дальновидный финансовый шаг, который я предпринял в Америке.

Что такое «Нью-Йоркер»?

И вот она звонит:

— Я отослала перевод Иосифу. Он передал рукопись в «Нью-Йоркер». Им понравилось. Через два-три месяца рассказ будет напечатан.

Я спросил:

— «Нью-Йоркер»— это газета? Или журнал?

Барышня даже растерялась от моего невежества. С таким же успехом я мог бы поинтересоваться: «Нью-Йорк — это, простите, город или деревня?»

Слышу:

— «Нью-Йоркер» — самый престижный журнал в Америке. Они заплатят вам несколько тысяч.

— Ого!

Откровенно говоря, я даже не слишком удивился. Наверное, потому, что слишком долго всего этого ждал.

Мармеладовая роза

Линда Ашер — заведующая отделом прозы в «Нью-Йоркере». Она же с восьмидесятого года мой постоянный редактор.

Линда позвонила мне в конце июля. Пригласила на ланч в ресторан «Алгонкуин», угол Сорок третьей и Шестой. Я почему-то сразу догадался, что это шикарный ресторан.

Звоню Энн Фридмен, спрашиваю:

— Как я должен быть одет?

Слышу:

— Ведь ты же писатель, артист. Ты можешь одеваться как угодно. А днем — тем более. Так что не обязательно являться в смокинге. Можно и в обыкновенном светлом костюме.

Неплохо, думаю. У меня и пиджака-то человеческого нет. Есть свитер, вязаный жилет и джинсовая куртка.

Звоню поэту Льву Халифу. Благо мы с ним одинаковой комплекции. Халиф мне уступает голубой пиджак, который ему дали в синагоге. И галстук цвета вянущей настурции.

Как я и предполагал, «Алгонкуин» — самое дорогое место в этой части Нью-Йорка. Интерьер в старинном духе: бронзовые канделябры, гобелены, мельхиоровая посуда. Линда Ашер — маленькая стройная женщина, пренебрегающая косметикой. Она, естественно, не говорит по-русски. Ваш покорный слуга, что менее естественно, так и не овладел английским. При этом как-то мы с ней все же объясняемся. Каким-то непонятным образом беседуем между собой. Может быть, дело в категорической американской установке на понимание? Здесь так: говорите ясно, медленно, отчетливо — и вас поймут. На каком бы языке вы ни изъяснялись. Мама в супермаркете\ то и дело заговаривает по-грузински. Просто от смущения и растерянности. И ее понимают.

Я с испугом листаю меню. Читаю его, как Тору, справа налево. Шестнадцать долларов — «Потроха а-ля Канн». Восемнадцать девяносто — «Фрикасе эскарго с шампиньонами». Двадцать четыре пятьдесят — какое-то «Филе Россини». «Лобстер по-генуэзски» — цена фантастическая. Прямо так и сказано — «цена фантастическая». Это у них юмор такой. Хватает совести шутить.

Листаю меню. Стараюсь угадать какое-нибудь технически простое блюдо. Что-нибудь туго оформленное, сухое и легко поддающееся дроблению. Вроде биточков.

Останавливаюсь на каком-то загадочном «Соте эрб де Прованс». Мне приносят нечто тягучее, рыхлое и бесформенное. Но с мармеладовой розочкой в центре. Коснешься вилкой — пружинит. Тронешь ножом — выделяется жир. Тот самый, который вскоре окажется на голубом пиджаке Льва Халифа.

От ужаса я теряю способность есть. То есть буквально не могу разжать зубов. Как бультерьер с его ужасной мертвой хваткой.

Сижу, курю, пью минеральную воду. Коньяк, джин, виски отвергаю, причем с негодованием. В кармане у меня новенькая стодолларовая бумажка. Я слышу, как она шуршит. А моя дама чуть ли не шестой коктейль себе заказывает. А я, стало быть, из экономии пью «Виши».

За спиной у меня какой-то господин во

фраке. Зажигалку мне протягивает, воду наливает. Одет, естественно, лучше меня. И лицо на зависть благородное. Такое ощущение, что Гарвард закончил.

От всего этого меня едва не парализовало. Слышу, Линда говорит о моих рассказах, которые «Нью-Йоркер» вроде бы хочет и дальше печатать. Я в ответ киваю. Достаю из пачки сигарету. Тянусь к бутылке «Виши». Господин делает шаг вперед. Щелкает зажигалкой. Наливает воду. Так... Русский писатель близок к обмороку.

Тут я не выдержал и сказал:

— Линда! Позвольте вам кое-что объяснить. Я в чужой стране. Фактически не говорю по-английски. Не привык к дорогим ресторанам. На мне пиджак Халифа... Халиф — это не фирма, а мой товарищ. Не перебивайте!.. Линда! Я чувствую себя идиотом. Вам это понятно?

Линда Ашер выпила коктейль, подумала и говорит с обидой:

— Все это даже американке понятно.

Затем принесли счет. Я к нему честно рванулся. Однако Линда решительно вытащила из моих неплотно сжатых пальцев коричневую бумажку, увенчанную цифрой — 209.14. Мягко и настойчиво произнесла:

— Это слишком дорогой ресторан. Вам он не по карману. И мне он не по карману. А это значит — платить должен мой босс, хозяин «Нью-Йоркера».

И Линда небрежно предъявила официанту какой-то маленький, глянцевый документ.

Продается роман

К осени в моей жизни появилась новая таинственная инстанция. Мне позвонил литературный агент Эндрю Уайли. Он просто сказал:

— Вы мне нравитесь. Я хотел бы заняться вашими делами.

Вероятно, я должен кое-что объяснить. Кто такой литературный агент? Чем он вообще занимается?

Пушкин написал когда-то:

«Не продается вдохновенье...»

Однако тут же добавил:

«Но можно рукопись продать...»

Вот и произошло на Западе разделение труда. Вдохновение — удел писателей. Продажей рукописи занимается литературный агент.

На Западе максимально усовершенствована и отработана косметика человеческих связей. Американцы страшно не любят оказываться в щекотливых, двойственных, неловких положениях. И, естественно, не желают ставить в такие положения других. А теперь представьте себе — вы автор романа. Вы напряженно беседуете с редактором. Хвастаете лестными отзывами о себе. Выпячиваете достоинства своей книги. Требуете максимальных гонораров. То есть, ведете себя унизительным и неприличным образом.

Я знаю, что один советский поэт начинал разговоры в издательствах:

— В силу моего таланта, осмелюсь думать — немалого...

А теперь представьте себе, что редактора не интересует ваша книга. Значит, он должен говорить вам что-то неприятное. Он пытается вести себя уклончиво, лавирует. Произносит какие-то дикие фразы:

«Я-то рад бы, а вот что подумают наверху?!..»

У вас портится настроение. Вы испытываете досаду. Вам хочется убить редактора. Или как минимум поджечь его бороду.

И тогда на залитый светом просцениум выходит литературный агент. Промежуточное звено между редактором и автором.

Вам неловко расхваливать собственное произведение? Агент это проделывает с величайшей беззастенчивостью. Вам неловко доставать из портфеля хвалебные рецензии? Агент цитирует их наизусть. Вам неловко требовать солидного гонорара? Агент будет торговаться из-за каждого доллара.

Кроме того, агент хорошо ориентируется в издательском мире. Он знает, что и куда предлагать. В числе его разнообразных дарований — способность открывать таланты.

Он некий гибрид импресарио с коммивояжером. Он бойко и напористо внедряет свой товар. Причем товаром в данном случае, хоть это и обидно, являются ваши бесценные рукописи. Наше, как говорится, творчество.

Литературный агент — довольно странная профессия. Он должен быть наделен безошибочным знанием рынка. Психологическим и литературным чутьем. Эрудицией, обаянием, способностью налаживать контакты. Артистизмом, эстетическим вкусом, красноречием, чувством юмора, известным нахальством. Среди литературных агентов есть неудачники, таланты, гении. Плохой агент и хороший так же не сравнимы, как Достоевский и Шундик. Есть международные агентства, которые берут пятьсот долларов лишь за то, чтобы ознакомиться с вашей рукописью. И так далее.

Первым моим литературным агентом стал Иосиф Бродский. Он рекомендовал меня «Нью-Йоркеру». Так уж получилось. Об этом даже писали в «Нью-Йорк таймс».

Вторым, и последним, моим агентом стал Эндрю Уайли.

Должен сказать, что я сразу полюбил его. Во-первых, за то, что он не слишком аккуратно ел. И даже мягкую пищу часто брал руками.

С Эндрю мне всегда было легко, хоть он и не говорил по-русски. Уж не знаю, как это достигается.

К тому же Эндрю, подобно многим американским интеллигентам, был «розовым», левым. А мы, эмигранты, российские беженцы,— правые все как один. Правее нас, говорят, только стенка. Значит, я был правым, Эндрю левым. Но мы отлично ладили.

Я спрашивал его:

— Вот ты ненавидишь капитализм. Почему же ты богатый?

Эндрю в ответ говорил:

— Во-первых, к сожалению, я не очень богат.

Я перебивал:

— То же самое говорит о себе и американское казначейство.

— И все-таки,— продолжал Эндрю,— я не очень богат. Хотя я действительно против капитализма. Но капитализм все еще существует. И пока он не умер, богатым живется лучше.

В юности Эндрю едва не стал преступником. Вроде бы его даже судили за что-то. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди.

Потом он закончил Гарвард. Владеет несколькими языками. В том числе — латынью, греческим. Изучал Гомера и Пруста. Переводил, удостаивался наград. Писал стихи, был репортером.

Среди его клиентов — покойный Беккет, Найпол, Аллен Гинсберг, Филипп Рот. Его клиент — прячущийся от исламских фанатиков Сальман Рушди.

Помню, я спросил его:

— Сколько ты заработал на последней книжке Беккета?

Эндрю ответил:

— Гораздо меньше, чем заслуживает Беккет. И гораздо больше, чем заслуживаю я.

За десять лет, что мы в контакте, Эндрю фантастически разбогател. К сожалению, я тут ни при чем. Комиссионные от продажи моих романов составляют гроши.

То и дело я говорю ему:

— Спасибо, Эндрю. Вряд ли ты на мне хорошо заработаешь. Значит, ты альтруист, хоть и стопроцентный янки.

Эндрю говорит в ответ:

— Не спеши благодарить. Раньше заработай столько, чтобы я начал обманывать тебя.

Я все думал: бывает же такое?! Американец, говорящий на чужом языке, к тому же «розовый», левый, мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочная вещь — человеческое общение.

И все же, когда я стал посылать Эндрю рукописи моих друзей, он занервничал. Он написал мне: «Я сам выбираю нужных мне авторов».

Видно, его альтруизм имеет довольно четкие границы. Будем считать, что мне повезло.

От сольного пения — к дуэту

Переводческая деятельность в Союзе и на Западе — это абсолютно разные отрасли. Все разное — проблемы, стимулы, механизмы.

Советская переводческая школа гремит на весь мир. В Союзе переводчик — фигура. Эта профессия долгие годы была, что называется, убежищем талантов. Лучшие советские писатели не издавались. На жизнь зарабатывали переводами. И делали это, надо полагать, в ущерб своему оригинальному творчеству. То есть, уровень художественных переводов рос за счет отечественной литературы в целом.

Переводами занимались все — Ахматова, Тарковский, Липкин. Естественно, Пастернак. Михаил Зощенко перевел финского юмориста Лассилу.

Наконец, существует еще один фактор. Мы очень любим все импортное. В том числе и переводную литературу.

Итак, тиражи огромные, работа переводчика сравнительно хорошо оплачивается. Лучшие из них — Райт и Кашкин, Хинкис и Маркиш, Сорока и Голышев — популярные люди.

Когда-то я работал секретарем у Веры Пановой. И однажды Вера Федоровна сказала:

— У кого сейчас лучший русский язык?

Наверное, я должен был ответить: «У вас». Но я сказал:

— У Риты Ковалевой.

— Что за Ковалева?

— Райт.

— Переводчица Фолкнера, что ли?

— Фолкнера, Сэлинджера, Воннегута.

— Неужели Воннегут звучит по-русски лучше, чем Федин?

— Без всякого сомнения.

Вера Федоровна подумала и говорит:

— Как это страшно...

На Западе все по-другому. Допустим, вы, например,— Ахматова или Пастернак. Вам есть прямой резон заниматься собственным творчеством. Денег больших переводческая

работа в Америке не сулит. Престижа в ней маловато. К тому же американцы всегда предпочитали отечественную литературу импортной. Короче, материальные стимулы отсутствуют.

И тут возникает противоречие. Стимулы вроде бы отсутствуют. Однако все лучшее из мировой литературы переведено на английский. Как же так?

Я говорил, что материальные стимулы отсутствуют. Но человеком могут двигать стимулы иного рода. В Америке переводами занимаются главным образом филологи. Специалисты по всяческой зарубежной литературе. Для них это часть профессиональной карьеры.

Наконец, переводы — это творчество. Это может быть призванием, специфическим даром, врожденным талантом. То есть, бывают случаи, когда не человек выбирает профессию, а профессия — человека. Есть люди, которым оригинальное творчество почему-то не дается. Зато по чужой канве они вышивают с блеском. Это какая-то органическая способность к перевоплощению.

Короче: переводы — это судьба. В этой области есть свои гиганты, посредственности, неудачники. Есть свои шедевры и провалы.

Здесь можно решать скромные профессиональные задачи. А можно штурмовать неприступные стены. Толстого, например, переводить легче, чем Гоголя. Тургенева, скажем, проще, чем Лескова. А ведь есть русские писатели, все творчество которых основано на словесных аргументах. Оно погружено в корнесловие, насыщено метафорами, изобилует всяческой каламбуристикой, аллитерациями, цеховыми речениями, диалектизмами. Достаточно вспомнить Хлебникова, Замятина, Ремизова, писателей орнаментальной школы. Кстати, все еще не существует хороших английских переводов моего любимого Зощенко. В Америке с ним произошла такая история. Стали его переводить лет шестьдесят назад. И начали появляться в журналах его рассказы. И действие там иногда происходило в коммуналках. И вот один американский критик написал статью про Зощенко. В ней было сказано:

«Зощенко — это русский Кафка, фантаст и антиутопист. Он гениально выдумал коммунальные жилища, где проживают разом множество семей. Это устрашающий и жуткий символ будущего».

Зощенко, я думаю, непереводим. Он создает переводчикам удвоенные трудности. Ставит перед ними двойную задачу. Во-первых, как стилист. И еще как выразитель специфической отечественной реальности. Наконец, у Зощенко свой особый язык.

Как выразить на английском его гениальные языковые «погрешности»? Как, скажем, перевести вот эту реплику: «Понимаешь, кого ты обидел? Ты единоутробного дядю обидел!..»

Однако главное даже не это. Когда американец переводит, например, француза, он имеет дело с реальностью более или менее ему знакомой. А как, например, перевести: «Иванову дали жилплощадь»? Или, скажем: «Петрову удалось достать банку растворимого кофе»? Или, допустим: «Сидоров лишился московской прописки?» Что все это значит?

Буквальные переводы с русского невозможны. Тут вы должны переводить не слово — словом и не фразу — фразой, а юмор — юмором, любовь — любовью, горе — горем...

На мою первую американскую книгу было тридцать рецензий. Если быть педантичным — тридцать две. Все очень хвалили переводы Энн Фридмен. Вскоре она станет «Лучшим переводчиком года». Получит 20-тысячную субсидию. А я — моральное удовлетворение. Друзья мне скажут:

— Твои успехи впереди.

Я отвечу:

— Надеюсь. Хотя я слышу это уже лет тридцать...

Десять лет я работаю с переводчиками. Хотя всю жизнь мечтал о сольном пении. И вот на старости лет пою дуэтом.

Что бы я ни сочинял, вечно думаю о переводе. Даже в этих, например, записках избегаю трудных слов. Вы заметили?

Слова

Западные слависты и переводчики — люди весьма добросовестные. Они вооружены бесчисленными русскими словарями. В их распоряжении академический Даль, тома Ушакова и Ожегова. А также всевозможные справочники: пунктуация, морфология, ударения.

Тем не менее проблемы у славистов есть. Со многими из этих людей я регулярно переписываюсь. В письмах они то и дело спрашивают:

«Что значит слово «клиент»? Что такое — «деятель»? В таком, например, контексте: «Толкает меня один клиент, а я этому деятелю говорю — не возникай!» Кстати, что такое — «не возникай»?»

В общем, академических словарей недостаточно. Они совершенно не выражают разнообразия будничной лексики. Тем более, ненормативной лексики, давно уже зато-

пившей резервуары языка. Комфортабельно освоившейся в языке. Даже вытесняющей из него привычные слова и выражения.

Не будем говорить о том, хорошо это или плохо. Язык не может быть плохим или хорошим. Качественные и тем более моральные оценки здесь неприменимы. Ведь язык — это только зеркало. То самое зеркало, на которое глупо пенять.

Причем употребление ненормативной лексики все менее четко определяется социальными, географическими, цеховыми рамками. Все шире растекаются потоки брани, уличного арго, групповой лексики, тюремной фразеологии. Раньше жаргон был уделом четких социальных и профессиональных групп. Теперь он — почти национальное достояние. Раньше слово «капуста», например, мог употребить только фарцовщик. Слово «лажа» — только музыкант. Слово «кум», допустим,— только блатной. Теперь эти слова употребляют дворники, генералы, балерины и ассистенты кафедр марксизма-ленинизма. Случилось то, что лаконично выражается народной поговоркой: «Какое время, такие песни».

Вот мы и подошли к главному. С чем имеет дело хороший переводчик? Он имеет дело не с песнями. Он имеет дело — со временем.

А число словарей, в общем-то, пополняется. Вышел, например, «Словарь блатного жаргона». Издал его в эмиграции писатель А. С. Скачинский. В Союзе он был малозаметным литератором. Естественно, сидел. Упомянут Солженицыным в «Архипелаге» как почти единственный зек, успешно бежавший из магаданского лагеря.

Будучи заключенным, Скачинский увлекся языковыми проблемами. На богатом лагерном материале подготовил словарь. Смог издать его только на Западе.

Когда-то я разослал этот словарь чуть ли не всем знакомым переводчикам. Все они были счастливы. Профессор Дон Фини — большой чудак, американский коммунист и великий знаток русской литературы — написал мне: «Дорогой подельник! Благодарю тебя за железный словарь. Думаю, что он мне будет в жилу».

И подписался: «Тихий Дон».

Портрет на обложке

Прошло несколько лет. Я выпустил четыре книги по-английски. Статья обо мне появилась в знаменитом «Нью-Йорк таймс бук ревью». К тому же on the front page [1], на обложке. Да еще и украшенная пятью фотоснимками, включая младенческий. Короче, поздравления, открытки, телефонные звонки. Один знакомый позвонил из Дейвиса в Техасе:

— Ты жив? Я был уверен, что ты умер от пьянства. А то слишком уж много чести для живого писателя.

Мои друзья, конечно, радовались. Хотя при этом вели какие-то обидные дискуссии. Споры о причинах моего, что называется, успеха. Один знакомый говорил: «Тут дело в модной русской проблематике». Другой: «Америка проявляет благородную снисходительность к эмигрантам». Третий: «Его легко переводить». Четвертый: «Довлатов — либерал, поэтому ему симпатизирует американская интеллигенция». Пятый: «Сережино кавказское обаяние действует на шестидесятилетних женщин». И так далее. Хоть бы один попытался увязать эти фанфары в «Обозрении» с достоинствами моей новой книжки.

Но какое-то ощущение успеха все же было. Скажем, на очередном дне рождения Бродского присутствовало тридцать знаменитых американцев. С десятью из этих знаменитостей Бродский счел нужным меня познакомить. Шестеро из них, услышав мою фамилию, воскликнули: «Congratulations!», то есть: «Поздравляем!». А выдающийся чернокожий поэт Дерек Уолкотт крепко обнял меня.

— Поздравляю,— сказал он,— сердечно поздравляю. Ты в Америке! Ты здесь всего неделю и уже хорошо говоришь по-английски. Поздравляю...

Я ответил:

— Вы меня с кем-то путаете. Я живу здесь много лет, но по-английски все еще говорю очень скверно. Так что книги мои, естественно, издаются в переводах.

Дерек Уолкотт еще больше обрадовался:

— О, ты пишешь книги! Значит, мы коллеги?! Очень рад.

Уж не знаю даже, за кого он меня сначала принял. Наверное, за беглого хоккеиста по фамилии Могильный?..

В общем, успехи радовали. При том что хотелось бы знать, как это все отразится на гонорарах. Американские же гонорары непосредственно зависят от числа проданных книг. Автору идет восемь — десять процентов от стоимости экземпляра. За вычетом полученного вами ранее аванса.

Это только в СССР, насколько я знаю, платят за объем написанного. Кстати, не в этом ли причина традиционного российского многословия? Какой-нибудь московский автор, допустим, пишет:

«Евгений Федорович Терентьев, дородный

[1] На первой странице *(англ.)*.

мужчина лет шестидесяти четырех, проснулся среди ночи от грохота замлечерпалки. Евгений Федорович раскрыл глаза, закашлялся, тронул небритую щеку и опять погрузился в сон».

Автор справедливо думает:

«Вычеркну-ка я этот дурацкий абзац. Зачем он нужен?!».

Но внутренний голос ему отвечает:

«Что ты делаешь, ненормальный? Ведь это же как минимум шесть рублей. Кило говядины на рынке.. »

Не будем отвлекаться. В Америке гонорары непосредственно зависят от числа реализованных книг. И начал я тогда заходить в книжные магазины. Особенно в «Барнс энд Ноубл», который рядом. Начал я следить, убывают ли мои пестрые книжки. В первый же день компьютер указал: магазином заказано шесть экземпляров. Маловато, думаю. Расхватают за час. День спустя компьютер поделился: те же шесть экземпляров имеются в наличии. На пятый день — такая же картина. На шестой день произошла сенсация. Количество экземпляров резко сократилось от шести до пяти. Ликуя, я возвращаюсь домой. Вечером заходит мой отец, живущий по соседству. «Вот,— говорит,— приобрел твою книгу. От тебя ведь не дождешься. Подпиши».

Что ж, думаю. В Америке 4000 специализированных книжных магазинов. И еще 28 000 магазинов, где среди других товаров продаются книги. Если в каждый из них зайдет по одному моему родственнику, уже неплохо.

И еще я подумал: случись все это у меня на родине! Я выпускаю новую книгу. «Литературная газета», например, печатает восторженную статью Льва Аннинского, украсив ее моими детскими фотоснимками. Я мгновенно становлюсь знаменитым. Бываю в Доме творчества. Ужинаю в ЦДЛ с Юной Мориц. (Белла Ахмадулина рыдает от зависти.) Официант интересуется: «Над чем работаете, Сергей Донатович?» В общем, живу как человек. А здесь?

В Америке меня знают пять тысяч читателей, критиков и журналистов. Книги некоммерческие, «серьезные», расходятся микроскопическими тиражами. Переводные — тем более.

Тут уж не до славы. Спасибо, что вообще печатают. Есть люди гораздо более одаренные, которые совсем не издаются по-английски. Это, к примеру, Марк Гиршин, Наум Сагаловский, Вагрич Бахчанян. Из журналистов — Петр Вайль, Александр Генис.

Да и вообще литература в Америке не такое уж престижное занятие. Писатель здесь не олимпиец, а чаще всего — бедный, мрачноватый человек. Обладатель не самой редкостной профессии. Да и слово «писатель» воспринимается на Западе как-то иначе. Автор «Войны и мира» здесь — «писатель». И тексты на консервных банках создают — «писателн».

Однажды я спросил Воннегута, который живет между Лексингтон и Третьей:

— Вас, наверное, тут каждый знает?

Воннегут ответил:

— Десять лет я гуляю здесь с моим терьером. И хоть бы один человек закричал мне: «Ты Воннегут?!»

Известен ланчонет, где каждое утро можно встретить Исаака Башевиса Зингера. И ни одного поклонника кругом. А теперь представьте себе: москвичи вдруг узнают, где, допустим, опохмеляется Егор Исаев!

Войнович как-то раз приехал из Германии. Поселился в гостинице на Бродвее. И понадобилось ему сделать копии. Зашли они с женой в специальную контору. Протянули копировшику несколько страниц. Тот спрашивает:

— Ван оф ич? (Каждую по одной?)

Владимир Николаевич говорит жене:

— Ирка, ты слышала? Он спросил — «Войновнч?». Он меня узнал! Ты представляешь?!..

Писателям, уезжающим в Америку, есть смысл задуматься:

«Зачем я еду? Чего добиваюсь? Какие преследую цели?»

Если кто-то гонится за деньгами, пусть не спешит. Если за славой — тем более. Лавры Бродского и Солженицына достаются здесь не каждому.

Всех писателей можно разделить на две категории. Для одних главное — высказаться. Вторые хотят быть еще и услышанными. Одни жаждут самовыражения, вторые еще и честолюбивы. Вторым на Западе приходится трудней.

Сам успех здесь не такой, как дома. На родине успех — понятие цельное, всеобъемлющее и однозначное. Охватывает все: известность, деньги, положение, комфорт. Плюс какие-то бесчисленные льготы. В Америке успех бывает самый разный. Например, коммерческий успех, далеко не всегда сопровождающийся известностью. Или, скажем, богемный успех, отнюдь не всегда подразумевающий деньги. Бывает успех средн критиков. Или, допустим, в академических кругах. И так далее. Тут можно быть знаменитым и нищим. И наоборот, безвестным, хоть и зажиточным.

В Америке успех и слава — не одно и то же. Успех и деньги — не синонимы.

Мой, скажем, вид успеха называется «critically acclaimed» — «отмеченный крити-

ками». К деньгам это серьезного отношения не имеет. К славе — тем более.

Как-то раз я обедал с моим агентом. И вот решился спросить его:

— Эндрю! Я выпустил четыре книги по-английски. На эти книги было сто рецензий, и все положительные. Отчего же мои книги не продаются?

Эндрю подумал и сказал:

— Рецензии — это лучше, чем когда их нет. Сто рецензий — это лучше, чем пять. Положительные рецензии — это лучше, чем отрицательные. Однако все это не имеет значения.

— Что же имеет значение?

— Имя.

— Где же мне взять имя?! Я выпустил четыре книги. Все их хвалят. А имени все нет. Ну как же так?!

Эндрю снова задумался и наконец ответил:

— Ты хочешь справедливости? В издательском деле нет справедливости.

Из Америки — с любовью

В шестидесятые годы я был начинающим литератором с огромными претензиями. Мое честолюбие было обратно пропорционально конкретным возможностям. То есть отсутствие возможностей давало мне право считаться непризнанным гением. Примерно так же рассуждали все мои друзья. Мы думали: «Опубликуемся на Западе, и все узнают, какие мы гениальные ребята».

И вот я на Западе. Гения из меня пока не вышло. Некоторые иллюзии рассеялись. Честолюбие несколько улеглось. Зато я, кажется, начинаю превращаться в среднего американского литератора. В одного из нескольких американских беллетристов российского происхождения.

Мои книги публикуются и будут опубликованы все до единой. И я должен быть к этому готов. Потому что мои иллюзии собственной тайной гениальности рассеются окончательно.

Видимо, я окажусь средним писателем. Пугаться этого не стоит. Ведь только пошляки боятся середины. Именно на этой территории, я думаю, происходит все самое главное.

Я выпустил четыре книги. У меня есть договор на три последующие. Авансы будут составлять по двадцать тысяч. (Это втрое меньше, чем годовая зарплата нашего автомеханика Фимы Клейна.) О потиражных нечего и говорить. Если будет продано 5—6 тысяч экземпляров — уже хорошо. Тогда я получу аванс за новую книгу. А значит, надо кончать болтовню и писать эту следующую книгу. А потом еще одну. Так уж, видно, это и будет продолжаться до конца.

ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ

«ЧТО НАС ТОЛКАЕТ В ПУТЬ?»

День был безнадежно серый. Один из тех, когда прыгают с моста или объедаются персефонными таблетками. Или же просто спят до вечерних теленовостей. Моросил дождь, и адрес на конверте расплылся. Словно я пустил слезу над этим recommandé [1]. Почтарь, взглянув на адрес, поднял было глаза, но ничего не сказал. Я отсчитал 27 франков и вышел на Орлеанскую набережную. От Сюлли-Марлан вверх по реке тащилась баржа из старого фильма Карне. Промокшее исподнее на веревках, велосипед, зажатый канистрами, усач, расставивший ноги, на корме. Я поднял капюшон. Старик в шляпе с обвисшими полями ловил рыбу. Дождь пошел сильнее, в лужах запрыгали глазастые пузыри, обрушился настоящий ливень, дорос до крещендо, до аплодисментов, и — разом все стихло. Солнечные клубы поднимались от синих луж, промчалась собака с волочащимся поводком, а за нею голоколенная девочка. Кто-то засмеялся не по сезону, где-то хлопнуло раскупоренное окно. Промокшие кости Нотр-Дам сияли на фоне уползающей в сторону Сен-Клу лиловой, с белым исподом тучи.

На конверте стоял адрес: СССР, Москва, Брежневу. В конверте был паспорт и письмо. Начиналось оно так: «Находясь на Западе по частному приглашению, я принял решение вернуть вам свой паспорт, ибо в хранении его больше не вижу смысла. Мое решение остаться на Западе впрямую обусловлено политикой ваших предшественников и вашей собственной. Я не отказываюсь от родины, ибо считаю, что ваш режим лишает нас ее еще во чреве матери, и ностальгию испытываешь не на Монпарнасе, а в раннем детстве... Отказываясь жить в самом передовом общественном тупике, я делаю это по собственному желанию и размышле-

[1] Заказное письмо *(франц.)*.

нию, без давления и участия — в моем прошлом — растлевающих наставников и в моем настоящем — подкупающих соблазнителей». Боже! Я писал по вертикали и по горизонтали, хореем и дольником, но как я дожил до этого жанра? И откуда этот жуткий патетический тон?

Я перешел через Аркольский мост, дошел до Нового, зашел в «Самаритен», поднялся на лифте на девятый этаж. По винтовой лестнице выбрался на крышу. Кафе было закрыто, стулья и столики составлены под навес. Желтое знамя «Самара» хлопало по ветру. Париж лежал, просыхая, под свежим разлохмаченным небом: обелиск Конкорда в прицеле двух Триумфальных арок, на ремонт перекрытый мост Искусств, дворец Мазарини, кисло-зеленые крыши Северного и Восточного вокзалов, бокастая наседка Сакре-Кёр, дворец Гарнье. Венсенский лес, мерцающая под мостами Сена, тяжелый купол Пантеона над тяжелыми башнями Консьержери, чуть заметный оазис Люко — Люксембургского сада, муссолиниевская коробка факультета медицины и, за тусклым силуэтом Дворца Инвалидов,— Эйфелев подсвечник с колючей иглой антенны. Обзорную площадку ограждал круглый, керамической плиткой выложенный барьер, и на затертой этой керамике красовалнсь повторенные в цвете соборы и дворцы, и короткие стрелы указывали: до Вены — 1385 *км*, до Берлина — 1078, до Нью-Йорка — 6300, до Санкт-Петербурга — 2715. Я посмотрел в сторону Монтрёя, бедного рабочего пригорода, серых, плотно сдвинутых коробок, за площадью Праздников, за Сиреневыми воротами. Пунктирная стрелка, впиваясь в пригород, подсовывала цифру: до Москвы — 3024 *км*.

За семь месяцев до того зимнего дня была ночь. Вдребезги пьяный, безнадежно, сквозь жидкое стекло опьянения, трезвый, я стоял под цветушими шарами бульденежа на Ленинском проспекте, орошая хилый газон бесцветной струей. Глаза мои поставляли влагу, исчезавшую ручейками в бороде. На пустую площадь с визгом тормозов выскочила милицейская канарейка. Щелкнул зиппер — я стоял уже у витрины обувного, невинно прикуривая на легком ветру «БТ». Не хватало еще за несколько часов до вылета, до перелета, до катапультирования из жизни в жизнь попасть в околоток за неестественное справление естественных надобностей. В аэропорт меня должен был везти говорливый, острый, как наваха, «угол». Друзей я ликвидировал за месяц до отлета. Скопом. Одним ударом. Сверху вниз. И ту часть горизонта, как писал поэт, завесил занавесочкой. Это был единственный способ уехать более-менее в целом виде. Иначе нужно было бы оставить сердце, печень, душу на Солянке, на Мойке, на Соколе, растянуть силовые линии, вытянуть жилы аж до Орли, до 14 округа, до Монпарнаса, до ночной забегаловки «Атлантик»... «Угол» мой, одетый от Таралци, прикатил на угнанной машине — его собственная откинула колеса накануне. Хорошенькие дела! Мы летели по пустому еще Ленинградскому шоссе, по мостам с воинами, прижимающими к груди, как детей, стрелковое оружие, мимо Покрова-Стрешнева, загородных уже изб, сонных гаишников — в ворованной машине... Судьба кривлялась и улюлюкала мне вдогонку. Багаж мой был невелик: спортивная сумка со свитером, литром «Пшеничной», килограммом зернистой, пятью крепдешиновыми шалями да старая «Эрика», год проскучавшая в свое время в кладовке в Лефортово, западавшая твердым знаком, но все еще бодрая, цокающая, звонкая. Мы выпили в машине из плоской фляжки, выпили в буфете под советским зодиаком: Стрелец целится в лоб Водолею, Козерог сдает рога на пуговицы, Скорпион тащит медицинскую реторту. Я благодарен моему приблатненному харону за муторный треп, за виски, за лихой угон чужого «жигуленка». Мы были чужими, мне было легко сказать, вставая: — Ну, я пошел...

Таможенник плевать хотел на мою икру, на подаренного Мишей Шварцманом Святого Николу, на тридцать граммов мумиё в сигаретной пачке. По знаменитой лестнице, по которой так часто уходила и по которой, я знал, она когда-нибудь навсегда уйдет из моей жизни, та, к которой я ехал, я поднялся на второй этаж, и белобрысый малец в форме ефрейтора внутренних войск лязгнул на меня серыми, опушенными длинными ресницами глазами, запоминая, как и требуется по инструкции, сверил с фотографией, наехал еще раз исподлобья и выпустил из СССР. Было утро 14 июля 1978 года. Национальный праздник во Франции. День Бастилии. Свобода, братство и жареная картошка.

Я оглянулся на ефрейтора: он что-то спрашивал у толстого мрачного дядьки в тяжелых очках. Я и сам стоял когда-то на такой же вертушке КПП. В Сибири, под Томском, в зоне. Правда, у нас было хреново с ресницами — от радиации они выпадали сухим дождем. Мать, после дембеля, показывала мне дома в Москве мои армейские письма, присыпанные этими, в те времена «вполщеки».

Я часто думаю: почему мы выжили, почему вообще дожили? И память одиноково подсовывает тусклый и исцарапанный целлулоид старенького фильма: подвал гарнизонного клуба, чья-та кирза в полуокне, вопли из соседней каморки, где музыканты сражаются в карты на полковом барабане, рука, крошащая чинарики, набивающая разномастным табаком кривую трубку и рядовой Шайкин, закрыв глаза, читающий мне наизусть, время от времени заикаясь, официально в стране не напечатанные стихи... Мы, по крайней мере мои друзья, я, выжили из-за стихов. Стихами выжили. Тоннами, километрами раз и навсегда запомнившихся, ставших главным, спасительным, спасающим. ОЭМ, Цветаева, Ахматова, Пастернак, Ходасевич, Хлебников, обэриуты, Заболоцкий со «Столбцами», Гумилев со «Словом». Баратынский — да! Пушкин — конечно же! Державин — само собою! Но все же этими — «большой четверкой», бывшими здесь в нашем лимбе, в нашем жутком лимбе, ибо ад выносимее, интереснее, потому что предел, потому что стенка к стенке, а лимб — действительно ад: по серости, безнадежности, бредовости, но главное — по бездарности. И точно так же, как где-нибудь в Джанкое, в Кемерово, в Орехово-Зуево в приступе душевной, духовной тошноты, защищаясь, выдавливал я когда-то: «Жизнь — это место, где жить нельзя...», точно так же через несколько лет в Нью-Йорке, стошнив-таки, сблевав, не выдержав гонки, шепчешь в лицо копу, под самую его фуражку: «Век мой, зверь мой...», получая в ответ: «What're you mumbling, sir? Are you all right? [1]»

Так что нет ничего удивительного в том, что человек, сидящий с ополовиненной бутылкой «Пшеничной» у окна ТУ, заглядывая вниз, на сваливающие на Запад беспаспортные облака, шепчет: «Я прошу как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости. Правды горлинок твоих...» Вниз же человек заглядывает, потому что уверен — сверху, как на контурной карте, видна будет граница союза нерушимых. Много лет спустя вспомнит он, как с приятелем-шутником, конечно же, нынче обитателем квартирки в районе «Астории» в городе NY, сидя на той самой кухонье, где жила в гостях у ОЭМ Ахматова, придумывали, корчась, громоздкую шутку — строили ее вверх и вширь, хохоча до слез, а потом скиснув... Показалась она вдруг правдой...— А что, вдруг,— спрашивалось в этой хохме,— если заграницы вообще нет? И по контурной карте Союза, по границе вниз идут крутые обрывы? Вдруг всю историю, всю географию, вообще ВСЕ придумало КГБ? И за музыку «Битлз» отвечает Воронеж, а Баха сочиняют в Перми? Вдруг все и вся — жуткая подделка, фанера, картон, держится на кнопках? Бульдог, налакавшийся из блюдца водки, ответил на начавшую разрастаться на кухоньке тишину неуверенным воем...

Родина-мать... Я помню ее во плоти, в клеенчатом плаще, распахнутом на мощной вздыбленной груди, в берете неопознанного цвета, с крепкой сумкой под мышкой. Было в ней под два метра и под сотню кг. Я сидел в троллейбусе, клевал носом после бессонной ночи: выцветшие джинсы, длинные патлы, борода. Она вошла с передней площадки. Уверенно, зная, что делает. Могучая, прямая как палка, подбородок вздернут, губы поджаты, чуть за пятьдесят. За окном мелькали одинаковые строения: Речной вокзал. Я снова вырубился на несколько минут. Проснулся я от ощущения, что меня поджаривают. Она висела надо мною, исходя густой ненавистью. Это было плотное поле микроволн — хочешь, жарь цыплят. Я поднял глаза — у нее была офицерская выправка. Уступать ей место я не собирался. Какой-нибудь бабке куда ни шло. Но этой... И вдруг раздался ее голос. Таким кроют с трибуны. Загоняют в бараки. Приморáживают на месте. «Я таких, как ты,— четко произнесла она,— своими руками расстреливала...» Я ей сразу поверил. Не врет. Действительно — казнила. Всаживала в темечко из трофейного парабеллума. Но при чем здесь я? Не как другие? С бородой? В джинсах? Была бы мужик, можно было бы встать и врезать промеж гляделок. Ан нет, самого сильного слабого полу... Я отвернулся к окну, сам закипая. Так и доехали до метро: родина-мать с пылающими глазами и я — бородатый выродок.

И все же я уехал не из-за нее. И не из-за многочисленной ее родни. По крайней мере не только. Одна шестая суши — это не много. Вытиснутая в фантастический социальный эксперимент страна, уже лишь частично — страна твоих предков, твоего прошлого. Тебе навязывают новое родство, новую историю, новых родичей, и ты вправе отказаться от этого дурацкого спектакля. Остаются пять шестых... Году в 76-м зимним утром в Улановском переулке я читал под обещающим все выбелить, отбелить русским снежком письмо из Нью-Йорка. Мой лучший друг писал из этого города желтых и черных дьяволов жуткие и невероятные слова: «Несмотря на все тяжести, на все невзгоды существования в Союзе, жизнь

[1] Что вы бормочете, сэр? Вы в порядке? *(англ.)*

там — детский сад. Взрослая жизнь начинается здесь...» Смело, конечно, оскорбительно и для тех, кто мыкается по очередям, по столоначальникам (нужно же было такому слову сочиниться: начальник стола!), а еще более для тех, кто спущен в канализацию ГУЛАГа. Но, оказавшись на проклятом Западе, в таком деревенском веселом Париже, я понял (по крайней мере для себя, дабы не претендовать на истину), что это правда.

Механизм власти устроен так, что нормальное взросление, усвоение и реализация опыта, невозможно. Лозунги советские и партийная «феня» не врут, к ним нужно относиться серьезно: отцы народа, ум, честь и совесть, рулевые, вожди, с одной стороны, и дети партии, недоучки, идейно не доросшие — с другой. Монополия на истину — у одних, и бесплатное медицинское, хрущобы, пятикопеечный транспорт — у других. Право вершить судьбами, казнить, ссылать, отправлять войска за кордон, запускать футбольную команду консерватории в космос, разбазаривать народную казну, кататься по заграницам, кои в их представлении — гибрид борделя с электронной лавкой,— опять же у одних и субсидированная от муки до электричества жизнь — топтание на пятачке — у других. Действовать в такой стране можно, лишь поднимаясь вверх по партийной лестнице. Чем ты выше — тем свободнее и шире ты можешь действовать. Для всех остальных — запрет, ошейник, песенник уголовного кодекса. Правда, можно было действовать и спускаясь — в подпольный мир, в преступный, или же — в преступно-идеологический, в диссидентский. Был вариант и «вверх по лестнице, ведущей вниз» — партийно-преступный, хотя все зависит от того, что называть преступлением... Но человек не может нормально «взрослеть» не действуя, действуя лишь в смирительной рубашке, в веревках. Даже личная жизнь, даже секс и тот был сведен к удобоконтролируемому «отсутствию условий», к аморалке, к «влиянию — растленному — Запада». В результате все это дает инфантильных старичков и стареньких детей, деформацию, чудовищную наивность в обнимку с еще более чудовищным цинизмом. Потеряны все точки отсчета, золотая середина предполагается только в обручальных кольцах. Добавить к этому замечательный, на Западе малоизвестный идеализм, увы, результат отсутствия конфронтации с современным материализмом потребительских обществ? Все это узнаешь о себе, в себе, попадая в иную среду — будь она Манхэттеном или же Монпарнасом. Венедикт Ерофеев в «Москве-Петушках» совершенно справедливо заметил у западных детей качества, отсутствующие у советских взрослых. Эта инфантильность, неумение действовать, перекос — сверхконтроль, с одной стороны, и полная распущенность, с другой,— легко прослеживаются и в современной прозе. Ее главное качество — именно отсутствие действия, дряхлые мышцы сюжета, подмена действия трепом (как и в жизни), анекдотом (как и в жизни). У того же Венички сюжет движется за счет двигателя локомотива электрички. У Юза же Алешковского — продолжение посиделок на московской кухне, треп: «Вот расскажу-ка я вам...» Причем треп этот ничего общего не имеет с лингвистическим адекватом, скажем, французского жаргонного blablabla. Это сублимирование в слова невозможного, невозможности действовать. Это содержательный, очень часто умный, захватывающий треп. Перестройка увела его с кухни — во Дворец съездов. Действие как таковое остается загадкой. Ему не учатся враз. Враз лишь седеют.

Я понимаю, что многим это может не понравиться. Но, слава Богу, времена, когда печаталось то, что должно было нравиться, прошли.

Собратьев по счастливому прошлому, особенно в те первые мои годы в Париже, Нью-Йорке или Дакаре, узнать было легко. В любой толпе они были видны сразу — не потому, что были кое-как или просто бедно одеты. В Париже хватает бедно одетых магрибских арабов или просто провинциальных студентов. Они двигались так, как никто не способен двигаться, в некоем прогрессивном параличе, с каким-то мышечным контролем. Вся их моторика выдавала их принадлежность к одной шестой. Их походка была их фирменной маркой. Поляки и чехи были видны, заметны, расшифровывались таким же образом. Буквально на днях, на рыночной моей улочке Муфтар, в проходняшке между электрониым магазином и театром я увидел три странно знакомых силуэта.— Клошары...— первая мысль.— Наши,— вторая. Любопытства ради решил проверить. Один отливал, двое откупоривали литровые бутылки дешевого пива. Поляки. В Париже можешь пить в сквере, на крыше, в метро, на ступеньках Национального собрания... Нет, в подворотне, воспроизводя привычный интерьер-экстерьер... Как-то во время книжной ярмарки на станции метро «Лувр» увидел я сквозь окна поезда группу крупных красиолицых мужчин. Все — в черной коже. Как в конце семидесятых во Франции или Германии. «Совпис,— подумал я со смехом,— как на съемках фильма с Депардьё»...

И не ошибся. Добравшись до Гран-Пале, я их увидел опять — толпа не растворяла их, они с толпою не слнвались. Пусть не обижаются, я говорю не о их личных качествах, а об общем, ИНОМ, что ли, ритме, психомоторном рисунке реакций.

Поправка на соцнальный параллакс. Никому из старшнх поколений, зацепивших ТУ жизнь, ТУ реальность, мир до внедрения мнфа — деформированное это взросление, неловкость внутренних и внешних движений, неумение выбирать, делать свободный выбор — неизвестны. Скорченные, закомплексованные, перекошенные — продукты системы, выросшие на ее бетонных грядках.

Андрей Седых — хозяин и главный редактор «Хобо». Так по прочтенным по-английски первым четырем буквам называют ньюйоркцы «Новое Русское Слово». «Хобо» — бродяга. Мы обедали с Седых недалеко от редакции, возле Пенсильванского вокзала, в просторной и чистенькой забегаловке. «Самые первые иммигранты,— рассказывал Седых,— добирались до Нью-Йорка и перли вверх по Бродвею на север до тех пор, пока не слышали русскую речь. Тогда они опускали свой скарб на землю и отирались платками. Путешествие, начавшееся где-нибудь в Могилеве или Брянске, было закончено наконец. Они спрашивали, где можно найти хоть какую-нибудь работу, ночлег, и начинали тут же, с нуля. Разносчиками, прачками, лоточниками... Первые две эмиграции бежали. От большевиков, потом — от Сталина. Третья — искатели лучшей жизни, авантюристы, любители приключений».

Бернар Пиво — густобровый апостол французского книжного мира, ведущий знаменитой телепрограммы «Апострофы» — пригласил меня несколько лет назад на свое шоу. Быть приглашенным к Пиво считается грандиозным успехом. Миф гласит, что после вечера на «Апострофах» книги начинают расходиться огромными тиражами. Тема передачи в тот день была — изгнание. Мои американские, бразильские, немецкие друзья, смотревшие передачу, былн в Париже иностранцами. Я же был невозвращенцем, политическим бежецем — в самоизгнании. Звучит как ре-мажор. Правда, до 17-го года большая часть русских в Париже все же были тоже иностранцами. Меньшая, заметим справедливости ради, были уже «политическими», ютились в дешевых меблирашках на Монпарнасе и взяли реванш чуть позже, превратив своих политических оппонентов в мертвых, молчаливых или же беженцев. Бернар Пиво задал мне неизбежный вопрос: почему я покинул Россию? Мне было неуютно в глубоком кожаном кресле, я взмок, внимание мое было рассеяно, французские слова царапали гортань. «Я клаустрофоб»,— ответил я. Что было правдой. В лифте, в метро, остановившемся между станцнями, в гостях у Бернара Пиво с защелкой микрофона на галстуке я чувствовал себя ужасно. Точно так же, как и в запертой, закрытой ржавым занавесом стране.

Сколько раз меня спрашивали таксисты, сенаторы, клошары, писатели, пьяницы, проститутки, чиновники: почему я уехал? Сколько раз я спрашивал себя сам... «Запад» — неточное слово. Правильнее было бы сказать — вовне, вне Союза. А там хоть Филиппины, хоть Фиджи. Главное — из мифа, из липкого вранья, из фальшивеньких страшненько-строгих и ласково-муторных отношений. Я помню первое впечатление от парижского метро: грязь, вонь, грохот. И сразу же — предпочтение этой столетней подземки той, мраморной, стерильной, блюдомой. Парижская не подделывается, не выдает себя за аппендикс рая. Московская — вся продолжение мавзолея, подземный и партийный храм, расползшийся на километры пантеон с нишами для богов, с бронзовыми вооруженными охранниками, с дейнековскими плафонами, о которых мог помечтать и Муссолини. Я бы сделал из московского метро музей. Если функция парижского — перевозить, московского — воспитывать, наставлять, даже попугивать (в итоге — смешить своим китчем), а потом уж — перевозить.

Быть может, мне повезло. Не знаю. Но через два месяца после приезда во Францию уже вышла моя первая статья в солидном ежемесячнике, а еще через месяц я подписал свой первый контракт с издательством Жан-Клода Латтеса, получил аванс и перебрался в огромную пустую квартиру возле Бастилии, на улицу (sic! кривая усмешка Антона Павловича) Вишневого Сада. Через подъезд сиял английским зеленым и тусклым золотом магазинчик антиквариата: хрустальные шары, картины в облезших рамах, зеркала, отражающие бокастые комоды и скуку хозяев. Назывался магазинчик «Ностальгия» и был, пожалуй, единственной ностальгией, мне в те времена известной. Красиво звучащее это слово, на мой взгляд, не отражает сути вещей. Ностальгию испытывают скорее по ушедшим годам и по тем декорациям, выгородкам, что их обставляли. Английское homesick точнее передает состояние эмигранта или путешественника.

Первая моя книга называлась «Раздвоенные люди». Или «Двоящиеся». В ней я, наверное, рассказал все, что нужно было бы изложить в этих скороспешных заметках. Я стараюсь эту книгу не перечитывать. В ней есть некий непонятный мне патетичный тон, некая идеологическая цыганщина, которой, поставив точку на последней странице, я не понимаю. Хотя рецензентам, от «Монда» до «Фигаро», она пришлась по вкусу и ссылки на нее оказались весьма живучими.

Серж Жюли, главный редактор левой «Либерасьон», «Либе», как говорят во Франции, дал мне карт-бланш в ту мою первую парижскую зиму, и в течение нескольких смехотворно после России нехолодных зимних месяцев я публиковал целые развороты — то о чернейшем юмористе Вагриче Бахчаняне, когда-то жившем напротив Прокуратуры СССР, а теперь — на Ист-Сайде в Нью-Йорке, то о Юзе Алешковском, хохмах, «второй культуре», подпольных поэтах, чердачных художниках... «Либе» выходила с чудовищными моими заголовками: «Кровь, Пот и ...Водка» или — мы сломали себе головы с переводчицей Флоранс Бенуа — «Серпом по ...., молотом по голове» — это была веселая статья о «русских лимериках», tchastuchkas. Я надолго застрял в «Либе», вплоть до осени 89-го года. Писал о джазе, живописи, но в основном — о писателях: Окуджаве, Астафьеве, Лимонове, Бродском, Пильняке, Замятине, Аксенове. Я довольно рано понял, что есть опасность стать «специалистом по Союзу» и что потом из этого клише уже будет невозможно выбраться. В начале 80-х, выпустив в издательстве «Рамсей» смешной и хулиганский «Антигид по Москве», к Олимпийским Игрищам, я начал внештатничать с журналами группы Филиппаччи. Журнал «Люи» («Он»), не брезгующий фотографиями розовых, как семга, хорошо в детстве евших за папу, за маму, мало одетых девиц, отправлял меня время от времени на репортажи. В Штатах, между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, я собирал материал о новейшем наркотике, краке, читал «Uber Coca» первого энтузиаста и пропагандиста кокаина — Зигмунда Фрейда. Полицейские с непонятной добросовестностью давали мне интервью, возили показывать «крак-хауз», дома-крепости, в которых изготовлялся крак. Я начал фотографировать, так было легче, чем шляться по миру с занудой-фотографом из журнала, исчезавшим посередине репортажа, стоило лишь ветру задрать какую-нибудь юбку. Появлялась серия снимков: нью-йоркские, парижские, венецианские окна; культуристы и культуристки знаменитого пляжа Венис-Бич в Лос-Анджелесе; итальянские кошки — сдвинутые к переносице задранные глаза, из усатой пасти свисают на подстеленную газету спагетти в томатном соусе... Я брал интервью у вооруженного почище Каддафи нью-йоркского миллионера, хозяина порно-телеканала «J». Я побывал несколько раз на Брайтоне и был потрясен: огурцами в бочках, грибочками, копченой рыбой, тоннами колбас, из Союза выписываемыми продуктами — постным маслом, «Мишкой на Севере», боржоми, халвой, но больше всего кассиршами, называвшими доллары — рублями. Снимать на Брайтоне мне не дали. Бодрые и бдительные пенсионеры, как где-нибудь на Таганке, в шестидесятые годы, завидев мою «лейку», отложили домино, пошли сплошной стеною ватных пальто одесского пошива и пыжиковых ушанок — московского. Спасла меня какая-то телекомпания, снимавшая волны и чаек, я ретировался в их «седане». Но репортажи (два) о Брайтоне напечатал в «Люи» и в «Л'Отр Журналь». Это были интервью с полицейскими и жителями нэповского городка, отловленными в Манхэттене. Я никогда не забуду рыжего полицейского, почесывающего лодыжку, к которой была пристегнута кобура небольшого револьвера. «Совершенно невероятно,— говорил он, развалясь чисто по-американски на стуле,— как БЫСТРО они учатся всему плохому, всему нелегальному, всем ходам и каналам, всем трюкам...» Я чуть не заржал, чуть не свалился со стула, где и сам пытался сидеть развалившись по-американски — не получалось. Торговля оружием, изготовление и продажа поддельных документов, водительских прав, «медальонов», дающих право работать на такси, продажа налево бензина с бензоколонок, рэкет, попытки продажи назад в СССР, из которого они уехали по «политическим» мотивам, запрещенной технологии, изнасилования, убийства, махинации с кредитными карточками, подделка купюр... Если раньше, на той самой родине, били морды, здесь — обзавелись культами и начали убивать. Полученные мною в полиции досье поражали жестокостью: изнасилованные девочки-подростки убивались ломиками. Вспоминалась красивая фраза: «Против лома нет приема». Брайтоновские люди, сидя на пособии по безработице, открывали в то же самое время бриллиантовый бизнес на знаменитой 47-й улице, записывая его на бабушку, на тетушку, на кота Федю... Живя в субсидированных (для иммигрантов) государством квартирах, они разводились, когда на том же этаже освобождалась квартира, расселялись, втихаря ломали общую стену, устраивая себе из трехкомнат-

ной шестикомнатную квартиру. Я напечатал в Париже несколько страниц доклада Белого дома о растущем значении «русской» мафии в США. А потом понял, что меня опять занесло в «специалисты по Союзу».

Для многих уехавших все приемы хороши. Запад — последний берег, вариантов нет. Мало того, многие вырываются уже за сорок лет, и их энергия — злая, горькая, мощная — энергия реванша. Большинство, уехав, никуда не приехали. Они так и живут — с теми же соседями, проблемами, склоками, с той же водочкой, только лучше очищенной, с теми же прибаутками: дурак тратата любит, трактор он бам-бара-бам железный, с теми же анекдотами... Начиная с полного нуля, в эмиграции, диаспоре, на Западе нужно быстро решать, где жить. С теми, кто живет склеенными, сбитыми вместе проблемами адаптации, языка, страха, наконец? Или же — на Западе, в США, во Франции, как в моем случае? Из 11 миллионов москвичей я в свое время нашел двух-трех друзей. Можно ли найти действительно близких людей из 20 тысяч? Если повезет. Я решил с самого начала жить среди аборигенов. Французов. Бразильцев. Японцев. Американцев. И лишь сделал несколько попыток прорваться в эмигрантский литературный мир. Но тут же ретировался.

Деятели антиидеологии, «диссида», как их зовет чудесный рассказчик Ося Чураков из города Нью-Йорка, могут быть чистой воды комсомольцами, но лишь с противоположным знаком. Бесполезно их описывать, вы их знаете. Лишь поместите их куда-нибудь поближе к Триумфальной арке да напяльте на них костюмчик от Кардена. При всем моем уважении к прошлому многих я быстро начал сомневаться в том, что у «лидеров» третьей волны есть право жить на дивиденды давних московских акций. Это отдельная и большая тема. Вода перестройки промывает и нашн болотные заводи, многое меняется. Но в те времена, лишь прикоснувшись к миру тех, от кого зависели здешние русскоязычные публикации, я тут же от идеи печататься по-русски отказался. И вернулся к своим бразильско-французским баранам...

Хомосоветикуса лучше изучать здесь, на Западе. Он еще ярче, вернее тусклее, в этой инородной среде. Его нетерпимость, неумение и нежелание слушать, его бескрайнее морализаторство, уверенность в своей (в противоположность тем, за Боровицкими) монополии на истину (антиистину), его дикая, наконец, провинциальность и его при этой провинциальности интернациональная известность — пугают. Хотите с ним спорить — валяйте, но лучше уж пешком идти на Северный полюс или учить сенегальцев играть Баха на балалайке.

Уехавшие в большинстве своем попадают в правые, автоматически, иногда — крайне правые. Все, что связано с либерализмом (в США), с левым движением (в Европе), пахнет для них предательством и нашествием крашенных кармином танков. Как и на бывшей родине, отколовшихся, аутсайдеров, заявивших о своей собственной точке зрения, не прощают. Хомосоветикус, по моим наблюдениям, дальнейшим мутациям не поддается. Он не то чтобы вырезан из одного куска гранита, он затвердел изнутри до железобетонных качеств...

Лишь через годы начинаешь понимать, почему, ЗАЧЕМ действительно ты уехал. Прочитав тонну, две тонны книг на английском, французском, русском, понимаешь, что главное, чего тебя лишили,— это именно книги и возможности их прочесть ВОВРЕМЯ. Каждая книга должна быть прочитана в свое точное время. Только тогда она дает оптимальный приход, результат. Уехав, добираешь в беспорядке, на ходу, вверх ногами. И — каменные книги: Рим, Флоренция, Венеция, Амстердам, Экс, соборы, дворцы, особняки, история... Но в конце-то концов это тот легкий вечерний ветер, когда сходишь по трапу самолета где-нибудь у дьявола на рогах, в стране, где живут синие люди, которые говорят на языке не то что непонятном, а невообразимом. И нет не только старшего брата, нет вообще ничего, дыра, вихри воздуха, рыжей пыли, дрожание и расслаивание мира — настолько ты никому не нужен, настолько сам по себе, совсем сам по себе, настолько свободен... И лишь документы подводят. Возвращают, вбивают в реальность, преподносят на подносе торжественное прошлое: место рождения — Москва.

Я помню первый прилет в Штаты. Аэропорт Кеннеди. В те времена у меня был эквивалент фраицузского паспорта для беженцев: titre de voyage. На картоне обязательной декларации я проставил, как и положено: советский беженец. Розоволицый с голубыми глазами, как это часто бывает у янки — гигантский младенец в форме офицера контроля перечеркнул «беженец», оставив «советский». Я поправил его. Стоило отсылать паспорт Брежневу? «Wonna be stateless?» [1] — спросил он обалдело. «Да»,— сказал я. Он не поверил. Я еще раз подтвердил. «ОК,— сказал он, взгля-

[1] Хотите быть без гражданства? (*англ.*)

нув на меня с сочувствием.— Stateless! Next!..»[2] Для него, если это не был тест иммиграционной службы, я был полным идиотом — он вернул мне страну!

В итоге довольно быстро понимаешь, что живешь не во Франции, не на Западе, не в Париже или Онфлере — живешь в межзоннике, между двух миров, двух систем, на No Man's Land[3]. Прошлое, как бы ты его ни уничтожал — ибо от него надо избавиться, если хочешь здесь выжить, избавиться хотя бы на время,— возвращается с воем реактивного бомбардировщика. До господина Горби было легче: мир был разделен, был черно-белым, был — там и здесь. Но чем бы она ни была, перестройка нарушила все правила игры и — на всех меридианах. Возможность того, что однажды СССР вернется из фантастического будущего в пусть серое, пусть чудовищно трудное, но настоящее — стала реальной. И межзонник, хоть он до сих пор дик и колюч, стало размывать с обеих сторон...

Я выпустил еще две книги во Франции: роман «Ниоткуда с любовью» и сборник рассказов «Вальс для К.». С чем сталкивается человек, живущий напротив собора Святого Евстахия и пишущий по-русски? Перевод — он зачастую просто невозможен. Но не потому, что переводчики не на уровне (они очень часто не на уровне), а потому, что одна реальность не переводится на другую. Один социальный код — в другой. Хьюберта Селби, пишущего на невероятно жутком бруклинском жаргоне «дна», переводят на французский, и он понятен, доступен, а, скажем, Алешковского переводить бесполезно, Саша Соколов непонятен, даже Веничка — на одну треть. Очень часто одна и та же книга русским читателем в Париже прочитывается по-одному, а французским — по-другому. Но для писателя, кроме Харибды, есть не менее страшная Сцилла — потеря читателя, потенциального читателя. Для кого ты пишешь, живя на Западе? Конечно-конечно, для двух избранных друзей, но все же? Если для француза, американца — ему нужно объяснять, разжевывать советские реалии, Запад же ему знаком как те самые пять. И наоборот: советскому читателю свои родные советские дела можно преподать и в сгущенной форме, на любой «фене», Запад же для него в какой-то мере требует расшифровки. Это схема, карикатура, но — правда из межзонника, с ничейной земли...

Остается еще тьма вопросов, тьма проблем. Так как жизнь здесь — марафон и все идет как надо, только пока бежишь,— на продолжение просто нет времени. Так что эти заметки — скорее конспект, письмо, набросок.

Я выбрал для названия цитату из «Плаванья» Бодлера в переводе Цветаевой.

Что нас толкает в путь? Тех — ненависть к отчизне,
Тех — скука очага, еще иных — в тени
Цирцеиных ресниц оставивших полжизни —
Надежда отстоять оставшиеся дни.

О, ужас! Мы шарам катящимся подобны...

■

[2] О'кей... Без гражданства! Следующий!.. *(англ.)*

[3] На ничьей земле *(англ.)*.

Вера и мораль

Д-р МОЗЕС РОЗЕН

УРОКИ БИБЛИИ

Авторизованный перевод с румынского
ЛЬВА БЕРИНСКОГО и АЛЕКСАНДРА БРОДСКОГО

«Ло тирцах» — всем на свете понятная заповедь

«Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею...» (Ев. Иоан. 1, 47—50). Что ж за грозный смысл, сразу подчинивший себе Нафанаила и принудивший его с ходу признать Иисуса и Сыном Божиим, и Царем Израилевым, таится в «смоковнице»? Комментарии к православной Библии (например, авторитетнейший «Ключ к пониманию Св. Писания», печатающийся с разрешения церковных властей) разъяснения не дают, лишь констатируя, что в словах Иисуса имеется «намек на какое-то обстоятельство жизни Нафанаила». На галилейском наречии арамейского языка, на котором говорил Иисус, «смоковница», «tina», произносилось почти так же, как ивритское («tena»), а фонетически близкое «thinna» на арамейском языке означало «старание, рвение», в данном контексте — «рвение за дело Бога, Храма», то есть за дело зелотов, которые вели партизанскую войну против Ирода Великого и римлян. Вот причина «необъяснимой» реакции Нафанаила на приветствие Иисуса: за приверженность зелотизму римляне карали смертью.

Этот, не совсем как будто подобающий началу разговора об иудаизме, евангелический пассаж приведен читателю, чтобы на более знакомом ему библейском материале показать, что з н а н и е, даже в сфере религиозной, в сфере скорее эмоциональной, чем интеллектуальной проясняет белые и темные пятна, укрепляет веру, придавая ей убеждающую достоверность.

Свобода религий, о которой много сейчас у нас говорят, оказалась, в общем, безадресной, маловостребованной, люди к религиозному миропониманию и мирочувствованию не готовы. Те внешние, большей частью обрядовые и символические элементы, которые почти повсеместно внедряются ныне в быт граждан и прикультурный слой, например в эстраду, вряд ли глубоко проникают в бытийную суть советского человека, озабоченного скорей сиюминутными изысканиями и опасениями. К тому же атеизм, все еще власть предержащий, подменяя экзистенциальный смысл религий и их б о г о у с т р е м л е н н о с т ь разговорами о культурном наследии, об исторической преемственности того или другого народа, нравственно и философски дезориентирует невежественного в этой области человека (не его, не его вина!), дабы не укоренилась в сем человеке истинная в е р а. Атеизм, несомненно, предполагает новое свое наступление, а крест, могендовид или чалму он всегда легко заменит пятиконечной звездой, или буденовкой, или древним символом плодородия — изломанным перекрестием.

Непросвещенность душ и невежество умов — зло опаснейшее. Человеколюбивые отцы всех конфессий призывают сегодня к экуменизму, к объединению против религиозного, национального и социального шовинизма; мир хорошо еще помнит бесовский, сатанинский разгул на просторах нашего века всех разновидностей гитлеризма, сталинизма, маоизма, сумевших мобилизовать огромные темные массы для уничтожения Человека Разумного как подобия и образа Божия. Сегодня, когда национальные и религиозные раздоры вновь со всем откровенным их ужасом разгорелись в нашей стране, книга Розена, ее экуменический пафос, призыв к единению — своевременен и достоин того, чтобы быть услышанным. Общеизвестно уже, кажется, что именно из иудаизма разветвились, дав мощные стебли, христианство и мусульманство. Вот почему на протяжении всего столетия самые оголтелые из нацшовинистов всех стран атакуют и эти религии. «Извращение великих религиозных истин,—

пишет д-р Розен,— служило и нередко служит предлогом для тех, кто подыскивает своим злодействам «моральное» обоснование. Не одно кровавое пятно оставили в истории человечества люди, ввергавшие в братоубийственные войны целые народы... Следование религиозному учению и путь познания высшего символа любви — Бога, какие бы формы они ни принимали, должны вести к единой цели — к братству людей».

Если уж говорить о трагическом религиозном невежестве нашего соотечественника и, на мой взгляд, неготовности его к восприятию высших пусть не истин, но гипотез,— с еще большей горечью и безнадежностью подумаем об иудаизме. Советский еврей, в дополнение к тому давлению многопластового атеизма, которое испытал в «искоренительные» десятилетия и христианин, и мусульманин, и представитель любой другой веры, советский еврей получил еще и свой особый «довесок» — стопроцентную почти ассимиляцию плюс антисемитизм, частью физически истребивший, не без решающего вклада Гитлера, прихожан синагог, а частью деморализовавший (в религиозном смысле) потенциальных носителей этой религии. В таких условиях конфессиональное просветительство как первый шаг на пути возвращения народа в веру (а не только к истокам культуры и истории, хотя в иудаизме это более слито) много трудней, чем, скажем, в православии, а по правде сказать — вообще невозможно в странах рассеяния. Тем не менее еврей, как всегда, как извечно, рассчитывает на чудо, именно рассчитывает, а не просто надеется. И вот один из подвижников этой религии, Его Преосвященство д-р Мозес Розен, вступает сорок с лишним лет назад на эту стезю, на стезю — чтобы снова быть лучше понятым русским читателем — возвращения Отцу его блудного сына.

Публикуемая часть первой в трилогии[1] Мозеса Розена книги освещает и современно трактует начальные, исходные (в теологическом космогоническом и хронологическом аспектах) положения Библии. Но и для всей Библии (включая Новый завет), и для сознания и судеб нашей цивилизации именно эти, изначальные посылы и принципы мироздания, нравственности и истории первоэлементны. Книги д-ра Розена написаны простым и доходчивым языком, и все же чтение их предполагает некое минимальное знание о предметах рассуждений или — наличие под рукой Ветхого завета.

Первый том «Уроков Библии» — это, собственно, проповеди, с которыми д-р Розен как раввин выступает перед прихожанами, комментируя и актуализируя, последовательно, согласно установленному канону, главу за главой Ветхого завета. В книгу входят также глоссы и беседы, разъясняющие наиболее важные положения и концепции иудаизма. Во втором томе «Уроков Библии» автор рассказывает о религиозных и национальных празднествах, о траурных и исторических датах, дает великолепные портреты выдающихся деятелей иудаизма и еврейства — прошлых веков и современности; касается проблем организации общин; выступает с циклом публицистических статей, затрагивающих такие неотложные темы, как мир на земле, экуменизм, братство между народами. В третьей книге — «В сиянии Торы» — наиболее впечатляют фресковые изображения библейских персонажей — родоначальников и патриархов народа; литературные портреты писателей разных стран — еврейских и нееврейских, таких, например, как Гала Галактион, прогрессивный румынский прозаик первой половины нашего века, великий заступник гонимых и унижаемых, чья гуманистическая деятельность не может не напомнить нам тихое, но активнейшее подвижничество русского писателя Владимира Галактионовича Короленко...

Читатель, знакомый с событиями и персонажами Библии русской, обратит внимание на непохожесть и своеобычность подхода автора к общеизвестным, казалось бы, героям и сюжетам. Что ж, иудаизм — это не просто часть совместно с христианством пройденного пути, это особый, свой миростой, свой взгляд на действующих в истории лиц, обретающих здесь часто не совпадающий с христианской обрисованностью контур, свои упования, свое ожидание Мессии (который, кстати напомнить, к евреям еще не приходил). Еврей, конечно, читает Ветхий завет не так, как христианин, для которого, в общем, это рассказ о другом народе, бытовавшем на какой-то другой, дальней земле. На этот счет, думается, долгих объяснений не нужно. Но вот что несомненно и прочно единит иудаизм и христианство (в идеальном их явлении) — это моральный стержень обеих религий, их этическая сфокусированность, дающая, как увеличительное стекло под солнцем, воспламеняющий эффект пробуждения совести в человеке. «Ло тирцах» — «Не убивай»; «Ло тин'аф» — «Не прелюбодействуй»; «Ло тигнов» — «Не кради»...— что может быть, на любом языке планеты, понятней и желанней? Декалог (Десятисловие, Десять заповедей) — движитель, энергетирующий поступь человека к очеловечиванию, в перспективе — обожествлению...

Сочинения д-ра Мозеса Розена — серьезный и весомый вклад в еврейскую духовную литературу, в Мысль и Слово. Книги его переведены на многие языки мира, сам он — как религиозный писатель, как главный раввин Румынии и крупный деятель еврейского демократического движения в мире — участник самых значительных конгрессов, конференций, симпозиумов, не раз бывал и в нашей стране. Он — председатель еврейской общины Румынии и в этой роли на протяжении нескольких десятилетий содействует поддержанию жизненного уровня членов общины — пенсионеров, инвалидов, недужных. Духовные и интеллектуальные устремления он каждо-

[1] Dr. Moses Rosen. "Invățături Biblice", vol. 1; "Invățături Biblice", vol. II; "In "lumina Torei", Bucureşti, 1978, 1980.

дневно сочетает с конкретной заботой о конкретном человеке, с действенным милосердием...

О философских, этических и (даже) художественных достоинствах сочинений д-ра Розена читатель будет судить по публикуемым выбранным главам, но вот хочется привести несколько строк из открытого письма д-ру Розену известного его соотечественника, большого румынского поэта Мирчи Динеску: «...история, конечно, это одеяние, в которое все мы облачены; все дело в том, в каком месте этой фатальной одежды предпочитает находиться человек — укрыться ли во тьме рукава, забиться ли в часовой кармашек с его вечным потикиваньем времени или расположиться на левом лацкане, ближе с сердцу, к славе и пулям. (...) Мне всегка казалась ущербной и жалкой мысль, что от сурового лика Истории можно сколь-либо достойно спрятаться в Культуре. Спасение на самом деле совсем в противоположном: воспротивиться Истории посредством Культуры. (...) Традиционный образ танца с книгой, образ иудаистский, обрел для меня благодаря Вам, Ваше Преосвященство, грандиозный смысл, он вернул меня мыслью к древним пляскам боевых племен в канун решающих выступлений. При том, конечно, что Ваше оружие — книга, пламенное слово, рассекающая буква. На исходе нашего столетия Слово оказывается сильней, чем сила сцепления атомов. Дай Вам Бог многих лет под Его защитой, ибо счастлив народ, чей пастырь держит в руке не кнут, но перо...

Добавим: воистину так.

ЛЕВ БЕРИНСКИЙ

Адам как символ (Бытие)

Итак, раскроем первую из пяти книг Торы. Год за годом, суббота за субботой мы перечитываем ее, и все же она не устает поражать нас своей новизной. Всякий раз мы обнаруживаем в ней отзвуки наших сегодняшних тревог и забот, и всякий раз ее страницы помогают нам в решении общественных и личных проблем. Многотысячелетний возраст этой книги не состарил ее, не превратил в летопись давно минувших дней, а ее герои не выглядят музейными экспонатами, пригодными лишь для изучения забытых времен.

«Зэ сэфэр толдот Адам» [1] — «Вот родословие Адама...» (Быт. 5, 1)[2]. Другими словами. Книга Бытия есть биография рода человеческого. Таково непреходящее определение, данное ей божественным автором Торы. Это книга о первых земных шагах существа, созданного «по образу и подобию» Божьему, о первых его заблуждениях и ошибках, о первых разочарованиях и испытаниях.

Секрет неувядаемости Библии заключается именно в ее поразительной способности отражать надежды и чаяния всех человеческих поколений. Склоняясь над ней, человек, к какому бы времени, к какой бы цивилизации он ни принадлежал, читает свою собственную историю, обнаруживает нить собственной жизни, со всеми ее потерями и обретениями. Как изменилась бы его судьба, сколькие беды пощадили бы его, скольких невзгод он бы сумел избежать, если бы научился извлекать уроки из этой книги.

Перефразируя одного нашего средневекового поэта, можно сказать, что даже «если бы небеса превратились в пергамент, океаны — в чернила, лесные деревья — в перья, а все люди — в писцов», даже тогда невозможно было бы передать огромность Библии. Сокровища чувств, красота и богатство высоких дум, воплощенных в стихах Торы, вызвали у рабби Акивы известное восторженное восклицание: «Горы мудрости покоятся на самой малой из ее букв!»

Вот почему религиозные евреи помимо традиционного календаря пользуются синагогальным, делящим год в соответствии с еженедельными библейскими чтениями. Каждый из дней нашей жизни включен, согласно этому календарю, в раз и навсегда установленный порядок. Возьмем, например, пятницу 28 Тишри 5723 года. Это шестой день недели, в которую каждый верующий читает главы Книги Бытия. Таким образом, изучению Библии посвящается вся жизнь, и различные ее этапы соответствуют строго определенным фрагментам святого Учения.

Книга Бытия. Вернемся к ее неисчерпаемым богатствам, справедливо уподобляемым неистощимому колодцу, дна которого, сколько ни черпай, достигнуть нельзя; напротив, вода становится все чище, все свежее, все благодатней.

Человеку — венцу творения — принадлежит роль подмастерья Божьего в совершенствовании этого мира. Каждый день, при виде каждого нового создания, Господь восхищается им и восклицает: «Как хорошо, как прекрасно то, что я создал!» И только в рассказе о сотворении человека этот возглас отсутствует. Ибо только от самого человека зависит подняться к вершинам добра или низвергнуться в бездну зла. Творец — безусловный владыка вселенной, и лишь одно-единственное вывел он за пределы своего всемогущества: свободную волю человека, его способность и право выбирать между добром и злом. «...И владычествуйте над рыбами морскими (и над зверями), и над птицами небесными (и над всяким скотом, и над всею землею), и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1, 28) — такова миссия, доверенная человеку Господом. Употребленный в этой фразе глагол может переводиться со святого языка двояко: «владычествовать, править» и — «опускаться». Иначе говоря, человек может царство-

[1] Огласовка и русская транскрипция библейских и ивритских понятий и терминов осуществлена М. Ш. Вольфом.

[2] Здесь и далее цитаты из Библии приводятся по русскому каноническому тексту, не всегда совпадающему с оригиналом в нумерации. *(Прим. перев.)*

вать над силами природы, управлять ими, стать помощником Божества в огранке и шлифовке жизни — а может унизиться до животности, до скотства, не уступая в жестокости даже диким зверям.

Само имя, которым был наречен первый человек Адам, имеет двойственное значение; «адаме ла Эльон» — подобный Всевышнему; или «адама» — это земля, глина, прах, из которого он был сотворен. Если бы, отведав плод с древа познания, он воистину научился отличать добро от зла, то Эдемский сад, «ган Эден», рай, стал бы живой реальностью этого мира, а не отвлеченным понятием, приписываемым лишь небесным сферам. Но он вкусил этот плод, повинуясь соблазну, подстрекаемый ядовитым змеем, а потому усвоил лишь негативный, разрушительный элемент знания. При изгнании Адама из Эдемского сада Господь дал ему возможность исправиться и поставить свой разум на службу добру.

Нужно ли сегодня подчеркивать актуальность этого первого поворотного момента в жизни первого человеческого существа? И разве наши нынешние времена не являются живым свидетельством двояких возможностей, открываемых знанием, наукой роду человеческому? Займется ли он устроением рая на земле или подвергнет себя жесточайшему самоуничижению? И так ли уж необходимы искусные богословские построения, чтобы внять наставлениям древних страниц Книги Бытия при решении стоящего перед человечеством вопроса о дальнейшем его существовании?

Единственная подлинная сила — свет

«И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1, 4—5).

Не только философов и религиозных деятелей, но и рядовых, простых людей издревле волновал вопрос добра и зла, сочетания этих начал в человеческой жизни. «В каком мире мы живем? — спрашивали себя люди.— В мире ли добра и света, где зло и тьма эфемерны и преходящи, или, наоборот, в юдоли плача, где владычит и правит зло, а слабые лучи добра не могут пробиться сквозь завесу тьмы?» От того ответа, который давал себе человек на этот кардинальный вопрос, зависело, стоять ли ему в рядах тех, кто считает жизнь чудесным даром, стоящим трудов ради его украшения, или перейти в лагерь пессимистов, не видящих смысла в каких-либо усилиях и занимающих по отношению к жизни скептическую, негативную позицию.

Древнеперсидский дуализм разрешил эту дилемму, поставив перед человеком две равноправные силы, правящие миром: Ормузда и Аримана, Свет и Тьму. Они пребывают в состоянии бесконечной войны, а судьба человека всегда совершается в тени этой титанической битвы, на исход которой он бессилен повлиять.

Однако иудаистический монотеизм открыл Единственность Творца и, соответственно, Единство Творения. И первым условием прекращения хаоса, этого предвечного «тохуво-боху», обозначенного во втором стихе Книги Бытия словом «бездна», первым условием творческого акта были и первые слова Божества: «Да будет свет».

Тьма — это хаос. Свет — это само Творение. И хотя порой на него набегает тень, хотя силы ночи затемняют его сияние, хотя рассвет иногда едва брезжит, в Библии говорится: «и был вечер, и было утро», и оба эти понятия «эрэв» — «вечер», и «бокэр» — «утро» обнимаются в одном всеохватном слове «иом» — «день». Свет был сотворен, а тьма — не что иное, как его временное затмение; добро было создано, и зло — не что иное, как его временное отступление. И в конечном счете есть только одна-единственная подлинная сила: «иом эхад» — день один.

Путь нашей жизни, ход самой истории являют собой постоянное исполнение первого творящего слова: «Да будет свет». Человек — это «холэх», элемент динамический, полный движения. Смерть, напротив, «омэх» — статична. Жизнь есть непрерывное стремление к своему первоисточнику — свету. Разливаясь по вселенной, она разгоняет тени, сметает все пережитки тьмы, предшествовавшей ей в хаосе. Вот главное, чему учат нас первые стихи Книги Бытия.

Первая божественная заповедь: умей вовремя остановиться

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2, 16—17).

Этот первый божественный наказ, заповеданный первому человеку, можно было бы истолковать в духе понятия *«Кашрут»*, то есть ритуального принятия пищи. И не случайно Господь начинает воспитание Адама с завета такого рода. Человеку предстоит стать хозяином природы, а не рабом ее. И вот он бродит по изобильному Эдемскому саду. Вокруг него — разнообразные деревья, обремененные манящими плодами. Плоды искушают, зовут, соблазняют. Отнюдь не предполагается, что хозяин этого сада будет аскетом, но и жертвой обжорства он тоже не должен стать. «От всякого дерева в саду ты будешь есть»,— звучит глас Господень,— ибо ты сотворен из плоти и крови, а у плоти есть свои права.

Но человек — это не только материя. В нем, в персти земной, таится божественная искра, и цель его — уподобиться Богу, по образу которого он был создан. Облик Божий — его душа, его разум. А одно из имен Всевышнего — Шаддай — выражает чрезвычайно важный Его атрибут: «Ми шэомар лэолам дай» — «Тот, кто сумел сказать миру: довольно». Это свойство дает Творцу возможность обуздать свое творение, определить его границы, сказать «довольно» первичным стихиям, раскрепощенным Им в ходе космогонического строительства, установить гармонию, на которой основывается существование вселенной. Без этого «довольно» мир, рожденный из хаоса, снова вернулся бы в хаос, так и не обретя законов, у«рав-

ляющих движением светил и сочетаниями элементов.

Так и человек, венец творения, непременно должен вовремя сказать себе «дай» — «довольно, хватит». Прочие земные твари поглощают без разбору все плоды, встречающиеся на их пути, ибо они воплощают инстинкт, а не разум. Для человека же существуют границы между позволенным и запретным. Перейти их — означает попрать законы существования, вступить в конфликт не только с волей Творца, но и с самим Творением.

«Не всякая птица в пищу годится». Народная мудрость выразила в этой пословице этику самообуздания, лежащую в основе всех наших законов, касающихся ритуального питания. Адам должен был первым делом усвоить понятие о границах, нарушать которые непозволительно, даже если на той стороне его ждет утоление самых прихотливых аппетитов.

И в самом деле, разве не лежит у истоков правосознания латинский принцип: «Jus est suum cuique tribuere, alterum non laedere» — «Каждому воздавать свое и не причинять другому вреда»? Вот и водораздел между личной и коллективной сферами, вот то самое «довольно», которому должен научиться человек. Если бы люди уважали и почитали этот принцип, разбои, убийства, войны и многие другие бедствия обходили бы их стороной.

Итак, первым и главным грехом человека оказалась его неспособность удовлетворяться тем, что ему было дано и чего с избытком хватило бы для утоления голода и жажды.

Нарушая первый божественный наказ и становясь рабом своих инстинктов, человек творит зло. Зла как такового не существует — оно возникает как результат человеческих поступков. В день, когда люди намеренно или по необдуманности совершили первый грех, мир разделился на два лагеря — добра и зла, света и тьмы. В тот день человек «начал погибать», отвернувшись от жизни, которая, по замыслу Божию, должна была быть столь прекрасной: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1, 31).

Первородный грех тяготеет над человечеством, и устранить его последствия можно будет лишь в том случае, если будут восстановлены границы между тем, что дозволено, и тем, что идет во вред нам и нашим братьям. Человечество должно сказать «дай» — «довольно» слепому разгулу страстей и научиться управлять стихиями себе на благо.

Поколение потопа, или Злодейство, награждаемое почестями

Со времени создания первого человека миновало десять поколений. Увы, потомки Адама стремительно расчеловечиваются. Мир превращается в джунгли. В общественных отношениях укореняется закон силы. «Ватималэй хаарэц хамас» — «...ибо земля наполнилась от них злодеяниями» (Быт. 6, 13). В связи с переводом слова «хамас» комментаторы-талмудисты делают тонкое различие между ним и словом «гезел», означающим ограбление. Они утверждают, что люди от века обирают друг друга двумя способами. «Газлан ло ехаив домэй». «Газлан» — грабитель с большой дороги, разумеется, не расплачивается со своими жертвами. Зато он ставит себя вне общества и рискует головой. «Хамсан еханв домэй». Слово же «хамсан» означает человека, который, пользуясь законами, вроде бы платит трудящимся за их труд, а по существу выкачивает из них доходы, занимается эксплуатацией. Ничем не рискуя, он сосет кровь из ближнего у всех на глазах, а потому, говорят мудрецы (Трактат Баба Кама, 62), он куда опаснее простого разбойника. Того люди подвергают гонению, а этого — осыпают почестями: ведь неправедные деньги, добытые потом трудящихся, позволяют ему порой даже заниматься «благотворительностью» и добиваться звания человека щедрого и милосердного.

За тысячи лет до нашей эпохи вышеописанное различие понятий отразило глубокое возмущение наших великих учителей социальным порядком, при котором грабеж узаконен, а угнетенный беззащитен. Понятно, что такой порядок не может быть не обречен на гибель.

Современником этого поколения оказался Ной, про которого в Библии сказано, что он «был человек праведный и непорочный в роде своем» (Быт. 6, 9). Впрочем, надо сказать, что эта характеристика Ноя уместна лишь в применении к обществу, в котором он жил. Некоторые толкователи Библии справедливо указывают, что, будь это общество чуть менее растленным, отзыв о Ное был бы другим. И впрямь, если мы приглядимся к этому человеку внимательнее, то обнаружим, что как в духовном, так и в материальном отношении он заботился исключительно о себе и о своей семье.

Ной находил причину для самодовольства уже в том, что исполнял свои религиозные обязанности, или, как о нем сказано, «ходил пред Богом» (Быт. 6, 9). Таким образом, свою душу он мог считать спасенной. А для спасения тела построил ковчег, в котором и укрылся со своими близкими. Он не мог не понимать, что приближающийся потоп угрожает всей земле, но ограничился лишь интересами своего дома.

В еврейском фольклоре есть выражение «А цадик ин пелц» — «Праведник в шубе». Так высмеивает народ святош и лжеправедников. Вот как объяснял это выражение один мудрый раввин. Когда в помещении холодно, есть два способа согреться: или растопить печь и наслаждаться теплом вместе с другими жильцами, или... закутаться в меховую шубу, а остальные пусть себе стучат зубами. «Праведник в шубе» — символ эгоиста, который заботится только о себе. Таким «праведником», по мнению ряда комментаторов, и был Ной.

Согласно наставлению Божьему, Ной сделал в ковчеге «цохар» — «отверстие». Это слово также вызвало споры среди ученых талмудистов. Одни понимают его как «халон» — «окно», другие считают, что оно означает «эвэн това» — «драгоценный камень».

Родитель мой, гаон Авраам Лейб Розен, благословенна будь память о нем, разъяснял эти противоречия при помощи следующей притчи.

Рабби Гершеле из Жидачова, мир праху его, имел привычку раз в год посещать соседнее селение. При этом он всегда останавливался у одного бедного еврея, который был счастлив принять у себя знаменитого книжника. Но вот случилось так, что, по благоприятному стечению обстоятельств, бедняк вдруг разбогател, и когда рабби Гершеле в очередной раз посетил местечко, ему пришлось искать своего приятеля уже не в жалкой лачуге на окраине, а в одном из лучших домов в центре. У дверей он был встречен прислужником, который объявил хозяину о приходе гостя, после чего рабби Гершеле пришлось еще некоторое время томиться в прихожей. Наконец, появился хозяин, но в лице его не было и следа той радости и почтения, с каким он встречал мудрого гостя в былые годы. Тогда рабби Гершеле взял со стола зеркало и принялся ножом соскребать амальгаму.

«Что вы делаете, рабби?» — удивился хозяин.

«Задумывался ли ты, сын мой,— ответил вопросом гость,— в чем разница между зеркалом и простым стеклом? Когда смотришь в окно, видишь людей, видишь прохожих. Но стоит посеребрить стекло с одной стороны, и ты уже видишь только себя. Во всем виновато серебро. Так давай соскребем его, давай вернем тебе прежнюю зоркость».

Те, кто считают Ноя «праведником в шубе», эгоистом,— говорил мой покойный родитель,— те, кто истолковывают библейский стих в неблагоприятном для него смысле, утверждают, что, построив ковчег, Ной вмонтировал в его отверстие драгоценный камень, чтобы он светил только ему и отвлекал его от мыслей о катастрофе, постигшей человечество. Те же, кто интерпретируют этот стих в пользу Ноя, переводят слово «цохар» как «окно», полагая, что он ни на миг не забывал о происходящем снаружи и не отрывал глаз от терпящих бедствие, надеясь помочь им и спасти их.

Итак, подлинный праведник должен быть человеком незапятнанным и цельным в своих отношениях к Богу и людям.

Пришел потоп, и люди не могли его избежать. Таким образом, Ноев ковчег стал последним убежищем жизни, которой предстояло затем возродиться. Разгул стихии не мог продолжаться до бесконечности. Должен был настать момент, когда она отступит. Спасительную весть об этом принес в клюве белоснежный голубь, возвестив масличным листом начало новой жизни, которая должна будет учесть ошибки прошлого и построить свой уклад на здоровых основах. Слишком велика была катастрофа, чтобы люди не извлекли из нее Урока. Слишком многочисленны были жертвы, чтобы новая жизнь текла по старому руслу.

Почему, задаются вопросом мудрецы, он принес именно масличный лист, этот голубь мира? Потому, отвечает птица, что лучше принять горькую, как масличный лист, пищу от Господа, чем сладкую, как мед,— от человека. Таким образом, устав нового мира обрел в тот день новое основание: каждое живое существо добывает себе пищу достойным образом, а не выпрашивает ее у ближнего. Катастрофы грядущего могут быть избегнуты, если только люди прислушаются к призыву голубя, выражающему в наши дни, более чем когда-либо, стремление народов к миру.

Авраам — отец множества народов

«Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли» (Быт. 14, 22).

Потоп отступил. Масличный лист в клюве голубя возвестил людям, что гибельная стихия пошла на убыль. На руинах пережитого человечество снова взялось за работу. Не многие остались в живых, и не многому научило их бедствие. Десять поколений, сменившихся от Адама до Ноя, слишком глубоко погрязли в трясине страстей, слишком уж низко спустились по ступеням скотства, и это не могло не привести к катаклизму.

Десять поколений, наследовавших Ною, также начали скатываться по наклонной плоскости. Однако на этот раз появился человек, которому суждено было реабилитировать благородное имя творения, созданного по образу и подобию Божьему. Человек этот распрямил спину и обратил взоры к небесам, и решил, что его путь и путь ему подобных — это не спуск под уклон, а неуклонный подъем к блистательным вершинам совершенства.

Имя этого человека — Авраам. Сначала он звался Ав-рам, то есть «высокий отец», и это должно было означать вождя, расположившегося на вершинах, вдали от народа. Однако впоследствии, по поступкам и делам его, он стал называться Авраамом, то есть, как объясняет библейский текст (Быт. 17, 5), «Ав-хамон гоим» — «отцом множества народов». Иначе говоря, не какого-нибудь племени, или национальной группы, или даже нации, но именно всех без исключения народов, ибо его представление о жизни объемлет все человечество единой отеческой любовью и заботой.

Возросший в шатрах отца своего, идолопоклонника Фарры, он с юных лет отверг разделение людей в зависимости от идолов, которым они служат. Гармонический мир, который открывается его внутреннему взору, навел его на мысль о единстве Творения. Вселенная предстала перед ним как великое свершение, а элементы ее сочетались в неразрывной слитности. Так пришел он к открытию единственного Творца и стал первым человеком, нашедшим Бога в своей душе.

Нет, не может быть отдельных идолов — семейных, кастовых, расовых; немыслимо допустить множество могущественных божеств, создающих, каждое для себя, различные человеческие племена. Юный Авраам исполняет завет пророка: «Поднимите глаза ваши на высоту *небес* и посмотрите, кто сотворил их?» (Ис. 40, 26). Ответ, вытекающий из этого вопроса, превращает Авраама в проповедника новой веры — веры в единого Бога и, как естественный вывод отсюда, в единое человечество.

Не состоит ли лучший способ почитания Господа в любви к его творениям, в том, чтобы вместе с ними радоваться и печалиться, терзаться их бедами и тревожиться их тревогами?

«Простой мужик.— рассказывал рабби Зися из Ямполя,— научил меня настоящей любви к людям. Заглянув однажды в корчму, я услышал следующий разговор между двумя крестьянами:

— Ты меня любишь, Иван? — спросил один.

— Само собой, люблю,— ответил второй.

— Неправда,— возразил первый.— Если бы ты меня любил, ты бы чувствовал, чем я мучаюсь, и моя мука стала бы твоей».

Пример такой любви к ближнему и показал Авраам своими бесконечными скитаниями на пути к людям, своей уверенностью в благородстве их душ, способностью освятить каждый свой поступок дароносной верой. Он не только «открыл» Господа, но и неустанно проповедовал общность между Ним и людьми и таким образом «вээт ханэфэш ашэр асу» — «творил души», и его ученики смотрели на него как на отца. Этот первый еврей принадлежит со своим духовным достоянием не только евреям, но всем народам земли, так же как и Бог, открытый им, принадлежит всему человечеству. Верные Богу Авраама носители Торы, именуемые «иврим», евреями, веруют, таким образом, в единство человеческого рода, столь же прочное, как единство семьи их великого патриарха.

Царь Нимврод, первый из монархов, известных истории, человек жесткий и безжалостный, был также и первым тираном, основывавшим свою власть на разделении людей по кастам и племенам и подстрекавший одних против других под тем предлогом, что они-де молятся разным богам. Авраам, не делавший различий между людьми, а напротив, стремившийся объединить их, выступает, как видим, в качестве опаснейшего противника рабства. Но пылающая печь, которую уготавливает для него Нимврод, не в силах погубить Авраама. Да и никогда никакие печи или мечи не были сильнее идеалов справедливости и братства между людьми.

За Нимвродом последовали и другие цари. Каждый из них подчинял своей власти один или несколько народов. Появление алчных тиранов порождало войны. Библейские страницы описывают первое такое кровопролитное столкновение, когда несчастные мирные люди вынуждены убивать друг друга, чтобы удовлетворить аппетиты своих хозяев. Два враждебных войска сошлись в долине Сиддим, то есть в «Долине смоляных ям» Вмешательство Авраама, положившего конец кровопролитию, Мидраш описал в символической, весьма живописной сцене. Странная битва разыгрывается между людьми Авраама и наемниками царей. Последние осыпают его стрелами, а его воинство мечет в противников пшеничные колосья. И побеждают в конце концов колосья, а не стрелы.

Никогда, учит нас эта легенда, древняя, как сама наша вера, никогда стрелы не покорят колосья, символизирующие мирный творческий труд. Столкновение различных мировоззрений не может быть разрешено на полях сражений, и орудия истребления не могут поставить на колени тех, за которыми — правота. Только на пшеничных полях, только в мирном соревновании возможно решение вопроса о том, на чьей стороне правда и чья вера истинна, а чья ложна.

Война завершилась. Царь Содомский, один из «союзных царей», видит в войне — как и все его последыши — лишь повод для грабежа и разбоя. Он предлагает Аврааму разделить плоды совместной победы следующим образом: «...отдай мне людей, а имение возьми себе» (Быт. 14, 21).

Авраам дает этому охотнику за рабами достойный ответ. «Я поднял руку свою,— говорит он,— не для того, чтобы сеять злодеяния. И не затем создана рука человеческая, чтобы обирать ближнего своего или посягать на его жизнь». Авраам клянется: «...поднимаю руку мою к Господу Богу всевышнему, Владыке неба и земли, Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: «я обогатил Аврама» (Быт. 14, 22—23).

Это рука, служащая справедливости, а не беззаконию, рука, охотнее берущаяся за плуг, чем за меч, рука созидающая, а не разрушающая... это рука Авраама.

«Кто ни услышит обо мне, рассмеется»

«И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется» (Быт. 21, 6).

Подруга жизни Авраама переживает высшее страдание женщины: ее чрево не приносит плода. В старости, однако, этому бесплодию приходит конец, и в ту пору, когда она уже не может ожидать, что ее мечта станет явью, сбывается божественное обещание, предсказавшее ей рождение сына. Позднее это дитя получит имя Ицхок, происходящее от слова «цхок» — «смех», ибо, получив радостную весть, Сарра сказала: «кто ни услышит обо мне, рассмеется».

Сарра — не единственная из библейских героинь, терзающихся своим бесплодием и умоляющих Господа даровать им то, что обычные женщины получают естественным ходом вещей. Долго мучается Ревекка, прежде чем исполняются ее мольбы, и Рахиль, «возлюбленная сердца» Иакова, в отчаянии восклицает: «Хэва ли баним вэим эйн мэй та анохи» — «Дай мне детей; а если не так, я умираю» (Быт. 30, 1). Анна, «жена, скорбящая духом» (I Цар. 1,15), плачет и рыдает многие годы, пока наконец ей не выпадает счастье дать жизнь тому, кто станет пророком Самуилом.

Думается, есть некий общий смысл в судьбе наших прародительниц. Как Сарре, матери первого ребенка-еврея, так и некоторым другим героиням библейских книг, достается весьма необычная участь. Первый ребенок народа Торы не мог прийти в жизнь заурядным путем, дабы потомки его накрепко запомнили, что на протяжении всей их бурной истории в мире тирании и угнетения их жизнь никогда не будет «нормальной». Чудесные обстоятельства сопровождают рождение детей патриархов, чудо спасает жизнь младенца Моисея, чудом переживают многочисленные бедствия носители Торы.

И более того. Потомки Исаака и Иакова, ученики Моисея и служители алтаря Самуила, хотя они и будут по сравнению с иноплеменниками «ки ата хам'ат микол хаамим» — «малы числом», хотя их руки не станут хватать мечей или других орудий унич-

тожения — всегда будут ставить перед собой цели, значительно превосходящие их возможности. Первыми в рабовладельческом мире они развернут знамя свободы от имени тех, кто трудится. В мире опустошительных войн их пророки станут прорицать эпоху мира и братства. В зверином мире джунглей они дерзко сформулируют принципы правосудия и морали. Они будут проповедовать свои идеалы у подножия Синая и на склонах Галилеи, в вавилонских капищах и под пятой османов, в темницах крестоносцев и на кострах инквизиции, в средневековых гетто и фашистских концлагерях.

Когда рождается «цхок» — иронический, скептический, саркастический смех? Когда между намерениями человека и его возможностями лежит непреодолимая пропасть. Тщетно бьется иной бедняга, пытаясь совершить невозможное, и зеваки стоят вокруг и издеваются над ним. Права была Сарра, представив себе, каким глумливым хохотом разразятся те, кто услышит об ее несбыточной надежде. Так и враги прогресса, все эти навуходоносоры и гитлеры, злобно высмеивали идеалы свободы и справедливости, исповедуемые сынами Исаака.

Есть, однако, в священном языке Торы и другой термин, обозначающий смех. Речь идет о «схок», об улыбке удовлетворения совершенным подвигом, озаряющей лик человеческий светлой радостью. Псалмопевец прозревает в тумане времен эпоху, когда будет положен конец людским страданиям, когда «цхок» — издевательский оскал врагов рода человеческого сменится «схок» — счастливой улыбкой людей, сбросивших цепи рабства. «Тогда уста наши» будут «полны веселья» — «Азималэ схок пину» (Пс. 125, 2). Тогда исполнятся миготысячелетние мечты верующих Торе.

Любовь Божеская и человеческая

«Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом (все), что сказал о нем» (Быт. 18, 19).

Авраам не ограничивается формулированием абстрактных идей. Как ни возвышенна его вера, как ни благородны идеалы, они должны облечься в одежды реальных поступков. В иудаистической концепции мысль и дело слиты, как слита душа с телом. Доброе дело, не проистекающее из благородного замысла,— это все равно что «гуф бли нэшама» — тело без души. Еще чаще встречаются обратные случаи, когда благие намерения не находят воплощения в конкретных делах.

Единый Бог — единое человечество. Какой же материальный облик принимает эта идея, вдохновляющая Авраама? Ответ на этот вопрос дает сцена, изображенная в начале 18-й главы Книги Бытия.

Все было просто, невероятно просто. Авраам «сидел при входе в шатер (свой)». Он не уединялся в высокой башне своей монотеистической философии, не прятался при алтаре «открытого» им Бога, а «сидел при входе в шатер (свой)», готовый приютить страждущих от зноя путников, предложить им отдых и пищу.

Талмудическая легенда предлагает весьма смелое истолкование первого стиха этой главы. Авраам, утверждает она, как раз переживал момент откровения и слышал глас Господень, когда у его шатра появились «три мужа», три путника. И он отрывается от своего видения и спешит навстречу нежданным гостям, ибо «гдола хакнесет орхим мэкабалат пнэй хашхина» — «гостеприимство, оказанное прохожему, важнее, нежели само откровение» (Шаббат, 127). То есть, важнее, чем беседа с самим Господом Богом, минута, когда помогаешь нуждающемуся, утишаешь чью-то боль, унимаешь чью-то муку. Другими словами, нет лучшего способа служить единому Богу, утверждая свою веру в Него, чем любить Его творения и помогать им.

Как же впечатляющи с этой точки зрения слова пророка, иронизирующего над теми, кто воображает, будто, истязая свою плоть и предаваясь показным ритуальным постам, сполна отдает долг Господу. «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо: Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся»,— говорит он (Ис. 58, 6—7).

Ласковыми словами просит Авраам путников стать его гостями. Он сам прислуживает им и благодарит за то, что они дали ему случай принять их в его шатре. Когда же они собираются продолжить путь, он говорит: «Не меня благодарите, но Того, Кто дал нам пищу для утоления голода, Того, по Чьему велению отворяются источники для утоления нашей жажды, Того, Кто даровал деревьям прохладную тень, дабы нам под ними укрываться от зноя. Возблагодарим же Бога, ибо все наше Ему принадлежит». Не прибегая к умозрительным теориям, утомительным проповедями и патетическим выражениям, Авраам внушает путникам веру в Отца небесного, о Коем псалмопевец сказал: «Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению» (Пс. 114, 16).

Путники направляются в Содом, крепость проклятья, дабы по заслугам покарать ее за тяжкие грехи. Велик вопль, восходящий к Господу на этот город, где злодеяния и попрание человеческого достоинства возведены в ранг закона. И тем не менее Авраам пытается спасти Содом от истребительной десницы Божьей. Он умоляет Всемогущего сжалиться над городом: «...неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?» (Быт. 18, 23). Упорно прилагает он все усилия во избежание роковой развязки, ибо если псалмопевец призывает: «Да исчезнут грешники с земли...» (Пс. 103, 35), то талмудические толкователи уточняют: «Да будут уничтожены грехи, а не грешники» (Берахот, 21). Борьбу следует вести не против заблуждающихся, но против причин, порождающих заблуждения. Авраам посвятил себя искоренению грехов, но готов пожертвовать всем ради защиты жизни от смерти.

«Ибо Я избрал его...» — гласит библейский стих, характеризующий Авраама.

Выражение «надаатив», переводимое обычно как «Я избрал его», мудрый Раши пере-

водит как «Я его возлюбил», и в этом отклонении от традиционной трактовки заключен великий смысл. Ибо чтобы человека «избрать», нужно сначала «узнать» его, открыть для себя его душевную красоту и... полюбить.

«Я избрал его», то есть узнал и полюбил, «чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд».

Путь к познанию Владыки Небесного — это путь любви к людям, путь борьбы за установление справедливости на земле. Великий пример осуществления этого основополагающего принципа иудаизма показал нам праотец наш Авраам.

Солнце равно светит всем

«Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем» (Быт. 24, 1).

Золотая осень. Старый Авраам собирает плоды своей долгой жизни. Бурная весна его тревог, смиренное, но непреклонное противостояние гневу отца его Фарры, ненависть дикаря Нимврода, треволнения юности — все это отошло в область преданий. Миновали и дни его благословенного лета. И нет в его шатре кроткой благочестивой Сарры. Клочок земли, с такими хлопотами выкупленный у Ефрона Хеттеянина, стал последним пристанищем для праха той, которая неустанно поддерживала Авраама во всех великих деяниях его жизни. А Исаак, возлюбленный сын его, росток, взошедший из его тела, давно уже стал взрослым и заложил собственный очаг.

Звучат последние аккорды в симфонии жизни первого нашего патриарха. И слышится в них чудная благословенность, осенявшая все его устремления на долгом пути, проторенном Авраамом в этом мире. Он оглядывается на прошедшие годы, и улыбка удовлетворения озаряет его лицо. Да, минувшее не вернется, течение жизни необратимо, но добро, сотворенное им, и взращенная им красота продолжают жить — безжалостное время против них бессильно. Аврааму нечего скрывать перед судом собственной совести, и конец своего земного пути он встретит с ясной душой.

«Эвэн тов хайта тлуйа бэцоваро шэл Авраам» — «Авраам носил на шее драгоценный камень, и больные, взглянув на него, сразу исцелялись. Когда Авраам опочил, Господь подвесил этот камень к солнечному диску» (Бава Батра, 16).

Талмудическая аллегория представляет собой образец поклонения, каким пользуется фигура основателя нашей веры. Он первый назвал себя «иври» (то есть евреем), ибо, говорят мудрецы, поначалу был одинок в своей вере. И все же, со священной убежденностью в том, что правда на его стороне, он говорил, что если бы даже весь мир был в одной части, а он — в другой (слово «эйвер» на древнееврейском языке означает часть), он и тогда бы не отрекся от своих взглядов. Постепенно, однако, взоры других, больных духом, приковались к драгоценному камню веры Авраамовой, и они исцелились. Его пример стал Учением.

Когда же Авраам умер, люди подняли глаза к солнцу и увидели там драгоценность, которой они были заворожены. А, как известно, солнце равно светит всем. Так и Авраам сумел стать «отцом множества народов», без различия между ними.

«Пришлец и поселенец»

«Я у вас пришлец и поселенец: дайте мне в собственность *место для* гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих» (Быт. 23, 4).

Так представляется Авраам Ефрону, князю «сынов Хеттовых», прося у него места, где мог бы доверить земле бренные останки своей подруги Сарры. Четыреста сиклей серебра придется ему уплатить за пещеру Махпелу, что «против Мамре». Ефрон лукав и коварен. Он встречает Авраама любезностями, именует его «князем Божьим», но жадность пересиливает, и он принимает деньги полновесной монетой. Увы, Аврааму и его потомкам не раз приходилось платить всяким ефронам не только за свою жизнь, но и за свои могилы. Ведь земля принадлежит тем, кто обогащается за счет трудящихся людей, у которых нет даже права умереть без позволения своих сребролюбивых и ненасытных хозяев.

Слова «пришлец и поселенец», которые Авраам использует в торге с Ефроном, содержат в себе забавный намек на допускаемое хеттеянином злоупотребление. Вот как толкуют комментаторы эти слова: каждого человека, который считает себя «пришлецом» на земле, ибо краток и эфемерен наш жизненный путь, Господь полагает «поселенцем» в своем царствии небесном. Авраамы всех времен, не забывающие, что земное существование преходяще, спешат творить добрые дела и заботливо оберегают сокровища духовных ценностей, которые одни только и переживут прах сей. Ефрон, напротив, был уверен, что он — навечный поселенец на своей земле и что она всегда будет принадлежать ему. Он не знал или не хотел знать истины мидрашической притчи: «Человек приходит в мир со сжатыми кулаками, как бы желая этим сказать: все будет мое — я накоплю богатство, соберу добро, сгребу сокровища. Уходит же он из этого мира с раскрытыми ладонями, словно показывая: все остается на земле, ничего я с собой не взял и один ложусь в могилу». Ефрон, торговец могилами, забывает о том, что здесь, в этом мире, и у него не останется ничего, кроме клочка земли, с коим смешается его прах, и потому Господь считает его «пришлецом».

К моему прадеду, раввину Нафтули Хакогену из Франкфурта (его сын был первым Хахам-Башой еврейских общин Молдовы), пришли однажды два еврея, поссорившихся из-за клочка земли. Видя, что вражда их непримирима, раввин сказал, что не знает, кому из них верить, и придется спросить у самой земли, которому из спорщиков она принадлежит.

На следующий день вокруг спорного места собралось множество любопытных, надеявшихся услышать, как заговорит земля в ответ на вопрос раввина. И он действительно обратился к земле и спросил: «Именем Бога и Торы, прошу тебя ответить мне, кому ты принадлежишь?» Потом, подождав немного, он приложил ухо к земле, а затем,

поднявшись, промолвил: «Вы не слышали ответа? Я слышал. Земля сказала, что она не принадлежит ни тому, ни другому, а напротив — в один прекрасный день оба они будут принадлежать ей».

Тяжущиеся вняли поучению и, раскаявшись в своей смехотворной жадности, помирились.

Четыреста сиклей серебра, взятых с «князя Божьего» Ефроном,— вот цена суетной веры во всемогущество денег. Мудрые же слова Авраама свидетельствуют о вечности его морали.

Исаак и Измаил

Почти во всех библейских историях мы встречаем братьев, вступающих в постоянные столкновения. Каин завидует Авелю, на дар которого «призрел Господь» (Быт. 4, 4), и совершает первое братоубийство. Сим выступает в роли божественного посланца, а его братья Хам и Иафет являются рабами разнузданности и порока. Иаков — человек беспорочный, посвятивший себя Учению, и его оружие — это «кол Яаков» — голос, довод, тогда как Исав, рожденный теми же отцом и матерью, алчет крови, стремится к удовлетворению диких инстинктов, верит только в силу меча, и лишь бегство спасает Иакова от его мстительной руки.

Даже «колена Израилевы», дети Иакова, положившие начало распространению этого народа, замышляют зло против своего брата Иосифа. Зависть и ненависть приводят их на край преступления.

Единственное исключение в этом длинном ряду составляют сыновья Авраама. Исаак и Измаил не испытывают друг к другу недобрых чувств, и в их отношениях мы не находим и следа конфликта. Их родитель — «ав хамон гойим» — «отец множества народов», которые он объемлет своим любящим духом. «Кол мишпахот хаадама» — «Все роды на сей земле» отмечены благословением Авраама, первого гражданина человечества. И сын его Измаил — «Ишмаэл аса тшува» — «отыскал добрый путь», как учит Талмуд (Бава Батра, 16). Вся наша религиозная литература, вся история встреч между потомками Исаака и Измаила подтверждают мысль о мирном сосуществовании братьев, о сотрудничестве между ними, неизменно приносившем богатые плоды в сокровищницу человеческого духа.

Трогательная библейская сцена рисует нам родительницу Измаила Агарь, блуждающую в пустыне с младенцем на руках. Она уже перестала искать воду и смирилась с мыслью, что ее и ребенка ждет мучительная смерть от жажды. Первая фаталистка, она оставляет отрока под кустом и садится вдали от него, на расстоянии выстрела из лука, ибо не хочет видеть смерти сына.

Вспомните о наших праматерях, о Сарре, Анне, Рахили, чьи имена звучат в стихах Торы и словах пророков, и вы сможете представить себе прямо противоположную жизненную позицию. Не смирение перед злосчастной судьбой, а борьба, яростная молитва, кипение гнева — вот что порой рождал в их душах приговор самих небес. Жизнь ребенка надо спасти во что бы то ни стало, ценой любых жертв. И Господь говорит Агари: «Встань, подними отрока, и возьми его за руку, ибо Я произведу от него великий народ» (Быт. 21, 18). Таково Его наставление, призыв к действию, ибо судьба человека — в его руках.

«И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь...» — продолжает божественный повествователь, и мы как живых видим перед собой Агарь и ее дитя, тысячи лет пребывавших с закрытыми глазами, смирившихся со своей несчастной участью и вдруг узревших рядом с собой, там, где им мерещились только пески необъятной пустыни, источник с живою водой. В сущности, лишь от них самих и зависело ее, эту воду, найти.

В следующих стихах той же главы мы узнаем о том, как в конце концов благополучно завершилась «холодная война» между пастухами Авраама, отыскивавшими животворные колодцы, и подданными царя Авимелеха, завидовавшими им и заваливавшими эти колодцы землей. Авраам и Авимелех садятся «за стол переговоров», после чего, как сказано в Библии, «...они оба заключили союз» (Быт. 21, 27).

Место, где они принесли клятву, получило название Вирсавия, «колодец завета». «И насадил (Авраам) при Вирсавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога вечного» (Быт. 21, 33). Роща эта символизировала благодатный совместный труд и свидетельствовала верующим о существовании единого Бога, который принадлежит не одному лишь Исааку или одному Измаилу, а является Богом всего мира.

Чему же учит нас этот урок?

Он учит тому, что потомки Исаака и Измаила должны оставаться верными братству своих прародителей. Положив конец раздорам, проявляя уважение друг к другу, совместно трудясь, они достигнут всего. Они должны отвергнуть фаталистическое смирение Агари перед пустыней и дружно и терпеливо искать «живую воду», как делали это некогда пастухи Авраама, а затем и пастухи Исаака. И тогда откроются их глаза, и они увидят желанный колодец, и в очи им блеснет благословенная вода, которая только и ждала, чтобы они объединились в трудовом порыве и превратили пустыню в цветущий сад.

Иаков и Исав — голос разума и голос меча

«Голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы» (Быт. 27, 22).

Очаг Исаака и Ревекки хранит добродетель Авраамова шатра. Наш второй патриарх неустанно заботится о духовном наследии своего великого родителя. Его жизнь спокойна и ясна, ибо он — лишь продолжатель веры, завоеванной его предшественником в тяжких душевных борениях. Динамичному Аврааму наследует статичный Исаак.

Корыстные филистимляне завидуют благополучию Исаака и заваливают землей благословенные колодцы, выкопанные еще при жизни его отца Авраама. Но Исаак терпеливо расчищает оба колодца, нарекая их именами «Эсек» и «Ситна» («Спор» и «Вражда»), ибо алчные соседи пытаются

заглушить ключи добра, открытые Авраамом.

Однако, пересилив ненависть филистимлян, он не может справиться с ростками злобы в собственном доме. «Эсек» и «ситна» — спор и вражда прокладывают путь к сердцу одного из сыновей, косматого Исава, который становится заклятым врагом брата своего Иакова.

Характеристика, которую библейские главы дают знаменитым братьям, убедительно отрицает всякую возможность расистских интерпретаций известного конфликта и предостерегает от роковой ошибки тех, кто пытается делить людей по крови, текущей в их венах. Иаков и Исав — дети одних родителей, зачатые в одном чреве и получившие одинаковое воспитание. И все же они полярно противоположны друг другу. Исав — человек, подверженный страстям и грехам, жестокий, эгоистичный убийца, верящий только в свой меч. Иаков же — «иш там» — человек чистый, добродетельный и послушный законам морали. Иаков — это Добро. Исав — Зло.

Старый Исаак слаб зрением. Однако внутренний его взор ясен. Коротко и четко определяет он сущность своих сыновей словами: «Голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы».

Исав и все его потомки — доктринеры кулака, «позиции силы», наивно верящие, что сила власти покоится исключительно на власти силы. Исавы всех времен основывали свое существование на предсказании Исаака: «Вэал харбэха тхийэ» — «...будешь жить мечом твоим...» (Быт. 27, 40). Всех, кто не хотел подчиниться их власти, они топили в крови, надеясь опустошительными войнами поставить мир на колени. Исав — символ алчного и дикого агрессора.

Иаков и весь его род — представители «голоса». Их оружие — доводы и аргументы, их стяг — идея мира и справедливости, их позиция — позиция разума.

Все последующее развитие библейского повествования докажет нам, что меч Исава никогда не покорит голос Иакова, а «позиция силы» никогда не станет образом жизни народов, внимающих голосу разума.

*

«Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова» — так обращаемся мы к Творцу в троекратной ежедневной молитве Шемоне-Эсре. Какой же смысл заключен в этом троичном именовании одного и того же Бога, Единого и неделимого?

Один великий мыслитель сказал: «У каждого человека такой бог, какого он заслуживает». Действительно, образ Божества, отражающийся в душе и сознании человека, зависит от его нравственного и интеллектуального уровня. Всевышний Господь являет себя каждому из нас в той призме, сквозь которую мы на Него смотрим. Он — один, но способов смотреть на Него и понимать Его очень много.

Если Авраам «открыл» Господа на путях испытаний, став первым из смертных, испытавшим божественное откровение, которое привело его к мысли о том, что невозможно, чтобы этот мир не имел своего зиждителя и устроителя, то Исаак приходит к праведной вере благодаря воспитанию, полученному им от родителя. Эта вера сызмала укореняется в его душе и представляет собой уже не завоевание его духа, а духовное наследие, которое он свято хранит.

Если служение Богу выражается у Авраама в «гмилут хасадим» — «любви к людям», в его доброте к ближним, если путь к вершинам божественности ведет нашего первого патриарха по тропам человеческого единения, то Исаак восходит на те же вершины дорогой неустанного благословенного труда. Он ревностно возделывает свое поле, проникая в недра земли в поисках воды, которая оплодотворит его нивы. Филистимляне заваливают колодцы, вырытые его родителем, но он снова откапывает их, ибо они для него — «бээр майим хайим» — «сама жизнь, пролитая на землю».

Некий неверей задал однажды рабби Иоси бен Кисма такой вопрос: «У вас свои праздники, а у нас — свои. А есть ли такой день, когда мы можем радоваться сообща?»

«Это день дождя,— ответил мудрец,— день, когда благодать небес равно проливается на всех людей» (Берешит Раба, 13).

Исаак также разделяет это убеждение. Вода, бьющая из недр земных, есть, по его мнению, общее благо, и право на пропитание и поддержание своей жизни принадлежит всем без исключения земным существам.

Уже было сказано, что два первых колодца, выкопанных им, были многозначительно названы «Эсек» — «Спор» и «Ситна» — «Вражда». В этих словах отразилось горестное разочарование. Алчный Авимелех, ненавистник любого прогресса, завидует благоденствию Исаака. Его люди засыпали колодцы, но трудолюбие Исаака вернуло им жизнь. Правда и то, что его труды пользуются особым благорасположением Бога. Урожаи, собираемые Исааком, стократ изобильнее обычных, но он не присваивает их себе, а делится со всеми местными жителями. Однако это не мешает Авимелеху и его прислужникам заводить раздоры, сеять в сердцах людей зависть, раздувать вражду против названого «новатора».

В конце концов, однако, Авимелеху приходится пожалеть об этом. И когда Исаак покидает Герар, Авимелех в сопровождении своего военачальника и советника Фихола сам приходит к нему. Стоит запомнить имена этих персонажей. Авимелех — значит «отец мой царь». Он представляет идею автократии, абсолютной монархии. Он одинаково равнодушен и к судьбе своих подданных, и к тому, как они возделывают свою землю. У него самого есть все, роскошь его и его семьи обеспечена. Поэтому он предпочитает истощать почву, вместо того чтобы заставить ее плодоносить и питать его народ и племя Исаака. Но имя его советника — Фихол, то есть «голос всех». И, прислушавшись наконец к его увещаниям, выражающим мнение большинства, Авимелех заключает с Исааком мирный договор, «Чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром; теперь ты благословен Господом» (Быт. 26, 29). Колодец, выкопанный в этот день людьми Исаака, уже не напоминает о споре и вражде и получает название Беэршива. Это колодец мира. Это мир, основанный на том, что земля достаточно богата, чтобы прокормить всех, и вместо

того, чтобы убивать друг друга, лучше бы людям отыскивать в ее глубинах жизнетворную воду и превращать пустыню в цветущий сад.

Там, у Беэршивы, был подписан первый в истории «пакт о ненападении». Договаривающиеся стороны «признали» друг друга и прислушались к голосу Фихола, то есть к голосу здравого смысла. Они отложили мечи и предпочли диалог.

Пастухи Исаака и филистимляне Авимелеха пробудились от кошмара раздоров и взялись за благословенный труд, перед которым бледнеют и отступают «эсек» и «ситна», спор и вражда.

Существенную характеристику Исаака мудрецы Талмуда (Песахим, 88) находят в стихе «Вайэцэ Ицхок ласуах басадэ» — «...Исаак вышел в поле поразмыслить» (Быт. 24, 63). Там, на природе, узревает он Того, Кто дарует жизнь всему, даже малой травинке. Там, перед плодами рук своих, он вновь обретает Божество, и душа его возносит гимн умиротворенности.

Если Авраама можно уподобить горе, то Исаак вызывает образ поля (Талмуд Песахим, 88). В самом деле, Авраам взбирается на вершины, карабкаясь со скалы на скалу, и путь его полон опасностей, испытаний, сомнений, поисков и страданий, но в конце концов это путь встречи с Отцом Небесным на земных кручах.

Зато Исаак представляет собой другой тип верующего, уже не тревожащегося и не сомневающегося, а благодатно уравновешенного, твердой походкой шагающего по земле, где его не подстерегают ловушки и капканы, каверзы и подвохи.

Бог Исаака призывает каждого из нас к неустанной работе, к творческому труду в сочетании с «авода шэбалэв зу тфила» — с молитвой, с этой чудесной страдой сердца.

Лестница Иакова

«И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт. 28, 12).

«Иаков же вышел...» Вышел он из родительского дома и пустился в свой жизненный путь. Ему, юноше, знакомому до тех пор только с книгами, предстояло теперь столкнуться с суровой реальностью. Книги, разумеется, прекрасны и утешительны, но меч Исава не знает пощады, и, скрываясь от него, юный Иаков вынужден бежать в иные края.

А когда он решил отдохнуть, продолжает эту чудесную легенду Мидраш, поссорились камни между собой, ибо каждый из них хотел, чтобы именно на нем покоилась в ночные часы мудрая голова начинающего праведника. Каждая частица природы стремилась хоть чем-нибудь помочь этому человеку, бегущему от своего брата, и тем восстановить в его глазах честь божественного творения, унизить которое способен, увы, именно и только человек. И соединились тогда все камни в один, совершив таким образом то, чего жалкое создание, именующее себя «венцом творения», совершить не в силах. И всю ночь покоилась голова Иакова на этом камне.

Происходило это в той самой местности, где на близлежащей горе Мориа его родитель Исаак явил дух высшей жертвенности в служении святой вере; и здесь, на этой земле, прозвучал некогда обет, данный его деду Аврааму: «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом» (Быт. 17, 8).

Итак, это место словно специально предназначено для отдыха Иакова: здесь отступились от него призраки пустыни, смягчилось напряжение опасного пути. Здесь он грезит, здесь вырывается из горькой действительности и обретает смысл существования, цель стремлений. Вид лестницы, стоящей на земле и касающейся верхом неба, учит нас, что жизнь Иакова происходит отнюдь не в горизонтальной плоскости и вектор ее направлен не на завоевание пространств земли и захват чужих территорий. Нет, маршрут его вертикален: выше, как можно выше к сферам небесным, туда, где пребывает Тот, в Ком воплощено совершенство.

Сон Иакова — золотой сон человечества. Человек, этот живой слиток плоти и духа, стремится подняться по лестнице, соединяющей землю и небо. Не позволяя увлечь себя суетному кипению бездн, он должен всегда помнить о лестнице, обозначившей его путь к высотам, где находится само совершенство — Бог. Для того и пряма спина человека, чтобы мысль его была крылата. Царство Иакова покоится на высях его грез, среди идеалов мира и справедливости. И что поразительно: ради их достижения Иаков готов вступить в схватку с самим Всемогущим. Потому-то и был он впоследствии наречен именем Израиль, то есть Богоборец.

А в самом деле, где пребывает Бог? Неужели действительно нельзя приблизиться и достичь Его? Сон Иакова развенчивает концепцию тех, кто пытается отделить Творца от Творения и тешит себя иллюзиями, что, коль скоро Господь далеко, он не видит наших заблуждений, грехов и беззаконий. Неправда! Прямо к Господу ведет вертикальная лестница нашего мировоззрения, по ступеням которой «восходят и нисходят» Ангелы Божии.

Кстати говоря, это выражение кажется иным комментаторам странным. Ведь мы знаем, что место ангелов — на небесах, и было бы естественно, если бы в тексте сначала значилось «нисходят», а уж потом «восходят». Но думается, что символичность, относящаяся ко всему виденью Иакова, касается и этих ангелов

Тема эта в нашей талмудической и мидрашической литературе толкуется по-разному. Человек творит ангелов, что прямо утверждается, например, в трактате Авот, 4, Мишна, 15: «Рабби Элиезер бен Иаков говорил: тот, кто совершает доброе дело, создает доброго ангела, а тот, кто впадает в грех, порождает ангела злого». С каждой прекрасной мыслью, с каждым благородным порывом, с каждым добрым делом мы наделяем жизнью то, что олицетворяет вечное в нас и переживает во времени бренные надежды плоти, в которые была закована душа на пути от колыбели до могилы. Это и есть

«ангелы» — эманация человеческих поступков.

Разумеется, ангелы Иакова, его поводыри на лестнице совершенствования, «восходят», ибо они рождены здесь, на земле, созданы всем его отношением к жизни. Сверху же «нисходят» другие ангелы, посланцы Бога, Который постоянно беседует с людьми и посылает им наставления. Каждое слово Торы, каждый призыв к добру, каждое божественное поучение — это ангел, посланец, призванный облегчить человеку подъем по крутой лестнице в небо.

Следует, однако, помнить, что ангелы — не посредники между нами и Богом. Никто не будет предстательствовать перед Ним за нас, и никто не заменит нас в совершении добрых дел. Это дорога наша, человеческая. И только наша.

Итак, на вершине лестницы находится Некто, наблюдающий наши судьбы; итак, внизу располагается этот мир, который в конечном счете «не корчма» (И.-Л. Перец), где позволено любое беззаконие; итак, Иаков, подобно псалмопевцу, может радостно воскликнуть: «Эса эйнай эл хэхарим» — «Возвожу очи мои к горам...» (Пс. 120, 1); итак, все исавы и лаваны должны наконец понять, что есть высший Судия, который сочтет каждую слезинку и взвесит каждый вздох жертв их.

...Как прекрасен был сон, и как ужасна оказалась явь! Иаков бежал от свирепого Исава, а попал к коварному Лавану, и этот оказался еще более опасен.

Прикрывая медовыми словами свою безграничную алчность, Лаван двадцать два года эксплуатировал доверчивого и трудолюбивого Иакова. Лицемерно называя его братом, восклицая: «Подлинно ты кость моя и плоть моя!» — на деле он использует племянника как батрака. Его поцелуи лживы, его объятия обманчивы. Просто и выразительно рисуют нам библейские страницы трагедию трудящегося человека, эксплуатируемого ненасытным кровососом.

В минуты окончательного выяснения отношений между Лаваном и Иаковом боль последнего выплескивается уже непосредственно: «...Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня?» (Быт. 31, 36). Далее Иаков перечисляет вынесенные им невзгоды: «Я томился днем от жары, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих», после чего с презрением напоминает: «...а ты десять раз переменял награду мою» (Быт. 31, 40—41).

Исав и Лаван воплощают два типа опасностей, подстерегающих Иакова. Опасны исавы, разбойные меченосцы, подготавливавшие «окончательное решение» так называемой «проблемы Иакова» (в XX веке это получило название «Endlösung»); но не менее опасны и Лаваны, медоточивыми устами зацеловывающие сынов Иакова до того, что те расстаются с душой.

«Митат нэшика» — «Смерть через поцелуй» — вот лавановский метод истребления Иакова и его потомства. Библейские тексты предостерегают нас и призывают к бдительности.

Великий рабби Моше Софер говорил: «Каждый Иаков должен противостоять своему Лавану, но, увы, не на всякого Лавана находится Иаков, который готов ему противостоять...»

*

«Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!» (Быт. 28, 16).

Сон Иакова выражает, конечно, его личность, его представление о мире. Как много чернил было пролито, сколько было затуплено перьев комментаторами этого удивительного видения отца «народа сновидцев»! На чудесную лестницу карабкались целые поколения толкователей Торы, пытаясь проникнуть в тайны небесных сфер вслед за молодым скитальцем. Валун у него в изголовье стал краеугольным камнем для бесчисленных комментариев, пытавшихся, как это случилось с Иаковом, пролить миро своей веры на откровение третьего патриарха, оценить его значение, осмыслить его поучительность. В былые годы пытались и мы приложить свое зернышко к изобильному урожаю мудрости, на ниве которой притомилось столько искусных жнецов.

Ныне же мы полагаем, что величие сна Иакова не нуждается ни в каких особенных символических интерпретациях и состоит просто-напросто в его содержании. А суть дела в том, что он увидел во сне лестницу, связующую небо и землю. Иначе говоря, ему открылась связь между ними, что и составило «титэн эмэт лэ Яаков» — «истину Иакова».

Одна из главных ошибок политеизма, его религий заключается в том, что боги этих верований пребывают где-то в таком отдалении от смертных, уныло копошащихся здесь, в юдоли слез, что не приходится удивляться их, богов, полнейшему равнодушию ко всему, что происходит на земле. Правда, идолов приходилось ублажать, вознося в небеса дым каннибальских жертвоприношений, но этот же дым превращался и в «дымовую завесу», за которой никакая высшая сила не видела человека, и он мог безнаказанно убивать, грабить, насильничать — все сходило с рук.

Вот почему восклицание Иакова: «Истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!» — знаменует собой настоящую революцию в человеческом сознании. По лестнице его сна нисходили божественные посланцы и несли сюда, на землю, Божественность. До этого Иаков и впрямь не знал, что Господь так близко, «на месте сем». Теперь же он понимает, что — «малэ кол хаарэц кводо» — всюду, везде, где бы ты ни находился, Бог обретается рядом. И он начинает проникаться убеждением, что всегда в любом краю существует «глаз, который видит, ухо, которое слышит, и все твои дела записываются в некую книгу».

Рабби Израиль Баал Шем, мир праху его, ехал однажды в телеге. Приблизившись к саду, через ограду которого свисали отягощенные плодами ветви, возница приподнялся и стал обрывать фрукты. Вдруг Бал Шем закричал: «Видит, видит!» Возница испуганно отпрянул, поверив, что и в самом деле есть кто-то рядом и его сейчас схватят за руку. Но вокруг никого не было видно, и он снова принялся за свое. И опять раздалось предостережение рабби. Когда это повторилось несколько раз, возница обиженно спросил Баал Шема, что означает

его крик, когда вокруг — ни души.

Рабби ответил: «Видит, видит. Есть глаз, который видит все, и не воображай, что тебе не придется расплачиваться за твой поступок».

Иаков устанавливает вездесущность Бога и, следовательно, постоянную подконтрольность человека: бежать от Его ока некуда. Наша совесть есть божественный посланец, постоянно пребывающий внутри человеческого бытия. Постоянно ощущая Бога рядом с собой и даже внутри себя, мы уже не вправе терять контроль над своими поступками, мыслями и чувствами. По лестнице Иакова Господь нисходит к людям и по ней же возводит их на небеса.

Сны и мечты

«И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь? Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут?» (Быт. 37, 15—16).

Жизнь Иакова — непрерывная маета. Даже на склоне лет судьба не щадит его и подвергает всяческим испытаниям. Одна тревога сменяется другой. Именно тогда, когда «Иаков пожелал предаться покою», когда он решил, что испил достаточно жизненной горечи и заслужил наконец отдых, именно тогда обрушилось на него несчастье с Иосифом. «Ма шэира лэ Яаков ира л'Иосэф» — «Все, что случилось с Иаковом, случилось и с Иосифом»,— говорится в Мидраше. И тому, и другому пришлось противостоять злобе и ненависти; и тот и другой подверглись преследованию родных братьев. И, подобно жизни Иакова, жизнь Иосифа сопровождают сны. Хотя и посредством других образов, они воплощают те же идеалы, к которым стремился его отец. Сон Иосифа о снопах, поклоняющихся его снопу, находит параллель в сне о солнце, луне и звездах. Тут прослеживается все та же связь между небом и землей, о которой мы говорили, вспоминая лестницу Иакова. Действительно, активное участие человека в реальной жизни, в земных делах не должно быть препятствием для воспитания в себе духовных добродетелей, для вознесения духа к отвлеченным истинам, для борьбы за исполнение самых дерзновенных грез человечества. И пусть не забывают те, кто вяжет снопы, о том, что над их головами раскинулось полное чудес и тайн небо, равно как искатели звездных путей должны помнить, что перед ними стоят и конкретные, земные, постоянно требующие решения задачи.

Но до поры до времени сердца его братьев остаются глухими для всякой попытки к сближению. Божественный автор Торы не щадит их и выставляет на всеобщее обозрение их грех во всей его наготе.

Следует подчеркнуть, что в библейском тексте речь идет не о так называемых «отрицательных героях», а о наших отцах, о родоначальниках колен Израилевых. Ореол святости, согласно иудаистической концепции, не окружает ни одного из великих представителей нашего народа. Все они люди, у всех свои страсти и, ничего не поделаешь, свои слабости. Ни один из них не был совершенно безупречен. Но понятие «незапятнанности» вообще как-то не подходит ни к кому из нас, смертных, ибо, как говорил мудрейший среди людей: «Эйн адам цадик баарец ашэр яасэ тов вэло ехта» — «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Екк. 7, 20). Ни один злодей не может быть осужден как безнадежный преступник, но и ни один «праведник» не может быть уверен, что к смертному часу у него не отыщется хотя бы один грех.

Рувим, Симеон, Левий и остальные — все они наши отцы. Мы преклоняемся перед ними, но отнюдь их не идеализируем. И, коль скоро они грешили, мы не пытаемся утаить их грехов, а напротив, извлекаем их на свет, ибо в конечном счете безгрешных людей не бывает.

Трагедия Иосифа — это и трагедия всех мечтателей, наследовавших ему. «Мечты» обладают несчастным свойством притягивать ненависть тех, кто не хочет, чтобы действительность хоть в чем-то изменилась. В библейском тексте мы встречаем целых три замысла уничтожения Иосифа.

Первый, устраивающий большинство братьев: «Л'ху вэнэхаргэху» — «Пойдем теперь и убьем его...» (Быт. 37, 20). Просто, откровенно, потрясающе цинично. Модель «окончательного решения».

Второй план сформулирован Иудой: «...что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его...» (Быт. 37, 26—27). С первого взгляда эта идея кажется более «гуманной». Иуда вроде бы хочет спасти жизнь Иосифа. Но какой ценой? Ценой рабства. Иуда задумал пустить жизнь Иосифа с молотка и притом еще нажиться на его силе и энергии.

Мудрецы Талмуда, выражая самую суть нашей морали, нашего иудаистического мировоззрения, восклицают: «Кто благословляет Иуду, тот благословляет проклятие» (Талмуд Бавли, трактат Сангедрин, 6в). Лучше смерть, чем жизнь в рабстве, и потому на Иуду ложится еще больший позор, чем на других братьев.

Рувим выдвигает третий план, предлагая бросить Иосифа в безводный ров. Он говорит: «...не проливайте крови» (Быт. 37, 22), и его план осуществляется. Тяжек и этот грех, и праправнук Рувима, пророк Осия, еще вспомнит об этой душевной драме: «Вы возделывали нечестие — пожинаете беззаконие...» (Ос. 10, 13). Это план «сложенных рук», характерный для тех, кто закрывает глаза, чтобы не видеть, затыкает уши, чтобы не слышать, и полагает, что их руки чисты, если жертву прикончили другие, хотя и при их пассивном соучастии и поддержке.

«Вайэйшву лээхол лэхэм» — «И сели они есть хлеб...» (Быт. 37, 25). Зримая жестокая деталь. Их брат брошен в ров, «ров же тот был пуст; воды в нем не было». Змеи вьются вокруг его тела. Ибо «воды не было в том рву, но был он полон змей» (Талмуд Шаббат, 22). Между тем они, братья его, сидят и трапезничают. И как у них только кусок в горле не застревает, когда вопли страдальца сотрясают своды небесные? Страшен грех этой «братской трапезы».

Давайте же перечитаем внимательно историю злоключений Иосифа и задумаемся об ужасном грехе тех, кто был свидетелем

геноцида и ничем не воспрепятствовал ему, о грехе тех, кто выжимал соки из рабов, тогда как мог вернуть им жизнь,— и мы поймем, что драма Иосифа и его потомков — это в еще большей степени драма тех, кто их окружает, тех, кто опустился настолько низко, что молчал, когда надо было кричать.

Иуда Иаковлев, или Нравственное возрождение

«Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего» (Быт. 44, 34).

Драматический диалог, с которого начинается данная глава Книги Бытия, выводит на авансцену событий впечатляющую фигуру четвертого сына Иакова — Иуды. Это человек, которому удалось вырвать из своей души корни зла; герой, победивший в самой суровой из битв — в битве с самим собой. Он отважно выступает против того, кого считает всемогущим египетским вельможей и кто является в действительности его братом Иосифом. Иуда упорно пытается спасти младшего брата, Вениамина, которого Иосиф хочет задержать при своем дворе, и предлагает вместо Вениамина себя в качестве заложника. Ни богатство, ни титулы Иосифа не пугают Иуду, и он смело сметает со своего пути искусственные преграды, от века разделяющие сильных и слабых мира сего. Он пытается убедить Иосифа в своей правоте, упрекает его в несправедливости и предупреждает, что будет бороться против беззакония, которое может обернуться новым ударом для многострадального Иакова. Он использует все эмоциональные и рассудочные аргументы и, кажется, даже готов применить силу, лишь бы избежать несчастья, которое, как ему кажется, может вот-вот совершиться.

«Гур ари» — «подобный льву», как его характеризует в дальнейшем Тора,— Иуда смело борется за то, чтобы его отца не постигло новое горькое разочарование, новая семейная трагедия, жертвой в которой может стать на сей раз юный Вениамин.

И это — тот самый Иуда, который некогда, в подобной же ситуации, тяжко согрешил, хладнокровно предложив братьям продать Иосифа в рабство. Мы помним его циничный совет: «Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем; ибо он брат наш, плоть наша» (Быт. 37, 27).

С тех пор, с той минуты, когда он столь низко согрешил, совесть его не знала покоя. «Иуда отошел от братьев своих...» (Быт. 38, 1). Он бежал от соучастников своего преступления. Его преследует божественное правосудие. Он теряет жену и сыновей, и горестное раскаяние сопровождает его на всех дорогах жизни.

И вот страдание очистило его душу, вывело его из бездны страстей к вершинам внутренней чистоты. А такой человек, прошедший столь тяжкий и тернистый путь, выше в иудаистическом понимании праведника, не знавшего мук греха. «Самые совершенные из праведников не смогут дойти туда, куда дошли те, кто раскаялся в своих грехах» (Сангедрин, 99; Берахот, 34).

Теперь Иуда виден нам во всем своем величии. Он готов своей жизнью спасти жизнь брата. Такова моральная высота, которая может служить примером для всех, впавших в соблазн. Пусть они только не теряют надежду и отыщут в себе неисчерпанные нравственные ресурсы. Их возрождение зависит только от них самих.

Среди библейских героев, как уже подчеркивалось, нет святых, ибо чему могли бы научиться у них мы, простые смертные? Ведь мы бы скорее всего сказали себе, что у нас нет ни одного шанса уподобиться этим существам, которые в отличие от нас никогда не грешили и легко преодолевали земные соблазны. Нет, высота этих людей состоит именно в том, что они борются со злом в самих себе и в конце концов побеждают. А это значит, что и у нас есть оружие для такой борьбы. Иуда согрешил. Иуда искупил свой грех. И тем сполна заслужил добрые слова, сказанные на смертном ложе его отцом Иаковом: «Иуда! тебя восхвалят братья твои» (Быт. 49, 8).

Иосиф — человек праведный

«И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: не ссорьтесь на дороге» (Быт. 45, 24).

С величественной простотой подходит божественный автор Библии к кульминации и развязке драмы, к эпизоду, в котором братья вновь обретают друг друга. Да, они согрешили против Иосифа, но это не рождает в нем низменного желания отомстить. Перенесенные им страдания не ожесточили его сердца, а величие, которого он достиг, не разбудило в нем чванства и спеси. Ни годы, протекшие с тех пор, как он невольником покинул родной дом, ни чуждая среда, в которой он все это время жил, не ослабили его связи с традицией, воспринятой от отца. В сердце Иосифа, поставленного «надо всею землею Египетскою», живут те же благородные идеалы, которые волновали его, когда он, еще юношей, бродил с отарой овец по земле Ханаана и в насмешку именовался «мечтателем».

И когда наступают волнующие минуты встречи с братьями, главная его цель заключается в том, чтобы как-то рассеять овладевшие ими чувства стыда и смущения.

«Но теперь не печальтесь, и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни» (Быт. 45, 5). С благородством и скромностью умаляет он совершенное ими злодейство, накидывая покрывало забвения на самые печальные годы своей жизни, на свою погубленную молодость, на свое рабское существование. Горечь несправедливости, которую пришлось ему претерпеть от родных братьев, бесследно растворилась в его сердце: «Итак не вы послали меня сюда, но Бог..» (Быт. 45, 8). Иосиф стремится утешить братьев, усматривая в их поступке волю провидения, а в них самих — его орудие. Так Иосиф пытается убедить братьев в их невиновности.

Затем его мысли устремляются к седовласому старику отцу. Во все эти суровые годы разлуки он ни на миг не забывал о нем.

В минуты тяжких испытаний возникал образ отца, укрепляя его мужество и даруя мудрость. Нежности и преклонения исполнено послание, направляемое Иосифом отцу через братьев. Зная Иакова, он не ограничивается сообщением о том, что жив и здоров, но дает ему понять, что остался тем же Иосифом, который двадцать два года назад покинул родительский кров. Он понимает, как важно будет отцу узнать, что перед коварством судьбы и соблазном властолюбия устояло не только тело сына, но и его душа.

«Не ссорьтесь на дороге»,— говорит братьям Иосиф, понимая, что именно сейчас братья могут положить начало новой трагедии, упрекая друг друга в старой вине и возлагая ответственность друг на друга. Иосиф хочет вырвать из их сердец последние ростки отравы.

Комментируя наставление Иосифа, наши мудрецы считают, что он советует братьям «не вдаваться в тонкости Закона» (Таанит, 10). То есть, ничуть не обуреваемый мыслями о мести, он все же не забывает, что они «именем Закона» ввергли его в трагедию. Он помнит, что ради успокоения совести они прибегли даже к «нахлэй датот» — «фальсификации Закона», пытаясь оправдать преступление, которое ничем не может быть оправдано.

Извращение великих религиозных истин, как в те дни, так и ныне, служило и нередко служит предлогом для тех, кто подыскивает своим злодействам «моральное» обоснование. Не одно кровавое пятно оставили в истории человечества люди, ввергавшие в братоубийственные войны целые народы под видом «исполнения воли Божией». По существу же они профанировали элементарную этику всякой религии и, прикрываясь словами о любви к человечеству, давали волю своему чудовищному эгоизму. Как иначе можно объяснить крестовые походы, ужасы инквизиции, «столетние» и «тридцатилетние» войны?

Следование религиозному учению и путь познания высшего символа любви — Бога, какие бы формы они ни принимали, должны вести к единой цели — к братству людей. «Не ссорьтесь по поводу Закона» — мудрый совет Иосифа свидетельствует о его сильнейшей озабоченности в связи с будущим религии.

Стало быть, не приходится удивляться, что как культовая, так и народная наша литература увенчали последнего из наших патриархов Иосифа еще более драгоценным венцом, чем венец фараона, дав ему прозвание «Иосэф Хацадик», то есть «Иосиф — человек праведный».

Конец времен и Цель истории

«И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни» (Быт. 49, 1).

Итак, обратимся к последним мгновениям земного пути, пройденного Иаковом. Бурной, тревожной была его жизнь; тяжкие тучи бросали на нее мрачную тень, жестокие бури грозили ей. От испытания к испытанию вела Иакова судьба. И вот теперь его плоть утомилась и просит покоя. Однако душа его по-прежнему молода, она, как и в былые годы, полна надежд и взыскует идеалов, словно покоится не на смертном одре, а на камне у подножия горы Мориа, где привиделась ей лестница между землей и небом.

Но нет, он лежит на ложе страданий. Три поколения собрались здесь: старый Иаков, его сыновья и отроки Манассия и Ефрем, дети Иосифа. Дивную картину являет нам духовное единство деда, сыновей его и внуков.

Иаков благословляет своих детей и детей своих детей, и, читая эти прекрасные, полные истинной поэзии страницы, мы начинаем понимать суть того, что от века называем «благословением». Речь не идет о способности к чудотворству, данной какому-либо смертному, будь это Иаков или, как мы увидим позже, Моисей; речь не идет о каких-либо таинственных силах, способных по слову осчастливить человека до конца его жизни. Нет, в нашем понимании благословение есть молитва к Всемогущему и поучение для тех, на кого оно обращено. Одно за другим возникают в слагаемой Иаковом поэме имена его сыновей. Он определяет характер каждого из них, обрисовывает его свойства, выявляет как светлые, так и теневые стороны. Есть тут и упреки за совершенные грехи, и наставления о том, как их исправить. Родительская любовь, равно проливаемая на всех, далека, однако, от идеализации. Сыновья Иакова — земные люди из плоти и крови, в чьей природе не только великие достоинства, но и неизбежные слабости. Расставаясь с ними на земле, Иаков своим благословением открывает перед ними и их потомками дали будущего и цели, к достижению которых они должны стремиться.

Благословение, по первому смыслу своему, есть «слово блага», добрый совет, наставление. Оно проистекает не из какого-то свыше дарованного «дара», «благодати», а из мудрости благословляющего. За ним стоят не чудесные или сверхъестественные силы, а морально-этические начала.

«Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». В этом стихе впервые возникает словоупотребление и понятие, которое становится лейтмотивом у всех пророков и выражает самую суть идеалов иудаизма.

«Ахрит хаямим» — «конец времен». В этих словах — бессмертные видения всех бардов нашей религии, шагнувших, в окрыленном порыве вдохновения, за горизонты будущего и изобразивших времена справедливости и счастья. Слово «ахрит», выражающее здесь понятие «конец», на святом языке означает еще и «цель». «Грядущие времена», «конец времен» — это, стало быть, не апокалипсис, не бездна, не катастрофа, но, напротив, утверждение Цели, к которой стремится могучий поток истории. Этой Цели, объединяющей в общем чувстве тысячелетия существования человечества, должна быть посвящена и жизнь каждого поколения.

История целенаправленна и, значит, не бессмысленна. Ее путь, со всеми отклонениями и зигзагами, ведет тем не менее вперед. Лишившись всеопределяющей Цели, мы

давно погибли бы, сгинули, исчезли с лица земли. Вот почему наши пророки, поднимаясь над повседневностью, над бренностью мимолетной жизни, всегда умели проницать внутренним взором «ахрит хаямим» — «Цель времен». Потому и приличествует пророкам их прозвание «цофим» — «стражи», ибо именно они, как стражи на высоких башнях разума, сумели высмотреть в далях будущего «ахрит хаямим». Их пророчества получили название «хазон» — то есть «видение» (и это — первое слово Книги Исаии), ибо на крыльях своих видений они поднимали целые поколения, мобилизовали их своими призывами, не позволяли им опускаться под гнетом повседневности, вселяли в них надежду на мир будущего, более справедливый, добрый и прекрасный. Сама наша вера движима непоколебимым убеждением в том, что человечество идет не к пропасти самоуничтожения, не к катастрофическому финалу войны Гога и Магога, а к «олам хаба» — «грядущему миру», миру Мессии, когда люди сменят мечи на орала и ягненок бесстрашно возляжет рядом со свирепым волком.

Если бы мы захотели прибегнуть для определения иудаизма к дифференциальному методу, мы бы сказали, что в отличие от других для нас Мессия еще не пришел, что этот мир еще не стал тем миром, на который мы уповаем, и что наша задача — исправлять его, бороться за приход Мессии и приближение того, что Иаков столь гибко определил как «конец-цель времен» — «ахрит хаямим».

Последние слова отца нашего Иакова обращены не только к его детям, но и ко всем их потомкам. Он призывает их «собраться» и соединить свои усилия для достижения этого общего идеала «грядущих времен», единой цели воцарения добра в мире.

Правда, сыновья Иакова так же не похожи друг на друга, как листья с одного дерева: бурный Рувим «бушевал, как вода»; кроткий Иссахар увидел, «что покой хорош, и что земля приятна»; рука отважного Иуды покоится «на хребте врагов» его; «Дан будет судить народ свой...» (Быт. 49, 16). Есть, однако, во всех в них общая черта — стремление к добру, неуклонное, возвышающее. Вот эту «золотую жилу», находящуюся в каждой человеческой душе, надо непременно обнаружить, как бы глубоко она ни таилась, как бы трудно ни было добраться до нее.

Иаков благословляет сыновей, хорошо зная и золото их душ, и заблуждения их сердец. Из всего этого — из отваги Иуды и бурных порывов Рувима, из здравомыслия Иссахара и упорного трудолюбия Завулона,— из всего этого, вместе взятого, взор старого Иакова лепит характерные черты того, что будет называться «Ам Израэль» — народом Израиля.

Жизнь, посвященная таким высоким идеалам, не завершается с достижением конечной точки земного пути. Душа, сумевшая подняться к столь величественным вершинам, конечно же, способна преодолевать земную бренность.

Мудрый рабби Моше Софер сказал както: «Сколь многие жалуются, что им не на что жить, и, увы, сколь немногих огорчает то, что им не с чем... умереть».

Иакову есть «с чем умереть». Он собрал на этом свете бесценные сокровища, которых у него не отнимет даже смерть. Эти сокровища духа и души он заберет с собой в вечный путь.

«Вайээсаф эл амав» — «...и приложился к народу своему» (Быт. 49, 33) — таким поразительным оборотом библейский текст сообщает о кончине Иакова. Дела всей его жизни, мысли и чувства, высказанные им в минуты прощания с этим миром, «приложились» к его народу, слились с ним. И правы были мудрецы Талмуда, возгласившие некогда: «Иаков, отец наш, не умер!» (Таанит, 5).

Закон жизни

Уходя из мира, патриарх Иаков призвал «сына своего Иосифа, и сказал ему: если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и *клянись,* что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, Дабы мне лечь с отцами моими; вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице» (Быт. 47, 29—30). Итак, его последним желанием было, чтобы его прах смешался с прахом Авраама и Исаака в известной пещере на поле Махпела близ Хеврона.

Здесь перед нами пример преклонения перед предками в иудаистической концепции.

Иаков считает себя звеном цепи, связующей прошлое и будущее. В последние мгновения земного бытия его мысль направлена к предшественникам, но одновременно и к тем, кто ему наследует и понесет дальше его учение. Вокруг него — все двенадцать сыновей и дети Иосифа, Ефрем и Манассия. Благословение, обращенное к этим последним, гласит: «...да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака...» (Быт. 48, 16).

Таким образом, он выражает желание, чтобы традиция, воспринятая в родительском доме, получила свое продолжение и развитие в его потомках. Прочная семейная привязанность, высказанная в просьбе похоронить его вместе с предками, неразрывно связана с глубокой отеческой любовью, воплощенной в благословении сыновей и внуков.

Мудрость Иакова стремится, следовательно, предостеречь потомков от опасного греха — культа мертвых. Его завещание прозвучало посреди гигантской древней империи, которая довела этот культ до степени идолопоклонства. Материальные свидетельства, оставшиеся нам от этой великой цивилизации, показывают, что на службу этому культу были поставлены энергия и труд огромного количества людей. Жизнь там не имела никакой ценности, и миллионы рабов в поте лица своего возводили пышные усыпальницы для набальзамированных фараонов, которым, видимо, не хватало блеска на этом свете и которые хотели продолжать свое роскошное существование даже за гранью жизни. Тысячелетние пирамиды, золотые саркофаги и мумии доказывают, что лучшие научные умы тех времен были направлены на то, чтобы уберечь прах эгоистичных фараонов от беспощадного времени. Вот к каким крайностям может привести культ мертвых, когда люди

не понимают действительного смысла уважения к предкам.

Иаков не хочет, чтобы его потомки впали в ту же ошибку. Иудаизм — это «торат хаим» — «закон жизни», а не смерти. Наша религия отнюдь не сводится к «дням поминовения» и заупокойным молитвам. И глубоко ошибаются те, кто полагает, что только в этих обрядах заключено уважение к памяти родителей. Истинное чувство, истинная любовь к почившим — это сознание духовной преемственности, стремление в этой жизни осуществить идеал, вдохновлявший их. Да, сыновняя любовь склоняется перед могильными плитами, но она не может предаваться исключительно прошлому и пренебрегать будущим. Не только «кадиш», произносимый порой даже без понимания его смысла, но проникновение в душу и суть иудаистической морали, одухотворявшей тех, кого мы поминаем, составляют продолжение духовного бытия умерших. Не только периодическое появление в синагоге в день поминовения, но регулярное посещение дома Божьего и в другие дни года свидетельствует об исполнении их священных желаний.

Так мы и понимаем ответ сыновей Иакова своему родителю, когда он готовится «приложиться к народу своему». В этой возвышенной формуле выражена его воля остаться среди своего народа в сыновьях и потомках, дабы он воистину был народом «сынов Иакова». На пороге вечности он слышит из уст своих детей слова, которые дают ему величайшее удовлетворение, и теперь он может спокойно закрыть глаза, ибо те, кто идет за ним, будут верно следовать идеалам его жизни.

Летопись человечества

Если бы мы захотели подвести итог чтениям Книги Бытия, если бы мы попытались отыскать красную нить, пронизывающую ее от первого слова «Берешит» до последнего, мы обнаружили бы ее в словах «Зэ сэфэр толдот адам» — «Вот родословие Адама...» (Быт. 5, 1), которые не менее точно можно перевести как «Вот биография человеческого рода». От сотворения мира до смерти Иосифа речь идет о первых шагах человечества в библейском понимании.

По существу, древнееврейское название Книги Бытия — «Берешит» — «Начало» могло бы склонить нас к мысли, что в ней трактуется глубочайшая философия великих проблем космогонии и что чтение этой книги потребует от нас определенной учености. А между тем, листая ее страницы, мы встречаемся как с чудесными преданиями, так и с рассказами о конкретных людях, об их семейной жизни, тревогах и радостях, добродетелях и грехах.

Стало быть, эта Книга не повествует о «сверхчеловеках», «богах» или других таинственных существах. Она описывает жизни, подобные нашей, и именно поэтому она нетленна. Многие поколения людей учатся по этой Книге, ощущают себя героями ее трагедий и видят себя такими, какими хотели бы быть.

«Родословие Адама» учит нас и тому, что евреи не считают Тору принадлежащей им одним. Она является достоянием всего человечества и, как первая книга человечества, рассказывает о братстве и общности судеб всех детей Адама, всех верующих, прародителем коих был Авраам, а значит — как сынов Исаака, так и сынов Измаила, как сынов Иакова, так и сынов Исава. В этой общечеловеческой Книге находит свое выражение универсальность иудаизма.

«Берешит» — «Начало». Это для того, чтобы наша жизнь не истощилась, не запуталась в суетности, чтобы мы не плутали по ее тропинкам ни в одиночку, ни вместе с другими. Чтобы мы умели видеть «ахрит хаямим» — «цель времен» и всегда помнили, что у истории есть цель и смысл. Чтобы мы постоянно исследовали мыслью наше прошлое, припадая в минуты духовной жажды к истокам многотысячелетней мудрости и все глубже погружаясь в тайны «начала». Чтобы звено за звеном сплетали мы «шэналшэлэт хазахав» — «золотую цепь» вопросов, которыми задавался праотец Авраам, и от причины к причине пришли бы в конце концов к Причине Причин — «сиба кол хасибот»,— которая есть Господь, Творец, Начало и Конец, наш великий Учитель. Тора принадлежит Ему. Он — ее Дарователь, мы — ее носители.

«Бог, Израиль, и Тора — вот Единство»,— учат наши мудрецы, ибо Автор, Книга и ее Проповедники составляют нераздельное целое.

Наш Бог — Бог деятельный. Он не восседает сложа руки в небесных славах. Закончив Творение. Он не завершил творчества. Он проявляет свое Бытие в первую очередь через постоянное вмешательство в жизнь, через постоянное обращение к нам. Он учит нас. Он говорит с нами. Таким образом, Тора Ему тождественна: она вечна, как и Он, она законополагает Его. Чтобы выразиться яснее, дерзнем сказать, отражая иудаистическую концепцию Творца, что Он существует постольку, поскольку существует его Закон, его Учение

А мы, несущие Тору столько тысяч лет, мы живем и выживаем только потому, что исполняем свою миссию — проповедуем Тору и свою судьбу сливаем с ее судьбой.

От «Берешит» до «Ахрит», от начала пути до его цели неизменно подтверждается великая истина: «Еврейский народ существует только в той мере, в какой существует и Тора».

«Бог, Израиль и Тора» — вот иудаистическое триединство, вот основа нашей веры, проистекающей из Книги Бытия. Пусть же усердное чтение этой Книги и впредь укрепляет в нас другое единство: дух, веру и совесть.

Начало эпопеи (Исход)

«И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа» (Исх. 1, 8).

С началом второй книги Библии начинается и исторический путь еврейского народа. В отличие от первой книги, представляющей собой летопись жизни патриархов,

вторая вместо семейной хроники выводит на авансцену жизнь общины. Интересно, что понятие «народ» как название сынов Иакова впервые появляется в начале Книги Исход, и исходит оно из уст первого в истории антисемита — фараона. Своей дикой злобой, безжалостными преследованиями, развязанными против них, именно он, по существу, вынуждает их консолидироваться, проникнуться сознанием общей судьбы и общих страданий, которые порождают как следствие общую цель. Тиран более поздних времен, советник царя Артаксеркса Аман, был прозван «цорэр хайэхудим» — «врагом евреев», однако само слово «цорэр» может быть переведено и как «тот, кто связывает», ибо действительно, породив коллективную угрозу евреям, он тем самым создал и связи между теми, кто должен был стать его жертвами. Справедливо замечают мудрецы Талмуда: «Более важную роль, чем все сорок восемь пророков и семь пророчиц, наставлявших евреев на стезю праведности, сыграло в укреплении их единства данное Артаксерксом Аману разрешение истребить их» (Мегила, 14). Самые вдохновенные провидцы будущего, самые мудрые и пламенные призывы не потрясали сердца и не волновали умы в такой степени, как удавалось это сменявшим друг друга аманам.

Эта же идея консолидации народа несколько иначе выражена в следующем библейском стихе: «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал» (Исх. 1, 12).

Важно подчеркнуть, что первая волна враждебности между египтянами и евреями, упомянутая в Библии, идет не снизу вверх — не от масс ко дворцу властелина, а наоборот. Призывы к погрому и грабежу, клевета и злословие, яд ненависти — все это направляется монархом.

«Вайомар эл амо» — «И сказал народу своему...» (Исх. 1, 9). Именно он, царь египетский, призывает к преступлению, а не народ его, который был угнетен так же, как и евреи. Это ему, фараону, нужен «козел отпущения», чтобы направить в другое русло недовольство масс. Чтобы укрепить режим жестокого притеснения, он фабрикует провокации, которые отводят гнев толпы от дворца. Его чертоги и пирамиды построены на поте и крови рабов — как евреев, так и египтян. И чтобы помешать восстанию рабов, он сеет между ними раздор. О, сколько раз фараоны мировой истории будут прибегать к рецепту своего предшественника! Сколько раз на протяжении тысячелетий будет подтверждаться известная истина: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы! Не только в волнах Нила нашли свой конец тысячи жизней — реки крови текут через всю историю человечества: ибо если вначале жертвами становились лишь потомки жертв фараона, то впоследствии на тот же мученический путь вступали и многие другие народы.

«Ашэр ло йода эт Иосэф» — «...который не знал Иосифа».

Фараон и не хотел знать Иосифа, символизировавшего братство обоих народов. Он желал другого: чтобы люди забыли об этом человеке, посвятившем все свои силы борьбе с голодом, трудившемся на благо масс независимо от того, к какой национальности они принадлежали. Царь пытался набросить покрывало забвения на того, кого звали «мечтателем». Его рабы не должны были мечтать ни о чем. Их воображению не дозволялось обращаться к лучшим временам: их фантазию необходимо было задушить, чтобы она не унеслась в дали свободы и благополучия; их идеалы предстояло подавить, дабы они ни в коем случае не вообразили, что возможна иная, нерабская жизнь.

Он, фараон, ни за что не хотел усвоить урок, преподанный людям жизнью Иосифа, который доказал, что тщетны все происки и напрасны все злодеяния, когда Провидение стоит на стороне правых. Иосиф, которого хотели сделать рабом, достиг вершин величия — можно ли забыть этот пример?

Книга Шемот (Исход) открывает эпопею борьбы за освобождение, которая рано или поздно должна увенчаться победой.

Батия [1] — дочь Господня

Первые страницы Книги Исход описывают двойное рождение: Моисея, творца нашего учения, и — еврейского народа. Как много сходства между первыми шагами основателя иудаизма и первыми решающими моментами в жизни общности, вождем которой суждено было ему стать!

Мидрашический фольклор осеняет рождение Моисея все тем же созвездием снов, которое озаряет предыдущие главы Библии. Фараону, трусливому деспоту, было видение. Ему приснилось, что к небесному своду подвешены огромные весы. На одной их чаше собрано все золото, все оружие, все дворцы, все войска монарха, на другой — маленькая папирусная колыбелька, в которой лежит младенец. И вот вторая чаша перевешивает первую...

На сей раз волхвы не ошиблись в толковании фараонова сна. Они сказали ему: «Родится дитя и принесет учение, которое будет весомей, чем все твои сокровища и вся твоя сила».

И тщетной была объявленная фараоном охота за детьми. Волны Нила укрыли чудесную колыбельку в тростниках, до тех пор пока — по иронии судьбы — дитя не было спасено дочерью самого фараона.

В этом волнующем эпизоде прослеживается все тот же библейский лейтмотив, который не оставляет камня на камне от любых расистских измышлений. Как лютый свирепый Исав был сыном праведного и милосердного Исаака, так и жалостливая Батия, спасительница Моисея, была дочерью человеконенавистника фараона. И как ее имя мы произносим с признательностью и любовью, так имя ее жестокого отца покрыто проклятием и позором.

Мидрашическое толкование уверяет, что, когда Батия увидела на волне колыбельку Моисея, она находилась от нее на значительном расстоянии. Но вот она протянула руку, и — о чудо! — рука ее удлинилась настолько, что достала до колыбельки.

Один мудрый раввин, комментируя этот эпизод, задается вопросом: откуда Батия знала, что чудо совершится? Почему она

[1] В русской Библии — Бифья. См. Первую книгу Паралипоменон, 4, 18. (*Прим. перев.*)

протянула к находке руку, хотя было вроде очевидно, что рука не дотянется?

И вот какую мораль выводит мудрец: когда ты видишь человека в беде и тебе кажется, что ты бессилен помочь ему — не сомневайся. Торопись на помощь! Твое дело — протянуть руку, а уж Господь поможет тебе воплотить свой порыв.

Так и поступила дочь фараона. И вознаграждена была тем, что первое имя младенца, данное ему родителями, осталось неизвестным. Зато имя, которым нарекла его спасительница, пережило тысячелетия. Моисей — имя не еврейское, а египетское, и означает оно «вынутый из воды».

Зато она, благородная дочь жестокого тирана, получила имя еврейское, уникальное в библейской ономастике,— Бат-Иа, то есть Дочь Господня. Напомним еще раз: Тора буквально на каждом шагу подчеркивает, что все ее персонажи были просто людьми, со своими достоинствами и слабостями, со светом и тенью. Мы не встречаем такого случая, чтобы хоть кто-нибудь из них обладал свойствами, свидетельствующими о его божественном происхождении. И только она, девушка, сердце которой сжалось от плача младенца, получила имя, внешне как бы противоречащее основным идеям нашей религии: Батия, Дочь Господня. «Хэей домэ ло» — «Человек, будь подобен Богу». «Ху рахум вэханун аф ата рахум вэханун» — «Будь милостив и добросердечен, как Он» (Талмуд Бавли, Шаббат, 133). Итак, человек может — ни больше ни меньше — уподобиться Богу, носить образ и подобие Божие. И от каждого отдельного человека зависит, сколько божественности он может воспринять. Перефразируя Наполеона, сказавшего, что плох тот солдат, который не носит в своем ранце маршальский жезл, мы можем утверждать, что каждый человек носит в глубинах своей души и сознания — Бога. И только от него, от человека, зависит, насколько он приблизится к Богу, в какой степени усвоит он божественные атрибуты, в какой мере сольется с Его «образом». У каждого человека тот Бог, которого он заслуживает.

Батия, дочь фараона, вполне заслужила имя, которое свидетельствует о ее божественных качествах.

Египетское имя Моисея и еврейское имя Батии — реальное выражение всей нашей концепции Божеского и человеческого.

И вот принц, выросший при дворе фараона, ощущает внутреннюю потребность вернуться в народ. Известные библейские эпизоды четко обрисовывают его характер в первых контактах с реальной жизнью.

Эпизод первый. Изможденные рабы возводят очередной дворец для властелина. Бич надсмотрщика обрушивается на плечи раба-еврея. Моисей вступается за своего брата по крови.

Можно подумать, что позиция, занятая Моисеем, продиктована чувством национальной солидарности и что он просто защитил еврея от египтянина. Но вот второй эпизод, доказывающий, что такое мнение было бы ошибочным.

Ссорятся два еврея, и один из них бьет другого. Моисей и тут вступается за обиженного. На сей раз речь уже не может идти о защите еврея от нееврея, а только о защите обижаемого от обидчика.

Можно было бы и здесь заключить, что Моисей защищает еврея от обидчика, независимо от того, еврей тот обидчик или нет. Но третья сцена проясняет все окончательно. Покинув Египет, Моисей бежит в землю Мадиамскую и, оказавшись там, первым делом выступает на защиту дочерей священника-нееврея, которых обижают тамошние пастухи, не давая им напоить овец у колодцев. Вот вам все тот же сюжет угнетения человека человеком, но в отличие от первых сцен здесь вообще не фигурирует ни один еврей.

Во всех трех эпизодах мы становимся свидетелями высокой страсти Моисея к справедливости, его нетерпимости к беззакониям. Речь, значит, идет о человеке, который всегда и везде становится на сторону слабых.

Сцены, описывающие начало общественной деятельности основателя иудаизма, позволяют сформулировать подход этого учения к отношениям между людьми: «Вэ хоэлохим йэвакэш эт нирдаф» — «Господь защищает гонимого». А Мидраш комментирует: «Даже если грешника гонит праведник, Господь всегда будет с преследуемым, хотя тот и был бы неправ, и против гонителя, хотя бы он и был одним из праведников». На протяжении всей нашей истории мы оставались верными этому божественному принципу и всегда старались быть достойными последователями Моисея, защитника гонимых.

...Там, в Синайской пустыне, Моисей пасет свое стадо. Вдали от жизненных тревог, любовно присматривает он за овечками. Одна из них заблудилась, и он обходит все окрестные поля и холмы, пока наконец не отыскивает ее и, утомленную и обессилевшую, поднимает на плечи. Видя сие, Отец наш небесный говорит ему: «Добрый пастырь, ты достоин пасти и Мое стадо».

«И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает» (Исх. 3, 2). Оттуда, из неопалимой купины, и приходит к нему великое Откровение. Не только глас Всемогущего звучит в эти минуты в его ушах, но и далекие отзвуки грядущей истории его народа — истории, которая тогда-то и зачиналась. Факелы, костры, аутодафе, горящие печи не раз, а тысячи и миллионы раз будут сжигать тела носителей Закона. Но ни костры, ни крематории не смогут их уничтожить. Колыбелька всегда будет весить больше всех мечей и всего золота врагов. Ибо в ней — дитя человеческое, вечно стремящееся к истине. Это стремление сильнее всех препон, всех терниев, ранящих наши ноги, всех огней, через которые суждено нам пройти.

Дух Иосифа

«И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда» (Исх. 13, 19).

Во главе колонны освобожденных рабов, пустившихся в долгий тернистый путь, находится Моисей, их проводник на пути к свободе. На плечах его бремя — гроб с ос-

танками Иосифа. Так исполняется последняя воля «мечтателя»: его прах будет покоиться рядом с прахом трех патриархов в «обетованной земле».

Моисей, таким образом, не только выполняет завещание Иосифа, но и указывает своей пастве, а также грядущим поколениям, на великий пример Иосифа. «В годы странствий по пустыне перед ними всегда находились два священных ковчега. Что же в них было? В одном — останки, в другом — дух» (Талмуд, Бавли Сота, 13).

Итак, не только к бездыханному праху Иосифа были обращены взоры путников, но главным образом — к его духу. Слово «эцем» переводится с древнееврейского языка двояко: «останки» и «суть, субстанция». Моисей взял с собой не только прах Иосифа, но и его неумирающую сущность.

Как Иосиф был упорным борцом за свои идеалы, так и эти его потомки должны были решительно стремиться к осуществлению самых дерзких своих мечтаний. Как Иосиф, вверив себя Богу, ни на миг не терял надежду, сколько ни преследовала его судьба, так и они не должны были терять душевного равновесия перед тяготами своего пути в пустыне, которую им столько раз предстояло пересечь из конца в конец. Как Иосиф никогда не таил своей причастности к этому народу и этой вере, с достоинством сообщив фараону, что «был похищен из земли евреев», так и они, его потомки, не должны были забывать о своей принадлежности к этому гордому племени. Как Иосиф воздал добром за зло, причиненное ему братьями, так и они должны были вырвать из своего сердца всякое семя ненависти и мести за перенесенные ими страдания.

Такое вот бремя нес на своих плечах Моисей, и надо ли после этого удивляться, что спина его оставалась прямой, а дух — несгибаемым? Надо ли после этого удивляться тому, что — «хаям раа ваинас» — «расступились воды» на пути освободившихся от неволи рабов и воля их оказалась сильнее самых свирепых бурь? Легко понять и то, что горькая вода Мерры «сделалась сладкою» ради утоления жажды людей, устремившихся к горизонтам, которые обозначил еще Иосиф. «Там *Бог* дал *народу* устав и закон, и там испытывал его» (Исх. 15, 25). Там, в Мерре, народ держал великий экзамен на зрелость перед «уставом и законом», носителем которых ему предстояло стать. Там было показано, что горькая вода может стать сладкой для людей, проникшихся высшей идеей.

Имея перед собой «суть Иосифа», они, эти люди, смогли усвоить урок «манны небесной» — «паршат хаман». Скромность и умеренность его указали, как пользоваться манной: «Иш лэфи ахло» — «...собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть» (Исх. 16, 16). Никто не должен быть слишком жаден, ибо пищи достаточно, чтобы насытить всех. На пиру жизни каждый человек — равноправный гость застолья, и если он будет скромен и чист в помыслах своих, благословенность манны небесной прольется и на его хлеб насущный, плод долгих и упорных трудов.

Важные события, о которых рассказывает нам упоминаемый фрагмент, разнообразны и содержательны. И это лишь начало пути. Не забудем же, что весь этот путь осенен поучительным примером Иосифа, мечтавшего об учении, которое обратит наши умы и сердца к временам грядущего Мессии, когда все мы будем, по словам псалмопевца, «как бы видящие во сне».

Песнь не покидает нас

«Господь крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его» (Исх. 15, 2).

Фараон спохватился, фараон передумал. Он не мог примириться с мыслью, что рабы сбросили оковы. Да и какой в истории тиран добровольно соглашался освободить тех, кого он угнетал и эксплуатировал? Он собрал кавалерию, снарядил боевые колесницы и пустился в погоню за теми, кто выбрал свободу. В сущности, он попытался догнать историю в слепой надежде остановить ее бег.

На берегу Чермного моря вчерашних рабов ожидает тяжкое испытание. До сих пор у них не было случая доказать, что они заслужили свободу, дарованную им Божьим Промыслом. Теперь предстоит выяснить, сбросили ли они цепи не только с тела, но и с души. Их ждет экзамен на духовную зрелость.

Впереди — пенные волны бурного моря, позади — еще более опасные валы ненависти. Тупик? Моисей возносит молитву к небесам. И слышит ответ: «Ма тицак элай» — «Что ты вопиешь ко мне?» Настало время не молиться, а действовать. Теперь некогда сидеть сложа руки и ждать небесного чуда. «Дабэр эл бнэй исраэл ваисау» — «...скажи сынам Израилевым, чтоб они шли» (Исх. 14, 15) Теперь они должны доказать, что сами в состоянии творить чудеса. Чудо веры и воли докажет, что они достойны свободы.

Они должны, они обязаны преодолеть волны, судьба в их и только в их руках. Они получили свободу в дар, теперь надо доказать, что они ее заслуживают. Пусть же их воля совершит чудо и море расступится, и будут «воды... им стеною по правую и... по левую сторону» (Исх. 14, 29) Свободными могут стать лишь те, кто уже не может жить рабами.

«Борьба теперь важнее молитвы». Действительно, бывают минуты, когда духовный вождь должен обратиться лицом к Господу, обращая к Нему мольбы и надежды, беды и радости тех, кого он ведет за собой. Но бывают и такие трагические мгновения, когда он должен повернуться к людям, и тогда его миссия состоит в том, чтобы приводить массы в движение, возбуждать умы, закалять души.

«Не только на чудеса должны мы опираться». В отличие от «ночи бдения» с 14 по 15 Нисана, когда небесное чудо разбило оковы рабства, теперь должно совершиться чудо совершенно другого рода, ибо пришла очередь уже самим людям бросить вызов смерти и пойти навстречу неминуемой, казалось бы, гибели во имя сохранения свободы.

И вот тогда-то «Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь...» (Исх. 14, 31). Это был величественный гимн свободы, симфония неистребимой веры в будущее.

С тех пор на долгом пути истории песнь не покидает нас. Мы никогда не ограничивались прозой жизни, а окрыляли душу ее поэзией. «Арфа Давида всегда была у его изголовья, и легкий полуночный ветерок отклонялся со своего пути, чтобы шевельнуть ее струны» (Талмуд, Берахот, 3). Из ее мелодий родились бессмертные псалмы, ставшие настольной книгой для верующих разных религий, ибо в них отражены вечные чаяния человеческие. В них — утешение униженным и оскорбленным, в них — стремление благородных душ к свободе и свету.

Сын Давида, Соломон, подарил человечеству Песнь Песней, о которой мудрый рабби Акива сказал: «Если святы все книги Библии, то Песнь Песней — это «святая святых», ибо весь мир был создан ради того дня, когда ему была дарована Песнь Песней» (Талмуд, Ядадаим, 3). Великий Акива выразил мысль, что жизнь не заслуживала бы затрачиваемого на нее времени, если бы человек не мог летать на крыльях песни. Только песнь, только крылатая фантазия, только поэзия великих видений дали нам силу пройти сквозь страшную действительность истории, презирая оскорбительную и мучительную реальность преходящего момента ради открывавшихся в наших грезах далей будущего.

Кем же были наши пророки, эти великие провидцы времен общечеловеческого счастья, как не чудесными песнетворцами, умевшими выразить самые возвышенные человеческие чувства?

Когда при реках Вавилона «сидели мы и плакали», прежде этого «на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы» (Пс. 136, 1, 2,), ибо только они даровали нам силу противостоять бурям.

И на скольких берегах «сидели мы и плакали» с тех пор! Кто мог бы перечислить все вербы, все ивы, на которых висели наши арфы, на всех меридианах и широтах в огромном пространстве нашей Диаспоры.

В течение всей нашей истории мы рождали великих поэтов и песнетворцев. Говорить ли об Йегуде Галеви, Ибн Габироле, Элиезере Хакалире или Хаиме-Нахмане Бялике? Вспомнить ли земироты наших застолий в дни Субботы или хасидские напевы, глубокую этическую значимость которых с таким мастерством выявил наш великий писатель Ицхок-Лейбуш Перец?

Перечитаем стихи Торы по правилам музыкального сольфеджирования. Углубимся в фолианты Талмуда, не упуская из виду мелоса, древнего мелоса, без которого мы, пожалуй, и не сумеем постичь сокровенный смысл Учения. Наполним наши молитвы песней, и мы почувствуем, что, если бы не было на свете напева, наши души стояли бы дальше от подлинного благочестия.

«Песнь Моисея и сынов Израилевых» была первой из наших песен, воплощающих приведенный выше стих Торы: «Господь крепость моя и слава моя». Это она заставила море расступиться, чтобы дать дорогу шестистам тысячам певцов, сумевшим сделать решительный шаг к далям будущего. Не только цари Моава и Ханаана, не только фараон со своей смертоносной конницей — сами силы природы склонились перед людьми, возлюбившими свободу больше жизни.

Песня сопровождает нас. Она проливает бальзам на наши раны, утешает нас в страданиях, не дает становиться «реалистами», утратившими веру в идеал.

«Кто изучает историю евреев и не верит в чудеса, тот не реалист». Так говорил Бен-Гурион. Внешне парадоксальная, эта мысль выражает уникальность судьбы, презревшей биологические законы истории и, как результат, породившей чудо нашего выживания.

Чудо это — от песни.

Две скрижали — единый закон

«И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом» (Исх. 19, 19).

Исход из Египта был не целью, но средством. Он должен был привести вчерашних рабов к синайскому откровению. Моисей знал об этом еще тогда, когда принял на себя божественную миссию освободить братьев.

«...Когда ты выведешь народ (Мой) из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе» (Исх. 3, 12). Предстояло покончить не только с физическим, но и с моральным рабством. С горы Синай должен был прозвучать закон, которому было суждено вернуть человеку достоинство, научить его бороться и трудиться для своего и общего счастья.

Такова историческая истина, которую мы нигде и никогда не вправе забывать. И тот, кто воображает, что «исход из Египта» был только актом национального освобождения, сходным с подобными событиями у многих, тот не понимает иудаизма. Элементы нашей религии, нации, культуры, цивилизованности, слившиеся во взаимопроникновении, неотделимы друг от друга. Те, кто видит в нас только единый культ или только единый народ, не понимают нас и пытаются влить нас в формы, нам не соответствующие.

В течение почти четырех тысяч лет[1] нашего существования появлялись и исчезали племена, народы, философские и религиозные системы. Восход, зенит и закат характерны не только для движения солнца, но и для биологических явлений. Юность, зрелость и старость — это неизбежные фазы не только индивидуального, но и коллективного бытия.

«Ам исраэл хаи». Мы живем и выживаем вопреки бесчисленным бедствиям и гонениям, потому что «исход из Египта» и само наше возникновение на сцене истории имело свой Промысел: оно было предисловием к синайскому откровению и восприятию Торы, к тому, что мы стали «народом Книги», «ам хасэфер». И покуда нам суждено нести эту миссию, до тех пор будет смысл в нашем существовании. И горе нам, если мы останемся без Торы, без Книги, без Назначенности.

«Почему,— спрашивают себя ученые,— почему понадобились две скрижали Закона? Неужели десять заповедей Божьих не уместились бы на одной скрижали?»

---

[1] Исследователи называют и другие сроки: 6000 лет, 12 000 лет и т. п. *(Прим. перев.)*

«Две скрижали были необходимы,— отвечают они,— дабы на одной изложить основные принципы отношений верующих с Богом, а на другой — те, что определяют отношения между человеком и человеком. Две скрижали одинаково важные по своему содержанию, равно священные в этическом плане,— вот две путеводные идеи всего культа Моисеева».

Почитание заповеди «Я Господь, Бог твой» является, стало быть, столь же обязательным, как и заповедей «не убивай» или «не кради». Не может быть подлинно верующим человек, благочестиво исполняющий религиозные обряды и в то же время попирающий этические установки Десятисловия, призывающие к уважению жизни, труда и достоинства ближнего.

Первая, уже упомянутая заповедь, утверждающая единосущность Всевышнего, гласит: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 20, 2).

Господь, как видим, предстает верующему отнюдь не в наивысшей космогонической своей ипостаси. Вместо того, чтобы утвердить Себя, как Того, Кто создал небо и землю, Он предпочитает напомнить человеку, что Он вывел его из рабства. Тем самым Господь указывает, что минута, когда человек перестает быть рабом, важнее самого акта Творения, ибо только свобода придает жизни смысл, только торжество справедливости спасает мир от гибели. Жизнь, не управляемая моральным законом, продолжаться не может.

Язвительная мидрашическая легенда рассказывает, что прежде, чем совершилось синайское откровение, Господь посетил с Законом в руках царей разных народов, вопрошая их, не примут ли они Его учение. Но цари Исава и Измаила в испуге отвергли Закон, услышав, что там написано «не кради» и «не убивай», поскольку эти принципы прямо подрывали основы их власти. Зато вчерашние рабы восприняли Закон с вдохновением и радостью, восклицая: «Наасэ венишма» — «...все, что сказал Господь, исполним и будем послушны» (Исх. 19, 8).

Голос, возвестивший с Синая, что мир — не джунгли, нашел поначалу довольно слабый отклик. Но время идет, текут годы и столетия, и этот голос все глубже проникает в сердца и сознание людей, направляя их к миру и братству.

Подлинная всемирность

«Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над *Израильтянами*» (Исх. 18, 11).

Слова эти принадлежат священнику нееврею Иофору. Узнав о том, что произошло с народом Израиля, он направил свои стопы в Синайскую пустыню, дабы услышать из уст Моисея объяснение некоторых событий, которые были ему непонятны. Ведь никогда еще до тех пор не удавалось рабам побеждать своих угнетателей, никогда еще не звучал более величественный гимн человеку, нежели тот, что был вознесен к небесам при переходе через Чермное море. Моисей поведал Иофору о первых освободительных усилиях сынов Израиля и выразил уверенность в неизбежном торжестве справедливости, ибо Творец сего мира — Бог правый.

Иофор служил многим богам. Они олицетворяли множественность враждебных человеку сил и утверждали его во мнении, что постоянная война между стихиями природы, отдельными людьми и целыми общностями — в порядке вещей. Иофор полагал, что мир земной есть не что иное, как непрекращающаяся борьба между отдельными божествами и — «горе побежденным!». Но вот он узнает, что «Господь велик паче всех богов», что существует только одна сила, движущая судьбами миров и народов, а фараон со своей конницей и Амалик со своими острыми мечами, все эти сильные, но неправедные, повержены в прах перед теми, на чьей стороне сила правды. Именно в том самом, чем «превозносились над Израильтянами» их гонители, именно в бесплодности попыток фараона снова сделать рабами тех, кто осознал себя свободными людьми, именно в том, что рухнули воинственные замыслы Амалика, Иофор начинает усматривать присутствие Бога — ревнителя справедливости.

«Шлоша хаю бэота эца» — «Три советника решали вместе с фараоном, как поступить с младенцем Моисеем. Валаам советовал убить его, и воздаянием ему стало то, что в конце концов он сам был убит. Иов промолчал — и претерпел в будущем жестокие страдания за то, что не отверз уст, когда мог хотя бы одним словом содействовать спасению человеческой жизни. Иофор высказался за то, чтобы младенец остался жить, и потомкам Иофора были возданы самые высокие почести» (Сота, 11). Наши сердца всегда щедро дарили симпатию и признательность неевреям, пытавшимся остановить убийства, боровшимся за жизнь против смерти. Священник нееврей Иофор — одна из прекрасных фигур, выступивших на библейскую сцену, дабы напомнить нам, что человечество всегда находило в себе моральные силы для противостояния злу и в нем неизменно находились Иофоры, отважно выступавшие против фараонов и амаликов.

Чрезвычайно знаменателен диалог, происшедший при встрече Моисея и Иофора. Мы видим, как представители двух различных мировоззрений, служители двух разных религий внимательно, с уважением и пониманием выслушивают друг друга. И оба находят, чему поучиться.

Моисей говорит Иофору о борьбе за освобождение и о величии свободы, а Иофор знакомит его с «разделением труда», принципами «коллективного руководства» и методами отправления правосудия. Каждый из них остается при своих взглядах, но при этом обогащается новыми знаниями и новым жизненным опытом.

В столкновении идей рождается истина. Моисей и Иофор не пытаются насильно навязать друг другу свою веру, а сопоставляют их. Так они вписывают в историю восхитительную страницу, которую можно было бы назвать экуменической, если бы нам понадобилось как-то обозначить вселенский, соборный дух мирного сосуществования народов.

Иудаизм всегда ориентировался на этот пример. Он никогда не пытался притеснять других, понуждать их к принятию своего мировоззрения, не пользовался «огнем и мечом», аутодафе и кострами как средствами «перевоспитания». И более того. Он не позволял себе даже намека на миссионерство, на искусительство других соблазнами собственной веры. Да, мы любовно принимаем новообращенных, тех, кто сами приходят испить живительной влаги из нашего источника. Но они действительно должны прийти сами. Основной принцип социального общежития состоит для нас в уважении к убеждениям ближнего. Наша историческая судьба научила нас перенимать, впитывать лучшее от культур, с которыми мы встречаемся, и цивилизаций, в окружении которых живем. Так произошло, например, при нашей встрече с греческой культурой в Александрии, результатом которой стал иудео-эллинизм, воплотившийся в блистательном Филоне Александрийском. Встреча с исламом породила золотой век нашей Диаспоры. Мы пустили глубокие корни в культуре арабского мира. Великий, можно даже сказать — величайший наш философ Маймонид и многие другие славные звезды на иудаистическом небосклоне той эпохи продемонстрировали духовную широту, терпимость и стремление к познанию истины на всех ведущих к ней путях.

Есть глубокий смысл в том, что главы Книги Исход, повествующие о даровании нам Десятисловия, рассказывают не только о Моисее, принесшем заповеди с вершины Синая, но и о скромном мадиамском священнике Иофоре. Это — знак признательности иудаизма тем, кого мы в течение многих тысяч лет называем **«хасидэй умот хаолам» — «благородными сынами других народов земли».**

Синедрион у алтаря

«Санэхэдрин эцэл мизбэах» — «У алтаря находится Синедрион».

Так поясняет талмудический комментарий первый стих 21-й главы Книги Исход: «И вот законы, которые ты объявишь им». У алтаря — то есть у жертвенника. Источником вдохновения для самого высокого земного суда — Синедриона — должен быть дух жертвенности во имя интересов общности и уважения к человеческой жизни, дух, символизируемый алтарем. Прочитайте строки, предшествующие упомянутому стиху, и вы поймете, чему учит сей алтарь. Не золотым и не серебряным должно быть обиталище божественности, ибо нравственная чистота оскверняется драгоценностями, олицетворяющими роскошь одних, построенную на нищете других. Довольно накланялось человечество этим кровожадным свирепым идолам. «Сделай Мне жертвенник из земли...» (Исх. 20, 24) — говорит Бог любви человеку, сотворенному из земли и обреченному вернуться в нее, не забрав с собой ничего из эфемерных богатств этого мира. Общение с Господом не должно происходить в великолепии и роскоши, в пышности, льстящей тем, кто сполна причастился к пиру жизни, принижающей тех, кому и крошки не перепадает с праздничного стола.

«Ибо, как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их» (Исх. 20, 25). Речь идет о том, что камни, из которых сооружается жертвенник, должны быть нетесаными, так как лезвие тесла, напоминающее лезвие меча, не может иметь ничего общего с алтарем. Нет на свете ничего более друг другу противоречащего. «Алтарь предназначен для продления человеческой жизни, для провозглашения ее высочайшей ценности, между тем как меч стремится ее уничтожить. Алтарь проповедует мир между мужем и женой, мир в семье и между семьями, между человеком и человеком, между верующим и Отцом его небесным; тогда как меч распространяет вокруг себя преступления и беззакония, раздоры и войны. И разве не было бы неслыханным кощунством прикоснуться к алтарю мечом, лезвием, любым острием?» (Мехильта, 20).

В непосредственной близости от священного жертвенника и расположил Божественный Законодатель тех, чьими устами должна говорить справедливость. Как мы уже заметили, отношения между верующим и Богом могли быть изложены на одной скрижали, но тем не менее скрижалей было две. На одной из них были приведены основополагающие принципы единобожия, на другой — те, что касаются общественных, межчеловеческих отношений. Отсюда следует, что никто не вправе, бия себя по груди, утверждать, что он верен заповеди «Я Господь, Бог твой...», одновременно попирая заповеди «не кради», «не убивай» и другие. Равно священны для человека обе скрижали Закона, и попрание хотя бы одной из заповедей есть отречение от их смысла в целом.

Одного мудреца попросили растолковать стих «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный...» (Исх. 20, 18). Он объяснял его следующим образом. Если бы в библейском тексте было написано «слышал... звук трубный», произошло бы недоразумение. На древнееврейском языке слово «ло» (с буквой «алеф») означает отрицание «не». Когда оно же пишется с буквой «вав», то приобретает значение местоимения «его». Если бы понимание Десятисловия шло через слух, то заповеди «ло тирцах» («не убивай»), «ло тигнов» («не кради») и другие воспринимались бы как написанные с буквой «вав» и кое-кто мог бы вообразить, что этого «его» можно убивать или обкрадывать. То есть иные решили бы, что ради Господа, во имя Бога, во имя веры дозволяется отнимать жизнь или имущество ближнего. Стало быть, нужно было иметь визуальное восприятие, чтобы все видели отрицание «не» и понимали, что речь идет о категорическом запрещении, не допускающем никакой двусмысленности. Жизнь и труд ближнего — ценности абсолютные, и ни один религиозный принцип не допускает даже тени оправдания тех, кто на них посягает.

Синедрион, таким образом, выступает от имени религии, слитой с моралью. Великий юрист Иеремия Бентам считал, что мораль и право подобны двум концентрическим кругам. Более широкая сфера морали включает в себя более узкую сферу права. По такому определению все, что обнимается понятием права, морально, но не все, что морально, закреплено юридически. Иначе представляет дело концепция иудаизма. Для нас сфера морали и сфера права сли-

ты воедино. Возьмем, например, моральную установку, предписывающую помогать бедным. Те, кто не следует ей, рассматриваются обычно как люди безнравственные, но отнюдь не как правонарушители. В свете же иудаистской концепции речь идет об одном из 613 положений Закона, столь же обязательных, как заветы Декалога, и тот, кто нарушает его, грешит не только против нравственности, но и против веры.

По всему этому близость Синедриона к алтарю глубоко символична: право и мораль близки у нас не только пространственно, а и концептуально. Источник правосудия — в морали жертвенника.

Вспомним, по связи идей, о другом соседстве, запечатленном в римском речении: «Рядом с Капитолием — Тарпейская скала». С нее бросали в пропасть слабых и увечных, то есть тех, кого исторгало из своей среды рабовладельческое общество, основанное на законе силы и сильного. Вот вам и две разные концепции правосудия: одно стояло на праве силы, другое — на силе права, на морали.

Глава 21-я Книги Исход устанавливает основные права человека в перспективе вышеизложенных принципов. В первую очередь определяется порядок служения одного человека другому. Посреди древнего мира, державшегося на безжалостной эксплуатации рабов, которые даже не являлись субъектом права, а потому находились вместе со своей семьей и имуществом в полном распоряжении хозяев, библейский Законодатель одним росчерком пера уничтожает рабство. Максимальный срок службы раба составляет шесть лет. На седьмой год он становится свободным без всякого выкупа.

Несмотря на то, что в ходе последующего исторического развития этот принцип неоднократно попирался правителями и правящими классами, блестящая формулировка освобождения человека от рабства устояла. Листая страницы Библии, мы видим, что виновные в нарушении этого принципа подвергались гневному обличению пророков, которые попросту вычеркивали их из числа причастных к Синайскому Откровению.

Но если на седьмой год раб говорил: «...люблю господина моего, жену мою и детей моих; не пойду на волю» (Исх. 21, 5) — происходила следующая церемония: ухо раба прокалывали у дверей суда, дабы навсегда заклеймить человека, добровольно отказавшегося от свободы. «Почему же именно ухо?» — задаются вопросом мудрецы. «Потому что оно слышало глас Синайского Откровения: «Вы будете Моими рабами, а не рабами моих рабов» — и осталось глухо к зову свободы» (Киддушин, 22).

Древнееврейское слово «эвед» ни в коей мере не соответствует понятию «servus» — «раб» в римском праве. Оно происходит от слова «авода» — труд и означает человека, который трудится.

Положение тех, кого называли «эвед», весьма отчетливо прослеживается по следующему талмудическому пассажу: «Да будет ему хорошо с тобой; да будет он с тобой при еде и питье, чтобы не ел ты хлеб очищенный, а он — с плевелами; чтобы не пил ты вино старое, а он — новое; чтобы не спал ты на мягком, а он — на соломе» (там же).

Всякий раз, перечитывая библейские главы, о которых сейчас идет речь, я вспоминаю пресловутую «притчу», которую еще моему поколению преподносили в учебниках истории. В один прекрасный день восстали плебеи Древнего Рима, возмущенные тем, что им приходится тяжко трудиться, между тем как бездельники-патриции живут в роскоши и разврате. И вот знаменитый Менений Агриппа сказал им: «Обиделись както на желудок руки и ноги: он-де только поглощает пищу, да и ту для него пережевывают зубы. И что же вышло из этого бунта. Едва не погибло все тело, вместе с желудком, руками и ногами». Этой «притчей» римский сенатор сумел-таки убедить плебс, что одни должны только трудиться, а другие — только есть. Помнится, меня, тогда еще ребенка, такая «мораль» приводила в негодование.

Регламентирование прав трудящегося человека, обозначенное в Торе, характерно для совсем другой морали и совсем иного общества.

«Сколько трудился бедный Адам, прежде чем добыл кусок хлеба! — восклицает Бен Зома.— Пахал, сеял, убирал, молотил, веял, молол, просеивал, пек... А я встаю себе утром и жую ломоть, даже не задумываясь о тех, кто ради меня увлажнили потом свое чело».

Менений Агриппа и Бен Зома. Два мира. Два мировоззрения. Капитолий и Синедрион.

Слишком долго было бы перечислять здесь все запреты, установленные иудаистическим Законодателем для ограничения рабства. Но каждый из них основывается на общем руководящем принципе: человеку не дозволяется злоупотреблять силой, ущемляя права ближнего. Вред или ущерб, причиненный тебе подобному, не должен остаться невозмещенным. С особой предусмотрительностью подчеркиваются предписания, касающиеся защиты слабых и безоружных в жизненной борьбе. Вместо позорного лозунга «человек человеку волк» библейский текст выдвигает гуманистическую идею покровительства, которое следует оказывать пришельцу, вдове, сироте, всем беззащитным.

Наша святая Тора не ограничивается провозглашением принципов, а настаивает на их практическом применении. Любовь к ближнему, даже ко вчерашнему врагу, не остается просто сентиментальной формулой. Когда мудрый Гилель должен был выразить суть иудаизма в одной фразе, ответ, который он дал нееврею, пытавшемуся вникнуть в суть нашей религии, звучал так: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». И здесь, как видим, моральный принцип становится юридическим.

В свете таких законодательных предписаний нам становится понятней соседство обиталища Господня и места Закона, алтаря и Синедриона. Моральные наставления звучат не только с высоты жертвенника. «Да будет дом твой вблизи синагоги»,— учит Талмуд (Кетубот, 107). Не должно быть, значит, разрыва между собственным очагом и домом молитвы. То, чему верующий научился в синагоге, должно найти применение в повседневной жизни, в общественных отношениях. Формула принятия Торы верующими: «наасэ венишма» — «исполним (и будем

послушны)» — подтверждает, что акцент ставится в первую очередь на дело, на повседневную практику.

И хотя мы говорим главным образом об Учении, оно имеет ценность лишь постольку, поскольку воплощается в поступках. «Мицва» — «Доброе дело» — вот высший эталон, по которому мы оцениваем человека.

Половина сикля

«Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного» (Исх. 30, 13).

Моисей получает божественное повеление приступить к исчислению своих людей. Для этого каждый должен принести половину монеты, называемой сиклем (шекелем). Сосчитав потом эти половинки, можно будет установить точное количество сынов Израилевых. Библейский текст продолжает: «Ло йехи бахэм нэгэф бифкод отам» — «И не будет между ними язвы губительной при исчислении их».

«Какая же такая язва, какое несчастье могло случиться?» — задавался вопросом рабби Нафтуле из Ропшица, известный своим едким юмором. И сам себе отвечал: «Моисей был встревожен, призвав к переписи всех своих евреев (как оказалось, шестьсот тысяч). Зная, как мало они склонны к дисциплине, он опасался, что исчисляемые в толпе подавят друг дружку; могут произойти инциденты. Господь, однако, успокоил его, посоветовав затребовать у них по половине монеты: узнав, что речь идет о деньгах, они безусловно не станут толпиться и никакой давки не будет».

Комментируя тот же библейский текст, другой толкователь замечает: «В прежние времена, когда хотели узнать, сколько евреев живет в той или иной местности, считали число посещающих синагогу, выясняли, сколько они потребляют кошерного мяса, сколько человек посещают талмудтору и т. д. Эти непосредственные статистические данные и приводили к искомой цифре. К сожалению, в настоящее время такие показатели безнадежно устарели. Реальным осталось одно: число умерших за год. Применив коэффициент смертности, можно получить число живых. Таким образом, высказанное при первой переписи пожелание, чтобы не было «язвы губительной при исчислении их», имело в виду исчисление именно живых, в живых проявлениях их общинной жизни, а не пересчет мертвецов или умирающих».

Первая монета — сикль — впервые упоминается в Библии в виде половинки, а не целого, и это должно напомнить нам, что жадничать нельзя: иметь все невозможно, и наш ближний вправе располагать той же долей, что и мы, то есть половиной монеты.

«Когда Господь, беседуя с Моисеем, упомянул о сикле,— рассказывается в Мидраше,— Моисей не понял, о чем идет речь. Понятие денег было ему еще чуждо, сколько ни втолковывал их суть Всевышний, так что в конце концов Ему пришлось сотворить монету из огня, и только тогда он понял».

Великий наш учитель усвоил в этой беседе то, что позднее подтвердила история: сходство между огнем и деньгами. Без огня человек не имел бы тепла и света, не мог бы сделать ни одного шага вперед по пути общественного прогресса. Огонь явился великим благодеянием для человечества. Но ведь правда и то, что огонь способен мгновенно уничтожить труды целых поколений и превратить цветущую землю в пустыню. Стало быть, есть в нем и разрушительное начало. Все зависит от того, в чьих руках он находится — усердного труженика или злобного поджигателя.

Так же и деньги. Если они являются эквивалентом труда, то служат созидательному началу — облегчению страданий, распространению культуры. На такие деньги строят больницы и школы, заводы и фабрики, проникают в тайны небесных сфер, помогают неимущим — словом, творят рай на земле. Если же деньги — результат разбоя и эксплуатации, если их приводят в действие враги человечества и мира, то они служат началу разрушительному — горят города и села, растет производство орудий уничтожения, а труженики нищают.

Сикль, первая монета, учит верующих превращать деньги в орудие жизни, а не смерти, творчества, а не разрушения.

Рецидив идолопоклонничества — диспут с Богом

Глава 32-я Книги Исход, повествующая — с болью и неизменной правдивостью — о событиях, касающихся золотого тельца, представляет собой документ огромной нравственной ценности. Ни одна хроника, ни одно историческое сочинение не описывают морального падения какого-либо народа так откровенно и честно, как это делает Тора.

«Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону, и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами» (Исх. 32, 1). Первосвященник, видя, что ему не сладить с толпой, и надеясь на скорое возвращение Моисея, пытается выиграть время. Он требует золота: «...выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне» (Исх. 32, 2). Рабби Шломо Ицхаки трезво заметил по этому поводу: «Аарон знал, что женщины и дети очень привязаны к своим украшениям. Он надеялся, что они откажутся их отдать, а тем временем появится и Моисей». Толпа, однако, не медлила ни минуты: уснувшие было инстинкты снова пробудились; божественный Закон был забыт. В Талмуде есть замечание, полное горькой иронии: «Можно ли понять характер этого народа? Потребовали от них денег на храм — дали, на золотого тельца — опять дали...» И Аарон вынужден отлить им тельца. Моисей же, сходя по горе со скрижалями завета и увидев омерзительное зрелище идолопоклоннической оргии, разыгравшейся в стане Израилевом, разбивает скрижали вдребезги.

...Кроткий проповедник, более всего заботящийся о своей пастве, Моисей не дает гневу овладеть собой при виде великого греха, совершенного домом Иакова. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, (Гос-

поди!) народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх. 32, 31—32).

Как же высок жертвенный дух Моисея! Какой порыв! Он умоляет о спасении народа, о прощении тяжелейшего греха. Не удовлетворяясь упреками, аргументами, молитвами, он дерзает вступить в спор... с самим Богом. Даже рискуя разгневать Творца, он стремится любой ценой вырвать божественную милость. Как некогда Авраам, борясь за спасение несчастного нечестивого Содома, «диспутировал» с Господом, говоря: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18, 25), так и Моисей не убоялся противоречить Всемогущему, ибо дороже всего была ему судьба его народа. Ценой высшего самопожертвования — не жертвой жизни земной, которую он всегда готов был отдать, нет, на сей раз Моисей бросает на весы все свое дело, смысл всего своего бытия, свое бессмертие,— пытается он добиться поставленной цели. «А если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал».

Наше представление о справедливости, о любви к народу так прочно укоренилось, что нетрудно назвать множество достойных потомков Моисея, последовавших его примеру. Достаточно вспомнить рабби Леви Ицхака из Бердичева, мир праху его, чьи знаменитые «диспуты» с Богом восславлены его современниками, хотя никому и никогда не приходило в голову хотя бы на миг, horribile dictu [1], подвергнуть сомнению его искреннюю веру и непоколебимую верность Отцу небесному.

Однажды, в минуту жестокого страдания ближних, когда творившиеся вокруг несправедливости буквально вопияли к небесам, рабби Леви Ицхак воскликнул: «Господи, либо управляй миром по нашему разумению, чтобы мы понимали Твой Промысел, либо дай нам другое разумение, чтобы мы могли понимать Тебя самого!»

Поколение Освенцима, пережившее невообразимые бедствия, без труда осмыслит драматический укор, брошенный Господу раввином из Бердичева.

Суббота — страж иудаизма

Именно в главах, повествующих о строительстве первого Святилища, дважды упоминается день субботы, хотя строгое предписание блюсти ее заключено уже в одной из десяти заповедей.

Дело в том, что если синагога уберегла иудаизм в пространстве, то суббота позаботилась о его спасении во времени. Те, кто уподобляет этот день сходным дням в календарях других — то есть, проще говоря, дню отдыха,— повторяет ошибку, о которой мы уже говорили, указывая, что установления и концепции иудаизма не могут быть отлиты в чуждые его духу формы.

Для нас все имеет Цель и Смысл. В гармонии Творения нет мест случайности и хаосу. Это касается и дней жизни человеческой. Неделя для еврея не начинается днем отдыха, а завершается им. Все ее дни (дни еврея, живущего в Диаспоре, дни, омраченные нищетой, обидами и муками) стремятся к финалу, ради которого стоит терпеть жалкую повседневность. Генрих Гейне в известном стихотворении «Принцесса Суббота» описывает жителя гетто, презираемого, оскорбляемого, гонимого, как пес. Однако, когда на город спускаются тени пятничного вечера, бедный этот человек превращается во властительного суверена, а его лачуга как по мановению волшебной палочки становится чудесным дворцом, куда и вступает прекрасная «принцесса Суббота». Спина его, обычно согбенная под бременем оскорблений, распрямляется, ибо от заката солнца в пятницу до появления первых звезд в субботу еврей может презирать окружающую действительность, укрывшись от нее в замке своих грез.

В Вавилоне и Испании, в Голландии и Польше, во все века своего существования портной и водовоз, корчмарь и лавочник — все трудящиеся евреи, не разгибавшие спины с утра до вечера для прокормления своих жен и детей, были поневоле обречены на невежество: им некогда было изучать древние фолианты. Но приходила суббота, и они шли в синагогу, и находили тогда и там время и место для обращения к Торе, жадно припадая к ее неиссякающим ключам. Суббота всегда представляла собой благодатный оазис в пустыне страданий. В субботу еврей забывал о действительности, уносился в мир своих идеалов и вновь становился достойным сыном «народа Книги».

«Больше, чем еврей хранил субботу, суббота хранила еврея, дабы он не погиб»,— говорил великий еврейский мыслитель Ахад Гаам. Без этого дня-Цели лишилась бы смысла его жизнь и приносимые им бесчисленные жертвы. Суббота проливала бальзам на его раны, вливала в его душу и разум новые силы для предстоящей недели, укрепляла его стойкость перед лицом новых опасностей.

День активного отдыха, день, когда разум обогащается знаниями, а сердце — благородными чувствами,— вот что такое наша Суббота.

«Лэкулам йош бэн зуг» — «У всех есть своя пара,— жаловалась суббота Господу.— У воскресенья есть понедельник, у вторника — среда, у четверга — пятница, и только я, суббота, осталась без пары». «Кнэсэт исраэл тэхи бэн зугэх» — «Общество Израиля будет тебе парой»,— отвечал Всемогущий (Мидраш Рабба)

Израиль и Суббота идут рядом по тропам вечности. Как Суббота имеет двоякий смысл (один чисто религиозный — «зэхэр лэмаасэ брэшит» — «символ Творения», призванный напоминать нам о существовании Творца; второй — национальный,— «зэхэр лэициат мицраим» — «в память исхода из Египта»), так и эта уникальная сущность, именуемая «народом Израиля», обладает двойным бытием — религиозным и национальным, причем одно от другого неотторжимо. Оба этих элемента взаимопроникают друг в друга, образуя специфику Торы, квинтэссенцию иудаизма.

Суббота увенчала Творение. Все его первоэлементы были созданы за шесть трудовых дней, но чтобы Творение могло существо-

[1] Страшно сказать (*лат.*).

вать, необходимо было еще одно качество — синтез, сцепление, без которого мир вернулся бы к тоху-во-боху, изначальному хаосу. Шабат-Шалом, Суббота, принесла первоэлементам неразрывность, Творению — гармонию, душам — мир.

Сердце и разум

«И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих; ибо рукою крепкою вывел тебя Господь (Бог), из Египта» (Исх. 13, 9).

Вот стих, определяющий утренний ритуал верующих евреев (за исключением субботы и праздников) — возложение филактерий (тефиллин). Выход бывших рабов из Египта положил начало их коллективному созреванию. До этого момента судьба их находилась в руках угнетателя, а сами они даже и не думали о том, что могут ее изменить. Когда же цепи рабства спали с них, стало ясно, что судьбой человека правит Господь, и, значит, от самого человека зависит улучшить ее.

То, что важно для коллектива, сохраняет свое значение и для отдельной личности. Когда еврей достигает 13-летнего возраста, считается, что он уже переступил порог зрелости и обрел самосознание. Воспоминание об освобождении из Египта наполнено двойным смыслом: человек должен помнить, что его шаги направляет Всевышний, но хозяином своей судьбы должен стать он сам.

Филактерии содержат библейские изречения, провозглашающие веру в Бога и Его единственность, утверждающие нашу любовь к Нему и идею воздаяния и кары, воплотившуюся все в том же исходе из Египта. Таким образом, содержание филактерий выражает основные положения иудаизма.

На левой руке и на лбу, рядом с вместилищами сердца и разума, вяжем мы тефиллин в знак того, что будем служить этим идеям как чувством, так и мыслью. Иудаизм не удовлетворяется слепой верой, не поверяемой разумом. Все наши усилия должны быть направлены не к одному только ощущению Господа, но и к познанию Его. Вот почему наша религия именуется «Тора» — «учение». Дорогу к Божеству мы ищем на путях исследования. «Credo quiam absurdum» — «Верю, потому что абсурдно» — девиз антииудаистический. Мы же исследуем, изучаем, вопрошаем, проводим любые доводы через фильтр разума и только таким образом прокладываем пути к Господу.

Великий Маймонид, определяя разницу между теми, кто приближается к Богу только через сердце, и теми, кто делает то же посредством разума, использовал следующее иносказание: на вершине некоей башни находится учитель, любимый двумя учениками. Путь, ведущий к нему, извилист и крут. Один из учеников, подавленный собственным бессилием, стоит у врат башни и плачет. Сжалившись над ним, учитель спускается и, взяв его за руку, ведет наверх. Другой ученик поступает иначе. Он всходит по ступеням, блуждает, возвращается, начинает все сначала, спотыкается, падает, поднимается, снова идет. Он упорен, он не позволяет усталости пересилить его и в конце концов обнаруживает истинный путь. Оба пришли куда хотели. Но если первый ученик решил проблему для одного себя, то второй сумел проложить дорогу, которой смогут воспользоваться и другие.

«Тефиллин шел рош», филактерии, возлагаемые на лоб, должны, следовательно, свидетельствовать, что мы устремимся к Господу по путям логики. Однако ошибкой было бы считать, что достижение этой священной цели возможно только с помощью холодного рассудка, без участия горячего сердца. Вера должна быть прочно укоренена в глубинах нашей души.

«Где находится Бог?» — спросили однажды маленького Нафтули, которому предстояло с годами стать раввином в Ропшице. Ответ последовал незамедлительно: «Бог находится там, куда его впускают».

В этом синтезе рассудка и сердца, разума и чувства заключено наше понимание отношений между верующим и Богом.

Смена и чередование

«Ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их» (Исх. 40, 38).

День и ночь, свет и тьма восходят, чередуясь, со страниц Книги Исход. Наступает конец ночи египетского рабства, и песнь освобождения звучит на берегах Чермного моря, возвещая зарю свободы. Голод и жажда во время долгих скитаний в пустыне снова позволяют тьме сгуститься в душах, но манна небесная и ключи, отворившиеся в Мерре, опять озаряют сердца. Силы амалекитян обрушиваются на сынов Израилевых, стремясь их уничтожить, но чудо веры, пролитой в их души Моисеем, побеждает.

С синайских вершин нисходит к нам свет Закона. Десятисловие рассеивает мглу первобытных инстинктов и распространяет вокруг себя благодатные лучи человеколюбия. Воистину подобна факелу священная Тора, ибо она разгоняет туман невежества и наделяет верующих силой, способной преодолеть любые препоны.

Новым символом света станет Храм с его негасимым светильником, но грех служения золотому тельцу свидетельствует о том, что вчерашние рабы все еще блуждают во тьме идолопоклонства.

День и ночь. Тьма и свет. На протяжении тысячелетий нашей истории эпохи света были для нас величайшей редкостью. Однако «облако Господне» всегда стояло над нашими шатрами и вечно светило огнем веры «пред глазами всего дома Израилева».

Есть, значит, неразрывная связь между содержанием этого стиха и взаимными нашими поздравлениями в синагоге по случаю завершения чтений второй книги Торы «Хазак». Сила. Силою одаряет нас неиссякающий источник Учения — силою веры и морали, силою духа.

■

Австралия

«У ВСЕХ НАС — ОБЩАЯ ИСТОРИЯ»

Парижский журнал «Магазин литтерер» поместил интервью с известным австралийским писателем Фрэнком Мурхаусом, который «уже третье десятилетие активно способствует обновлению литературы своей страны».

Заняться «обновлением» Ф. Мурхаус решил, так как твердо убежден: для подлинного творчества необходима полная свобода выбора, воображения и мысли. Но именно этого, по его мнению, и не хватает австралийским писателям, ибо в литературе, как, впрочем, и в общественной морали этой страны, пока господствует пуританство. Освободить себя и собратьев по перу от пут пагубной традиции он считает делом первостепенной важности. И вот в 1972 году Ф. Мурхаус основывает журнал «Таблоид стори», задачей которого становится открывать и поощрять молодые таланты, а также публиковать тех авторов, чьи произведения написаны не в духе общепринятого и, как следствие, отвергнуты прочими издателями.

Подытоживая результаты своей многолетней редакторской работы, Ф. Мурхаус упоминает и выпуск нескольких антологий австралийской новеллы и среди них — солидного сборника «Беллетристика-88», приуроченного к 200-летию Австралии. Отвечая далее на вопрос о характерной для его личного творчества новаторской манере «фрагментарного повествования» писатель признается, что пришел к ней интуитивно: «То, что я хотел бы выразить, не укладывалось в классическую модель новеллы, и я раздвинул ее рамки. Мои повести и рассказы напоминают коллажи».

Размышляя над проблемой конфликта поколений — а она стоит в центре многих его произведений и, в частности, романа «Сорок — семнадцать» (1988).— Фрэнк Мурхаус говорит о роли возраста в мироощущении человека: «По-моему, у средних лет есть несравненное преимущество: можешь найти общий язык и с юными, ибо еще помнишь себя молодым, и со стариками, ибо уже задумываешься о старости».

Фрэнк Мурхаус.

(Журнал «Магазин литтерер»)

В заключение писатель коротко рассказал о еще не законченной книге, в которой вновь обращается к теме преемственности поколений. Он так объяснил свой замысел: «Юность склонна думать, что прошлое ее не касается. Это заблуждение особенно распространено среди жителей молодых стран. Но на самом деле у всех нас — общая история. О связи прошлого с настоящим, о влиянии минувших времен на современный мир я и хочу поведать в новой книге».

Албания

«УПУЩЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ ИЛИ ПРИЗНАК РАЗНОГЛАСИЙ?»

Роман Нешата Тозая «Ножи», вышедший осенью прошлого года и признанный сегодня одним из самых читаемых в Албании, вызвал широкий общественный резонанс. Ни одно произведение албанской литературы последних лет, за исключением, пожалуй, книг именитого писателя Исмаиля Кадаре, знакомого читателю «ИЛ» по его ранней работе «Генерал армии мертвых» (см. № 6, 1989), не вызывало такого бурного читательского интереса в стране и такого пристального внимания не только и не столько литературной критики, сколько политических обозревателей за рубежом. Причиной тому — обращение Н. Тозая к проблеме незаконной деятельности органов внутренних дел и службы безопасности «сигурими», резкая критика методов их работы.

«Писатель, затрагивая столь важную тему, проявляет бойцовский характер и гражданское мужество»,— отмечает критик Рудольф Марку в рецензии, опубликованной албанским литературным еженедельником «Дрита». Да, критика служб безопасности в этой «самой социалистической стране» казалась до недавней поры делом почти невозможным. «Что это,— вопрошает по этому поводу Франсис Корню на страницах парижской «Монд»,— упущение цензуры или признак разногласий внутри самой номенклатуры?»

Нешат Тозай не новичок в литературе. Сотрудник отдела пропаганды МВД Албании он выпустил несколько сборников повестей и рассказов, пять романов и десяток киносценариев, героями которых зачастую были «рыцари без страха и упрека» — работники органов внутренних дел и госбезопасности. Однако лишь в романе «Ножи» методы их деятельности впервые стали объектом его критического рассмотрения.

Действие романа разворачивается в конце 1979-го — начале 1980 года. Именно ножами кто-то прокалывает шины автомобилей иностранных посольств в Тиране. Начинается следствие. Довольно быстро становится ясно, что злоумышленник — психически нездоровая женщина. Однако маховик следствия уже набрал обороты. С усердием разрабатывается версия организованной вражеской деятельности, связанной с заграницей. По делу арестованы ни в чем не повинные люди и среди них молодая девушка Элизабета, семья которой тут же интернируется. Допросы, обыски, малодушие окру-

жающих... А за всем этим — горстка честолюбивых и нечистоплотных людей, злоупотребляющих властью, стремящихся во что бы то ни стало оправдать свое существование, опьяненных иллюзиями вседозволенности и превосходства над другими. На защиту законности встает герой романа, работник управления внутренних дел Астрид Мурризи, который доходит до ЦК партии, отстаивая правду и добиваясь освобождения невинно арестованных людей. «Партии нужно будет еще много и долго работать, чтобы демифологизировать это управление, чтобы разрушить культ госбезопасности»,— замечает автор в финале романа.

Откликнувшийся на выход романа большой статьей в еженедельнике «Дрита» Исмаиль Кадарэ назвал его «одним из самых впечатляющих романов албанской литературы последних лет». «Проблемы демократии, соблюдения законности, уважения прав человека вызывают у нас, как и у всех цивилизованных народов, особый интерес. Оскорбление человека, насилие, нарушение его прав — вещь печальная и недопустимая для любого народа, в любой стране... Роман «Ножи» всколыхнет совесть многих людей...»

Бельгия

ПЬЕР МЕРТЕНС — ХРОНИКЕР И РОМАНИСТ

В последнее время известный бельгийский писатель Пьер Мертенс много и плодотворно работает. В различных издательствах вышли сразу четыре его книги, среди которых парижский журнал «Магазин литтерер» выделяет «Двойной фактор».

Эта книга вобрала в себя размышления П. Мертенса о роли и месте писателя в современном мире, о его вовлеченности в происходящие события. «Материал» у автора богатейший — перед читателем предстает целая галерея литераторов XX века: М. Кундера, Л. Арагон, Б. Грабал, Ч. Милош, Х. Кортасар, Л. Шаша, Ф. Кафка — перечень можно продолжать и продолжать. Объединяет всех этих столь непохожих друг на друга авторов, по мнению П. Мертенса, тревога за судьбы мира и, как следствие, добровольно взятая на себя ответственность за общество. Даже если писатель заявляет о своей непричастности, безразличии к окружающему, в художественном произведении его обеспокоенность обязательно проявится, считает П. Мертенс.

В позиции бельгийского прозаика рецензент журнала усматривает и некоторые крайности: например, чрезмерное восхваление Сальмана Рушди или тезис о том,

Пьер Мертенс.
(Журнал «Кензен литтерер»)

что любой «великий писатель» волен высказывать что угодно и о чем угодно. Однако трудно не согласиться со следующей мыслью из «Двойного фактора»: «Кратчайший путь от Истории к истории — воображение; хроникер поневоле становится романистом и — поэтом».

Главная тема почти всех произведений Мертенса — трагедия личности в период общественной смуты, а главный герой — почти всегда поэт или художник. Небольшая книга о драматической судьбе померанского писателя Уве Джонсона органично вписывается в схему предпочтений П. Мертенса, полагает «Магазин литтерер».

Журнал «Кензен литтерер», рассказывая о сборнике новелл «Основные падения» и биографической книге об Албане Берге «Подпольные письма», отмечает новое пристрастие П. Мертенса — музыку. «Она — воздух, память, кровь; она представляет глубины души каждого человека, со всеми его колебаниями, падениями, барьерами, страхами»,— говорят персонажи этих книг. «Так музыка нашла возможность вдохновенного воплощения у того, кто с детства ее любил, но стал писателем»,— подытоживает журнал.

Великобритания

САТИРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛОНДОНА

«Читатели, знакомые с ранее опубликованными работами Мартина Эмиса «Успех, деньги: записка самоубийцы» и «Монстры Эйнштейна», обнаружат, что в новом романе «Лондонские поля» писатель превзошел самого себя». Так начинает рецензию на эту книгу обозреватель американского журнала «Тайм». Сравнивая «Лондонские поля» с романом Тома Вулфа «Костры тщеславия», он высказывает предположение что «американцы, которых привело в смятение жестокое описание Томом Вулфом нравов Нью-Йорка, будут в еще большей степени шокированы мрачным сатирическим изображением другой увядающей столицы англоязычного мира».

«Лондонские поля» написаны от лица американского прозаика-борзописца Семсона Янга, сочиняющего детективный роман об убийстве, точнее — о еще не совершенном убийстве, которое подготавливает... сама жертва. Ее имя — Николя Сикс. Это современная сирена, воплощение сексуальных фантазий мужчин, разрушительница их спокойной жизни. В ее сети попадает Кийт Тэлент — мелкий плут, бабник и пьянчужка. Обыкновенно день Тэлента начинается с мучительного похмелья, а продолжается любовными похождениями и жульническими проделками. Вот одна из них: как-то ему удается стащить ящик импортных духов, но потом он обнаруживает, что во флаконы налита простая вода. Тогда он «толкает» ящик хозяину парфюмерной лавки. После совершения сделки, пересчитывая купюры, он обнаруживает, что получил фальшивые деньги. Кийт пытается избавиться от поддельных фунтов, покупая на них водку, которая оказывается теми самыми «духами». Наконец, есть в романе еще один яркий персонаж — Гай Клинч, полная противоположность Тэленту. Это богатый, красивый, обладающий завидным здоровьем лондонский денди, имеющий, правда, один изъян: он по своей наивности постоянно выступает в роли козла отпущения, расплачиваясь за чужие прегрешения.

Кийт Тэлент, Николя Сикс, Гай Клинч, пишет рецензент,— это «знамения нашего времени, эпохи утраты всяких жизненных ориентиров, нервных стрессов и убийственного убожества существования». Тэлент страдает абсолютным равнодушием ко всему на свете. Николя Сикс совершенно бесстрастна, а Гай Клинч попросту не способен понять окружающую его реальность.

В Англии роман М. Эмиса произвел сенсацию — скорее скандальную, и, как полагает «Тайм», его ждет успех и у американских читателей, хотя манера и пафос сатиры вряд ли придутся всем по вкусу. Вероятно, заключает рецензент, реакция на эту книгу будет примерно такой же, как на произведения Свифта, Ивлина Во и Кингсли Эмиса (отца Мартина), чьи традиции продолжает автор «Лондонских полей».

Испания

КАТАЛОНСКИЙ РАСЦВЕТ БАРСЕЛОНЫ

Парижский журнал «Магазин литтерер» продолжает серию статей о культурных столицах Европы рассказом о Барселоне — «прекрасном городе, который постоянно

меняется, постоянно к чему-то готовится: то к Всемирной выставке, то к Олимпийским играм». Почти целое столетие служит пристанищем муз центр Каталонии, подарившей миру гениальных художников: Пикассо, Дали, Миро, знаменитого архитектора Антонио Гауди. Творческая атмосфера во все времена влекла сюда писателей многих стран. Здесь жили и работали Э. Хемингуэй, Ж. Жене, И. Во, А. Мальро, К. Симон. Шестьсот издателей превратили Барселону в «книжную столицу Испании». Именно здесь публикуют свои произведения не только испанские авторы, но и латиноамериканские знаменитости: Г. Гарсиа Маркес, М. Варгас Льоса, Г. Кабрера Инфанте, Х. Доносо.

За последние годы небывалого расцвета достигла каталонская литература, «родившаяся в тени умиравшего франкизма, не отягощенная ни долгой историей, ни традициями». «Молодые каталонские писатели чувствуют себя свободно и легко, они пишут естественно, как дышат, о настоящем, не заботясь ни о прошлом, ни о будущем»,— отмечает журнал. Ким Монсо, Карме Ригера, Балтасар Порсел, Ферран Торрент, Монтсеррат Ройч являют собой надежную и достойную смену тем кто стоял у истоков каталонской литературы и развивал ее. А это Мерсе Родореда, Салвадор Эсприу, Салват-Папассейт, Жозеп Карнэ, Мануэл де Педроло, Мария Аурелия Капмань, Пере Калдерс.

Между тем и литература и язык, на котором она создается, испытали немало трудностей на своем пути. «В 30-е и 40-е годы всякое внешнее проявление каталонской культуры было запрещено. Преподавание велось только на испанском, пресса — только на испанском»,— свидетельствует известный писатель Мануэль Васкес Монтальбан. «В то время запрещалось публиковать книги на каталонском, и даже личная переписка на этом языке подвергалась цензуре»,— говорит талантливый молодой поэт Пере Жимферэ, который начинал писать на испанском, но впоследствии перешел исключительно на родной, каталонский.

Ныне на каталонском языке говорит около 10 миллионов человек — в самой Испании, в Андорре (где он, кстати, государственный), на юге Франции, а также на Сардинии. На нем ведется обучение в школах и университетах, вещает один из каналов испанского телевидения, бурно растет издание книг и журналов, создается национальный театр. Во многих странах выходят в свет переводы с каталонского; в СССР в 1987 году издательство «Радуга» выпустило книгу «Рассказы писателей Каталонии». «ИЛ» (1986, № 2) также познакомила читателей с подборкой рассказов каталонских авторов.

Италия

«ГРЕХ ГОРДЫНИ»

Так называется помещенная на страницах журнала «Панорама» рецензия Льетты Торнабуони на фильм «И ночью светит солнце». Свою новую киноленту режиссеры, братья Паоло и Витторио Тавиани, сняли по мотивам произведения Льва Толстого «Отец Сергий». Историю, поведанную русским классиком почти сто лет назад, братья Тавиани «переложили на итальянский лад», перенеся время и место действия в Неаполь XVII века, в эпоху правления монарха-реформатора Карла III — «правителя обеих Сицилий».

В центре киноповествования — судьба честолюбивого молодого дворянина из провинции, который ставит перед собой цель достичь успеха и совершенства, «быть первым во всем». Чтобы занять более высокое положение при дворе, он решает жениться на красавице аристократке, в которую к тому же страстно влюбляется. Однако незадолго до свадьбы невеста признается, что была любовницей суверена. Главный герой потрясен и оскорблен таким ударом по его гордыне. Отказавшись от всех своих прежних замыслов, он уходит в монастырь, дабы «возвыситься над теми, кто возвышался над ним и дал ему это понять».

«Но даже полного самоотречения и покорности монашества ему оказалось мало,— пишет Л. Торнабуони, — и, недовольный «слишком мирским житьем» в обители, он удаляется в горы и становится отшельником». На его уединение внезапно покушается очаровательная любительница острых ощущений. Дабы избежать соблазна, главный герой идет на крайность — отрубает себе указательный палец левой руки. Молва о его непогрешимости и чудодейственной силе целителя растет и ширится. Но слава разрушает внутренний мир героя: в нем просыпаются самодовольство и своенравие. Он начинает потакать своим слабостям и доходит до того, что обольщает больную девочку. В ужасе от содеянного он бежит и ищет смерти, но в конечном итоге выбирает жизнь, поняв, что высший ее смысл — в любви к людям, в служении им.

По мнению журнала «Панорама», эта экранизация «Отца Сергия» — одна из лучших работ Паоло и Витторио Тавиани. «Фильм поражает выразительностью, художественным мастерством и истинным великолепием в изображении персонажей классического произведения,— считает Л. Торнабуони.— Впечатляет оригинальность интерпретации известных проблем бытия и умение авторов фильма придать им современное звучание». Следует отдать должное и прекрасной игре актеров: образ главного героя «изваял», по выражению рецензентки, Джулиан Сэндс в блестящем окружении Настасии Кински, Патриции Милларде и Шарлотты Гейнсбур.

Джулиан Сэндс и Настасия Кински в фильме Паоло и Витторио Тавиани «И ночью светит солнце».

(Журнал «Панорама»)

ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК МАСТЕРУ

Многочисленными публикациями произведений Михаила Булгакова собирается отметить Италия 100-летие со дня его рождения, сообщает еженедельник «Панорама».

Так, издательство «Риццоли» подготовило к выпуску дневники писателя, которые он вел в 1923—1925 годах,— их лишь недавно обнаружила в архивах М. Чудакова. В другом известном издательстве — «Леонардо» — выходит сборник фантастических и сатирических рассказов «Дьяволиада», а в издательстве «Гуанда» — подборка из шести рассказов, четыре из которых мало известны широкому кругу читателей, а остальные два публикуются впервые. Решило не отстать и издательство «Эйнауди», которое по сути и открыло Булгакова итальянцам. На этот раз оно порадует их сборником всех его повестей и новелл, куда войдут и ранее не переводившиеся.

Наиболее примечательной публикацией «Панорама» считает трехтомник писем Булгакова, выпущенный под редакцией Марио Алессандро Курлетто небольшим издательством «Меланголо». Эти письма адресованы различным государственным деятелям и писателям-современникам. В первый том, получивший название «Письма Сталину», включены «политические послания». В них Булгаков высказывает свое мнение о сложившейся в обществе и литературе ситуации, выход из которой он для себя видит лишь один — покинуть страну.

Том открывает первое письмо Сталину от 1929 го-

да — его, кстати, публикует на своих страницах еженедельник «Панорама». Ответа ни на одно из своих полных отчаяния писем Сталину (а также Горькому) М. Булгаков так и не получил. Как известно, его участь решил телефонный звонок из Кремля. «То был удел спасенного тираном от смерти, но им же приговоренного к пожизненному заключению в стране массового террора»,— отмечает видный русист Витторио Страда. «Узник диктатора сумел, однако, переосмыслить свою писательскую судьбу, сопоставив ее со схожими судьбами почитаемых им великих предшественников — Мольера и Пушкина,— продолжает В. Страда.— Он сумел создать шедевр мировой литературы, работая под тенью дьявола».

Канада

КВЕБЕК ЛИТЕРАТУРНЫЙ — «МНОГООБРАЗИЕ И РАЗМАХ»

Парижский журнал «Магазин литтерер» сообщает о выходе в свет антологии современной квебекской литературы под редакцией Лиз Говен и Гастона Мирона. В антологии представлены более восьмидесяти прозаиков, поэтов, драматургов и эссеистов, что, по мнению рецензента журнала, вполне отражает «многообразие и размах» франкоязычной канадской литературы: «Ежегодно издается около 7000 наименований книг, Союз писателей Квебека насчитывает ныне в своих рядах почти 600 членов, а тиражи порой достигают миллиона экземпляров — это относится, в частности, к произведениям таких известных авторов, как Ив Бошмэн и Мишель Трамбле».

В интервью корреспонденту журнала Лиз Говен так определяет этапы развития литературы Квебека за последние десятилетия: «50-е годы — осознание франкоязычной канадской литературы как таковой. 60-е годы — поворотный момент, когда писатели вышли на авансцену общественно-политической жизни страны. В 70-е годы они как бы вернулись к собственно литературным делам — это был период определенного подъема формализма и феминизма. И наконец, нынешний этап отличается необыкновенным многообразием направлений, жанров и тем».

Важную роль, по словам Лиз Говен, играли и продолжают играть литературно-художественные журналы, в которых сотрудничают практически все квебекские писатели. Возможно, поэтому они еще с 50-х годов предпочитают эссеистику. Помимо очерков в антологии представлены рассказы, притчи, стихи. Среди авторов — наряду с упомянутыми И. Бошмэном и М. Трамбле — достаточно известные в Канаде и за ее пределами Антонин Майе, Анн Эбер, Жак Фольш-Риба, Виктор-Леви Болье, Мишель Лалонд.

Основная тема большинства произведений — судьба Квебека, «страны американских французов», его культуры и языка. «Квебекский писатель постоянно находится в англоязычном окружении; эта особая ситуация обостряет у него чувство языка,— размышляет Лиз Говен,— и он свободнее обращается с бесконечно меняющимся языковым материалом, смелее создает непривычные сочетания, неологизмы». Составительница подчеркивает также самостоятельность квебекской литературы, вначале сильно зависевшей от Франции: «Теперь мы избавились от этого эдипова комплекса. Что касается влияния «южного соседа», то оно, конечно, весьма ощутимо, но эта проблема стоит скорее перед англоязычной литературой Канады».

Каким же квебекские писатели видят свое будущее? Для Жака Годбу, например, оно — в симбиозе культур: «Моя мать — Голливуд, а отец — Сен-Жермен-де-Пре». Другой участник антологии, Жак Пулен, вообще считает Квебек идеальным местом для создания «великого американского романа»: «Во французском романе главное — мысль, в американском — действие. Так почему бы этим двум направлениям не соединиться на полпути — в Квебеке?»

США

«Владимир Набоков (1899—1977) принадлежал к поколению, которое еще умело писать письма, и он делал это с подлинным рвением и искусством»,— пишет рецензент еженедельника «Нью Йорк таймс бук ревью», отмечая выход в свет солидного тома «Владимир Набоков. Избранные письма (1940—1977)» под редакцией сына писателя Дмитрия и Мэттью Дж. Брукколи. Адресаты русского прозаика, поэта, критика — родные, собратья по перу (в их числе Александр Солженицын), издатели в США и Франции, сотрудники нью-йоркских газет и журналов.

Однако эпистолярное наследие автора далеко не исчерпывается публикуемыми ныне 400 письмами: в доме его вдовы Веры Набоковой (Монтрё, Швейцария) картонные папки с пометой «Переписка» занимают целый стеллаж...

Владимир Набоков. Швейцария. 1963 г.

(Фото из книги «Владимир Набоков. Избранные письма (1940—1977)»)

Франция

ОТ НЕГО ВЕЯЛО СВОБОДОЙ

Обширное эпистолярное наследие Андре Жида постепенно публикуется разными издательствами: уже увидела свет переписка с Клоделем, Валери, Геоном, Жаммом, дю Гаром и многими другими. Теперь, как сообщает журнал «Магазин литтерер», к этим именам добавились Андре Рюйтерс и Валери Ларбо.

Двухтомное издание более полувековой (1895—1950) переписки с журналистом, прозаиком и переводчиком, одним из основателей «Нувель ревю франсез» А. Рюйтерсом снабжено ценными примечаниями и предисловием В.-М. Шмерца. По долгу службы А. Рюйтерс много ездил — он был еще и бизнесменом,— и А. Жид получал дружеские послания из Эфиопии, Сингапура, Таиланда. «С течением времени они все больше стали походить на краткие отчеты о городах, странах, поездках и, конечно же, прочитанных книгах»,— отмечает рецензент журнала.

И все же, особенно в первые годы, эту переписку отличали бурные изъявления чувств, накал страстей и эмоций. А. Рюйтерс просил о помощи, придя в отчаяние от семейных и денежных трудностей, или же изливал обиды из-за неосторожно оброненного А. Жидом слова, или же писал, с каким нетерпением ждет телефонных разговоров и встреч. «Магазин литтерер» цитирует характерные в этом отношении строки одного из ранних писем А. Рюйтерса А. Жиду: «С тобой уехала частица меня самого. От тебя веяло такой свободой — без нее я болен... Но не смейся, литература здесь ни при чем. О, литература! Наверное, это она так обострила мою восприимчивость».

Опубликованная издательством «Галлимар» переписка нобелевского лауреата и Валери Ларбо составила четырнадцатый том «Записок Андре Жида». Она представляет собой высокопрофессиональный обмен мнениями, советами, размышлениями о литературе, длившийся — с перерывами — более тридцати лет. «Уважительное отношение к писательскому ремеслу, вкус к работе — вот что прежде всего объединяло А. Жида и В. Ларбо,— подчеркивает журнал.— Здесь, в отличие от переписки с А. Рюйтерсом, нет и следа каких либо упреков, горечи, язвительности, но вместе с тем нет мук и сомнений — вечных спутников дружбы».

ФРГ

СПОРЫ ВОКРУГ НОВОЙ ПОВЕСТИ КРИСТЫ ВОЛЬФ

Большие споры в ФРГ вызвала новая повесть Кристы Вольф «Что остается», вышедшая в издательстве «Лухтерханд». Содержание ее еще недавно можно было бы назвать сенсационным: Криста Вольф, которую на Востоке и на Западе многие считали «государственной писательницей», лауреат Национальной премии ГДР, «до самого последнего момента», оказывается, находилась под наблюдением службы госбезопасности, «штази».

Впрочем, пишет в гамбургском еженедельнике «Цайт» критик Ульрих Грайнер, «предложенный нам текст избегает какой-либо конкретности... Имеет место террор, но ни страна, ни «штази» не упомянуты. Героиня повести, судя по всему, писательница. Она одна в квартире. Муж на операции в больнице. А на улице перед домом трое мужчин в автомобиле. День и ночь. Ждут, пьют кофе, жуют колбаски». И героиня повествует нам о своем страхе, о попытке его преодолеть.

«Нет, конечно, не имеет смысла делать вид,— продолжает Ульрих Грайнер,— будто мы не знаем, кто это говорит и о чем говорит. Эта писательница — Криста Вольф, это государство — «государство СЕПГ». Однажды она обнаружила, узнала на собственной шкуре, что это действительно существует: террор и репрессии. Как будто она этого раньше не ведала!»

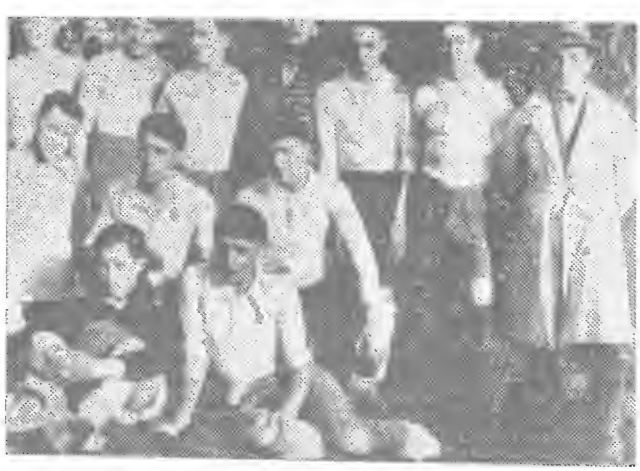
Повесть была написана еще в 1979 году и лишь переработана осенью 1989-го, точнее, в ноябре. Уточнение даты критик считает очень существенным.

«Что автор хочет нам теперь сказать? Что служба безопасности до того одурела, что следила даже за «государственной писательницей»? Или она хочет воскликнуть: поглядите, несчастные сограждане, пострадавшие от «штази»... я тоже была жертвой, я не была «государственной писательницей»... К несчастью, мы за это время много узнали о «штази», мы каждый день что-то узнаем о ее чудовищном аппарате, о ее роли как государства в государстве, о ее жертвах — в том числе и о трупах. По этой мерке и следует оценивать повесть. «Вартбург» с тремя молодыми цыпками перед домом — это, конечно, неприятно... но не правильней ли было бы теперь, зная о действительных масштабах и жестокостях террора, немного помолчать о таких пустяках? Особенно сейчас. Ибо 9 ноября, во всяком случае, с этой точки зрения,— исторический водораздел. До этого публикация подобного текста была бы сенсацией, которая означала бы конец «государственной писательницы» Кристы Вольф и, может быть, эмиграцию. После этого публикация просто досадна. Как и выход из партии в момент, когда это уже не означало никакого риска». Даже обычная для Кристы Вольф «изысканность стиля» в данном случае раздражает критика — она, по его мнению, мешает «резкостн взгляда».

Об одной из малоизвестных сторон жизни Альбера Камю рассказал на страницах французского журнала «Магазин литтерер» спортивный журналист Виктор Перони. Еще подростком будущий нобелевский лауреат «заболел» футболом, в студенческие годы защищал ворота команды Алжирского университета, и лишь туберкулез заставил его уйти с поля на трибуны и стать страстным, хотя внешне невозмутимым болельщиком. «На стадионе и в театре — вот где мне по-настоящему хорошо,— признавался А. Камю.— Когда я стал вратарем, то очень скоро понял: мяч всегда летит откуда вовсе не ждешь. И не раз убеждался — так бывает не только в футболе».

1930 год. Семнадцатилетний Альбер Камю (нижний слева) — вратарь команды Алжирского университета.

(Журнал «Магазин литтерер»)



Ульриху Грайнеру возражает на страницах «Цайт» критик Фолькер Хаге. «Кристу Вольф не в чем упрекнуть,— считает он.— Она никогда не занимала официальных должностей, не рвалась к руководству в Союзе писателей ГДР... Славу, всемирную славу, она завоевала лишь литературной работой. Она стала не просто крупнейшей писательницей ГДР, но — поневоле — моральной инстанцией». Да, она оставалась в ГДР, но на это были свои причины. «Возможно, книга могла появиться раньше. Но хорошо, что она появилась сейчас... На качество такой прозы дата публикации не влияет».

Писатели Петер Шнайдер и Вальтер Йенс заявили по этому поводу, что западногерманские литераторы, ничем никогда всерьез не рисковавшие, вообще не вправе морализировать по поводу поведения своих восточногерманских коллег. Сама Криста Вольф отметила, что со времен, когда против нее дважды выступила «Нойес Дойчланд», она еще не испытывала «такой кампании травли против себя, как теперь, в средствах массовой информации ФРГ».

ШАНСОН: ПЕСНЯ, СТАВШАЯ ДРАМОЙ

Новой гранью своего таланта блеснула известная западногерманская актриса театра и кино Анна Беннент, сообщает газета «Моргенпост». Впервые снявшаяся в кино в двенадцать лет, пользовавшаяся ошеломительным успехом на сцене мюнхенского театра «Каммершпиле» — теперь двадцатишестилетняя актриса обрадовала публику неожиданным театральным событием — инсценированным ею вечером французского шансона. «Для мамы» — так названа ее музыкальная программа, куда наряду с популярными сегодня песенками парижских кафе-шантанов вошла и классика этого жанра — двадцать восемь текстов Превера и Поля Верлена, Эдит Пиаф, Бориса Виана и Жака Бреля. Представленный впервые в гамбургском театре «Санкт-Паули» на международном фестивале «Всемирный театр», этот музыкальный моноспектакль с неизменным успехом принимается публикой на многочисленных турне Анны Беннент по Западной Германии. «Грандиозным театральным вечером» назвала мюнхенская «Тагесцайтунг» выступление актрисы. «Словно сошедшей с картонов Тулуз-Лотрека», «Сильными и уверенными штрихами она рисует перед зрителями двадцать восемь портретов самых разных людей,— пишет «Ганноверше альгемайне цайтунг».— Мастерски владея богатейшей актерской палитрой чувств — от проникновенной лиричности до едкой иронии,— Беннент изящно избегает главной опасности шансона — сентиментальности». А пока журналисты и театральные критики подыскивают восторженные эпитеты для своих рецензий, Анна Беннент уже работает над новым материалом — она готовит еще один моноспектакль, литературную композицию по рассказам А. П. Чехова.

Анна Беннент в музыкальном моноспектакле «Для мамы».

(Газета «Тагесцайтунг»)

Советская литература за рубежом

АВСТРИЯ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Пегий пес, бегущий краем моря». Издательство «Гютерсло».

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Бюхергильде Гутенберг».

БОЛГАРИЯ

Роман АРКАДИЯ АДАМОВА «Идет розыск» Издательство «Народна култура».

Повести ЮОЗАСА БАЛТУШИСА. То же издательство.

Книга ДМИТРИЯ БИЛЕНКИНА «Путь мысли». Издательство «Народна младеж».

Повесть ЮРИЯ ГЕРМАНА «Лапшин». Издательство «Народна култура».

Повесть ДАНИИЛА ГРАНИНА «Зубр». Издательство «Народна младеж».

Повесть ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «Старый дом под кипарисом». «Партиздат».

Повести АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Благие намерения». «Голгофа». Издательство «Христо Г. Данов».

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тридцать пятый и другие годы». То же издательство.

Повести АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Обитаемый остров». «Жук в муравейнике». «Волны гасят ветер». Издательство «Христо Г. Данов».

Повести и рассказы для детей Эдуарда УСПЕНСКОГО «Вниз по волшебной реке». Издательство «Отечество».

Книга НАТАНА ЭЙДЕЛЬМАНА «Последний летописец». Издательство «Народна култура».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ранние поэмы ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО. Издательство «Марион Бойярс».

Очерки ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА «Путешествие в Армению». Издательство «Ред стоун».

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Хатчинсон».

ВЕНГРИЯ

Книга СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ «У войны — не женское лицо». Издательство «Зрини».

Роман ЧАБУА АМИРЭДЖИБИ «Дата Туташхиа». Издательство «Европа».

Сочинения в 2-х томах АННЫ АХМАТОВОЙ. То же издательство.

Повесть БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «Жила-была Клавочка». Издательство «Кошут».

Повесть ГЛЕБА ГОРБОВСКОГО «Под музыку дождя». Издательство «Европа».

Роман ВЛАДИМИРА ДУДИНЦЕВА «Белые одежды». Издательство «Магветё».

Роман ЯНА КРОССА «Уход профессора Мартенса». То же издательство.

Повесть КАЙСЫНА КУЛИЕВА «Скачи, мой ослик!» Издательство «Мора».

Книга СЕРГЕЯ ОБРАЗЦОВА «По ступенькам памяти». Издательство «Европа».

Повесть СОФЬИ ПРОКОФЬЕВОЙ «Ученик волшебника». Издательство «Мора»

Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Приказано выжить». Издательство «Зрини».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Волны гасят ветер». Издательство «Мора».

Повесть ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ «Софья Петровна». Издательство «Европа»

ГЕРМАНИЯ

Книга СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ «Последние свидетели». Издательство «Нойес лебен».

Повесть СЕРГЕЯ АНТОНОВА «Васька». Издательство «Фольк унд вельт».

Пьеса МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Адам и Ева». Издательство «Хеншель».

Стихи и песни ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Издательство «Ауфбау».

Рассказ АРКАДИЯ ГАЙДАРА «Чук и Гек». Издательство «Киндербухферлаг».

Книга ВЛАДИМИРА ГИЛЯРОВСКОГО «Москва и москвичи». Издательство «Рюттен унд Лёнинг».

Драмы МАКСИМА ГОРЬКОГО. Издательство «Филипп Реклам».

Повесть ДАНИИЛА ГРАНИНА «Зубр» Издательство «Фольк унд вельт».

Роман ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Наука расставания» Издательство «Милитерферлаг». лаг».

Роман ГРИГОРИЯ КАНОВИЧА «И нет рабам рая». Издательство «Фольк унд вельт».

Сборник рассказов АНАТОЛИЯ КИМА «Белый траур». Издательство «Филипп Реклам».

Повесть РУСЛАНА КИРЕЕВА «Светлячок». Издательство «Нойес лебен».

Сборник стихотворений ВЯЧЕСЛАВА КУПРИЯНОВА «Призыв к полету». Издательство «Трибюне».

Повесть АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА «Бабий дом» Издательство «Ауфбау».

Книга ЮРИЯ ЛОТМАНА «Александр Сергеевич Пушкин». Издательство «Филипп Реклам».

Роман ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВОЙ «Битва в пути». Издательство «Фольк унд вельт».

Роман АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА «Чевенгур». То же издательство.

Повесть АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА «Ночевала тучка золотая». То же издательство.

Повесть АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО «Детство Никиты» и рассказы Издательство «Ферлаг дер национ».

Избранные произведения МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Фольк унд вельт»

Роман ВЛАДИМИРА ЯВОРИВСКОГО «Мария с полынью в конце столетия». Издательство «Ферлаг дер национ».

ГРЕЦИЯ

Фантастическая повесть ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ардабиола». Издательство «Катаньотис».

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Гносис».

ДАНИЯ

Сборник стихов и песен ЮЛИЯ КИМА. Издательство «Хусетс».

Повесть АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА «Ночевала тучка золотая». Издательство «Вега».

ИСПАНИЯ

Книга ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА «Дерсу Узала». Издательство «Грихальбо».

Повесть ЮЛИАНА СЕМЕНОВА «Огарева, 6». Издательство «Эдс В».

ИТАЛИЯ

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Карьер». Издательство «Уго Мурсия».

Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Где сходилось небо с холмами». Издательство «Е/О».

ПОЛЬША

Повесть ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Кража». Издательство «Искры».

Роман ЮОЗАСА БАЛТУШИСА «Сказание о Юзасе». Издательство «Чительник».

Повесть МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Собачье сердце». Издательство «Искры».

Роман СЕРГЕЯ ЕСИНА «Имитатор». Издательство «ПИВ».

Повесть ВЛАДИМИРА ЖЕЛЕЗНИКОВА «Чучело». Издательство «Наша ксенгарня».

Роман ГРИГОРИЯ КАНОВИЧА «Слезы и молитвы дураков». Издательство «Ксёнжка и ведза».

«Алмазный мой венец» ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА. То же издательство.

Повесть ВИЛЯ ЛИПАТОВА «Житие Ванюшки Мурзина». Издательство «ПИВ».

Роман БОРИСА ПИЛЬНЯКА «Голый год». То же издательство.

ПОРТУГАЛИЯ

Рассказы ИСААКА БАБЕЛЯ «Конармия». Издательство «Оризонте».

Фантастическая повесть ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Ардабиола». Издательство «Нова културал».

США

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Навеки — девятнадцатилетние». Издательство «Липпинкотт».

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Знак беды». Издательство «Аллертон пресс».

Рассказы ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ «На золотом крыльце сидели». Издательство «Кнопф».

ФИНЛЯНДИЯ

Повесть СОФЬИ ПРОКОФЬЕВОЙ «Капитан Тин Тиныч». Издательство «Тамми».

Книга КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Глазами человека моего поколения». Издательство «Вернер Сёдерстрём».

Цикл рассказов ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Опрокинутый дом». Издательство «Гуммерус».

ФРАНЦИЯ

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «В тумане». Издательство «Альбен Мишель».

Повесть ИОСИФА ГЕРАСИМОВА «Стук в дверь». Издательство «Акт сюд».

Книга АНАТОЛИЯ ЖИГУЛИНА «Черные камни». То же издательство.

Повесть МИХАИЛА КУРАЕВА «Капитан Дикштейн». Издательство «Альбен Мишель».

Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Утрата». Издательство «Алинеа».

Поэмы БОРИСА ПАСТЕРНАКА. Издательство «Ви увриер».

Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Трудно быть богом». Издательство «Деноэль».

Поэма АЛЕКСАНДРА ТВАРДОВСКОГО «По праву памяти». Издательство «Мессидор».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман МИХАИЛА АНЧАРОВА «Дорога через хаос». Издательство «Лидове накладателстви».

Роман ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Печальный детектив». Издательство «Смена».

Книга ГАЛИНЫ БЕЛОЙ «Художественный мир современной прозы». Издательство «Лидове накладателстви».

Рассказы и сказки ВИТАЛИЯ БИАНКИ. Издательство «Младе лета».

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Карьер». Издательство «Лидове накладателстви».

Книга ЯРОСЛАВА ГОЛОВАНОВА «Дорога на космодром». Издательство «Младе лета».

Повесть ДАНИЛА ГРАНИНА «Еще заметен след...» Издательство «Лидове накладателстви».

Повесть ВЛАДИМИРА ЖЕЛЕЗНИКОВА «Чучело» Издательство «Младе лета».

Роман ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА «Мы». Издательство «Одеон».

«Сказка о глупом мышонке» САМУИЛА МАРШАКА. Издательство «Младе лета».

Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Похождения Шипова, или Старинный водевиль». Издательство «Татран».

Роман ВАЛЕНТИНА ПИКУЛЯ «Каждому свое». Издательство «Лидове накладателстви».

Рассказы ДИНЫ РУБИНОЙ «Дом за зеленой калиткой». «Когда же пойдет снег». Издательство «Альбатрос».

Сборник стихотворений АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО «Книга травы». Издательство «Словенский списователь».

ШВЕЙЦАРИЯ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Джамиля». Издательство «Унионсферлаг».

Роман ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА «Белеет парус одинокий». Издательство «Бюхергильде Гутенберг».

Книга ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА «Разговор о Данте». Издательство «Догана».

ЮГОСЛАВИЯ

Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Свидание с Бонапартом». Издательство «Народна книга».

Переписка БОРИСА ПАСТЕРНАКА с АРИАДНОЙ ЭФРОН. Издательство «Везелин Маслеша».

Авторы этого номера

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС (DAVID HERBERT LAWRENCE; 1885—1930) — английский писатель. Автор романов «Белый павлин» («The White Peacock», 1911), «Сыновья и любовники» («Sons and Lovers», 1913; рус. пер.— 1927), «Радуга» («The Rainbow», 1915; рус. пер. под названием «Семья Брэнгуэнов» — 1925), «Жезл Аарона» («Aaron's Rod», рус. пер. под названием «Флейта Аарона» — 1922), сборника рассказов «Англия, моя Англия» («England, my England». 1922), собрания стихотворений («Collected Poems», v. 1—2, 1928).
В «ИЛ» напечатана его повесть «Дева и цыган» (1986, № 3); в этом же номере подборка стихов разных лет; из книги «Последние стихи» — в № 1, 1990.
Роман «Любовник леди Чаттерли» («Lady Chatterley's Lover») был издан в Англии в 1928 г.

ВОЛЬФ БИРМАН (WOLF BIERMANN; род. в 1936 г. в Гамбурге) — немецкий поэт и шансонье. В 1953 г. переселился в ГДР. В 1976-м был лишен гражданства ГДР, после чего вернулся в Гамбург. Автор нескольких книг, изданных преимущественно в Западном Берлине, а также ряда долгоиграющих пластинок
Публикуемые стихи взяты из книг «Голосами Маркса и Энгельса» («Mit Marx und Engelszungen». Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1968) и «Моим товарищам» («Für meine Genossen». Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1972).

МИЛАН КУНДЕРА (MILAN KUNDERA; род. в 1929 г.) — чешский прозаик, драматург, поэт, эссеист. С 1975 г. живет в Париже. (В 1979 г. был лишен чехословацкого гражданства.) Начал печататься в 50-е годы. Выпустил сборник стихов «Монологи» («Monology», 1957), эссе «Искусство романа» («Umění románu», 1960), пьесу «Владельцы ключей» («Majitelé klíčů», 1962), сборник рассказов «Смешные любовные истории» («Směšné lásky», 1963).
Последующие произведения писателя издавались уже за границей (после событий 1968 г.): романы «Жизнь в другом месте» («Život je jinde», 1970; отмечен во Франции премией Медичи, в Италии — премией Монделло), «Прощальный вальс» («Valčík na rozloučenou», 1972), «Невыносимая легкость бытия» («Nesnesitelná lehkost bytí», 1984), «Бессмертия» («Nesmrtelnost», 1989), книга новелл «Книга смеха и забвения» («Kniha smíchu a zapomění», 1978).
Роман «Шутка» был издан в Праге в 1967 г. («Žert», Praha, Československý Spisovatel, 1967).

КАМИЛО ХОСЕ СЕЛА (CAMILO JOSÉ CÉLA; род в 1916 г.) — испанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1989 год. Изучал юриспруденцию, философию и литературу в Мадридском университете. Автор романов «Семья Паскуале Дуарте» («La familia de Pascual Duarte»; 1942 рус. пер. 1970), «Улей» («La colmena»; 1943; был запрещен франкистской цензурой и увидел свет лишь в 1951 г. в Аргентине; рус. пер. 1970), «Новые похождения Ласарильо с Тормеса» («Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes», 1944), книги рассказов и путевых записок «Путешествие по Алькаррии» («Viaje a la Alcarria», 1948), сборника очерков «Колесо досугов» («La rueda de los ocios», 1957), двухтомной книги «Тайный словарь» («Diccionario secreto», 1968) и др. произведений.

КЛЕПИКОВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА — политолог и литературный критик. В 70-е годы выступала с литературно-критическими статьями в советских журналах и газетах. После переезда в США публикует в американских газетах политические комментарии. Вместе с Владимиром Соловьевым выпустила книги «Юрий Андропов. Тайный ход в Кремль» и «За высокой кремлевской стеной», вышедшие в США и ряде европейских стран.

ги «Поэзия немецкого экспрессионизма» (М., 1990).

Переводчики:

БАГРОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.) — советский переводчик с английского. В его переводах публиковались произведения английских, американских и австралийских писателей, среди них повести «Сеяла Хэн лебеду...» К. С. Причард («ИЛ», 1979, № 12), «Непокорная» Ф. Д. Дэвисона, «Дева и цыган» Д. Г. Лоуренса («ИЛ», 1986, № 3), романы Т. Фланагана «Год французов» (1987), П. Скотта «Остаться до конца» («ИЛ», 1988, № 2), Дж. Стейнбека «И проиграли бой» (1989), С. Рушди «Стыд» («ИЛ», 1989, № 8—9).

ЛИТВИНОВА МАРИНА ДМИТРИЕВНА — советская переводчица с английского. В ее переводах публиковались произведения Т. Харди, Г. Дж. Уэллса, М. Брэгга, У. Фолкнера, Фл. О'Коннор и других английских и американских писателей.

ТОПОРОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ (род. в 1946 г.) — советский поэт-переводчик, критик. Переводил немецких поэтов XVII века, Гёте, Брентано, Рильке, Г. Бенна, П. Целана. Переводчик и составитель книги «Поэзия немецкого экспрессионизма» (М., 1990).

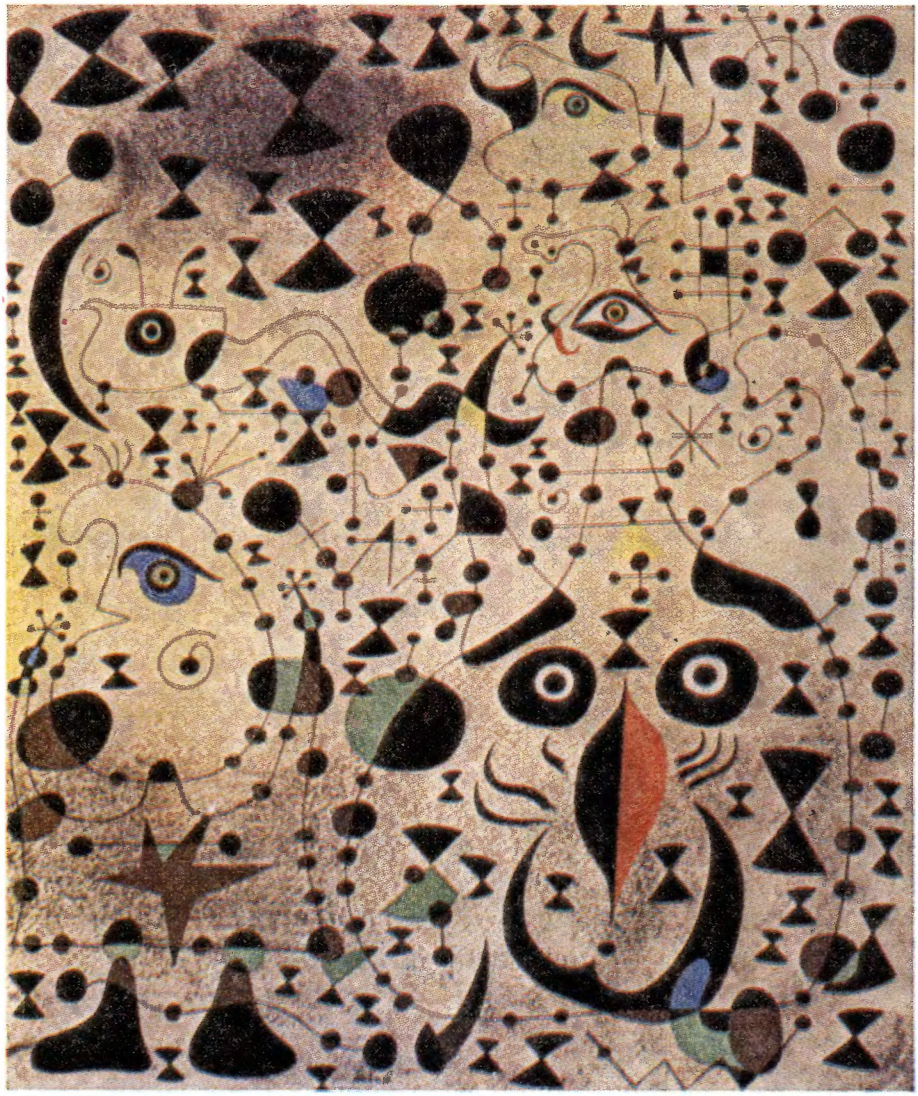
ШУЛЬГИНА НИНА МИХАЙЛОВНА — советский переводчик со словацкого и чешского языков, критик. В ее переводах издавались произведения Л. Фелдека, А. Гикиша, М. Фигули, А. Беднара, В. Ржезача, П. Француза и др. В «Иностранной литературе» напечатаны ее переводы романов: Иржи Кршенека «Дички» (1975, № 5—6), первая книга трилогии Винцента Шикулы «Мастера» (1979, № 4—5), Петера Яроша «Тысячелетняя пчела» (1982, № 5—6), Душана Митаны «Конец игры» (1987, № 5—6) и др. За переводческую деятельность Н. Шульгина удостоена словацкой литературной премии П. Л. Гвездослава.

БЕРИНСКИЙ ЛЕВ САМУИЛОВИЧ (род. в 1939 г.) — советский поэт и переводчик, автор книги стихов на еврейском языке «Дер куникер велтбой» («Солнечный миростроЙ»). В «ИЛ» публиковались его переводы с румынского, испанского и с языка идиш.

БРОДСКИЙ АЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ (род. в 1942 г.) — советский поэт и переводчик молдавской и румынской поэзии и прозы. В его переводах выходили произведения Михаила Эминеску, Василе Александри, а также современных авторов.

Редакция выражает благодарность Моисею Шлемовичу Вольфу за помощь при подготовке настоящей публикации.

■



Прекрасная Птица открывает влюбленным неизвестное. 1941.

1 р. 80 к. Индекс 70394

Mississippi

Literary Conversations Series

The Collected Interviews of Notable American Writers

«These collections of interviews with authors fall between generic slats—primary sources for academic research but of intrinsic interest to the common reader.»

Booklist

Conversations with Edward Albee
Edited by Philip C. Kolin
0-87805-341-7 (cloth), $ 26.95
0-87805-342-5 (paper), $ 15.95

Conversations with Maya Angelou
Edited by Jeffrey M. Elliot
0-87805-361-1 (cloth), $ 25.95
0-87805-362-X (paper), $ 12.95

Conversations with James Baldwin
Edited by Fred L. Standley and Louis H. Pratt
0-87805-388-3 (cloth), $ 27.95
0-87805-389-1 (paper), $ 14.95

Conversations with Erskine Caldwell
Edited by Edwin T. Arnold
0-87805-343-3 (cloth), $ 26.95
0-87805-344-1 (paper), $ 15.95

Conversations with John Cheever
Edited by Scott Donaldson
0-87805-331-X (cloth), $ 25.95
0-87805-332-8 (paper), $ 14.95

Conversations with Lillian Hellman
Edited by Jackson R. Bryer
0-87805-293-3 (cloth), $ 22.95
0-87805-294-1 (paper), $ 12.95

Conversations with Ernest Hemingway
Edited by Matthew J. Bruccoli
0-87805-272-0 (cloth), $ 24.95
0-87805-273-9 (paper), $ 12.95

Conversations with Norman Mailer
Edited by J. Michael Lennon
0-87805-351-4 (cloth), $ 26.95
0-87805-352-2 (paper), $ 15.95

Conversations with Arthur Miller
Edited by Matthew C. Roudané
0-87805-322-0 (cloth), $ 25.95
0-87805-323-9 (paper), $ 14.95

Conversations with Joyce Carol Oates
Edited by Lee Milazzo
0-87805-411-1 (cloth), $ 28.95
0-87805-412-X (paper), $ 14.95

Conversations with John Steinbeck
Edited by Thomas Fensch
0-87805-359-X (cloth), $ 19.95
0-87805-360-3 (paper), $ 10.95

Conversations with Kurt Vonnegut
Edited by William Rodney Allen
0-87805-357-3 (cloth), $ 27.95
0-87805-358-1 (paper), $ 14.95

Conversations with Eudora Welty
Edited by Peggy Whitman Prenshaw
0-87805-205-4 (cloth), $ 19.95

Conversations with Tom Wolfe
Edited by Dorothy Scura
0-87805-426-X (cloth), $ 29.95
0-87805-427-8 (paper), $ 14.95

University Press of Mississippi
3825 Ridgewood Road/Jackson, MS 39211 USA

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1990, № 9, 1—256